

2

# Александр ГОВОРОВ

собрание  
сочинений

ТОМ 2



Александр  
ГОВОРОВ



2



Александр  
ГОВОРОВ



*Александр*





# Александр ГОВОРОВ

собрание  
сочинений  
в четырех томах



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1993

# Александр ГОВОРОВ

ТОМ 2



ЖИЗНЬ И ДЕЛА  
ВАСИЛИЯ КИПРИАНОВА,  
ЦАРСКОГО  
БИБЛИОТЕКАРИУСА  
исторический роман



САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ  
КУНСТКАМЕРЫ,  
или  
СЕМЬ СВЕТЫХ НОЧЕЙ  
1726 ГОДА  
исторический роман



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1993

ББК 84Р7  
Г57

*Художник В. БРАГИНСКИЙ*

**Говоров А.**  
Г57 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2: Жизнь и дела Василия Киприанова, царского библиотекаря: Исторический роман; Санктпетербургские кунсткамеры, или Семь светлых ночей 1726 года: Исторический роман/Словарь: сост. Т. Г. Куприянова, М. А. Шевченко.— М.: ТЕРРА, 1993.— 480 с.: ил.  
ISBN 5-85255-296-8 (т. 2)  
ISBN 5-85255-245-3

Г 4702010201-055 Подписное  
А30(03)-93

ББК 84Р7

ISBN 5-85255-296-8 (т. 2)  
ISBN 5-85255-245-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1993

ЖИЗНЬ И ДЕЛА  
ВАСИЛИЯ КИПРИАНОВА,  
ЦАРСКОГО  
БИБЛИОТЕКАРИУСА







## Глава первая

### ТИШЕ, МЫШИ, КОТ НА КРЫШЕ!

Когда спустя много долгих лет и еще более долгих зим Василий Васильев сын Киприанов-младший, став уже московским первой гильдии купцом и комиссионером императорской Академии наук, желал вспомнить, как у него все так ладно началось да с чего все так пошло удачно, он представлял себе далекий зимний вечер в канун Рождества 1715 года, по старому счету — семь тысяч два ста двадцать третьего.

В тот вечер засиделись допоздна за работой в недостроенной еще отцовской типографии, в грыдоровальной, то есть гравюрной, мастерской. Спешил каждый до праздника закончить свой урок, кто при сальном огарке, кто при лучине. Отец, поджав губы и опустя очки на краешек носа, самолично шлифовал готовые плашки. Под деловитый визг напильников и кручение шкива какие уж тут разговоры, но толковали помалу, все о войне, о дороговизне да о внезапной болезни царя. Впрочем, о последнем более молчали, нежели говорили, но у всякого на уме — что-то станет после Петра? Опять боярщина, сонное царство или наоборот — засилье иноземцев, кулак да взятка?

Вот тогда-то и распахнулась снаружи дверь, как бы знаменующая некий поворот в судьбе младшего Киприанова, и впустила в мастерскую целое облако морозного пара. В облаке этом, словно эллино-языческий бог, явился подмастерье Алеха Ростовцев, который загулял три дня назад. Щеки у него пылали, не то от стужи, не то от бражки, он сорвал с головы малахай и усиленно им размахивал.

— Онуфрич! — взывал он. — Эй, Онуфрич, ты где?

Онуфричем запросто называли отца. Киприанов-старший этим не чинился, хотя в работе никому спуска не давал.

— На торжке-то, Онуфрич, что сказывают, слышь?

Все оторвались от работы, отец остановил кручение станка. Слышно стало, как на воле бесится вьюга, стегает по бревенчатой стене. Алеха, однако, добившись всеобщего внимания, не торопился объяснять, что именно сказывают на торжке. Расстегивал себе полушубок, щелчком сбивая намерзшие льдинки.

— Дверь-то за собою прикрой, гулена! — крикнул ему отставной солдат Федька, который мучился не то от зубов, не то от собственной зловредности. — Да говори, чего знаешь, не томи!

Алеха поднял палец и, оглядев присутствующих, объявил:

— Из Санктпитера из бурха сановник прибыл, наиважнейший!

Вновь завывло шлифовальное колесо, зашаркали напильники. Отец неторопливо протер очки в серебряной оправе, которые ему подарил сам благодетель генерал-фельдцейхмейстер господин Брюс, и склонился над своей плашкой.

О чем только не болтают на торжке! Если бы про царское здоровье какая новость, а сановник — что ж... Сановники теперь, почитай, чуть не каждую неделю наезжают — то подать им новая, то рекрутский набор!

— Грешно вам... — обиделся Алеха, видя, что все от него отворотились. — А знаете, какой на том сановнике чин? — И выкрикнул, ударив себя в молодецкую грудь: — Неудобь сказуемый, вот!

Все засмеялись, а Киприянов-старший, любуясь отшлифованной плашкой, сказал миролюбиво:

— Ну какой же такой может у него быть неудобь сказуемый чин?

Алеха перекрестился с опаскою и свистящим шепотом сказал:

— Сам господин обер-фискал!

Вот это уж была новость под стать царскому здоровью! Подмастерья переглянулись, а хозяин отложил плашки и снова взялся протирать очки.

— Да-да... — покачал он головой. — Ежели вправду обер-фискал, так что же это значит? Это значит снова гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. Тот самый, братцы, который о прошлом годе генерал-фельдцейхмейстера нашего, господина Брюса, в похищении казны многой обвинил... Да что там! Самого Александр Данилыча, светлейшего князя Меншикова, чуть

в Сибирь не уpek! Грозен батюшка, господин обер-фискал, сам-то ласков да обходителен, а мягко стелет, так жестко спать.

— И как же он Санктпитер-то покинул, коль царь там хворый?—спросила баба Марьяна, киприановская домо-правительница, которая пришла звать всех на ужин.— Там-то он небось нужней?

— Бунта бояться!—ухмыльнулся отставной солдат Федька сквозь ладонь, которой зажимал больные зубы.— За власть дрожат!

Киприанов прервал его:

— Не тебе бы, Федор, вышших персон дела обсуждать. Лучше о своих повинностях думай, как их тебе исполнять. Что же до господина обер-фискала, то его наипервейшая забота как раз о том, чтобы никто от повинностей своих отнюдь не ухоранивался!

— А что, мужички,—сказала баба Марьяна, подбоченясь,—ловко же сей обер-фискал с министрами разделяется, а? Уж на что был орел адмиралтейц-советник Кикин, самого царевича наперсник, и то как он его? Всех чинов-заслуг лишил—и к нам, в московскую нашу опалу!

От этих ее слов отставной солдат пришел в восторг, забыв о зубной боли.

— Ух, баба! Так и разит, так и палит! Тебе бы, Марьяна, самой в обер-фискалы, вот бы ты жулья всякого наловила. Еще бы ты нам, темным, разобъяснила: зачем тот гвардии майор снова на Москву пожаловал? Опять скакунов боярских будет стричь или на сей раз на нас, сирых клячонках, разгуляется?

— Я знаю, я знаю!—снова всколготился подмастерье Алеха.— Слушайте меня, слушайте, я знаю!

— Дайте же ему сказать,—заступилась Марьяна.— Не то еще лопнет от избытка новостей.

— Я точно знаю,—заверил Алеха.— Фискал к нам прислан, чтобы учредить астанблей.

— Что, что? Повтори.

— Астам... Астам... Ассамблею, вот как!

— Что же это такое? Министерия какая или полк?

— Этого никто знать не знает. Однако говорят, в Питере таковое давно уж устроено. Один старичок баил, будто там благородные люди для того действия совместно собираются и некоторые боярыни вот до сих заголясь...

— Так это — баня?—обрадовался Федька.— Ха-ха!

— Не верите мне?—надрывался Алеха.— Вот истин-

но, пред образами — правда! Да пусть вот Бяшенька скажет, он человек ученый, не чета вам всем!

Бяшенька, Бяша — это и есть Василий-младший, сын Киприанов, такое прозвище с детства у него. Дура нянька учиняла ему забаву: «Бушки-бяшки, бушки-бяшки!» — и пальцем брюшко щекотала. И он, несмышленищ, послушно за нею лепетал: «Бяша» да «Бяша». Так и прилепилось к нему это дурацкое прозвище!

— Пожалуй, Васка, — сказал отец, — растолкуй уж ты людям, что есть ассамблея.

— «Ассамблея» слово французское, которое на русском языке выразить невозможно. Но обстоятельно ежели сказать — сие есть вольное в котором-нибудь доме собрание гостей. И делается оное для всеобщих танцев. И не для одних только танцев, но и для пользы — переговорить, услышать, где что творится. Притом же и забава.

— Книжник, ах, книжник Василий наш Васильевич! — умилялся солдат Федька, опять не без ехидства.

А отец переспросил сосредоточенно:

— Так сие получается — танцы?

Бяша кивнул головой.

— А ты говорил — баня! — напустился Федька на оторопевшего Алеху. — Соберут бояр, князей, генералов, станут они в хоровод и пойдут «ножкой топ-топ, ручкой хлоп-хлоп»...

Баба Марьяна усмехнулась:

— Муд-ре-цы! Царь при смерти, меж наследниками неразбериха, у царевича прынец родился, маленький, и у царя, глядь, новый царевич, вот где ума-то надо прилагать, а они — астанблей!

Алеха продолжал настаивать на своем, Федька его поддразнивал, подмастерья смеялись, а Бяша слушал, как отец, занимаясь своими плашками, говорил Саттерупу, пленному шведу, который работал в киприановской мастерской:

— Конечно, когда государь изволил перенести резиденцию во вновь основанный Санктпитебурх град, в нашей матушке-Москве все былшем поросло. В полдень лавки запираем и спим до заката. Ужинаем в три пуза и опять на боковую, от чего апокалипсические чудища снятся... А смута не спит, смута копошится, стрельцов еще мятежных не забыли. На площадях что ни день антихриста

кричат! А тут еще слухи про распрю у государя царевича с государем отцом...

Киприанов еще покрутил шлифовальное колесо и снова, подняв очки, рассматривал на свет гладкость плашки. Наклонился к Саттерупу:

— Ежели слушать на торжке все байки, ума можно решиться. А ходят такие слухи, за которые прямо хватать — да в застенки, в Преображенский приказ!

Пленный швед согласно кивал головой, развязывая кисет с табачком. Хотя известно, что толковать с ним бесполезно, — за пятнадцать лет в плену он не выучил ни одного путного русского слова.

— А правду сказать — есть, есть у нас ради чего приехать обер-фискалу. — Отец раскурил с Саттерупом по трубочке. — Взять того же Кикина, бывшего царского клеветника, который ныне у нас обретается. Или Аврама Лопухина, брата отставленной царицы... Вся Москва скажет — они-то царевича на непослушание и подбивали, с отцом стравливали, прости господь! И ныне, как узнали, что царь Петр Алексеевич соборовался, так и понеслись!

Заметив, что сын внимательно слушает его откровения, Киприанов погрозил ему пальцем и вынул карманные часы-луковицу:

— Шабаш, братцы! Пошли-ка, возьмемся за ложки-лошки, поварешки!

А на другой день Бяша, то есть Василий-младший, сын Киприанов, воочию столкнулся с этим самым страшным обер-фискалом, которому суждено будет сыграть такую решительную роль в его, Васильевой, судьбе.

Был сочельник. С утра Москва кипела, готовясь к празднику. Хватали все что попало, на прилавки шли, как на турецкую крепость, особенно приезжие. Каждому хотелось привезти домой московский гостинец.

Отец приказал:

— Ступай-ка, Васка, в школу к Леонтию Филипповичу. Отнеси ему напечатанные листы учебника, пусть читает, правит. Хоть и грех работать в праздник, но бездельничать еще больший грех — так ведь Леонтий Филиппович говаривает?

Леонтий Филиппович — это Магницкий, учитель Навигацкой школы. Он отца когда-то, молодого, выучил и к типографскому делу приспособил, он и Бяшу в школе учил до прошлого года.

Бяша пристроился в сани к попутному мужичку. Снег

визжал под полозьями, лошади фыркали, сметая хвостами снежную изморозь. По закаленевшей бревенчатой мостовой перестук копыт напоминал барабанную дробь.

— Позволь, позволь! — покрикивал мужичок.

Куда там! Сани еле пробирались по запруженным улицам. Бяша соскочил — ноги коченели, пешком все-таки согреваешься, сапогами топаешь.

Никольская, Сретенка — сплошная толкучка, крик, божба, целое воинство лотошников. Двери всех церквей распахнуты, теплятся огоньки лампад. Нищие гнусавят наперебой, показывают увечья, сморкаются прямо под ноги, поневоле отдашь полушку.

У Бяши была способность на ходу забывать обо всем, погружаясь в свои мысли. Не заметил, как и выбежал изпод арки приземистых Сретенских ворот, помчался бодрее с папкою под мышкой, похлопывал рукавицами, размышлял. Что есть фискалы и зачем они просвещенному государству необходимы?

Бяша видел указ 1711 года; там правительствующему Сенату предписывалось: учинить фискалов по всяким делам, а как быть им — то придется известие. Отец бы тут по своей привычке поворчал: у нас-де, на Руси, все так и делается тят да ляп, а как быть дальше — то придется известие.

Бяша знал, что «фиск, фискус» — слово латинское, и обозначает оно императорское имущество, казну. Фискал, стало быть, и есть тот чиновник, который имение оное блюдет и приумножает.

Так и в иных государевых указах писано — все те указы имеются в книжной лавке, где Бяша сидельцем, — сказано, что фискал имеет тайный надсмотр за соблюдением законов, кто неправду учинит, кто умысел имеет ко вреду государственного интереса. Но, как говаривает отец, где предель есть той их тайной власти?

Бяша подскакивал на бегу, коченея, ресницы его слиплись от инея. Вдруг почувствовал, что попал на раскаленную наледь и, теряя равновесие, катится по ней. Выронил папку, затем рукавицы, замахал руками, словно мельница, но удержался, только ткнулся с разбегу в чей-то обширный живот.

— Ой! — охнул тот, в кого ударился Бяша, но даже не пошатнулся. Просунул пальцы под Бяшину шапку, видимо чтобы взять его за ухо.

Тут Бяша опомнился от своих размышлений. Он нахо-





дился уже в самом конце Сретенки, у Сухаревой башни, где и помещалась Навигацкая школа. А кругом — сухаревская толкучка, ямщицкий рынок: санки, возки, рыдваны, кареты. Из одной кареты, с орлами на дверцах, как раз и вышел тот господин, которому Бяша столь неудачно угодил в брюхо.

Бяша оробел, потому что тот, кто в такой карете едет, может и кнутом попотчевать. Но господин лишь потрепал его за ухо и оттолкнул с усмешечкой. И был он весь приятный, словно круглый пряник, или, вернее, будто масленичный блин, — румяный, улыбчивый, средних лет.

Незнакомец осведомился, куда это так юноша поспешает, и, узнав, что в Навигацкую школу к Леонтию Филипповичу, просиял еще более. Галантно сделал ручкой, показав дорогу по наружной каменной лестнице башни. Оказывается, он сам шел туда.

Знакомство завязалось. По мере того как они поднимались по ступеням, Бяша поведал, что он сын Киприанова, того самого, который библиотекарь на Спасском мосту («Ах, вот оно что!») — сказал незнакомец и сделался еще любезнее, хотя, казалось бы, любезнее быть уже невозможно), что он сам ученик старика Магницкого. Впрочем, знакомство их было довольно односторонним — когда они поднялись на верхнюю площадку лестницы, где дул отвратительный колючий ветер, незнакомый господин знал о Бяше все, а тот о нем ничего.

— Ну, а знаешь ли, почему сия башня Сухаревой зовется? — спросил его незнакомец, словно на экзамене.

Бяша, увлекаясь, вынул очки из кармашка (да, да, он был близорук, как и отец, и ужасно этого стеснялся!) и обвел рукою расстилавшиеся внизу бревенчатые слободы, заваленные снегом крыши, тысячи морозных дымов в сером декабрьском небе.

— Леонтий Сухарев был полковник стрелецкий, его роты жили здесь. Когда же случилось его царскому величеству злоумышленников ради бежать в Троицкий монастырь, сей Леонтий Сухарев привел к царю свой полк прежде прочих. От сего имени и башня.

— Бежать, говоришь? — переспросил господин, и взгляд его, дотоле сонный и любезный, стал отточенным, как лезвие.

Бяша тотчас понял свою неловкость и спешил поправиться — не бежать, конечно, удалиться, — но чувство ка-

кой-то вины неискупимой так и осталось в нем сидеть, словно заноза.

Вольно было новому знакомцу стоять на площадке в богатой шубе и, улыбаясь, похлопывать рукавицами. Бедный Бяша в своем углу кожанке весь изныл на ледяном ветру, гадая, чего господин сей ждет, зачем не входит в школу. Наконец тот засмеялся и перегнулся через парапет, подзывая поручика. И тут Бяшу осенило: он же просто ждал, когда Бяша догадается открыть перед ним тяжелую с кольцом дверь Сухаревой башни!

В школьной полутьме слышалось, как в классной зале младшие повторяют хором слоги: «Прю, трю, фрю, хрю... Бря, вря, гря, дря, жря...» Магницкий сердился и стучал на них линейкой. Старик заставил их трудиться даже в сочельник, по своей пословице, чтобы зря по торжищам не шатались, грехов лишних не накаплили.

Дождавшись перемены, Бяша выполнил отцовское поручение и мог бы уходить, но задержался в караулке у печки: в Сухаревой башне зимой холод похлеще, чем на улице. Тут его окликнул преображенный поручик, который прибыл с тем самым улыбчивым господином, и объявил:

— Гвардии майор и кавалер Андрей Иванович Ушаков просит вашего батюшку, библиотекариуса Василия Киприанова, непременно пожаловать на ассамблею, которая состоится на святой. И вас также, — слегка поклонился он оторопевшему Бяше и даже приложил два пальца к треуголке. — Менуэт танцуете? Будут танцы и все прочее, что для молодых юношей особливую приятность имеет.

Он подмигнул Бяше и состроил черным усом гримасу. Затем удалился четким шагом в гулкий сумрак башни.

«Ну и ну!» — сказал про себя Бяша и побежал домой.

На улицах между тем все сделалось вдруг по-иному. Люди суетились еще стремительней и бестолковей, какие-то бабы и дети бежали в одну сторону, крича: «Колодников выпускают!» В морозном воздухе поднялся трезвон всех колоколов, хотя для сочельникового боя было еще рано.

Дома ждала его куча новостей.

— Государь выздороветь изволил! — радостно сообщил отец. — Только что в церкви объявляли. Царская милость — колодников освободили, недоимки простили.

Баба Марьяна принесла четверть вина прямо в мастерскую, отец разлил по глиняным кружкам.

— Виват! — закричали все.

— Виват государю нашему Петру Великому, отцу отечества! — громче всех крикнул Бяша, у которого от глотка пенной закружилась голова.

А подмастерье Алеха спешил ему рассказать, что обер-фискал действительно привез указ об ассамблее на святках и уже некоторым закоренелым домоседам и домоседкам якобы успел пригрозить, что под караулом их на танцы доставит.

Святки — это двенадцать дней непрерывных праздников. Тут и Рождество, и колядки, и купание в проруби на Ердань-реке. Тут и Новый год, и огненные потехи, когда каждый двор иллюминирован чадящей плошкой, а в морозное небо взмечаются, рассыпаясь, разноцветные ракеты.

Архиереи грозят с амвонов: «Не смейте затевать игрищ, не смейте гаданьями грешить!» Куда там! Тут же, возле церквей, и скачут, и на ходулях ходят, и в бубны бьют: «Трах, трах, тарарах, едет баба на волах!»

Мчится, набившись в розвальни, куча ряженных — в харях, в личинах. Свистят, гогочут, богохульствуют: «В Москве, на доске, на горячем песке!..» А тут еще и ассамблея!

У Киприановых народ смиренный, работающий. Для всяческих дел эти двенадцать дней гульбы — нож острый. Но что поделаешь — отец блюдет все церковные установления. Сам, правда, в ряженных не ездит, но, коль нагрянут родичи или кто-нибудь из торговой братии, Киприанов ужасается, делая вид, что не распознал под козьей мордой кума, а под вывороченным тулупом — какого-нибудь начальника из Ратуши.

Наутро постенает, держась за разламывающийся затылок, и будет потом весь праздник кидать взгляды в угол, где на рабочем столе дожидается недоконченная ландкарта Московской губернии...

Второго генваря прибежал с поздравлениями Бяшин друг Максимка Тузов, в просторечии Максютя, сиделец из Суконного ряда. На Максютя новенький немецкий полукафтанчик с зернеными пуговицами, по воротнику расшит канителью. И башмаки у него с пряжками, телятинные, и на буйных кудрях вместо привычного колпака — треуголка с позументом.

— Максютя, огарышек ты мой! — встретила его баба Марьяна, которая жалела парня за неприкаянное сирот-

ство.— Окоченел же ты, уши-то, глянть, сизые! Надел бы малахай, валеночки!

Федька-непочетчик захохотал:

— Да ты погляди лучше, каков он жених! Кровь с молоком! Он небось на кафтан да на треуголку два лета копил. А ты — малахай!

Максюта повернулся к Федьке спиной и увел Бяшу в нижние сени, за штабель кирпича, — секретничать.

— На ассамблею идешь? — спросил он.

Ему уже все было известно — и то, как Бяша на Сухаревке с обер-фискалом познакомился, и то, как перед Новым годом Киприановых посетил сержант из губернского правления в сопровождении барабанщика. Объявил громогласно, что господин губернатор приглашает библиотекариуса Киприанова с сыном, и в списке отметил. И добавил: «Покорнейше просят, дабы ваша милость не смели отсутствовать».

У Максюты щеки пылали — его-то никто не приглашал! У Максютки этого отец ходил в солдаты волонтером, чтобы вызволить семью из крепостной неволи, да пропал где-то без следа в болотах Ингерманландии. Теперь сын тянет отцовскую лямку, а ныне от господина своего, от стольника Елагина, отпущен на оброк в торговлю.

А уж доведись ему на эту ассамблею — вот бы блеснул! Они с канунниковскими приказчиками в пустом амбаре давно танцы разучивают — менуэт, контрданс, — жаль, что негде показать.

Максюта торопился выложить приятелю все, что знал:

— Ассамблея та в честь царского выздоровления. Хотели машкерад устроить, но хлопотно, опять же пожаров опасаются. Да еще бояре наши московские не охочи на ассамблею ту ехать. Окольничий Хилков с женою объявил было, что чревом страдает, так твой знакомец, обер-фискал, знаешь что учинил? Привез немецкого лекаря и при себе же велел Хилковым клистиры вкатить, ха-ха-ха! А княгиня Барятинская с дочерьми, так та причастилась, исповедалась, словно не на ассамблею, а в татарскую неволю их отдадут. Скоро сам все увидишь, избранник Фортуну!

Он любил пышные выражения.

— А где ассамблея та будет? — спросил Бяша. — Мы ведь, будто праведники в раю, всегда все последние узнаем. У отца нашего одни ландкарты в голове.

Максюта обрадовался случаю показать свою осведомленность:

— Ну как же! Во дворце покойного генерала Лефорта, что на Яузе, в Немецкой слободе. Других таких палат на Москве не сыщешь. Эх, мать честная, вот напляшетесь! Хозяин наш взял подряд на украшение того чертога: закуплено два ста полотен самых дорогих тканей — столбы оборачивать. Матерьял — алтабас турецкий, золотой муравой тканый, по двадцать восемь алтын — помрачение ума! Впрочем, не вы одни повеселитесь. Я, например, в тот же вечер пойду на другой берег Яузы, в Лефортов сад, гуляти, потехи там усмотревати. Что мне мороз!

Теперь настала пора объяснить, что за дружба у Бяши с Максютотой, где это они так сошлись.

Начать с того, что два года тому назад Киприанову удалось-таки купить у Ратуши право на полатку у Спасских ворот Кремля на Красной площади, у Покрова богородицы собора, который слывет також — Василий Блаженный. Стоит оная полатка у самого крестца, то есть у входа на мост, и окружена всякими ларями, шкапчиками и прочей торговой ерундой. Да и сама эта полатка хоть и каменная, да дрянная. Всего она в два жилья, то есть этажа, над лавошными растворами — навес из деревянных столбов, на москворецком лексиконе — галдарея, и вся она в рассадинах от ветхости. А владел ранее той полаткой стрелец Степан Ступин, затем он сгинул там же, где и все прочие мятежные стрельцы сгинули, а полатка его и домашняя рухлядь были отписаны на великого государя.

Ратушные крючокотворы, как водится, стали покупщику оной полатки Киприанову клинья вставлять всяческие. Заломили ценищу — четыреста рублей! Тянули таким образом добрых десять лет, и только позапрошлым летом Киприанов получил у бургомистра связку ржавых ключей и разрешительную грамотку.

Но открывать теми ключами ничего не пришлось, потому что замки оказались давно сбиты. Какие-то шатущие люди ночевали в той полатке и костры там разводили под самым, сказать, под носом у кремлевской стражи!

Заговорили, зашумели о киприановской покупке в Китай-городе. Еще бы! Не где-нибудь, а в Покромном ряду близ кремлевских ворот. И кто? Не гость какой-нибудь жалованный, не гостиной и даже не суконной сотни чело-

век — нет, самый что ни на есть черный тяглец, невесть откуда этот Киприанов, кадашевский ткач!

А что трудится тот Киприанов не за страх, а за совесть даже и без определенного ему жалованья, что печатает и ландкарты, и таблицы, и куншты своим коштом, не тратя из казны ни копейки, что звания себе даже самого ничтожного не имеет, то все им, завистникам, нипочто! Еле вымолил он, Киприанов, при заступничестве все того же благодетеля, генерал-фельдцейхмейстера господина Брюса, чтобы ему, государевой гражданской типографии делателю и книжной торговли держателю Василию Онуфриеву Киприанову, была пожалована хоть какая честная титла, как пишут приказные писны, которая ни во что станет, то есть совсем чепуха! И титла была ему пожалована — библиотекариус.

Приходили на Спасский крестец долгополые, с широкими брадами, из-под которых свисали знаки об оплате пошлины — «За бороду деньги взяты». Хмуро глядели, сложа руки, как в бывшую ступинскую полатку вносят известь и кирпич, втаскивают шрифтолитейную утварь. Выходил к ним Киприанов, становился молча напротив. Столь на них не похожий — бритый, в фартуке, прожженным кислотой, — попыхивал трубкой-носогрейкой, поблескивал стеклами брюсовских очков.

Раз куда-то бежал Бяша по отцову поручению, а приказчики из вонючих рядов — Овощного и Рыбного — свистели ему вслед. Ну, к этому-то Бяша уже привык! Вдруг от паперти Николы Москворецкого наперерез ему ринулась ватага крючников. Конечно, на торговой улице всяких ватаг полно, но эти устремились так, что у Бяши екнуло под ложечкой.

— Это ты, очкарь? — заорал передний, сбивая в пыль Бяшины очки. — На́, получай! Еретик ты, как и твой батюшка!

Затем началось избиение, потому что Бяша юноша хоть и высокого роста, но, конечно же, управиться с оравой этаких мордачей не мог и только защищался ладонями. А из всех лавок и лабазов москворецкой сотни вопили, свистели, гоготали:

— Вжарь ему, ребята, вжарь!

Сапогом лягнули в колено, он упал и подумал: «Господи, только скорей!» На родимых Кадашах ему приходилось видеть трупы изувеченных во время бессмысленной

драки. Но внезапно он почувствовал, что его оставили в покое.

Приподнявшись, Бяша увидел, как в столбе пыли сшибаются две ватаги, причем подбегают какие-то новые, с палками. А из лавок Овощного ряда стали выть уж поиному, жалобно:

— Суконщики! Портошники вы! Честно ли вам драться железными аршинами?

— А восьмером на одного нападать честно?

— Он же не суконщик, этот очкарь, что вам до него?

Потом Бяша помнит, как лежал он в заросшем рву возле кремлевской башни. Сквозь огромные зеленые лопухи мирно светило солнце, над стоячей водой стрекоза трепетала хрупкими крыльями, а на высоте стен перекликались часовые. Над Бяшей склонился, прикладывая к его синякам подорожник, спаситель — Максюта.

Так они подружились, и, когда стали друг дружке все про себя рассказывать, Максюта вдруг огорошил Бяшу признанием:

— А ты знаешь, почему я тогда выручил тебя?

— Почему?

— Потому что ты живешь в Ступина полатке.

— Как так?

— А просто. В Ступина полатке зарыт клад.

Разбогатеть — была мечта Максима Тузова. Его образцом был светлейший князь Ижорский, Александр Данилович Меншиков, генерал-фельдмаршал и кавалер, всех чинов-званий его не перечесать. Максюта то и дело отыскивал где-нибудь в божедомках очевидцев, которые якобы помнили, как «Данилыч» пирогами торговал. Впрочем, и хвастаться этим надо было с оглядкой — за столь ясную память можно было угодить в Преображенский приказ.

— Да где ж у нас может быть клад? — недоумевал Бяша. — Полатка-то вся в тютельку, еле умещаемся. Только местом и дорожим.

Тогда Максюта рассказал историю Степана Ступина, стрельца Цыклерова полка, который жил припеваючи, торговал не считаяючи, а прибыль подсчитывать довелось в застенке у палача. Польстился он на сулу царевны Марфы, которая обещала ему сокровища, коль он поможет освободить сестру ее, бывшую правительницу Софью, из затворов Новодевичьего монастыря.

Сперва его все же помиловали — поломали на дыбе

и сослали куда-то в крепость. К нему и семья уехала — жена, дочка-малолетка, — всё бросили, все зорению предали. Оттуда он, сказывают, утек, когда на Дону казак Кондрат Булавин супротив царя мятеж поднял. И был у того Булавина сей Ступин не последним человеком. Да все ж и тут не пофартило — как Булавина порешили и войско его разбежалось, один из казаков, попавших в царский плен, не выдержал мучений и крикнул слово и дело государево.

Его тотчас на особый допрос как доносчика по царскому интересу. И показал тот казак на Степку, на Ступина. Злато, мол, царевнино злодей Степка все ж утаил и схоронил, а где — неведомо. И начали тогда того Степку искать среди булавинских пленных, а то могли бы и вовсе забыть про него. И нашли и вновь пытали. Умер, однако, Степан в застенке, а тайны не сказал.

В этом месте рассказа Бяша приходил в волнение и обрушивался на приятеля:

— Да откуда ж, мол, знать, что клад зарыт именно здесь, в полатке? Ежели б власти хоть чуть пронюхали, они бы полатку начисто снесли, а землю перекопали! А уж сами воры и разбойнички, удалые работнички, разве бы не расстарались? Москва-матушка ими кишмя кишит.

— Ты же сам сказывал, — возражал Максютя. — Как вы пошли полатку эту открывать, оказались в ней какие-то гуляющие люди. Может, они и копали?

Приятеля облазили весь погреб, осмотрели дворик, амбарушку, пристройку. Никаких следов, что закапывали, что раскапывали, — ничего.

Впрочем, у Максюты был и запасный план обогащения.

— Женюсь на хозяина моего дочке, на Степаниде.

Бяша и этот его план подвергал уничтожению:

— Хозяин твой — первейший торговый человек. Гостиной сотни бурмистр, в Ратуше заседает, капиталами ворочает. Дочку-то свою небось за благородного хочет, не менее. Так куда уж тебе...

Максютя от споров уклонялся, однако рассказывал, что к Степаниде этой приставлена злющая немка и ходят учителя, среди них тот самый Леонтий Филиппович, который и Бяшу математике учил.

— На что ж ей математика? — удивился Бяша, который с наукой сией был не в ладах. — Неужто девушке ран-



гоут рассчитывать или геодезической съемкой заниматься?

— Денежки отцовские считать! — возликовал Максютя, видя, что хоть в чем-то да оказался догадливее своего многомудрого товарища. — Как ты не понимаешь? Денежки! Впрочем, она больше песенки любит.

И теперь, рассказывая другу о приготовлениях к ас-самблее, Максютя загрустил:

— Завидую тебе, Васка... Ведь там будет она!

— Кто — она?

— Ох, какой же ты стал недогадливый! Она!

Максютя стал описывать, какие приготовления к ас-самблее идут в доме его хозяйна. Платьев уж с десяток рассмотрено и отвергнуто. Остановились на шелковом, гишпанском, выделки простой, но цвета яркого, смородинного. Прическа под названием «расцветающая невинность», с локончиками. А юбка от француза Рекса, который пьет на Кузнецком мосту, — с фижмами, ширины необозримой, под ней каркас в три обруча из китового зуба. Максютя приводил такие подробности туалета, что было ясно — он не зря обучается в суконной сотне.

— Смотри, друг Васька, ты хоть на контрданс-то ее там пригласи. Боярские сынки — персоны кичливые, станут ли они звать купецкую дочь? Ты не забыл, как я тебя контрдансу учил?

Он взял приятеля за талию и принялся крутить столь яростно, что у того слетели очки и пришлось их отыскивать на кирпичном полу. Глядя на его давно не стриженую голову, Максютя спохватился:

— Постой, да есть ли у тебя волосы накладные, сиречь парик?

Это услышала баба Марьяна, которая как раз пришла звать друзей откушать. Всплеснула руками:

— Ой, да ничего у них нету, у этих Киприановых! Хоть бы кафтан приличный либо камзол. Сам-то вычисленьями занимается, доходишки скудные и те в типографию просадил. О парне бы подумал — женить пора, а он чуть не босиком бегаёт!

Пошли с Марьяной к отцу, а Максютя предусмотрительно удалился, потому что старший Киприанов не жаловал его, считал пустограем. Отперли старую кованую скрыню, еще приданое покойной Бяшиной матери. Баба Марьяна вытаскивала оттуда одну рухлядину за другой, как бы демонстрируя невидимым зрителям:

— Гляньте, православные, в чем царский наш библиотекариус щеголять изволит.

Или:

— Кафтан да жупанина, дыра да рванина!

Онуфрич решил так:

— На ассамблею не миновать идти, против указа не открутишься. Я надену черный с искрою зипун, который за долги у нас остался от квартиранта, немецкого певчего. А ты, Васка, надень свой полукафтан ученика Навигацкой школы, тот — васильковый, с алыми отворотами. Накладных же волос не надобно, сам государь Петр Алексеевич их не жалует. Возьмем ножницы и обкорнаем свою прирожденную заросль.

— Купил бы что-нибудь! — запротестовала баба Марьяна. — Век, что ли, будешь носить квартирантовы обноски?

Киприанов обещал: как Ратуша заплатит за прошлогодние заказы, выдаст на обнову всем.

Долгожданная ассамблея состоялась лишь в последний день святок. Губернатор Салтыков распорядился: ночью улицы на рогатки не запирать, дабы до утра шла праздничная езда. Главные ухабы — на Маросейке, на Басманной — завалить соломой, засыпать на скорую руку и рвы, оставшиеся от ожидаемого нашествия шведов. Указано было также учинить иллюминацию — зажечь на каждом дворе по плошке, а кто побогаче — по горящей из свечек картине, да не забыть приготовить по кадке с водой.

Как только Киприановы переступили порог Лефортова дворца, отец на глазах переменялся. Раскланивался с какой-то вымученной улыбочкой. Бяшину руку сжал нервно, словно клещами. Гайдук, который распахнул перед ними двери, даже глазом на них не повел, а отец и ему искательно поклонился. Тут кто-то, одетый в старомодную ферязь со стоячим воротником, чуть не сбил их с ног, выходя прочь и сердито стуча посохом.

— Окаянство! — брюзжал он. — Это ли собрание благошляхетных? Какой-то сброд худофамильный!

— Аврам Лопухин! — зашептал отец Бяше. — Царский свояк, братец бывшей царицы Евдокии... Небось уходит от бесчестья: указано строго — в русском платье не пускать.

Наверху сквозь гомон голосов слышалась музыка. На каждой ступени белокаменной лестницы стояли гвардей-

цы с красиво отставленными на вытянутую руку мушкетерами. В канделябрах и висячих паникадилах горело множество свечей, и все было так великолепно, как в божьем раю, подумал Бяша. Тут отец стал дергать его за рукав и шипеть в ухо:

— Кланяйся, да побойчее! Глянь, сам вице-губернатор господин Ершов! Кто бы сказал, что чуть ли не вчера он из подлого сословия, как и мы с тобой. Но — величествен, но — умен! Ах, кланяйся, Васка, не жалея поясницы.

Вице-губернатор Ершов — худощавый господин в пышном парике и с усиками щеточкой — в ответ на поклон Киприановых одарил их властным и рассеянным взглядом, но благосклонно потрепал Бяшу по щеке. Затем, словно забыв Киприановых, повернулся к своей свите и заговорил намеренно громко, чтобы слышали все:

— О да, губернатор господин Салтыков не поскупился на ассамблею, похвально! Однако уж не те ли это деньги, которые расхищены в казне на интендантских подрядах?

— Ой, Васка, — сказал отец, увлекая сына по лестнице, — давай, брат, от них подале. Знаешь — паны дерутся, а у холопов чубы трясутся.

А вот и обер-фискал, гвардии майор Ушаков, в преобразенском мундире, с голубой орденской лентой через плечо. Он приветливо ответил на поклон Киприановых, а с вице-губернатором Ершовым облобызался по-старинному — крест-накрест. Вице-губернатор взял его под руку, заговорил любезно, но в самой его любезности чувствовалось, что перед обер-фискалом заискивает и он:

— Пример сей ассамблеи свидетельствует красноречиво, сколь благотворна воля монарха в любом ее проявлении, не правда ли, почтеннейший Андрей Иванович? Дабы подданные его не засиживались, как тараканы запечные, дабы с одурения усадебного небылиц не плели... Пусть просвещенная Европа не токмо через дела Марсо-вы в российские благородные дома входит, но и через галантности Венус!

На что гвардии майор отвечивал кратко:

— Заготовлен уже и указ о неременном сих ассамблей периодическом устройстве.

И поскольку Ершов вновь заговорил о своих распрях с губернатором Салтыковым, Киприанов, держа за руку сына, устремился по лестнице еще дальше, пока чуть не сбил на площадке мужчину весьма изможденного вида.

— Черт побери! — сперва было выругался тот, затем

вдруг узнал Киприанова, захохотал и даже хлопнул его по плечу: — А, Киприашка, это ты? И ты пришел поношением российского боярства любоваться?.. Ну, полно, я шучу... Уж более не приду я к тебе за санктпетербургской газеткой, завтра сам в столицу уезжаю. Государь мне милость свою возвратил через того самого оберзлodeя Ушакова, через которого я ее и лишился.

Он отвлекся, отвечая на поклоны какого-то многочисленного семейства с недорослями и девами-переспелками, а Киприанов успел шепнуть сыну:

— Это тот самый Кикин, который...

— Ты мне сочувствовал, благодарю,— вновь повернулся Кикин к отцу, пожимая ему руку.— Сие тебе зачтется в нужный час.

И захохотал, поперхнулся:

— Да уж теперь и не знаю, когда он исполнится, этот час, государь-то выздоровел, хе-хе, скоропостижно... И все, кто смерти его чаял, обмишурились, ровно мыши на погребении kota!

И он нервно захихикал, обвел пальцем вокруг шеи, будто накидывая петлю, даже закатил глаза и высунул язык, чтобы выразительнее показать, какая участь теперь ждет этих мышей.

— Завтра состригу свои космы,— продолжал он, нахихикавшись,— кои отпустил как опальный стольник. Я ведь стольник, Киприашка, хе-хе-хе! Состригу— и в путь! Везу с собой обстоятельную челобитную государю, всех врагов отечества в ней разоблачаю, всех этих Меншиковых, Ершовых, всех Салтыковых, Ушаковых. Хоть они и грызутся меж собой, а на самом деле они из одной шайки! Взгляни на меня,— Кикин указал в сторону зеркала, где было видно его отражение,— худ я, тощ, бледен, однако уныния во мне нету. Всех в сокрушение приведу, всех, всех!

Он держал Киприанова за пуговицу его чинного немецкого кафтана и даже крутил в такт своей речи. Наконец отпустил и оттолкнул легонечко.

— А за газетою санктпетербургской приходите станет протопоп из Кремлевского собора Яшка Игнатьев— знаешь? Громогласный такой, невежа, дуrolом, духовный пастырь, хи-хи-хи!

И Кикин наконец отошел, а Бяше показалось, что отец испугался хихикающего Кикина больше, чем мечущего грома и молнии вице-губернатора Ершова.

Киприанов нашел на втором этаже покои, где собиралось купечество, и сказал сыну:

— Я тут побуду, а ты тайнцуй. Приглашай, да смелее.

— Кого же приглашать?

— Которая приглянется. Любую приглашай, раз такая царская воля вышла, любую...

Когда года три тому назад двор переехал в Петербург, казалось, жизнь московская вымирает. Ушла гвардия, цвет московских кавалеров, а за нею, конечно, музыканты. Многие сомневались, соберут ли теперь для ассамблеи хоть каких дудошников. Но губернатор Салтыков расстарался, нашарил их по усадьбам, по монастырям, приставил к ним немца-дирижера — и вот на хорах гобой, рожки, сурны, сопелки грянули церемониальный, а ноги сами заплясали, губы стали подпевать.

Губернатор Салтыков, как уверяли все придворные дамы, был ужасно похож на государя Петра Алексеевича, — саженный рост, длинные ноги, круглые щеки — и даже глаза умел выкатывать и усики топорщить, ровно как государь в минуты гнева. Язвительный Кикин, правда, говорил при этом: «Шкура-то шкура, да в ней иная дура!»

Прошедшись перед зеркалом, поправив на животе орденскую ленту и встряхнув кружевными манжетами, чтобы выглядели попышнее, Салтыков принял у адъютанта Прошки Щенятьева золотую булаву распорядителя ассамблеи и чуть не тыкал ею в дородные животы гостей, понуждая танцевать.

Нелегко было раскатать, вытащить из берлог старозаветную эту Москву. Расселись как истуканы, зевки скрывали в рукава, страдали в тесных немецких кафтанах. Глядя на мужей, страдали и супруги, сидя вдоль противоположной стены. Сыновья и дочери, наоборот, страдали от нетерпения танцевать, но не смели решиться. А музыка гремела.

Тогда великолепный Салтыков, вернув булаву Щенятьеву, схватил ближайшую из княжон Хованских, та только пискнула. И понесся с ней на середину паркетного круга, сверкая голубизной бархатного своего кафтана и восклицая:

— Вот как у нас, в московской нашей Европии, вот как!

За ним вся масса народа сорвалась с места, разбилась на пары, затанцевала, да так бурно, что слабые звуки гобоев потонули в грохоте танца. Слышались только мер-

ные удары большого барабана, и казалось, что это вовсе не ассамблея на версальский манер, а исконное русское святочное гулянье скачет и резвится: «Трах, трах, тарарах, едет баба на волах!»

Бяша совсем растерялся. Кавалеры, кинувшись к дамам, затолкали его, выпихнули почти на лестницу, и там он увидел, как прямо на него мчится рослая девушка в обширном платье нежно-пунцового цвета. Ее пытались удержать охающие женщины и какой-то старичок в розовом паричке, а девушка отбивалась:

— Отстаньте, надоели! Зачем привезли, коли не танцевать?

И поскольку она налетела высокой грудью прямо на Бяшу, тот шаркнул ножкой, как учили его еще в Навигацкой школе, и принялся бормотать что-то насчет «Позвольте... Сделайте приятность...»

Девушка как будто только этого и ожидала. Она закрыла глаза, закинула обнаженный локоть ему на плечо — у Бяши сердце зашло от волнения. Но он храбро взял даму за талию и понесся с ней вслед за танцующим Салтыковым — «топ налево, топ направо и раз-два-три!». Ничего трудного, все как показывал ему верный Максютта.

Его дама первое время учащенно дышала, вероятно, сердилась на своих спутников. Потом постепенно приятная бледность проступила сквозь слой румян, она приоткрыла ротик, и стали видны зубы, тщательно вычёрненные по моде. Бяша понял, что надобно говорить.

— Купидону угодны сии развлечения, ибо они дерзость сильному и прелесть слабому полу придают, — сказал он первое, что припомнилось из книг, а сам ужаснулся: «Боже, что я говорю?»

Но девушка подняла ресницы и одарила его светлым от восторга взглядом. И в тот же миг окончилась музыка.

Довольный собою губернатор Салтыков вновь вооружился булавой и пригласил не танцующих отцов в буфетную, в курительную, туда, где играли в шашки, а руководство танцами передоверил Прошке Щенятеву. Дым пошел коромыслом!

А Бяша бродил, натываясь на шаркающих и раскланивающихся гостей, никого приглашать ему уже не хотелось, да он бы и не посмел. Нашел укромное местечко за креслом какой-то старой боярыни, откуда был виден весь зал.

Только после второго контрданса с подскоками он вновь увидел свою даму. Ее только что сопровождал после танца сам Щенятев, а уже стояли, кланяясь и приглашая на польский, сразу два щеголеватых иноземца.

— Ох уж этот Прошка Щенятев! — сказала боярыня, возле которой стоял Бяша. — Всюду он попевает!

Боярыня приподняла парик, почесала распаренный затылок и доверительно обратилась к Бяше:

— Ведь этот Прошка почтенного окольного сына, я отца-то уж его как знала! А он, Прошка, как из басурманщины вернулся, сущая стал трясогузка. Бают, государь целый год его на забивке свай держал, пока чина не назначил. И чин какой-то несуразный — артиллерии констепель! Словно кобель.

И Бяша, сам того от себя не ожидая, подошел и стал позади кланяющихся иноземцев. Грянул польский, девушка, увидев Бяшу, сама подала ему руку мимо кавалеров. И пошли они вновь с поклонами и реверансами, будто этим только и занимались всю свою жизнь.

Бяша понимал, что молчать неприлично, но решиться никак не мог. В тот раз было все как-то само собой, а теперь он просто боялся сбиться с ноги. Тогда девушка, выждав фигуру, где Бяша крутил ее, взяв за талию, покраснела ярче помады и произнесла с запинкой:

— Коль Аполлин искусством верных награждает, то Венус дружеством любезным их венчает...

И вновь опустила ресницы.

Бяша не успел придумать, что ответить, как почувствовал, что рука девушки соскользнула с его плеча и сама она вдруг куда-то исчезла. Он остановился. А громогласный губернатор Салтыков принялся кричать в его сторону, грозя кому-то булавой:

— Эй, мамки-няньки или кто вы есть! Не дело забирать даму во время танца, не дело!

А старухи уводили Бяшину даму в сторону, негодуя:

— Он же нищий, глянь! У него же кафтан златан!

У Бяши сердце мучительно сжалось — это у него ведь кафтан златан, аккуратненькой такой латочкой, кажется, что и в двух шагах ничего не видно!

И побрел он, не оборачиваясь, проталкиваясь сквозь ряды гостей в анфиладах. В раззолоченном охотничьем зале под оленьими рогами немцы пили пиво из кружек с фигурными крышками, качали шляпами, рассуждая о варварской Московии, где, однако, так легко разбога-

теть! В гербовой галерее, возле бледных шпалер с изображением античных героев, купечество громогласно обсуждало свои торговые заботы.

Отца нигде не было, да и едва ли он стал бы проводить время здесь, среди чванных иноземцев и спесивых ратушных заправил.

В анфиладе покоев с расписанными потолками расположилось нетанцующее дворянство, обильно прикладывалось к водочке, которую солдаты разносили в деревянных ушатах. Явился сюда и взмокший от пота губернатор Салтыков; дворяне обмахивали его чем попало — треуголками, игральными картами, отстегнутыми кружевами от манжет. Салтыков хватил с устатку целый ковш и принялся плакаться на свою губернаторскую жизнь:

— Днесь погибаем! Господин обер-фискал привез указ — к весне чтобы двадцать тысяч лучших семей переселить в Санктпитебурх! Пропала Москва-матушка! Приказы велено в Санктпитебурх также переводить, конторы всякие, учреждения. Преображенского приказу велено половину туда же отослать. Кто крамолу-то на Москве выводить будет? Отвечай, Кикин, ты слывешь здесь главным мудрецом.

— Ты и будешь, — отвечал ему Кикин, прожевывая беззубым ртом анисовый пряничек. — На то ты и губернатор, чтобы крамолу выводить. А не так, то тебя обер-фискал самого выведет.

Все засмеялись, боязливо, однако, поглядывая под арку, в соседний покой, где обер-фискал играл в шашки с голландским шкипером.

— Какой я здесь губернатор! — закричал Салтыков, опрокидывая новый ковш. — Вчерашний холоп смеет мне дерзить! Ты, Кикин, как будешь при дворе, молви там государю... У меня бабка была царицей и тетка царицей...

— Тише, тише! — пытались его уговорить, оглядываясь под арку.

Но там обер-фискал был поглощен шашками — дурак иноземец никак не проигрывал начальству.

Салтыков заплакал и, забыв о своем сходстве с самим царем, положил губернаторскую головушку в лужу вина на столе.

— А ведь верно, — сказал князь Кривоборский, древний, как дубовое корневище. — Худофамильные эти обнаглели. Вот и сюда, на санблею эту, чернь-то зачем напустили?



Другой, еще более мрачный, еле втиснутый в узкий немецкий кафтан, зло крикнул:

— А ругательное обещание персон наших брадобритием?

Какой-то дворянин с серебристым ежиком волос, судя по долгополой одежде — дьяк, что значит по-новому асессор, повторял каждому, бия себя щепотью в грудь:

— А мне, мне-то какво? Поместье мне дали государево в вечное владение, на том спасибо. А что там, в моем поместье? Солому толкут и из той соломенной муки пекут хлеб. С меня же только и требуют — рекрутов подай, коней добрых подай, корабельную деньгу опять же подай...

— Тяжко всем! — вздохнул князь Кривоборский, сцепляя на животе узловатые пальцы. — Тяжко! От вышнего боярина до последнего бобыля.. А вот мы у Кикина спросим, у Александра Васильевича, он у царя первейшим был бомбардиром. Скажи нам, свет наш, когда всем нам послабления какого-нибудь ждать, а?

Торжествующий Кикин (еще бы — опять ему, Кикину, в рот смотрят) помедлил для важности и изрек:

— Государыня Екатерина Алексеевна родить изволили царевича, Петром Петровичем, вестимо, нарекли.

Он благочестиво перекрестился, закрестились и все, выжидая, куда он клонит.

— И у царевича старшего, — продолжал Кикин. — У Алексея Петровича, государя-наследника, тоже прынец родился, Петр, значит, Второй, Алексеевич.

Кикин закрыл глаза и развел руками. Все вокруг завдыхали, закивали головами — мол, понимаем щепетильность положения, да молвить не смеем.

— А государь, бают, уж так был плох, так плох... — сказал Кикин со всей скорбью в голосе, на которую был способен. — И ныне, сказывают, еще не совсем в себе. Вот за рубеж отъезжают, к целебным водам, здравия драгоценного ради... Все в руке божией, как знать? Заснем при одном царствовании, а проснемся при другом.

Все замолчали, мысли шевелились туго. Молчание это и встревожило обер-фискала более, чем любой пьяный гам. Он смешал шашки перед непокорным шкипером и явился из-под арки к дворянам, которые сидели, уставясь на спящего за столом губернатора Салтыкова.

— Ей-же-ей, российское шляхетство! — воскликнул обер-фискал. — Зря вы тут головушки повесили. Не отберет никто ваших благородных привилегий. Имею вам со-

общить — Правительствующий Сенат как раз готовит некоторую табель, в коей каждому по знатности и заслугам его надлежащий ранг, сиречь чин, уготован. А кто самовольно вылезает из подлого состояния, будь он хоть трижды... — Ушаков остановился, чтобы не называть, кто именно, и продолжал, возвысив голос: — ...в прежнее состояние и вернем!

Бяша увидел отца, он стоял у арки, прислушиваясь к разговору знатных. При словах обер-фискала он затряс головой, как бы отгоняя наваждение, схватил за руку подошедшего сына.

— Домой, голубчик мой, только домой...

А в соседнем зале офицеры шумно пили за здоровье новорожденного царевича Петра Петровича, именовали его наследником престола российского, кричали: «Виват!» Слуги гремели посудой, накрывая роскошный ужин. Но Киприановы ушли, ни с кем не прощаясь.

Мела вьюга. Простой народ, пришедший к Язуе полюбоваться на фейерверк по случаю ассамблеи, уже расходился. Киприановы заиндевели, пока докликались своего Федьку, который где-то ждал их с шубами и санным возком.

Федька был сильно на взводе, он тоже праздновал с господскими возницами. Огрызнулся на упреки Киприанова: «Что я тебе, холоп? Я солдат государев!»

— Эй, спотыкливые! — кричал он на лошадей, правя сквозь усиливающуюся метель. — Тары-бары, растабары, собиралися бояры...

— Мели, Емеля, твоя неделя, — сказал ему Киприанов.

— Глянь, хозяин, — Федька указывал кнутом куда-то в сторону Земляного вала. — Видишь там, у костров-то, люди? Это десять тысяч землекопов в Санктпитебурх гонят. Сказано, чтоб трезвые были и доброго поведения. А губернатор-то Салтыков деньги, которые им на прокорм были отпущены, на самблею эту пустил, чтоб ей нелады... Вот и мрут они с голоду прямо на дороге!

— Федька! — прикрикнул на него Киприанов.

— Что — Федька? — распаялся тот. — Кому Федька, а кому и Федор Лукьяныч! При Полтаве, как стояли мы в строю, сам царь назвал нас — отечества сыны! Это для того ли, чтоб отечества сыны при дорогах околевали?

Киприанов не знал, как его урезонить. Но тут у Ильинских ворот Федька зазевался, и возок наткнулся на шлаг-



баум. Рогатка затрещала, а Федька вылетел в сугроб. Пришлось пару грошей кинуть ярыжкам, чтобы они не бранились, Федьку уложили в сани, а на облучок сел Бяша.

Править было все трудней, метель разгулялась, так и секла. Иллюминацию загасили, и по ухабистой Ильинке ехали на ощупь.

Наконец послышался перезвон часов на Спасской башне. Нырнув в последний ухаб возле Лобного места, санки вынеслись к полатке, освещенной сполохами караульного костра у кремлевских ворот.

Заехали со стороны Василия Блаженного к калитке. Сквозь щели забора виделся свет — баба Марьяна в поварне дожидалась их возвращения. Соскочив с облучка, Бяша только собрался постучать в калитку, как увидел, что кто-то сидит на снегу, прислонясь к их воротам.

— Батя, кто это? — вскричал он.

Хлопнула щеколда, заскрипела калитка. Вышли на их приезд баба Марьяна, Алеха, бессловесный швед Саттеруп. Баба Марьяна тронула валенком сидящего на снегу.

— И! — сказала она. — Девка это, побродяжка. Я уж нынче ее раза три отгоняла, такая настырная! Да она не одна, у нее малец, годков пяти. Под шубейкой она его от мороза прячет.

— Ну и пустила б ее, — пожал плечами Киприанов. — Вон какая свистопляска!

— Как бы не так! Ты-то, Онуфрич, все с ландкартами своими, а земскому десятнику объяснение кто будет давать за проживание посторонних? А вдруг она еще беглая?

Отец и сын наклонились и увидели поблескивающие из-под платка полные тревоги глаза.

— Ладно, сватья. — Киприанов положил руку на плечо бабы Марьяны. — Давай пустим ее, утро вечера мудреней.

## Глава вторая

### АМЧАНИН ТЕБЕ ВО ДВОР

День-деньской шумит московский славный торг во Китае-городе. Все товары по рядам расположены — от Ветошного к Шапошному, от Скобяного к Овощному, где, кстати, и писчую бумагу, и мыло грецкое, и даже кни-

ги можно купить. День-деньской движется, кипит толпа в рядах, где торгуют. Тут и божба, и клятвы, и обман, не зря ведь сказал виршеслагатель: «Чин купецкий без греха едва может быти...» Заключив сделку, торговцы бьют по рукам и спешат к Василию Блаженному или Николе Москворецкому поставить свечу, а затем и в трактир — обмывать магарыч.

— Тятенька, глянь, кто это? Морда губастая, волосатая, а на спине горбы. Ой, страх-то какой, боже!

— Цыть, малой, помалкивай! Это верблюд, тварь такая из Индеи, на нем персидский товар привезли.

— Ой, тятенька, тятенька... А вот этот кто же такой? Никак, сам супостат из преисподней? Лицо чернющее и в ушах кольца!

— Цыть, говорю тебе! Гляди лучше в оба, а то как раз кошелек уведут. И не супостат это вовсе, а эфиоп, племя такое!

Вот ярыжки схватили вора, орут не судом, не разберешь, кто громче — поймавшие или сам пойманный. Наперебой заывают сидельцы из лавок:

— А вот сюда, сюда, почтенные, здесь самый лучший товар-с! Ножи есть мясные из железа кричного, а кому угодно ножи чацкие, черненные! А вот шилья халяпские по тыще в связке, ежели кто две связки зараз купит — тому три деньги уступка!

Мальчонка из подвальной лавки хочет всех перекричать:

— Портки, портки, портки! Девять копеек пара! А ну налетай, подешевело!

Степенные покупатели ходят, пробуют; прежде чем купить, из одного ушата зернистой икры откушают, потом из другого ушата — паюсной, да еще поморщатся — с душком.

Продавцы терпят, знают: этот, например, дворецкий князя Долгорукого, если уж купит, так сразу пуд.

На перекрестке в самой толчее устроился кукольник, задрал над головой полог, там у него уже Петрушка скачет, дерется игрушечной дубинкой, пищит тонюсенько:

— Вот каков Петрушка, пинок да колотушка, боярам сопли вытер и переехал в Питер!

Купцы хохочут, кидают Петрушке медяки, которые он хитрится хватать своими игрушечными лапками. Какой-то монашек в скуфейке отплеивается, крестится. А земский ярыжка в рыжем полушубке и замусоленном

нарике грозит кукольному палкой — не забывайся, Разбойный приказ недалеко! Но самая солидная торговля — на Красной площади. Там, перед собором Покрова-на-рву, который именуют также Василием Блаженным, там еще при царе Алексее Михайловиче были построены длинные ряды в два жилья, одно над другим. Над нижним сооружен навес на столбах, обитатели рядов не без фасона зовут его «галдарея». Это и есть Покромный ряд — товары красные, бурмицкие, златошвейные, заморские. Тут нет такого галдежа, такой маечты, как в лавках ильинских или николевских. Тут сделки сотенные и разговоры степенные.

Да на Красной площади тихого уголка и не сыскать! Бредут страннички с котомками, в лаптях, разбитых с дороги, стража гонит их подалее от ворот. Крестятся они на купола, сияющие в лазоревом небе, дивятся на шведские пушки — единороги и мортиры. На каменных раскатах вдоль Кремлевской стены выставлены трофеи недавних побед, а под раскатами опять же лавки — и там торгуют. Вот привели к Лобному месту несостоятельного должника на торговую казнь. Он, опустив голову, стоит в одних подштанниках, пока палач выбирает батоги, а приказный с носом, сизым от нюханья табака, разворачивает свиток с приговором. Жена и дети осужденного плачут, купцы же из лавок похохатывают, пальцами кажут.

И над всем этим плывет в январском морозном небе перезвон множества колоколов — звон медный, бронзовый, густой и, как уверяют сами жители Москвы, малиновый.

— Что, Васка, начал торговлишку-то? — спросил прохожий, заглянув в самую крайнюю полатку Покромного ряда, что у Спасских ворот. — Не идет к вам никто? Сказывали мы твоему батюшке, сказывали: не станет люд московский покупать гражданскую книгу, он к старине привержен. Прогорите, хе-хе-хе!

Бяша Киприанов — а именно он торговал в этой полатке — с досадой хлопнул ставней лавочного раствора.

Действительно, накануне под барабанный бой было объявлено, что в полатке у Спасского крестца открылась библиотека государева, где можно купить любую книгу, а кому угодно — картину новой печати, також и для прочтения выдаются, но никто пока к Киприановым не пришел.

День-деньской плещется Москва торговая, деловая, приказная, военная, злоязычная, плещется на Красной площади, как некий океан, у раствора киприановской библиотеки. Вот зашел мужичонка, долго крестился в красный угол, потом спросил шепотом, кто здесь переписет ему прошение в Сенат. Долго Бяша втолковывал ему, что площадных писцов упразднили, теперь по царскому указу бумаги перебеливают в самих учреждениях. Мужичок все крестился и шепотом умолял написать ему челобитную.

А то забежала чья-то дворовая девка, потребовала свечей и кофейных зерен. Бяша предложил ей купить гравированную картину «Егда же и небываемое бывает» — про морскую баталию, — она отскочила, будто ей совали черта.

Потом начали хаживать старички книготорговцы из Книжного ряда — Белозерцовы, Сотниковы... Хмыкали, подзююкивали. А грубый Несмеян Чалов, который скупает книги рукодельные в Монастырский приказ, посулил мышей принести из своего амбара. Они-де у него прошлым летом поели полсотни Притчей Эссоповых, сиречь Басен Езопа, как раз амстердамской новой печати, так теперь пусть у Киприановых те мыши и питаются!

В книжной лавке, в новооткрытой той библиотеке, стоял холод невообразимый. Оба раствора Бяша распахнул пошире, чтобы видны были прохожим куншты — гравированные картины, а также персоны государя, царицы Екатерины Алексеевны, царевичей, царевен... Хуже всего стоять просто так, без дела, — ноги коченеют, пальцы на руках не владают совсем.

Забежал на миг Максютя, приказчики его за перцовкой послали. Узнал, что торговля не идет, махнул рукой:

— Говорил я тебе, в Санктпитер вам надо ехать, в бурх! Вся Россия теперь там, в Москве-то что осталось...

Бяша, чуть не плача, отошел. Максютя огорчился:

— Я же с сочувствием... Ну, сказывай лучше, как там у вас давешняя беглянка, жива?

В то утро после пресловутой ассамблеи Бяша, проснувшись, долго лежал, силясь понять, что в его жизни вдруг произошло.

Снилось, что ли, это все ему? Дразнящий запах духов, женская рука на плече — хоть дотронься губами. Обмирала душа! И круженье в танце, и гром диковинной музыки, и треск множества свечей. Ах, Бяша, Бяша, Василий-

младший Киприанов, куда вдруг покатилося Фортуны резвой колесо?

Внизу, в поварне, стоял галдеж. Слышался высокий, как на клиресе, голос бабы Марьяны. Отец возражал ей кратко, а Федька хохотал и вставлял свои рацеи. У них на поварне чуть ли не каждое утро затевался диспут.

Но вот что-то новое послышалось в гаме спора. Незнакомый девичий голос что-то объяснял, захлебываясь слезами, и от голоса этого, нежного и страдающего, у Бяши вдруг душа сжалась в ледяной комок. Вспомнились ясно молящие глаза из-под платка, мороз, метель, сполохи костра... И насмешливый тон бабы Марьяны: «Девка эта, побродяжка...» Какая уж там ассамблея! Словно иглою стальной пронзило — больше ни о чем думать не мог.

Встал, накинул ярмяк, вышел в поварню. Отец и подмастерья из общей мисы полудновали вчерашними щами. Увидев Бяшу, отец протянул ему ложку.

Баба Марьяна двигала ухватом в печи, ворча себе под нос:

— И что тут мудровать? Сдать их в поместную канцелярию, там приказные стрючки живо найдут, чьи это людишки. Не найдут, так приклеют.

— Во-во, приклеют! — захохотал Федька.

— Довольно! — Отец стукнул ложкой.

Некоторое время слышалось только жеванье и хруст разгрызаемого чеснока.

Бяша взгляделся в полутьму поварни, освещаемой тусклым слюдяным оконцем. Совсем рядом на лавке сидел мальчик лет пяти, держал калач. Широко расставленные глаза его с любопытством смотрели на новый уклад, куда довелось попасть. Баба Марьяна с утра успела пришельцам устроить баньку, переменяла чистое, что нашлось, а прежние лохмотья сожгла. Так и хотелось погладить по пшеничной головенке этого богатыря, что Бяша и сделал.

И тотчас заплакала девушка, которая мыла тарелки у лохан в углу. Отвернулась, уткнувшись в передник; видно было, как вздрагивают ее худенькие плечи под холстинной Марьяниной поневой.

— И плачет-то не от кручины, — сказала баба Марьяна, швыряя из печи сковороду на стол. — Плачет, ровно над нами смеется.

— Сватья! — повысил голос отец и встал.

Несмотря на известную всем кротость нрава, Онуфрич мог и из себя выйти, и тогда уж — беда!



— Да я что...— Баба Марьяна сняла с себя фартук и повесила на гвоздь.— Я тут не хозяйка. Пусть поживет, себя покажет. Посмотрим, как управится с твоим ералашным домом.

Но отец уже не мог остановиться:

— А я что же, в своем доме лишний? Все желают мне указывать! Не так-де живу, не так верую, не с теми-де кумпанство вожу! Живу, однако, так, как велит мне долг политичный, гражданский. Господином генерал-фельдцейхмейстером зело обнадежен, он же сказывает — и государь милостив ко мне. И наплевать, что толкуют обо мне в рядах, что скрипят в Кадашах, что ахают в богоспасаемом Мценске, вся родня!

Федька, по своему обыкновению, смеялся, подмастерья жевали. Один бессловесный швед Саттеруп посочувствовал хозяину: зачерпнул ковшик кваса, подал — дух хотя бы перевести.

Киприанов Василий Онуфриевич не помнил родства. Как очутился он в Кадашевской сотне, как мальчонкой встал подручным у ткацкого стана, он не мог объяснить. Прозвище его, как занесено оно писцом в сиротскую запись, явно отдавало поповским — не Купреянов, как говорят в деревнях, а именно Киприанов, на греческий лад. Да еще из глубин младенческой памяти может он исторгнуть страшный пожар, пламя бушует везде, словно стоголавая гидра, он сам, другие дети, какие-то бабы стоят на коленях, держат образа... Кто знает? Бревенчатая тесная Москва частенько выгорала.

Затем хамовный староста подметил способность мальчику к счету, к рисованию. У старосты был кум в услуженье у ученого человека — Леонтия Магницкого, тогда еще студента Академии славено-греческой. Кум и устроил молодого ткача вместо себя к студенту сапоги чистить, заодно и голодать вместе с нищим господином. Так оба, и хозяин и слуга, попали в Навигацкую школу, когда была она учреждена царем Петром.

А при втором Азовском походе Киприанов, человек уже на виду, был послан со сметливыми иноземцами в Воронеж для расчета строящихся там фрегатов. Иноземцы, по наглости, что ли, ихней, в пропорциях зело оплошали, а Киприанов — нет. Тут государь его впервые заметил. Поручил даже Киприанову с отрядом драгун искать корабельный лес в рощах по берегам Хопра. Раз ночью у догоравшего костра его разбудил драгунский сотник:

— Вставай, Онуфрич, не желаешь поразвлечься? Казаки девок привезли, продают.

— Каких таких девок?

— Полонянок, православных, у татар отбили, когда те из набега низом шли.

— Да как же можно — русских, православных, и продавать?

— А кто им, казакам, запретит? В степи они — хозяева...

Одна полонянка, худенькая, грустная, в порванной посконной поневе, вот точно такая же, как эта теперешняя беглянка, просто резанула тогда сердце юному Киприанову. А драгунский сотник подзуживал:

— Купи, купи, Онуфрич, у тебя же деньги корабельные есть. Казаки ее все равно продадут. Хорошо, если не гололобым. А нам она будет портки стирать.

На другой день драгунский сотник на Киприанова криком кричал, узнав, что он отпустил купленную девуку со встречными монашенками домой. Оземь швырял драгунский сотник треух, так хотелось ему той грустной полоняночкой владеть. А когда вернулись в Воронеж, тут же доложил по начальству. У Киприанова открылась, ясно, недостача. Дали ему двадцать плетей, которые он вытерпел без стога — было за что терпеть, — и отослали обратно в Москву к Леонтию Магницкому.

Прошло еще время, съездил Василий Онуфриевич Киприанов в укрепленный городишко Мценск, что стоит на форпосте засеки, от злых крымчан московский край оберегает. Там, в Ямской слободе над полноводной Зушей, что несет барки с хлебом в матушку-Оку, нашел он свою полоняночку, которая его ждала. Затем, как водится, была свадьбка, затем родился младший Киприанов, этот самый Бяша, затем житье-бытье в Москве — в скудельных Кадашах.

Как бог дал, так бог и взял. Прошла черная оспа, крылом адовым задела. Были ведь годы, когда Москва от напасти этой сплошь вымирала, а тут мор прошел поулочно, где повезло — никто не болел, а где не повезло — целые порядки лежали мертвецов. У Киприановых унесла она любимую их, ненаглядную. Вернулись отец и сын после похорон в пустынную, страшную камору свою в Кадашевской слободе — не придумают, что и делать, руки повисли. Однако обошлись, обгоревались, принялись —

отец за труд, сын за учение (только что в Сухареву башню отдан был).

И в одно праздничное утро (лето было — Троица либо Спас) в ихнюю избушку, которую они снимали в ту пору близ Сухаревой башни, ввалилась целая куда народу.

Впереди шел мужик рыжий и ражий в ямщицком армяке, протянув к Киприанову руки, жаждущие объятий:

— Ой, да что ж ты, свет ты наш Онуфрич, что же ты не отписал нам во Мценск о кончине нашей дражайшей сестрицы? Ведь мы не чужие, помогли бы, ободрили... Вот глянь, дела побросали, все к тебе приехали — племяш твой Кузьмич, оба свата — Силка да Семейка, а вот свояченицы Пелагея, Фетинья, Марьяна... Я же — ай не признаешь? — Варлам, шурин твой, брат покойницы!

Как не признать! Жители Мценска, сиречь амчане, люди общительные, радушные, что не наедят, то напьют, что не выпросят, то так утащат. Недаром говорят, что Мценск цыганы за семь верст объезжают. А то еще, когда кто хочет кому несчастье накликасть, желают тому: «Амчанин тебе во двор!»

Спустя неделю амчане нагостевались, утомились от многошумной Москвы, и рыжий Варлам сказал Киприанову:

— Ну, вот что, брат Онуфрич. Надобно жить породственному. Тут у вас в Москве торг бесподобный, большие можно иметь куражи. Мы к тебе станем то подвочку посылать, то, глядишь, воз. Ты же в бурмистерской палате свой человек, привилегию нам спроворишь, местечко в рядах... Надобно тебе и дом собственный становить, что же ты все в квартирантах ютишься?

Затем он выкушал за здоровье хозяина стопку настойки и, заев огурцом, сказал особо проникновенно:

— И не пора ли уж, брат, тебе заново жениться? Породственному сказываю, несмотря что покойница была мне любимая сестра. Вот обрати-ка взор на Марьяну, вдовица она, моей жены сестра, следовательно, мне свояченица и тебе не чужая. Статью, важеством господь ее, гм-гм, не обидел, и лета ее еще не ушли...

Вечером Киприанов с сыном заперлись в гравировальной мастерской, которая в те поры размещалась тоже в Сухаревой башне. Киприанов помнил, что жена его, покойница, мценских родичей своих отнюдь не жаловала. Очень была скрытна она по поводу обстоятельств полонна своего у крымчаков. Можно было только догады-

ваться, что кто-то сыграл с ней шутку наподобие как с библейским Иосифом его братья.

Думали они с мальчиком думу свою, больше молчали, мать невидимо стояла тут. Назавтра Киприанов, прикусив губу от неловкости, объявил шурина, что жениться не согласен. Амчане нисколько не обиделись, учинили прощальное возлияние и отбыли восвояси. Но Марьяна-то осталась!

Хозяйка и взаправду нужна была шумному мужскому общежитию, каким был, по существу, киприановский дом. А уж хозяйничать баба Марьяна умела.

— Я вдова божья, беззащитная, меня обидеть — великий грех, на Страшном суде вдвое зачтется!

Что же касается сирот, прибившихся к киприановской полатке, была, однако, и ее правда. По всей Москве отчаянный сыск шел беглого люда. Ежели и не докажут, что беглые, все равно приказные крючки душу вымотают и догола оберут.

Поэтому, когда баба Марьяна со значением повесила свой хозяйский фартук на гвоздь, а Онуфрич взорвался и наговорил лишнего, некоторое время в поварне была сосредоточенная тишина, подмастерья даже жевать перестали.

— Ладно уж тебе, Марьянушка! — Солдат Федька примирительно хлопнул в ладоши. — Неужто у тебя не христьянская душа? Обороним их как-нибудь от приказных лиходеев! Тебе помощница уж как нужна — и постирать за нами и постряпать. И я, грешный, глаз свой тешил бы на старости лет — глянь, какая она красавушка!

— Молчал бы! — махнула на него баба Марьяна. — Посмотри на себя в зеркало, рожа-то как рукомойник!

Все засмеялись, заговорили, стало ясно, что Марьяна уступает. Федька поманил девушку к столу.

— Да как звать-то тебя, скажи.

— Устя. Устиньей крестили. Отца-матерь не помню. Погорельцы мы, сироты. Христа ради питаемся при дороге...

— Ох, таранта, таранта! — пробурчала баба Марьяна. — То она плачет, то она скачет.

— А херувимчик этот? — Федька указал на мальчика.

— Он мне не брат. Никто. Так, побирушка, звать Авсенья.

— Как? — воскликнули все удивленно.

— Авсенья...

— Уж не гололобый ли? — подозрительно наклонилась к нему баба Марьяна. — Что за басурманское имя! Как тебя звать-прозывать, парень?

— Василий, — ответил мальчуган важно и даже болтать ногами перестал.

— Да, да, Василий, — подтвердила Устя.

Все облегченно перевели дух, а Киприанов засмеялся и как составитель календарей пояснил, что Авсений в некоторых уездах по старинке именуют Васильев день, что приходится на колядки.

Еще один Василий! Это дало повод солдату Федьке вновь потешиться, а новоявленный Авсенья глядел на мир безмятежными глазищами и ел себе калач.

— Да откуда ж вы идете, горемычные? Нет ли в тех местах какой погибли или чумы?

— С каликами мы ходили, со старцами, Христа славили по дворам, по усадьбам. Царские ярыжки старцев святых забрали, яко тунеядцев, а мы вот утекли, бог спас. А идем мы из города Мценска.

Вот те на!

Если бы в слюдяное оконце вдруг влетела жар-птица, она не наделала бы такого переполоха, как упоминание о славном сем граде. Из самого города Мценска! Баба Марьяна стала тут же допытываться, кто там протопоп да как там дьячка зовут и прочее. Но Устя выдержала ее розыск.

Решили: поскольку по штатной росписи библиотекариус со всею чадью присовокуплен к Артиллерийскому приказу, то станет бить челом Василий Онуфриев сын Киприанов, чтобы сироты Василий малолетный да девка Устинья были приписаны туда же.

Все сие и поведал Бяша своему другу Максюту, когда тот забежал узнать, как идет торговля. Максюта выслушал и мрачно сплюнул.

— А моя-то Степанида сокрылась, как солнышко во облаках.

— Что-нибудь случилось?

— Признаться уж, ранее тебе я не сказывал. Мы с нею ведь иной час виделись, было дело. Она балованная, не гляди, что батя ее грозен, она им крутить умеет. От меня же ей песни надобны, до песен любовных Степанида зело охотница, я их знаю — жуть. Ну, а после той ассамблеи треклятой... Жаль, что ты мою Степаниду в лицо не знаешь, а то спросить — ты там за ней ничего не заметил?

— Да если б и знал ее, как заметить? Там народу было — ой-ой-ой!

— Тыща!

— Ну, может, и не тыща, а штук пять сот.

— Так вот, после той ассамблеи она мне ни шумочка, ни глазочка. Уж я перед ее светлицей в день по двадцать раз прохаживаюсь. Старший приказчик, чтоб ему лихо-манка, меня за вихор драл... Не иначе, кто-то ее там при-сушил!

— Да на что же ты надеешься, Максютя, друг?

— Понимаю, я же не дуботолк какой-нибудь, понимаю. Кто есть я — червяк безродный, и кто она — гостинной сотни первейшего ранга дочь. Но ведь бывает, случается же! На торжке сказывали, ярославского одного купца приказчик сговорил того купца дочку с ним бежать. Как называется — увозом венчался! Так купцовы сыновья потом приказчика того до полусмерти лупцевали. Однако выжил приказчик, и купец его зятем признал.

Бяша на Максютини речи только головой покачивал.

— Как же быть мне, Васка, голубчик! — горевал Максютя. — Как мне в люди-то выйти? Давеча господин природный мой Елагин, стольник, или, по-теперешнему, камергер, управителя своего прислал, с московских крепостных оброк собрать за год вперед, их превосходительство с царем в чужие земли отбывают... Ведь это что, Васка? Ведь мне-то самому платить нечем, за меня оброк вносит по уговору хозяин, купец Канунников. А он, Канунников, даром что Степанидин отец, знаешь он какой. И кафтанец он мой отберет, и волосы накладные, и все, все!

Максюта соорил плаксивую мордочку.

— Эй, молодые купцы! — В распахнутый раствор въехал медный котел на пузе разносчика. — Не угодно ли горяченького сбитня? Кишочки прополаскивает, от безденежья помогает!

Взяли по кружечке за грошик.

— А что, Бяша, — Максютя отвлекся от своих горестей, дуя в обжигающий сбитень, — почему бы в лавке вашей печку не поставить? Экий ведь холодина! Ведь у вас и не совсем даже лавка — библиотека!

— Есть такой указ — в торговых рядах не разрешать печей, пожаров во опасение. У вас ведь в суконной сотне тоже без печей.

— У нас товары другие... А тут, гляжу, книгу ты листаешь, не снимая рукавиц. Да и порчи небось много —

сыреют листы, переплеты. А указ — он что? Указ что дышло — как повернул, так и вышло.

— Покромные старосты нас тогда напрочь заедят. И то ябеды сколько пишут, что в поварне мы живем да и ночуем. В рядах жить ни одному торговцу не позволено. А наш новый дом в сельце Шаболове еще только под крышу подводят.

В этот миг в раствор сунулась всклокоченная козлиная борода и рука, потрясающая клюкой:

— Максютка, кашенок, разрази тебя лишай! За смертью тебя, что ли, посылать?

Максюта взвился и выскочил вон, ловко минуя карающую клюку.

А зимний день клонился к закату, людской прибой ослабевал, над переулками умиротворенно звонили к вечерне. Тогда наверху, перед раствором лавки, стали сгущаться тени каких-то людей, послышался визг санных полозьев, могучее «Тпру!». Кто-то командовал: «На караул!», кто-то почтительно говорил: «Милости просим!»

В лавку вступил начальственный господин в шубе и в кудрявом парике. У него были усики щеточкой, по которым Бяша узнал вице-губернатора Ершова. Чуть впереди него, пятась и кланяясь, сходил по ступенькам отец, делая пригласительный жест рукой. За Ершовым же шел тучный дьяк Павлов, артиллерийский комиссар в Московской губернии. Бяша хорошо его знал, он был прямым начальником отца.

За ними двигалась ещё целая куча людей в форменных одеждах, заполняя все пространство между прилавками. Все они явились, вероятно, от обильного стола, многие еле скрывали зевоту. Из ртов вылетали морозные пары.

Вице-губернатор, который как никто был бодр и ясен, указал перчаткой на ряды полок с книгами:

— В открытии библиотеки сей новое свидетельство неусыпного попечения монарха о благосостоянии народном имеем. Еще столь недавно, памятно всем, по сугубому настоянию Петра Алексеевича здесь же, на древней площади Красной, открывали мы главную аптеку лекарств, врачующих телесно. Ныне распахиваем врата иной аптеки — для души... Ах, что я зрю?

Ершов поднял с прилавка тяжеленный фолиант, и адъютанты кинулись поддерживать. Помусолив палец, вице-губернатор открыл титульный лист.

— «Се книга о экзерцициях, церемониях и должностях

воинских, людям надлежащих,—прочитал он торжественно.—Напечатана повелением царского величества в городе Санктпитебурхе...» Мы еще не видели книги сей. Давно ли получена?

И хотя он обращался к отцу, Киприанов, прежде чем ответить, вопросительно взглянул на дьяка Павлова. Тот шевельнул толстыми пальцами, разрешая говорить, и отец сообщил, что книга сия получена накануне, нарочито к открытию торговли.

Вице-губернатор поцокал языком, восхищаясь типографскими украшениями книги, закрыл ее и передал адъютанту, обещая деньги прислать потом, отца же просил впредь доставлять ему все поступающие образцы. Увидев Бяшу, который как продавец стоял за прилавком, он улыбнулся ему и спросил, много ли бывает охотников до купли книг.

У Бяши от волнения, как всегда, запершило в горле, поэтому он только отрицательно помотал головой. Тогда, протолкавшись сквозь вице-губернаторскую свиту, выступил Федька, застегнув на все пуговицы свой выдавший виды мундир.

— Им бы в Санктпитере открыться, ваше благородие, в бурхе. Охотники до книжного чтения ныне там...

— Ты кто таков? — удивился вице-губернатор.

Федька пристукнул подшитыми валенками и рапортовал:

— Отставной Иванова полка Ивановича Бутурлина фурлейт, сиречь извозчик, прозываюсь Федор, ваше благородие. Ныне же аз есмь библиотечарский солдат, приставлен, дабы долги за книги собирать с неисправных плательщиков.

Вице-губернатор засмеялся, тряхнул кудряшками парика:

— Значит, и с меня будешь долг взимать, ежели я за книгу ту не уплачу?

— Так точно, ваше благородие, — ответил Федька бодро. — Буду взимать.

Свита посмеялась сдержанно, поняв сию деликатную шутку.

— Санктпитебурх град, — сказал Ершов назидательно, — сей апофеозис России преображенной, отнюдь Москве первопрестольной запустения не сулит. Напротив, ежели в новой столице процветет все ироническое, высокородное, блистательное, то древняя Москва сми-



ренным тщанием пчел своих трудолюбивых прославлена будет. Льзя ли сыскать более возвышенный удел?

Лавочный мороз, который тут был явно лютее, чем на улице, видимо, пробрал и его. Вице-губернатор сморщился, затем зажмурился, усики его распушились, и он чихнул так, что все кудряшки его парика взлетели вверх. Вынув из-за обшлага фуляровый платок, он высморкался, и адъютанты тотчас опрыскали ему руки душистой водой.

Спрятав платок, Ершов указал на безмолвного Бяшу:

— Взгляните на сего подвижника, стоящего возле книг! Кому уподобим его — полководцу ли, выводящему свои полки, или владельцу сокровищ, кладов несметных? Нет, скорее пахарю, готовому орать и засеять ниву просвещения...

Дьяк Павлов, который тщетно искал глазами стул или табуретку, где бы присесть, осмелился прервать красноречие вице-губернатора, напомнив, что время позднее, а надо еще побывать на освящении пороховой мельницы в Сокольнической роще.

Видя, что начальство собралось уходить, Киприанов спросил, что же все-таки делать. Охотников-то до купли книг пока не находится. Уж и меры принимались, вплоть до барабанного боя.

Вице-губернатор выслушал его с видимым раздражением и повернулся к своим соведующим спутникам:

— А вот мы осведомимся об этом у самих охотников до купли книг. Ну-ка, артиллерии констапель господин Щенятьев, конфидентно нам сообщите, сколько книг вы изволили купить? Усадьба ваша богатством славится изрядно, не правда ли, что лучшим украшением ее будут книги?

Щеголь Прошка Щенятьев поспешно сгонял с себя дремоту:

— Книги?.. Да, да, книги...

И поскольку он с явной надеждой взглянул на Бяшу, тот решил помочь своему недавнему товарищу по танцам. Достал книгу, которая Щенятьеву должна была быть знакома — ведь тот в недорослях на флоте образование получил, — раскрыл перед Щенятьевым титульный лист, и тот стал читать с затруднением:

— «Разговор у адмирала с капитаном о команде, или Полное учение, како управлять кораблем во всякие разные случаи...»

— Заметьте,— прервал его вице-губернатор, снова повышая голос,— сколь прелюбопытно там напечатано, судари мои: «Начинающим в научение, отчасти знающим в доучение, а не твердо памятным в подтверждение». Вот вы, господин адмиралтейц-секретарь князь Голицын, наука эта как раз по вашей части, вестимо вы уже книгу оную прочли?

Прошка Щенятыъ закрестился под епанчой— слава богу, отстал идолище вице-губернатор! А молодой князь Голицын ответил пренебрежительно:

— Науку мы сию в Амстердаме проходили под учительной тростью самого государя и таким же образом доучиваем в Санктпитебурхе. Для сего нам книг не требуется. Не твердо же памятны в подобающем им звании разные Фомки да Еремки, вот пусть себе книги и покупают.

От дерзких его слов всем стало неловко. Ершов же только прищурился и стал указывать разные меры. Например, всем служащим московских приказов под угрозой немилостей оную библиотеку непременно посетить. Или— купцам закупать себе книги, кои надобны, по плепорции своего торга.

Подойдя ближе к полкам, вице-губернатор посоветовал Бяше книги раскладывать по смыслу— политичные отдельно, фортификационные отдельно, навигацкие опять же в своем порядке. Так же и гравированный товар— куншты, персоны, ландкарты— развешивать по принадлежности к различным съясам, то есть наукам.

Наконец адъютант подал ему треуголку с пышным плюмажем. Ершов нахлобучил ее и быстро поднялся на улицу. Свита поспешила за ним.

— Слышали? Слышали?— металась ворвавшаяся в библиотеку баба Марьяна, которая доселе стояла за дверью.— У них, у верхних-то, драчка пуще нашей идет! Князья не хотят безродным подчиняться, пирожникам да землепашцам... Бают, что и царевича Алексея Петровича князья-то перед государем оклеветали, а он, сказывают, за народ.

— Ай да баба!— восторгался Федька.— Прямо Сципий Африканский! Так и чешет!

Хозяин же сказал сумрачно:

— Не твое, Марьяна, это дело. Иди-ка лучше тесто ставь на блины. Забыла, что завтра масленица?

Весна приближалась неудержимо. Тени на снегу стали синими до такой яркости, что смотреть на них было не-

возможно. Уже под солнцем кое-где звенела капель, а московские драчливые воробьи, казалось, хотели заглушить весь китайгородский торжок.

Однажды, уж после Сретенья, в лавке появился и первый охотник до купли книг. Бяша сперва его не заметил — был весь поглощен Устей, Устиньей, их новой домочадкой, которая в тот день явилась к нему по велению бабы Марьяны с венником и тряпкой. Бяша был обеспокоен, как бы она не перепутала порядок в книгах или, не дай бог, не порвала края хрупких кунштов. Но если правду сказать, приглянулась она ему, эта беглянка куда бы ни пошла — Бяшины глаза сами за ней поворачивались. А ведь слова путного не сказала, даже мельком на него не взглянула.

Между тем вошедший посетитель прохаживался вдоль полок, взмахивая рукавами добротной рясы, — это был поп. Множество попов, дьяконов и разного духовного чина толпилось неподалеку от киприановской полатки — рядом была тиунская изба, учреждение, где с них брали церковную подать. Но никто из попов, виденных Бяшей, не был так страшен. Черный, как цыган, с глазами, сверкающими из-под бровей, с разбойничьей бородой, он брал книгу, как некое насекомое, листал и, не досмотрев до конца, отбрасывал. При этом напевал невнятно:

— Дреманием леностным одержим есмь... Юже рыдаю днесь и содрогаюся...

Страшный поп принялся делать Бяше знаки, чтобы тот подошел, не зная, видимо, как его звать-величать. Но как только Бяша приблизился, надевая очки, тот, наоборот, отстранился. Стал осведомляться, сколько стоит та или иная книга, метал взгляды из-под насупленных бровей. Затем вдруг спросил: а почему на книгах рядом с именем царя — «напечатана бысть по повелению его царского величества» — не ставят теперь имени царевича Алексея Петровича?

А действительно — почему? Бяша тоже заметил: с титульных листов исчезли традиционные слова «...и благочестивого государя-наследника», как будто бы он, царевич Алексей Петрович, не дай боже, умер!

Видя, что он затрудняется ответить, поп скривил бороду в змеиной улыбке и попросил вызвать к нему отца.

Отец, войдя и увидев посетителя, на глазах у Бяши изменился, даже словно похудел. Но подошел почтительно, как водится, испросил благословения. Поп же только и спросил, понизив голос, есть ли для него из Санктпитера

бурха газета «Ведомости» и не было ли писем от известного лица. Отец вручил ему сверток газет, а на второй вопрос, очевидно, ответил отрицательно.

Когда он ушел, отец стоял несколько мгновений молча, а Бяша в своих очочках издали видел у него на лбу бисеринки пота. Баба же Марьяна не преминула и тут вбежать и застрекотать:

— Протопоп это от Верхоспасского собора в Кремле, Яков Игнатьев, духовный был отец царевича Алексея Петровича... Он, считают, главный и есть сомутитель, вражды с отцом сеятель. Ох, по этому святителю, видать, давно плетка плачет!

Все промолчали на эту ее сентенцию, а Федька, промывавший укусом печатные доски в сенах, спросил вполне серьезно:

— А по тебе, душа Марьяна, что плачет?

— Что ж по-вашему, — оскорбилась баба Марьяна, — уж ежели я не мужик, так и мнения политичного выразить не смей? А когда староста придет за побором или ярыжки кого из вас, загулявшего, привококут, так Марьяна, яви милость, выручай?

И напустилась на Устю: дескать, метет она без души и пыль вытирает без тщания. Впрочем, она с Устей теперь обращалась ласково, хотя и не переставала расспрашивать о Мценске.

Наконец все ушли, и в лавке воцарилось привычное безлюдье. Только Устя, невидимая из-за прилавка, шаркала тряпкой, вытирая пол.

И вдруг она о чем-то спросила. Бяша поначалу не понял, что ее вопрос обращен к нему, настолько непривычен был девичий голос в его книжной пустыне. Он хотел переспросить, но сердце заколотилось от непонятного волнения.

И она спросила вновь:

— Для чего это?

— Что — это? — наконец вымолвил Бяша.

— Все. — Она обвела пальцем полки.

— Книги?

— Да.

Вот те на! А для чего, действительно, книги?

Бяша, еле собравшись с духом, принялся толковать, что книги суть реки, напоющие вселенную, что книжная премудрость подобна солнечной светлости, что дом без книг подобен телу без души.

Девушка слушала внимательно, выйдя на середину. Нежным движением руки поправляла волосы, выбившиеся из-под платка.

— А есть у тебя книга,— спросила она, не дослушав,— про которую ты мог бы сказать — вот прочту ее и стану блаженным?

Еще один вопрос, на который нипочем не ответить! Пусть бы она лучше спросила, кто такой Квинт Курций, книга которого лежит у Бяши на видном месте, или в какой стране света находится Америка.

— А ты знаешь такую книгу?— спросил он в свою очередь.

— Знаю,— спокойно ответила Устя.

— Как же она зовется?

— Голубиная книга.

Бяша даже присвистнул и, сняв очки, стал их протирать рукавом. Голубиная книга! Как не знать! Это же деды на базарах, калики перехожие, поют такую стихиру, в ней глупости несуразные вроде сказок про Еруслана и Бову.

— Такой книги нет,— сказал Бяша как можно более категорично.

— Нет, есть.— Устя отошла с таким видом, словно поняла, что и говорить-то здесь не о чем.

— Да нет же! — чуть не закричал Бяша.— Книгу, которая на типографском стане не выдрукована, нельзя считать книгой! Даже рукописная книга бессильна, потому что одинока, что же сказать о книге словесной, раз нет у нее ни страниц, ни обложки?

Но сам чувствовал, что говорит неубедительно.

А Устя, расхрабрившись, открывала крышки переплетов, заглядывала в титульные листы, рассматривала фронтисписы, где красовались дебелые богини или важные господа в кудрявых париках. Вдруг она прыснула в рукав и лукаво посмотрела на Бяшу.

— Что случилось?

— Книга тут странная... Про курицу какую-то, а нарисованы мужики с перьями на шапках.

— Да это не курица, это и есть «Квинта Курция, римского историка, достославное сочинение о делах, содеянных Александра, царя Македонского». А ты разве читаешь?

— Разбираем помаленьку...

И вдруг она застенчиво и мило улыбнулась Бяше,

и Бяшино сердце упало куда-то в сладкую бездну. Ах, какая же она славная—с глазами широко расставленными и ясными, смотрящими без боязни! Во множестве книг, Бяша знает, утверждалось, что благовоспитанной девице в присутствии даже близких мужчин взор свой скромно потуплять подобает. А что за потупленным тем взором на уме—до того никому и дела нет. Насмотрелся Бяша на своих, на слободских, да на торжковых красавиц. И насурмлены-то они, и нарумянены, и всякое у них словечко не просто, а с подходцем. Совсем другая эта Устя! Вот если бы Максюта...

А Максюта легок на помине, тут как тут. Удивился, что чистота в лавке, долго вытирал сапоги об Устину тряпку. Приятелю подал руку лодочкой, а Устю принялся выпроваживать:

— Ступай, русалочка, иди себе на поварню. У нас дела.

Но Устя заупрямилась и не пошла, будто уж зело много забот ей с протирианием книг.

Тогда Максюта придвинулся к самому Бяшиному уху и зашептал, весь горя страстями:

— Намедни Стеша велела к ней прийти... Просит какую-нито новую песенку принести, сказывает—скучно. Конечно, день да ночь, все в одной светелке, зимой ведь на качели не выйдешь... Васка, голубчик, сделай милость, перепиши красивенько, я новую песенку у одного прапорщика выучил—прелесть!

Оглядываясь то на распахнутый раствор, из-за которого все не шли люди, охочие до книг, то на склонившуюся за прилавком Устю, он вынул из-под полы маленькую балалаечку-бруньку. Заверил Бяшу:

— Я буду шепотом петь, а то без игры я и слова-то все перекорежу.

Максюта учился когда-то грамоте у москворецкого дьяка Вавилы, даже Псалтырь будто бы всю прочитал. Буквы знал славянские, а складывать их ему никак не удавалось.

— Иже, зело, буки, аз...—правильно называл он буквы.— А вот как из них складывается и-з—а-б, никак не пойму. Не дал господь!

Теперь, тренькая на балалайке, он бодро запел:

— «Ты сердце полонила, надежду подала и то переменила, все счастье отняла... Лишаяся приязни, я все тобой гублю, достоин ли я казни, что я тебя люблю?»

— Да помедленней ты, Максютя, не стрекоти, я не успеваю записывать.

Тогда Максютя, дав Бяше время записать напетое, прошелся козырем по библиотеке, уверяя, что это есть новое коленце в контрдансе, которое приказчики только что выучили от французского танцмейстера Рамбура...

И запел, заиграл с удвоенной энергией:

— «Дня светла я не вижу, с тоскою спать ложусь; но сне тебя увижу, но ах — и пробужусь!»

— Антихристы вы, антихристы! — вдруг отчетливо сказала Устя, выходя из-за горки с книгами.

— Что ты, что ты! — замахал на нее руками Бяша.

А Максютя, сначала опешив, быстро перешел в контр-наступление:

— Да ты о чем, девка? Мы православные, к причастию ходим, образа святые почитаем. А ты — антихристы! Да за таковые словеса тотчас — слово и дело государево и в Преображенский застенок, на козу!

— Слуги антихристовы! — упрямо повторила она.

Глаза у нее стали дикими, кулаки, как деревянные, ударили по прилавку, платок сбился, и коса упала на плечо.

— Э, да она у вас кликуша! — сказал Максютя. — Ну, мы на бесноватых управу знаем, у нас в рядах по две-три кликуши в день выпроваживаем.

Максютя действительно ловко ухватил Устю за косу и, хорошенько встряхнув, поставил на колени, а потом опять поднял на ноги и толкнул к раствору.

— Только не на улицу! — в ужасе вскричал Бяша, не зная, что предпринять.

Но Максютя отрицательно покачал головой, повалил Устю на скамью и стал растирать ей уши. Через некоторое время она действительно пришла в себя и только всхлипывала, качаясь взад-вперед, — ей было стыдно.

Расторопный Максютя сбегал на площадь и принес ей кружку сбитня и бублик. Вскоре они втроем мирно сидели, беседовали.

— Это за что же мы антихристы? — дружелюбно спрашивал Максютя, хотя Бяша щипал его за рукав, умоляя помалкивать.

— А то не антихристы? — грустно усмехнулась девушка. — Песни здесь поете, пляшете, столы у вас ломаются от снеди, суета сует. А мы как шли от Мценска — голод везде, кручина. Скот кормить нечем, крыши соломенные снимают — кормят... Колодники всюду, клейменные, пы-

таные люди... А еще страшнее — головы на кольях, птицами объединенные, торчат. В Серпухове, Белеве...

— И здесь головы торчат,— мрачно возразил Максютя.

— Это царские враги,— сказал Бяша.

Разговор не клеился. Максютя вновь схватил свою балалаечку, затренькал, заблажил:

— «На зеленом лугу, их-вох! Потерял я дуду, их-вох! Что за дудка была, их-вох! Веселуха моя, их-вох!»

Тогда и Устя тихонечко завела протяжную:

Из-за лесу, лесу темного,  
Из-за гор да гор высоких,  
Не красно солнышко выкатилось,  
Выкатился бел горяч камень...

Голос у нее был низкий, негромкий, не как на посадке, где певуны стараются всюю напрягать горло, а как у странниц, когда они поют хождение богородицы. Медленно выводила, покачиваясь:

Как придете во святую Русь,  
Что во матушку каменну Москву,  
Моему батюшке низкой поклон,  
Родной матушке челобитьице,  
А детушкам благословеньице,  
А моей душе отпушеньице...

— Гей, Устюха-красюха, что кручину навела?— вскочил Максютя.— Давай-ка лучше я тебя контрдансу поучу, ты, видать, была бы плясунья хоть куда!

И он потащил за руку упирающуюся девушку. Бяша только диву давался, как можно быть столь бесцеремонным. А Максютя уже крутил Устю всюю, пытаясь показать свое модное коленце.

Заскрипела задняя дверь, и вошла баба Марьяна.

— А, Максютка! Ишь горазд, и сюда плясать забрался! А ты, тихоня, на поварне слова от тебя не дождешься, а как увидела кавалера, туда же в танцы! Хотите я вас обсватаю? Вот будет парочка, петух да цесарочка!

Максютя подхватил свою балалайку, не забыл взять листок с песней и отбыл восвосяи.

Наконец-то пошли и охотники до приобретения книг. То ли вице-губернатор Ершов принудил, то ли до москвичей, вообще тугих на новое, наконец дошло, что появилась книжная лавка не чета всем прежним. Теперь в неко-



торые часы Бяша с Федором еле управлялись, а уж распаковывать прибывшие из Санктпитебурха книги доставалось одному Саттерупу. Спрашивали большей частью учебные книги, много продавалось календарей. Знатные фамилии — Прозоровские, Репнины, Гордоны — сами в лавку не ходили, а посылали слуг со списками книг. Зять Меншикова, светлейшего князя, ухитрился подъехать в возке к раствору лавки и через лакея послал сказать Киприанову, что ему из книг надобно.

А однажды под вечер вошел старичок, сухонький, горбоносый, улыбчивый, очень чем-то знакомый. И с Бяшей поздоровался как со старым приятелем, спрашивал о здравии и все улыбался. Скинул шубку, не боясь холода, потирал ручки. Старичок был маленький, и все у него было крохотное — и модный кафтанчик, и башмаки с пряжкой, и розовый дрезденский паричок. Книг пересмотрел он сразу множество, но, узнав, что чужестранных изданий Киприановы не выписывают, огорчился:

— Напрасно, напрасно... А знаете ли вы, прекрасный юноша, трактат о множественности миров? Знакомо ли вам такое достославное имя — Коперникус? Представляете ли вы, что на Луне, например, могут обитать люди, да не тот охотник с собакой, которого в полнолуние тшятся разглядеть в зрительную трубку наши любительницы поахать, а хомо сапиенс — человек разумный?

Бяша из своего опыта уже знал, что таким охотникам до книг бесполезно что-нибудь отвечать или разъяснять — они упиваются собственной ученостью. Но когда старик в разговоре упомянул об ученом споре между Лейбницем и Невтоном, Бяша не удержался — все же он был ученик Леонтия Магницкого, — чтобы не вставить, что спор идет о приоритете в изобретении дифференциального исчисления.

Словоохотливый старичок не обратил ни малейшего внимания на проявленные Бяшей знания. Он перекинулся на комментарии Невтона к Апокалипсису, в коих великий математик с точностью до трех дней вычислил дату конца света. Старичок говорил и говорил без умолку, пока не ударили к вечерне, когда полагалось кончать торговлю. Он ничего не купил, взял только на неделю почитать «Историю о разорении Трои», уплатив вперед полагающуюся за пользование плату — две деньги.

А когда уж он скрылся в вечерней мгле за раствором лавки, кивая и кланяясь на прощанье, Бяша вспомнил, где

его видел. Да это же был тот старикашка, который на ассамблее вместе с мамками опекал ту прелестницу, ту танцорку! Как давно все это было, словно в иные века, с иными людьми!

Этот самый старикашка вместе с мамками увел тогда ее от Бяши, ссылаясь на злополучную латку на кафтане... Фу! От стыда даже в жар бросило Бяшу. А он сам-то, Бяша, хорош — после ассамблеи и не пытался даже разузнать, кто она. Старичок этот, конечно, шут, домашний шалун, таковых множество в московских богатых фамилиях. И Бяшу он, без сомнения, признал — раскланивался многозначительно.

Ночью Бяше не спалось. То ли весна приближалась, то ли думы неясные мешали, брожение во всем теле — не понять.

Размеренно тикают часы-поставец, их слышно на весь флигель. Часы эти, так же как и серебряные очки, подарил отцу благодетель, генерал-фельдцейхмейстер господин Брюс. В их перестуке есть нечто магическое, вечное — так уверяет отец. Затем слышен оглушительный храп Федора, которого из-за храпа в общую горницу спать не кладут, стелют в сенцах. А снизу слышится храп понежнее, помягче. Это баба Марьяна, которая спит на печке. Как бы ее, кстати, ни уверяли, что она по ночам храпит, она отрицает, сердится, божится до слез. И еще слышится тоненькое словно бы повизгивание. Так спит малышка Авсенья, которому стелют в просторной корзине из-под белья.

Слышны шорохи разные, шепоты, скрипы, перестуки. Старый бревенчатый флигель будто наполнен тысячью невидимых существ. Когда Бяша был маленьким, он верил во всех этих кикимор, домовых, подпечников, до смерти боялся их ночных забав. Теперь, конечно, после Навигацкой школы и чтения множества книг, об этом и думать смешно, а все-таки лежишь, лежишь — и жуть забирает.

Внезапно над самой крышей раздается скрежетание и хрип, будто вращается множество ржавых колес. Это приходит в действие старый, заслуженный механизм курантов Спасской башни. Раздается удар колокола, другой, затем перезвон колокольцев. «Послушивай!» — кричит в ответ часовой у ворот. Потом бьют куранты другой, Никольской башни, и, наконец, совсем уж издали доносится звон еще одной из кремлевских башен.

Когда же умолкает последний звон колокола, слышится протяжный звук человеческого голоса — это стонут колодники из Константино-Еленинской башни, где сидят они, потеряв счет дням, под надзором Разбойного приказа.

А затем Бяша отчетливо услышал босые шаги. Чьи-то ноги, осторожные, как полет бабочки, не то поднимались, не то опускались по лестнице в поварне. Бяша сел на постели, вслушался. Яркий расплывчатый отсвет луны в слюдяном окошке позволил рассмотреть постель отца. Отец спал, а ведь это он иной раз по ночам, накидывая тулуп, уходит через двор в полатку и работает там до рассвета над какой-нибудь любимой ландкартой. Бяша встал и тоже, стараясь подражать полету бабочки, нащупал босой ногой ступени лестницы, стал спускаться. Боялся задеть кадушку и ковшик с питьевой водой у двери. А сердце билось в предвкушении неизвестного.

Так и есть! Сделав последний шаг, он наткнулся на что-то упругое плечо под холстинной рубахой. Пахло немного пряным и теплым, его обхватили мягкие руки.

— Бяша, это ты? — скорее дыханием, чем шепотом донеслось до него. — Это я, Устя...

— Хочу я в мастерскую сходить, — соврал Бяша. — Отец наказывал с вечера трубу закрыть, а я запамятовал.

— Не ходи! — прошептала Устя. — Не прохолодится ваша мастерская, уж морозы сошли.

И поскольку Бяша все же сделал движение к двери, она, крепко обхватив его, потянула к себе, а он, боясь в темноте упасть, послушно переступал за ней. И они сели на Устино жесткое ложе на лавке, где над ними на печи покоилась с нежным храпом воинственная баба Марьяна.

— Давай посидим... Мне не спится... — шептала девушка, прислонясь лицом прямо к Бяшиному уху. — Накатывает на меня, так и крутит, так и крутит. Вы с Максютой что, взаправду считаете меня кликушей или нет? Я не кликуша, вот мать моя — та была кликуша...

В ночной тишине, ткущейся из храпов и сопений, ее шепот, да и не шепот даже, а дуновение, эманация души, как выразился бы философ, казался Бяше сладостным пением Сирина, птицы райской.

— Мать саша чама была икотницей и на других икоту напускала. Лишь на бабу поикает, готово — испорчена баба. Это я тебе только как другу признаюсь, ты же меня не выдашь? Бывало, спрашиваю: «Мамонька, как же ты жи-



вешь, у тебя же, бают, бес во чреве сидит?» Она: «Ежели бы один, доченька! Их там сто бесов, на все голоса плачут, животы мои гложут. Один птицею кукует, другой козою блекочет, третий ворочается, как мельничный жернов...»

Она затихла, словно к чему-то прислушиваясь, а Бяша хотел храбро сказать, что лично он в кликуш не верит. Пример тому подал сам государь Петр Алексеевич, который указал, что сие есть глупое суеверие --- ни от природы, ни от бога. И еще он повелел, чтобы кликуш, равно как и других юродствующих, кнутами исцеляли и ссылали на осушение болот, ибо вода для здравия их кликушеского полезна. Но пока Бяша собирался это сказать, во дворе будто бы калитка хлопнула. Бяша напрягся, вслушиваясь,— все было тихо: наверное, просто показалось.

— Пора спать,— сказала Устя.— Не ровен час, проснутся— что подумают? Мне не спится, недужится, но я перемогнусь, а ты иди, ты добрый, ты умный, ты милый, Бяша...

Никто, никогда, с тех пор как умерла матушка, никто Бяшу так не называл. Отец любил его, но отец был немногословен и вечное занял! Бяша простил даже ей, что она его Бяшей назвала, у нее это так ласково получилось! И они пошли назад, обнявшись в темноте, долго поднимались, после каждого шага пережидали, затаив дыхание. На последней ступеньке она вновь приблизила лицо к Бяшиному уху:

— Дай я тебя перекрещу, пусть не говорят, что кликуши— ведьмы... А вместо молитвы я тебе заговор скажу, ты сразу заснешь и будешь почивать до утра.

И зашептала, как запела, слова ее скорее можно было угадать, чем расслышать:

— Трава реска, маленька, синенька, по земле расстилается, к долу приклоняется... Слова мои крепки и до веку лепки, нет им переговора и недоговора, будь ты, моя присуха, крепче камня и железа.

И верно, Бяша лег, камушком повалился и не помнит, как заснул.

А утром примчался Максютя, весь в горестных чувствах. У его Степаниды, оказывается, уже и сваха есть. Максютя шептал отчаянно:

— Копать, копать! Давай, Бяша, копать!

— Да что нам будет от этого копанья-то?

— Как— что? Клад найдем, попа купим в Нижних

Котлах, там, сказывают, они мздоимливы. Найдем первейших рысаков, сговорим Стешеньку и венчаемся увозом!

— Ты венчаешься, а я? Да и если она не согласится? Максюта молчал, повесив буйную головушку.

— Давай уж по-другому, — сказал Бяша, которому до смерти было жаль друга. — Когда выкопаем, государю отпишем, так, мол, и так, посылаем тебе, надежда царь, выкопанные воровские сокровища, а ты нас, верных твоих слуг, вот тем-то и тем-то пожалуй...

— Подлинно так! — оживился Максюта. — Что значит образованный-то человек!

Остаток дня ушел на подготовку. Максюта принес завершенные в попону заступ и кирку. Хотя все это имелось и у Киприановых, но решили не трогать, дабы не возбуждать подозрений.

Вечером Бяша еле дождался, когда все лягут. Часы тянулись, словно мучительное наказание. Бяша вспоминал прошедшую ночь, иногда ему представлялось, что Устя вновь стоит во тьме на нижней ступеньке. Ох, лишь бы нынче она там не стояла!

Думая так, он поднялся, прислушиваясь к тишине, стал спускаться ощупью. Задел кадку с питьевой водой, ковшик упал, загремел.

— Бяша, аиньки? — сонным голосом спросила баба Марьяна. — Ты, что ли?

— Водицы испить, — ответил Бяша. — Заодно хочу калитку проверить, не забыли ли запереть.

Слава Богу, Устя, вероятно, спала. Накинув кожушок, Бяша взял ключи и вышел во двор.

Весенние звезды ярко переливались в черном колодце неба над постройками. Иззябший Максюта ждал за калиткой наготове. Едва будучи впущенным и не дожидаясь, пока Бяша за ним запрет, он устремился к подвальной двери. В этот миг ударил звон Спасской башни. Под гром курантов не слышно было, как открылся им замок подвала. Долго кресали огонь, трут оказался сырым. Разожгли огарок, сунули его в слюдяной фонарь, стали спускаться по кирпичной лестнице.

— Эге, да кто-то у вас подметает тут, — заметил Максюта. — Вылизано, будто подъезд у вельможи. Надо остерегаться, как бы нам не насорить.

И вдруг во дворе над ними трепетно и ясно пропел петушок.

— Откуда у вас петух? — удивился Максютя.

— У нас нет петуха.

— Вот и я же об этом. На всей Красной площади и на торгу скотина запрещена указом, ни собаки, ни куры, разве котенок...

А петух, будто утверждал свое странное бытие, пропел еще раз, столь же радостно и звонко.

Но раздумывать о петухе было некогда. Кладоискатели с трудом отворили железную ржавую дверь, перенесли свою попону с инструментом. Максютя высоко поднял фонарь, освещая подвальную клеть, и оба они ахнули.

Посреди подвала была вырыта свежая яма, на дне которой лежал чей-то сломанный заступ.

## Глава третья

### НЕ ПО ХОРОШУ МИЛ, А ПО МИЛУ ХОРОШ

— О-нуфрич! Онуфрич же, отзовись!

Баба Марьяна, запыхавшись, взбежала по лестнице с резвостью, для нее несвойственной. Киприанов с подмастерьями был занят — сосредоточенно искал марашки на сверстанной печатной форме.

— Ну же, Онуфрич! Бросай свои точки-запятые — такая новость!

Подмастерья навострили уши, но баба Марьяна вытянула хозяина из мастерской и увела его в поварню, где в этот час было пусто.

— Онуфрич! Слышишь? Твоего Бяшу сватают!

— Свадают? Что ж он, красная девица, чтоб его сватать?

— Нет, ты послушай, Бяшу сватают! А он-то, тихоня, какую девку отгрохал! И то сказать — в отца. По глазам сирота, а по хватке — разбойник.

— Перестань трещать. Объясни толком.

— Куму мою знаешь, Ипатьевну? Дама в соку, хотя уж ей сорок, но больше тридцати не дашь. Соседи они наши по Мценску, под острогом жили. Да помнишь ты ее или нет?

Киприанов пожал плечами, а она даже поперхнулась с досады.

— У, бирюк! Она же каждый праздник к нам ходит,

наряжается — бострога у нее китайчатая, в полоску, а на голове фантаж носит не дешевле чем на двугривенный.

— Это Полканиха, что ли?

— Полканиха! Кто это выдумал такое прозвище? Супруг ее, царствие ему небесное, был, конечно, не генерал, но и не майор — полуполковник...

— Ладно, ладно, полуполковница. Так, и что она?

— У вашего, сказывают, пастушка да завелася ярочка, теперь скусить бы пирожок, опрокинуть чарочку... Я смекаю — ведь она сваха, эта моя Ипатьевна, по вдовьему делу она свашеством кормится. Я мигом на лафертике и чарочку и пирожок, она отведала, похваливает, а сама все про Бяшу интересуется.

— Да говори дело, у меня набор стоит!

— Кумекаю также — от девок к парням сваты спроста не ходят: может, она такая красавица, что в окно глянет — конь прынет, а на двор выйдет — собаки дохнут? Прижучила я сваху эту по-родственному, по-амченски: выкладывай, мол, с чем пришла...

— Марьяна же! — изнемог Киприанов.

— Имей, сударь, терпение! Ишь прыткий, а еще жалованный чин носишь, библиотечарский. Вот теперь держись. Онуфрич, на чем сидишь, да покрепче, я сейчас тебе такое скажу! Канунникова купца знаешь?

— Какого же Канунникова? Не того ли, который су-конщик? В Ратуше который вице-президент?

— Того, того! — закивала баба Марьяна, уже не заботясь, что кто-нибудь подслушивает.

— Ну, и что Канунников? Мы с ним в апрошах, не кланяемся.

— Теперь будете кланяться. Закидон-то именно от него наша полуполковница делала. Слушай же...

Баба Марьяна манила его пальцем наклониться поближе, а он все рвался назад, к своим марашкам.

— Аспид ты, бесчувственный! — наконец закричала Марьяна. — Не враг же ты своему сыну?

Выяснилось, что официального сватовства еще, конечно, не было. Просто сваха прощупывала благорасположение, давала понять — вот если б вы сами посвататься решились...

— Постой! — соображал Киприанов. — Канунников... У него барки сейчас в Персию пошли, не менее миллиона в обороте! Канунников! Это же сам московский Меркурий!



— Видишь, Онуфрич! Я всегда говорила, господь еще отметит тебя, простеца трудолюбивого, и вознесет! Пойду не мешкая свечу поставлю...

— Да погоди ты со свечой! Не верится мне что-то. Канунников — и я... и Васка, хотел я сказать... Не бесчестье ли, не шутка ли это чья-нибудь злая?

— Никакой шутки! — горячилась баба Марьяна, которая, как все стареющие красавицы, склонна была к свашескому ремеслу. — Полуполковнице можно довериться, своих, амченских-то, уж она не обведет. У Канунникова дочка единственная, матери давно нет. Чего по прихоти ее не делает, даже павлинов в огороде завел! Где-то она с твоим Бяшей самурничалась, в их годы ты небось тоже был мастак... Да и об сватанье, повторяю, нет пока речи. Госпожа полуполковница принесла нам от Канунниковых приглашенье. И я звана!

Киприанов задумался. Внезапные взлеты, как и — увь! — падения, были в обычае. Но ежели бы речь шла о каком-нибудь царском фаворите или о скоробогатее из числа наживал-подрядчиков, а то Канунников! Столп благочестия, зерцало доблести купецкой!

Он не стал ничего рассказывать Бяше, велел и Марьяне, чтобы язычок свой подвизала. Сыну просто объявил, что после пасхальной заутрени — к Канунниковым.

По вечерам, при свете трех огарков, Киприанов разбирал записки волостных старост и воевод, в коих они по повелению вице-губернатора Ершова рапортовали о промерах угодий и земель. Из записок этих он черпал сведения для своей генеральной ландкарты Московской губернии. Но на сей раз, видно, другим была полна его седеющая голова!

— Ух ты! — выругался он в сердцах, обнаружив вдруг у себя ошибку — Турицу-речку показал текущей на норд-норд-ост!

Не слышалось и умиротворяющего храпа бабы Марьяны. Она тоже лежала без сна, вся переполненная планами: «Федьку послать с лошадьми в Сухареву башню. Пусть нам одолжат школьную карету, зазорно иначе царскому библиотекарису выезжать. Алеха пусть наденет червчатый свой армяк, на ливрею похожий, на запятки пусть встанет. Хоть и не слуга он, а без выездного гайдука невозможно...»

В великую субботу, под самый праздник, когда в полатке и флигеле шла яростная уборка, на пороге мастер-

ской вдруг выросла фигура в немецком дорожном платье. Позади был виден слуга с объемистым чемоданом.

Вошедший весело гаркнул, рапортуя:

— Адмиралтейц-гардемарин Степан Григорьев сын Малыгин! Явлен прибытием из Санктпитебурха!

— Стеня! — радостно воскликнул Бяша, взбегая наверх из библиотеки. — Неужели это ты?

— И в гардемарины произведен! — говорил Киприанов, взяв гостя за плечи и рассматривая с улыбкой. — А вырос-то как. Настоящий Геркулес! Ну как там наши морские академики во главе с мистером Фарвархссоном?

Стеня Малыгин, в школе прозванный «Утопленник» за то, что бесстрашно нырял в самый рискованный омут и дольше всех мог не выныривать, в прошлом году при разделении Навигацкой школы на петербургскую и московскую переехал на берега Невы с Андреем Фарвархссоном, главным профессором, и другими иноземцами. А Бяша был в числе тех, кто остался в Сухаревой башне с Леонтьем Магницким и православными учителями. Бяша школу-то Навигацкую окончил, но на морскую практику не попал — по просьбе отца всегдашний благодетель генерал-фельдцейхмейстер Брюс оставил его в распоряжении Артиллерийского приказа. Так он чина офицерского не получил и остался помогать отцу в его книжной лавке. А Степан Малыгин — удалец, разумник, здоровяк — окончил петербургскую школу, которая теперь именовалась Морской академией, и получил назначение в Адмиралтейство.

— Я к тебе, Онуфрич, послан, — докладывал он Киприанову. — Велено карты шведские трофейные тебе отвезть, дабы ты разобрался, чего в нашей российской картографии недосмотрено.

Малыгин был великолепен — новенький синий кафтан с ослепительно начищенными пуговицами, настоящая офицерская шпага, круглая морская шляпа. Он усидеть не мог на месте — все говорил, рассказывал, и на москвичей веяло ветром иной жизни — новой молодой столицы, победоносной войны, непрерывных перемен.

— Сам государь, — не терпелось ему выложить обо всех своих успехах, — сам государь принял меня в Зимнем дворце. Петр Алексеевич в те поры только что изволили встать после болезни тяжкой, да вы это знаете. Когда я представлялся, он в кабинете у себя с механиком Нартовым работал на токарном станочке. Ныне уж он не кует,

не плотничает — трудно ему, но за станком стоит ежедневно...

Баба Марьяна выпроваживала гостя в баньку, уговаривала с дороги хоть кваску испить — не тут-то было.

— Присутствовали при разговоре сем и Брюс и генерал-адмирал Апраксин. Я доложил государю рассмотренные мною иноземные карты и то, что успел перевести на российский язык. Государь же заметил, что шведские, например, карты от наших в лучшую кондицию не гораздо отличаются. И достал он, государь, с полки, как бы ты думал, Онуфрич, что? Ландкарту под титулом «Тщательнейшая всея Азии таблица, на свет произведенная в Москве, во гражданской типографии от библиотекаря Василья Киприанова против Амстердамских карт!» Петр Алексеевич изволил тут весьма хвалительно отозваться: ты-де, Василий Онуфрич, верно придумал, что в своих ландкартах многие бездельные враки опустил, кои голландские шкипера помещают, — морских наяд либо единорогов, якобы им в путешествиях встречавшихся. И проекция у тебя ныне выдержана, а при сем господин Брюс заметить изволили, что научился-де наконец Киприанов проекцию геодезическую рассчитывать не хуже, чем у иноземных картографов.

Баба Марьяна снарядила-таки их в торговые бани вдвоем с Бяшей. Но и в бане, в промежутке между двумя ковшами воды, он, наклоняясь к Бяше и стараясь перекричать веселый банный гам, говорил, возбужденно блестя глазами:

— Государь наш — воистину великий человек! Все им держится, во все мелочи он вникает, всему дает движение. У меня он спросить изволил, хочу ли я, мол, в дальнее плавание. А я, Васка, знаешь? Я уже в настоящем бою побывал, когда определился на практику, мы две шведские шнявы на бордаж взяли. Меня даже ранило, вот здесь, выше локтя. Правда, теперь уже не заметно. Да это пустяк!

Баннный служитель поддал на раскаленный под квасом. Пошел дух упоительный — умереть можно было от удовольствия! Малыгин лег ничком на полок, а банщик принялся обхаживать его веничком.

— Так вот, спрашивал меня государь, — продолжал рассказывать Малыгин из-под веника, — хочу ли плавать... И указал — нашему-де российскому флоту надобно искать путь в Индию в ледовитых морях...

— Сам царь? — переспросил лежавший рядом Бяша, которого стегал другой служитель.

Но этот банщик оказался строгим, не позволял отвлекаться от банных священнодействий, ворчал:

— Вы, судари, про царя-то после договорите. В бане всем царь — березовый веник.

Зато дома, в поварне, Малыгин дал себе волю. Показал по карте ледовитые края, где государь искать новых путей хочет: Грумант, Кола, Мангазея и далее — Анадырь, Камчатка.

— Когда ж отправляешься? — усмехнулся Киприанов.

Малыгин развел руками:

— Да вот людей нет. Я пока да еще мой однокашник Чириков, ежели считать из волонтеров. Война к концу идет, государь так и сказывал: как замирение настанет, соорудим вам флот, дадим адмиралов...

Он привез Киприанову образцы кунштов, гравированных в Санктпитебурхе. Все сгрудились вокруг листов, ахая на изображения новой столицы — шпиль Петропавловского собора, проспект с ровными домами, фонтанная канава и на ней множество лодок и баркасов.

— Красотища! — Малыгин хлопнул ладонью по листу. — А была-то там дебрь! Истинный теперь рай. Правда, государь говаривать изволит — у нас-де в Питере сколь воды, столь и слез, тяжело всем тот рай дается!

Киприанов рассматривал детали гравирования на питерских кунштах, цокал языком от восхищения.

— Петром Пикартом делано, сей есть мастер божественного ранга. Не чета тебе, Алеха, — заметил он Ростовцеву. — Небось когда гравировует, о гулянках не думает и рука его не дрожит.

Решено было взять с собою в гости к Канунникову и прибывшего гардемарина.

На первый день Пасхи, после полудня, на киприановском дворике уже готова была школьная карета, подвинченная и смазанная. Солдат Федька, чертыхаясь с похмелья, запрягал в нее меринка Чубарого и кобылку Псишу.

Внезапно явился Максютя, взъерошенный, как воробей перед дракой. Он не обратил внимания на бабу Марьяну, которая приготовила ему крашеное яичко для поздравленья, не смутился даже и старшего Киприанова. Отвел в сторону Бяшу.

— Я все знаю! — блеснул отчаянно глазами. — Не ездди, Васка! Ежели ты мне друг, не ездди!

Бяша оторопел:

— Почему вдруг — не ездил? — Он начинал смутно догадываться. — Да и что в том такого?

— Как — что такого? — Максютя изнемогал от душевного страдания, рвал свои новенькие дорогие перчатки. — Как — что такого? Ты, Васка, не друг, ты змей двуногий, вот ты кто! А я-то, балда, а я-то!

Вот оно что! Та танцорка, та прелестница, оказывается, она и есть пресловутая Степанида! По всем законам дружбы Бяше надо бы сейчас повиниться, доказать, что ненароком... Но его почему-то только смех разбирал, и тем сильнее, чем больше неистовствовал Максютя. Бяша не мог сдержать улыбку.

— А! — вскрикнул, заметив это, Максютя. — Вот ты каков? И клад-то ты один выкопал, это ясно как божий день. Все мне теперь понятно!

— Максим, да постой!..

Но тот убежал в полном отчаянии, ударяя себя по голове. Бяша же твердо решил — ехать (да и не ехать ведь нельзя!). Но ехать с намереньем — при первом же удобном случае переговорить с той Степанидою конфиденчно, рассказать все о чувствах друга. Неужели такое страдание ее не тронет?

Дом Канунникова был на Покровке, у самых проездных ворот, где ручей Рачка по весенней воде учинил такие грязи, что пришлось из кареты вылезть и помогать лошадям. Киприановским клячонкам долго не удавалось вытянуть колеса из хлябей. «Точно как у нас в Санктпитебурхе!» — утешал Малыгин.

Зато гордо подкатывали, обдавая прохожих грязью, сытые шестерки богатых экипажей.

У верхней площадки парадной лестницы, где на потолке был написан Триумф Коммерции, или Совет небожителей, рассуждающих о пользе промышленности, в виде краснорожих толстяков на пирамиде райских плодов, у входа гостей встречал сам Авдей Лукич Канунников, мужчина представительный, с висячими польскими усами и в бурмистерском кафтане с шитьем в виде порхающих меркуриев. Парик, пышный, как власы библейского Авессалома, скрывал его будничную лысину.

Об руку с ним юная хозяйшкa, его жена Софья, чуть морща напудренный носик, приседала церемонно, приветствуя входящих. Шептали, что Канунников якобы забрал

ее у матери, торговки, в зачет какого-то долга, а что она будто бы моложе даже его дочери!

Молодая хозяйка, хоть и одета была наимоднейше — голые плечи будто втиснуты в жесткую парчу голландского роброна, — гостей привечала по-старинному. Брала у прислуги поднос с серебряной чарочкой и просила, именно торжественно, по имени-отчеству, выкушать, не побрезговать.

Потом, полузакрыв кукольные глаза, поднималась на цыпочки и целовала гостя в уста сахарные, как говаривалось в старину. Муж за плечом сурово глядел, чтобы было все по чину.

И дом все еще содержал Канунников по старине, только из покоев вынесли лишние иконы. А дубовые поставцы с фаянсовой посудой, просторные лавки, покрытые шкурами, окованные рундуки по стенам — все оставалось как при дедах Канунниковых, которые были известны еще со времен Козьмы Минина-Сухорука.

Разговелись чарочкой водки под малосольный огурчик. Ох уж эти московские стряпухи! И как только они ухитряются к весне, когда весь заготовленный овощ уже на нет сошел, сохранять свежайшие огурцы!

— Надобно то знать, — заметил по этому поводу гость, целовальник Маракуев, — что иные плоды, будучи в подпол поставлены, залаху других снести не могут. Взять, наприклад, огурец — он капусты, морквы терпеть не может, от близости же чесноку лишь духовитее бывает.

Разговор завязался степенный, неторопливый. Молодежь поднялась, перешла в покои хозяйской дочери — свой плезир делать. Для приличия туда же отправились дамы — немка-гувернантка, с ней почтенная мценская полуполковница, которая в доме Канунниковых была свой человек, и гостя — баба Марьяна.

— Киприанов-то у тебя зачем? — вполголоса спросил хозяина гость, целовальник Маракуев. — Не ты ли им брезговал, табашником обзывал?

— Новые времена — новые люди, — уклончиво ответил Канунников, дую в пышные усы. — Государь, бают, Киприанова сего в чести держит. Чин, правда, сомнительный — библиотечарь! Но ведь и чин к пупку не привязан. А мне дочь в свет выводить, политесу обучать, по-иному теперь невместно. Ты вот, друг ситный, чего в гости приперся при бороде, в армяке долгополом с семьюдесятью

пуговицами? Забыл, что ли, указ — немецкое платье носить?

— Немецкое-то платье в копейчку влетает! — сказал Маракуев. — Да и кто его в Москве носит? Разве когда в Ратушу идти или царя приехавшего встречать! А боярские жены, те по вся дни в телогреях щеголяют, на головах камилавки, как при царе Горохе.

— А вдруг кто из начальства нагрянет, будет штраф и тебе и мне. Обер-фискал вон, сказывают, по дворам ездит.

— Обер-фискал! — беспечно отмахнулся целовальник. — Он сейчас по помещикам ездит, которые картовь не желают сажать, бесовское яблоко, тьфу! А к тебе ему чего ехать? Ты, брат, не папешь, не сеешь, рублевой копейкою кормишься, хи-хи!

— Все бы тебе копейка! — с досадой сказал Канунников. — Ты помалкивай да пей-ка, вот там на дне копейка. — Канунников подлил целовальнику бражки. — Еще попьешь, вторую найдешь.

— Да и то сказать! — Гость оглядел стол в поисках закуски такой, которая только у богачей бывает, но любопытство пересилило, и он спросил снова: — А это кто ж такие офицеры молодые среди твоих гостей?

— Один, который в морском мундире, он с Киприановым приехал, ученик его, что ли, не ведаю. Другой же — артиллерии констапель Прошка Щенятьев, нешто ты его не опознал? Боярина Савелия Макарыча покойного сынок, покровителя моего. Теперь в женихи вышел, молно бога, чтобы Стеше моей по нраву пристал...

— Ну, и как?

— Человек предполагает, а бог располагает.

Маракуев вознамерился еще вопросы задавать, но Канунников на него втихомолку цыкнул — по-новому так не принято, надобно вести общую конверсацию, сиречь беседу.

А затем пошли перемены блюд — куря в лапше с лимоном, пупок лебединый под шафранным взваром, гусь с пшеном сарацинским, мозги лосьи, курица бескостная, а из рыбного — салтанская уха из живой осетрины, теша с квашеными кочанчиками и прочее, и прочее...

Гости насытились, сидели нахохлившись, словно индюки. Вбежал шалун Татьян Татьяныч, в бабьем уборе, со множеством колокольцев, похохатывая целовал хозяину ручку.

— Теперь нам всем надобно закрепления успехов виктории российской,— говорил Канунников, поддерживая разговор политичный.— Корабли наши пойдут без помехи в Амстердам, в Лондон. Мир нам нужен. Немецкие нитки иноземец продает в Москве по три алтына две деньги моток, я же в Гамбурге без него куплю оный за алтын. При возрастании же закупки и барыш соразмерно приумножается.

Канунников обращался при этом к Киприанову, а тот замешался, не зная, что отвечать. Он и разговоров застольных не слушал, все воображал мысленно ландкарту Московской губернии, там, где речка Лопасня,— как ее, развернуть к югу или еще протянуть версты три? Покивал на всякий случай хозяину, будто во всем согласен.

Тут заговорил шут Татьяна Татьяныч— и вполне разумно, не по-скоморошьи:

— Государь даровал жалованную грамоту эстляндскому дворянству, подтвердил все его привилегии, данные при владетелях орденских и дацких и свейских... Також и по взятии Риги, рижскому магистрату дарованье привилегий было. Свидетельствует сие, что Россия твердо ногою встала на северных морях.

— Ну, ты!— сказал ему мрачно Канунников.— Политик! Иди-ка, голубь, сюда. Перепрыгни через это кресло, ать-два!

И старичок Татьяна Татьяныч с визгом, оханьем, звоном колокольцев потешно разбежался и вспрыгнул на высокую дубовую спинку кресла. Там он закричал: «Виват!»— и свалился на руки поддерживавшего его хозяина.

Наконец Канунников обратился прямо к Киприанову:

— Наслышаны мы, что ваша милость дом возводит в сельце Шаболове? Как считаете выгоду свою от сего дома, станете ли сами там жить иль намерены сдавать на кондициях?

Но Киприанов был занят только своей ландкартой, которая никак ему не давалась, и строительством дома занимались баба Марьяна да сват Варлам, на чьи деньги дом и строился. Поэтому удовлетворить ответом Канунникова он не смог, и тот стал поглядывать на него с некоторым удивлением. А Татьяна Татьяныч тем временем объяснял гостям достоинство нововводимых напитков:

— Всем известно, что лучший чай приходит с Востока и что, того листика вложив щепоть в горячую воду, вода та становится, приложив кусок сахара, приятное пойло.



— Ешь кулебяку! — приказал ему Канунников.

— Как, всю? — опешил старичок.

— Всю, ерша тебе в загривок!

— Да в ней же полпуда, в этой твоей кулебяке, смилуйся!

— Ешь! — приказал Канунников.

И бедный шут, охая и морщась, принялся отламывать и глотать жирную кулебяку.

Канунников встал и вышел на дочернину половину. Там слышалось треньканье клавесина и тоненький посвист флейты. На клавесине бряцала сверстница Канунниковой дочери — Наталья Овцына, тоже купецкая наследница, этакая беляночка с осиной талией и взбитой прической. Плечи и грудь ее были обнажены елико возможно и усыпаны мушками по последней версальской моде. Дудел во флейту не кто иной, как Щенятьев, артиллерии констапель. Время от времени он от дудения отрывался, чтобы в который раз объяснить собравшимся, как модно теперь в Европиях знатым персонам играть на флейте. Он же объяснил, что парика теперь молодые люди не носят. Природные волосы отращивают и накручивают на бумажки, сиречь «папильотки». Он даже одну такую полу-сожженную бумажку извлек из карманца, всем показал.

— Уж таковые-то мужские тайности можно было бы пред дамами не объявлять, — заметила полуполковница, переглянувшись с бабой Марьяной.

— О, натюрлих! — согласилась немка-гувернантка, которую по неисповедимой для русского человека прихоти немецкого языка звали мужским именем — Карла Карловна. Немка смешно выпяливала глаза, а на ее шее, тощей, как у черепахи, тряслась морщинистая кожа.

Стеша же Канунникова развернула несколько листков, на которых Бяша даже и без очков узнал собственный почерк. Это были песни, которые он переписывал для Максюты, и Стеша запела под аккомпанемент клавесина и флейты:

— «В коленях у Венеры сынок ее играл, он тешился без меры и в очи целовал. Она плела веночки, он рвал из рук плоды... Ах, алиньки цветочки, дай, матушка, сюды!»

Стеша немного фальшивила, но голос был у нее негромкий, приятный.

— Подумать только! — ахала полуполковница, которая слушала песню с большим переживанием. — И у богов, оказывается, младенцы бывают озоруны!

А немка Карла Карловна раскрыла веер и затрясла им:  
— О йа, йа, натюрлих! Да, да, конечно!

Баба же Марьяна при всей своей природной разговорчивости сидела словно язык проглотив, — во-первых, блеск и довольство канунниковского дома ее подавили, она боялась словечко зря проронить, кое изобличило бы ее, Марьянину, простоту; во-вторых, она, честно сказать, не могла себя сдержать, приналегла на диковинные закуски и теперь от сытости онемела.

А Бяша рассматривал Степаниду, словно бы увидел ее в первый раз. Да ведь и вправду тогда на ассамблее он весь был в каком-то чаду.

Рослая, румяная, волосы как будто кто нарочно золотил. Все лицо ее, щеки, подбородок и грудь, выступавшая из корсажа, представляли собой соединение приятных округлостей. А рот был тонкий, упрямый — «как у щучки», подумал Бяша. И этот ярко окрашенный клювик выводил старательно под звон клавирина:

— «Меж тем ищет прилежно пастушка пастуха. Пришла, где тешит нежно младова мать божка...»

За спиной Бяши устроился в креслице Малыгин и, не внимая ни музыке, ни песням, не заботясь даже, слушает ли его Бяша, говорил свое:

— Наиболее огорчительно то, что самый северный наш форпост сие есть острожек Космодемьянский на шестьдесят восьмой широте. Идти к Югре далее — значит ставить зимовья с припасами, вероятно, и гарнизоны учинять...

Канунников, приоткрыв дверь, из-за дверного полога рассматривал общество, пока его не заметила глазастая Карла Карловна, дернула за рукав Степаниду.

— Довольно ли ты, Стешенька? — ласково спросил отец, когда дочь вышла к нему. Хотел погладить по головушке, но побоялся испортить замысловатую прическу, дотронулся лишь до голого плеча. — Ну, как тебе твой Киприанов, по нраву ли?

— Ах, мой фатер! — фыркнула Стеша. — Что вы с вашими намеками?..

Она отошла к своим гостям, а отец отправился к своим. По дороге его чуть не сбили с ног слуги, резво доставлявшие мороженое по приказу Степаниды.

В столовой в отсутствие Канунникова разговор пошел о запретном. Государь еще зимой отъехал за границу, на целебные воды, домашние средства уж исцеления не

дают... Войне конца нет и краю, все виктории да виктории, а Каролус свейский, между прочим, и не думает замиряться, земли свои назад требует. Непокойно в государстве, чают пришествия антихриста. Многие жгутся, палятся, смерти в огне не боясь, лишь бы избегнуть когтей адовых...

— Большой был пал на Ветлуге,— сказал целовальник Маракуев, понизив голос.— Человек два ста праведников сожглись и со жены их, со младенцы. В ангелы божии пошли без боязни, без воздыхания...

— Как же это они сожглись?

— А очень даже просто... У них там в лесном бору скит, пищали есть, и порох, и запасы. Как солдаты в бор — беглых искать, а раскольники те все сплошь беглые, так они давай стрелять из пищалей да из мушкетов. А как видят, что им не оборониться, потому что команды стали высылать по полуроте и более, так они в скит запрутся или в часовню, запалются, ба-бах! — и прямым ходом в рай. Лишь бы не в неволю!

— А солдаты?

— А солдаты, хе-хе, прямо нечистому в лапы, яко мучители и слуги антихриста...

— А слышать,— сказал один из гостей,— в Москве булавинский атаман объявился, Кречет его зовут. Мы реляций всяких начитаны, где напечатано, якобы вор и бунтовщик Кондрашка Булавин войсками его величества вконец разбит и изничтожен, ан глядь — разбойничий атаман уж на Москве хозяйничает, и сыскать оно не могут... Ни сам губернатор, ни обер-фискал, не к ночи будь он помянут!

Шалун Татьян Татьяныч, еле дожевавший последний кусок, не смог удержаться, чтобы не показать, что и он кое-что знает.

— А царевич Алексей Петрович... Ох, дайте взвару испить, колом в горле кулебяка та стоит... А царевич Алексей Петрович, сказывают, наследства лишен государем...

— Брысь, язычник! — замахал на него вошедший Канунников. — Ступай себе в девичью, пока я тебя не заставил сапоги жрать или что-нибудь похуже!

На улице уже давно раздавались какие-то крики и понукания, ржание лошадей и хлопанье кнута. Фасадные окна с частыми переплетами в доме Канунникова не имели форточек, но в них была вставлена уже не старинная

слюда, а немецкое граненое стекло. Все приникли к стеклам, но разглядеть, что случилось на Покровке, было невозможно. Хозяин выслал дворецкого, потом вышел сам.

В топкой луже, которую наделал весенний ручей Рачка, застряла казенная карета. Толпа добровольных советчиков, большей частью в праздничном подпитии, не столь помогала, сколь мешала делу. Кучер и фореитор, обозленные, полосовали лошадей, но те, как ни напрягались, вытащить карету не могли.

Тогда из ворот дома Канунникова выбежали молодцеватые офицеры — Малыгин и Щенятьев. Сняв кафтаны, они поручили их заботам бежавших следом девиц и остались в красивых бархатных камзолах и кружевных сорочках.

— Раз-два, взяли! — ухватились они за ободы колес.

— Постойте, государи мои! — произнес кто-то изнутри кареты.

Фореитор поспешил откинуть подножку, и оттуда выбрался очень полный и очень розовый господин в праздничном кунтуше с перламутровыми пуговицами. Толпа замолкла, некоторые начали поспешно ретироваться. Это был обер-фискал, сам гвардии майор господин Ушаков!

— Теперь толкайте, — сказал он, поправляя свое жабо.

— Раз-два, взяли! — К офицерам присоединилась толпа доброхотов, и карета мигом была выдернута из хляби.

Весеннее солнце припекало, воздух был свеж, птицы кругом щебетали. Артиллерии констапель Щенятьев вынул из кармана свою флейту и заиграл «камаринского». А купецкая дочь Наталья Овцына, оголив локти, обняла за шею гардемарина Малыгина и пустилась прямо на траве плясать, да не русскую — контрданс!

Тут оказался к месту шалун Татьян Татьяныч. Прежде чем кто-нибудь успел сообразить, он подскочил к гвардии майору Ушакову, сложил руки крендельком и пригласил его в хоромы, отдохнуть от дорожной конфузии, закусить чем бог послал. Поспешно спускался к нежданному гостю и сам Авдей Лукич Канунников.

Пока знатного гостя вели по лестнице, пока юная Софья Канунникова готовила поднос и чарочку, целовальник Маракуев метался в ужасе, готов был под лавку залезть.

— Ох, друже! — зашептал он проходившему вслед за гостем Канунникову. — Сделай милость, дай хоть какой

кафтан немецкий переодеть... И борода, как назло, без пошлыны, бородовой знак куда-то сынишка забельшил!

— Да ты поезжай себе домой! — посоветовал хозяин.

Но любопытному целовальнику домой не хотелось. Он впялился-таки в старый хозяйский бурмистерский кафтан и сел за столом так, чтобы и поблизости от оберфискала быть, и глаза ему бородой не мозолить.

Говорили сперва о погоде. Гвардии майор выразился: «Благорастворение воздухов!» — имея в виду весеннее настроение. Все согласно кивали головами, слуги наполняли кубки и стаканы.

— Сижу я теперь в вашей московской Ратуше, — сказал гвардии майор, налегая на балычок. — Сиречь именуется Коллегиум о коммерции. Сижу я там в самой вашей счетной экспедиции. Государь, изволив отъехать в края чужие, поручил мне разобраться в некоторых курьезных подробностях жизни московской...

Все замолкли, опутив взгляды в тарелки, ничего не жевалось.

Гость, вероятно, заметил, какое произвел впечатление на столпов жизни московской, потому что улыбнулся и сказал:

— Впрочем, что я о делах? Давайте о чем-нибудь приятном, о божественном, что ли, понеже праздник. Как говаривал мой ефрейтор, у которого я служить когда-то начинал, — служба службой, а дружба дружбой.

Но разговор теперь уж никак не клеился. «Чертов этот Татьяна Татьяныч! — досадовал Канунников. — Как бы развлечь людей, пошалить, так он и запропал!»

Неожиданно выручил целовальник Маракуев, который стал спрашивать у Киприанова: что, чин библиотекариуса равен ли придворному стряпчему или нет!

— Господин Киприанов? — переспросил гвардии майор, услышав эту фамилию, и раскрыл свои сонные глазки, чтобы получить того Киприанова разглядеть. — Нет, библиотекарь — пока еще чин не придворный. Хотя других государств монархи жалуют библиотекариуса даже министрам за особые заслуги. Стряпчий же, как и стольник, спальник, суть чины придворные, прежнего уклада. Стряпчий за государем со стряпней ходил, то есть с шапкой государевой, с полотенцем, судном. В церковь за ним носил скамеечку, коврик. Ныне все будет по-иному — в Санктпитербурхе готовится табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком классе

чины. По сей табели и библиотекарь образуется в каком-нибудь классе.

Канунников откашлялся и спросил:

— А правда ли, ваша милость, сказывают, хотя людишки все недостоверные... будто по новому этому указу или табели, как вы изволили именовать, даже и купец может дворянское достоинство получить, ежели, конечно, заслуги имеет и перед государем радение выказал?

Гвардии майор побарабанил по столу толстыми пальцами.

— Заслуги каждого из подданных будут в своем месте почтены. Что же касается табели, не скажу точно, ибо я не заседаю в комиссии, которая оную сочиняет. Но мыслю, что для купечества введут, скажем, чин коммерции советника, как оно практикуется ныне в королевствах прусском и свейском.

— А можем ли мы, смиренные, надеждою себя тешить,— не отступали купцы,— что чины оные дадут нам все-таки резоны на дворянство?

Ушаков помолчал, вынул клетчатый платок и обтер себе шею. Все внимательно ожидали его ответа.

— Благошляхетное и благочестное дворянство,— ответил он,— приобретается лишь рождением, происхождением от предков родовитых, для сего заслуг иных не потребно.

Он встал, благодарствуя за хлеб, за соль, за приют. Все двинулись, провожая, и в свою очередь благодарили высокого гостя за оказанную дому честь. Выйдя на крыльцо, обер-фискал взял под локоть Канунникова и указал ему на покровские грязи:

— Ты, Авдей Лукич, мостовые пошрины платишь, поулочные повинности несешь? Сказывают, миллион у тебя достояния. Раскошелился бы ты на каменный мостик через ручей у своих ворот. А то ведь и поссориться нам недолго... Как говорится, милейший, дружба дружбой, а служба службой.

Тут вывернулся Татьян Татьяныч, с оглушительным клохтаньем проскакал вприсядку и закричал швейцару:

— Господин лакей, не видишь, господин обер-фискал отбывать изволит? Доложи господину его кучеру, чтоб господ его лошадей заложили в госпожу его карету!

Гвардии майор рассмеялся, кинул шуту гривенник и уехал восвояси.

Пока отцы кручинились, сыновья и дочери наверху от-



плясывали менуэт, связавшись платками,— так было интересней. Однако уже и танцы надоели, тогда проворный на забавы Щенятьев предложил играть в жмурки.

— Вас ист дас? — осведомилась Карла Карловна. — Шму-урки?

— Ах,— сказала полуполковница,— это старомодно. В мое время в эту игру уж и чернецы не играли.

Но Щенятьев знал не монастырский, а санктпетербургский способ игры в жмурки. Для этого рассчитывались на жребий: «Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети, кук-мак, кук-мак, отставляй один кулак...», и так далее. Кому выпало водить, тот дает завязать себе глаза, а прочие целуют его в губы по очереди, он же должен угадать, кто целует. Почтенные дамы заахали, запротестовали, их никто и слушать не стал. Поднялась возня, веселые вопли, горница сразу сделалась тесной, стало ощутимо, что у девушек под платьями каркас из китового зуба.

Охотней всех визжала купецкая дочь Наталья Овцына, а угадала она только гардемарина Степана Малыгина, и он, в свою очередь, только ее и угадал.

Бяша отошел к окну. Внизу во дворе видны были стоящие люди. Там канунниковская челядь слушала, как веселятся господа. Бяша непрерывно думал о Максюте — как же ему помочь? Набраться бы смелости, подойти к Стеше и сказать прямо: «Давайте поговорим о Максиме...»

Он обернулся от прикосновения к локтю. За его спиной стояла Стеша, раскрасневшаяся, с выбившимися из прически локонами, и о чем-то спрашивала.

Стеша спрашивала, не скучно ли ему. Звала зайти к ней наверх, в светелочку, она тетрадку показать желала с песнями новейшего сочинения. Любит ли герр Василий песни? Нравится ли ему, как она, Стеша, поет?

Словно замороженный, он последовал за нею, когда она повела его за руку. Поднялись в светелку, всю обитую голландским голубым полотном. На поставце красовались диковинные иноземные куклы. Кафель пузатой печи украшали пестрые картинки — китаец с китайкой, медведь с поводырем, царь Соломон на судилище, бабы-фараонки с рыбьими хвостами.

— Вот они — песни... — раскрыла Стеша тетрадочку с розовой лентой. Голос ее вдруг стал сиплым, она еще более раскраснелась, и как будто чего-то ждала.

Бяша, чувствуя, что и сам краснеет, откашлялся.

— Мой друг Максим... — начал он.



— Что? Что?— В глазах ее застыло блаженное непонимание, а тетрадочку она листала машинально.

Вдруг из двери послышался противный скрипучий голос:

— Либе фрейлейн...— В светелку вплыла, на манер бабы-фараонки с рыбьим хвостом, насупленная Карла Карловна.— Ви правиль светски нельзя нарушайт!

Лицо у Стеши сделалось злым, совершенно пунцовым. Губы вытянулись в линейку, «как у щучки» — снова отметил Бяша. Она топнула ножкой и закричала немке:

— Вон!

Немка дернула черепашьей шеей, величаво повернулась и уплыла назад, за портьеру.

— Ах!— Стеша схватилась ладонями за пылающие щеки, при этом изящно, словно на картинке, отставила мизинчики.— Ах, герр Василий, я, наверное, сейчас ужасно некрасива, да?

Но в светелку в подкрепление гувернантке уже вплывала сама полуполковница, а за нею виднелась и баба Марьяна.

— Степанида Авдеевна, душенька, пора приглашать гостей к перемене блюд...

Стеша отшвырнула тетрадку с розовой ленточкой и, схватив Бяшу за руку, потащила за собой обратно вниз. Там игра в жмурки достигла апогея. Водить досталось юной мачехе, Софье Канунниковой. Та сидела неподвижная, словно восковая кукла, и только головой мотала, отказываясь надеть на глаза повязку и дать себя поцеловать затейнику Щенятьеву.

На обратном пути, сидя в сухаревской карете, Киприанов все покачивал головой и время от времени усмехался. Баба же Марьяна, когда карету подбрасывало на ухабах, еле удерживалась от икоты. Киприанов спросил не без ехидства:

— Ну что, Марьянушка, каковы тебе показались канунниковские разносолы?

— Ох!— ответила та.— Не ела— осовела, поела— опузателя. Да что разносолы! А хоромы? А злато-сребро? А прочая лопотина? И все твоим может стать, Онуфрич, через твоего чада!

Киприанов замолчал, сосредоточенно рассматривая ногти, затем вздохнул:

— Я тебе, сватья, отвечаю, как ты любишь— пословицей: «Залетит ворона в боярские хоромы—

почету много, а полету нет». Может, полет-то здесь и дороже, чем тот канунниковский почет? Давай-ка лучше спросим самого того чада.

Но Бяша сидел не отвечая, наблюдая через окошко, как убегает из-под колес бревенчатая мостовая Покровки.

И вновь потянулись будни. Ежедневный людской прибой бился о порог полатки Киприановых, изредка забрасывая за распахнутый раствор охотников до купли книг и картин. Дом на Шаболовке неусыпным тщанием бабы Марьяны и мценского Варлама рос как на дрожжах, настало время подводить его под крышу. Варлам настоял, чтобы Киприанов, конечно за мзду, выцыганил в своем Артиллерийском приказе тыщи две штук только что привезенной из-за моря поливной черепицы. Ныне модно, чтобы крыши были как в Голландии — остроконечные, красные, с флюгерами и медными петухами.

Однажды баба Марьяна скомандовала Федьке:

— Вставай, служивый, хватит тебе лежебочничать, солнце уж высоко. Запрягай лошадей, воз с черепицей перевезешь в Шаболово, не место ему на Красной площади стоять.

Федьке не хотелось ехать. Шло первомайское гулянье, чувствовалось, что к полудню будет жара. Народ, освобождаясь от дел, двигался целыми семействами в Марьину Рощу, на Царицын Луг, в Лефортово. Уж Федька и за зуб хватался, и у Чубарого в подкове трещину искал, лишь бы не ехать. Все было напрасно, неумолимая баба Марьяна вручила ему кнут и ключи от шаболовской усадьбы.

— И я с тобой, сказала Устя, взбираясь рядом.

— А тебе чего? — закричала было Марьяна. — Ты и так уж там две недели околачиваешься, в Шаболове. Как-ких-то юродивых себе нашла в Донском монастыре, божьих людей... Креститься-то сперва как следует научись, двуперстница!

Но тут баба Марьяна вспомнила, что надо бы в новом доме пол в подклети помыть после печников, и с этим условием отпустила Устю. Захныкал и маленький Авсенья, просясь покататься, но получил только шлепка.

Когда телега повернула из-за Василия Блаженного на спуск по Москворецкой улице, ее догнал Бяша и тоже захотел ехать.

— Ежели лошадям тяжело, я могу пойти рядом...

— Ступай себе мимо, купеческий жених! — гордо ска-

зала Устя, а Федька захохотал на весь кишашщий народом москворецкий спуск.

— Дядя Федя! — взмолился Бяша. — Я тебе табачку в бумажке принес.

— Садись уж... — позволил Федька.

Бяша вскарабкался на край телеги, а Устя принялась его шутливо сталкивать, он еле удержался.

Так перебрались они через наплавный мост, лежавший прямо на воде, и переехали на Балчуг, где перед ними открылся кабак, а по-новому — фартина, табачная изба, над входом которой болтался жестяной мужик в голландской шляпе и с трубкою. Вокруг на траве лежали себе люди, отдыхали.

— Тпру! — закричал Федька на лошадей. — Зайду-ка я в фартину, выкурю дареного табачку, на улицах курить зверь вице-губернатор не позволяет. Заодно в фартине этой с кумом одним повидаюсь. А вы меня не ждите, без меня езжайте. Вы, ребята, оба шустрые, чай, без меня управитесь. Даже лучше, чем со мной, со старым-то хрычом, ха-ха-ха!

В фартине, в дальнем углу продымленной залы, развеселая компания сражалась в «три листика», раздавались боевые возгласы: «Что спишь? Ходи с крестей, козыря прозеваешь!» За последним столиком Федька увидел одинокого парня, положившего растрепанную голову на локти.

— Максютя, ай это ты, бедолага? Мне сказывали, будто ты от хозяина утек. Где же твой кафтанец ухарский, где туфлейки? Прогулял их, что ли? А ветошку эту тебе что — на промен, что ли, дали? Ох, Максимушка, рогозная ты душа!

— Дядя Федор! — с силой выговорил Максютя и взял солдата за верхнюю пуговицу. — Дядя Федор, почему в божьем мире все неправда? Что есть высшая предестинация, как сказал бы мой бывший друг Васка, что есть судьба?

— Судьба, брат, она вроде приказу командирского. Знай шагай, не рассуждай, под пули зад не подставляй!

— Дядя Федор, я тут, когда загулял, на лефортовской потехе медведя дразнил, и дикий тот медведь ел меня за голову и лохмоть вконец ободрал. Вот тебе истинный крест, медведя я того одними руками поборол и наземь уложил, почто же судьбу свою побороть не могу?

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Дядя Федор, он же мне другом назывался, и так со мной обойтись! А про клад, я же сказывал тебе про клад...

Федька огляделся кругом и, видя, что кабатчик дремлет за стойкой, а картежники с гоготом загоняют проигравшего под стол, поманил к себе Максюту.

— Накажи меня бог, но Бяша клад не роет. Куда ему, он слабак — тощей, да длиннобудылый, и за что только девки его любят! Однако верь мне, сирота, клад тот еще цел, его никто не вырыл.

— Побожись!

— Вот те крест! А сказать, как я догадался?

— Скажи, дядя Федор, миленький, скажи!

— Ту прежнюю яму в подполе забросили — видать, ничего там не нашли. Намедни зачали копать в другом углу, под амбарушкой. Уж я как ни разнюхивал — не ведаю кто, ясно только, что не Бяша. Как говорится, в пустую хоромину тать не ломится. Кончай-ка свой загул, поди повинись хозяину, ну, отстегает он тебя. Плеть не мука, а впредь наука. Будем вместе следить, кто копает, и сами, глядишь, копанем!

Тем временем воз с черепицей не спеша двигался себе по направлению к селцу Шаболову. Бяша правил. В спокойных местах он пытался заговорить с Устей, но та не откликнулась, лицо ее было сосредоточенно и печально.

Когда, уплатив полторы деньги за выезд, миновали Калужские ворота, справа открылась долина Москвы-реки. От простора дух захватывало. Синие дали Воробьевых гор, рощи, трепетавшие молодой листвой, озера в Лужниках — прямо стать бы птицею и лететь!

— Стеша! — Бяша всплеснул руками. — Глянь, что деется, глянь-ко вокруг!

— Я не Стеша, — мертвым голосом сказала Устя, а у Бяши внутри все оборвалось, оледенело. Оговорился, вот черт!

Его растерянность передалась лошадям. Они начали то съезжать в канаву, где рос вкусный молочай, то, наоборот, неслись, чуть не сталкиваясь осями со встречными экипажами. Устя выхватила вожжи из рук Бяши и присвистнула на лошадей, как настоящая казачка. И лошади угомонились, пошли мирно.

А издали, от Донского монастыря, нарастал какой-то гул множества голосов, не то плач многоустый, не то молитвы, перезвон и лязганье металла, шорох сотен ног по траве.

— Что это там? Крестный ход, что ли? — всматривался Бяша.

Устя вновь не отозвалась. Нахмурилась, подстегивала лошадей, чтобы скорее пересечь Донскую дорогу. Киприановский воз выехал к околице Шаболова в тот самый миг, когда из-за купы орешника на пыльной дороге показались бегущие люди и собаки. Валила толпа баб, закутанных в платки, тащивших младенцев в цветных лохмотьях.

— Ы-их! Уы-их! — доносился оттуда их надсадный плач.

— Что это? Что это? — в ужасе спрашивал Бяша, встав на облучок.

— Выводят этап из Донского монастыря, — ответила Устя. — Тех ведут, которые в Питер назначены, в антихристову неволю.

И правда, вслед за орущими бабами из-за орешника показалась шеренга фузилеров в кожаных шапках с орлами. К ружьям у них были привинчены штыки.

Устя сошла с телеги и точно, по словам бабы Марьяны, перекрестилась двумя перстами, никого не таясь. Впрочем, все зеваки вокруг были поглощены выходящим этапом.

— Ты теперь сам доедешь, — сказала она Бяше. — Бери вожжи, ключи. — А я пойду. Мне надо.

— Не ходи! — закричал в испуге Бяша, уронив очки в пыль.

Спрыгнув с телеги, он чуть не упал и вцепился в Устю.

— Дурачок, — вдруг сказала она ласково, наклонилась, нашарила в пыли его очки, обтерла фартуком. — Дурачок...

И поскольку он продолжал ее держать, она на миг прижалась к нему и ласково отцепила его пальцы.

— Не надо, Бяша... Не мешай, голубчик... Ох, чую я, чую — накатывает! Вижу — небо отверзто, ангелы венцы держат праведным... Иди, бедный, дорогою своею, иди...

С силой оттолкнулась от Бяши и быстро пошла сквозь толпу по направлению к дороге. Там из-за орешника уже показались бородатые мужики, скованные попарно, каждый нес в руках свою цепь от ножных кандалов, чтобы она ему не терла ноги. За ними еще ряд фузелеров, блестя на солнце двуглавыми орлами, и далее целая орава детишек, баб, нищих, убогих, юродивых — однако все здоровые

люди, с ногами-руками в сохранности, без каких-либо видимых увечий.

— Враги царя, отечества супостаты! — сурово заметил стоявший рядом горожанин в летней широкополой шляпе.

Бяша, забыв про лошадей, стал тоже продвигаться к дороге. А там уже проходили рядами обросшие свирепыми бородами мужики со связанными руками, даже ради дороги их не развязывали. Рядом с каждым шагал фузилер, держа конец веревки, которой был связан колодник, а сбоку ехали конные драгуны с пиками.

— Злодеев ведут!

— А почему такая охрана? Никогда так не бывало.

— На Москве, слышь, атаман Кречет гуляет, в этапе-то небось его сообщнички...

За колодниками ехало множество разномастных телег; везли заболевших, поротых, двигались походные канцелярии, вещевые склады, лекаря, офицерские женки, шли рекруты, маркитанты, барабанщики... А по самой обочине Донской дороги, по пешим даже тропинкам катилась знакомая уже Бяше казенная карета, из глубины которой смотрел на шестые сам господин обер-фискал.

На подходе ко рвам и укреплениям Калужских ворот имелось узкое место, где дорога делала петлю среди каких-то бревенчатых сараев. Как только колодники, теснясь и звеня цепями, начали проходить этот поворот, чей-то знакомый женский голос закричал, будто завел песню:

— Ой, люди, люди, людие! Се есть скорбь великая, плач и рыдание горькое и боязнь нестерпимая...

— Кликуша, кликуша! — заговорили вокруг.

А Бяша страшился узнать в этом крике голос его Усти.

— Ой курлы, курлы! Люди русские, люди нищие, се грядет антихрист, знаменье его есть зверь лукавый, зверь двуглавый...

— Маменька, а ее поймают, эту кликушу? — спрашивало дитя.

И тут Бяша в свои желтоватые очочки увидел, как, воспользовавшись тем, что все головы повернулись в сторону кликуши, из-за построек вдруг стали выпрыгивать какие-то молодцы. Некоторые повалили солдат, стараясь отнять у них ружья, другие освобождали колодников. Да и колодники не зевали — припасенными каменьями принялись сбивать оковы.

Бяша, не отдавая себе отчета, кинулся к казенной карете и крикнул внутрь:

— Смотрите, смотрите, ваша милость!

Гвардии майор, который тоже был отвлечен кликушей, мгновенно выскочил, его комплекция ничуть не мешала. Он вытолкнул из седла растерявшегося драгунского капитана, вскочил на его коня. Выдернул из седельной сумки пистолет, выстрелил в воздух, зычно стал отдавать команды.

Дальше Бяше уже ничего не удалось увидеть, потому что драгуны плетьюми погнали прочь зевак. Народ бросился сломя голову, увлекая за собой и Бяшу. В каком-то чаду он бежал вдоль домов, не разбирая куда, пока не обнаружил, что он уже в тихом тупичке близ церкви Риз Положения, которая мирно сияла на солнце синими куполами. Тишину слободки вдруг прорезал отчаянный крик, обрушился топот копыт. Бяша увидел бегущую Устю, за которой скакали яростные драгуны, стараясь достать ее остриями пик. И Устя, босиком и простоволосая, поняв, что ей не уйти, закрыла лицо руками, и первый же драгун, злобно ругаясь, пересек хлыстом белую рубаху на ее спине.

Бяша бросился к ней, ничего не видя от пыли, схватил драгунского коня за мокрый от пены мундштук и тут же упал в пыль, сбитый драгунской пикой. Последнее, что он помнил,— резкий, неестественный крик петуха, отчаянный свист, выстрелы, вопли и неожиданная тишина.

Он пришел в себя на скамье, в прохладной тишине ихнего нового шаболовского дома. Солнце золотило свежеструганные тесовые стенки, хор птиц пел где-то в зеленой вышине. Женские заботливые руки поднесли Бяше питье, поддерживали под затылок. Питье отдавало чем-то вроде мяты. Спокойный голос — голос Усти — велел:

— Лежи, не беспокойся. Эта речная травка кукуша, всякое убожество болезненное снимает. А ты, милый книжник, туда же в драку?

Устя неслышно двигалась по дому, будто так оно было всегда. Ни этапа, ни колодников, ни страшного драгуна — ничего не произошло, приснился чудовищный сон и исчез. Только засохший кровавый рубец через рубаху на Устиной спине свидетельствовал — нет, все это было, все пережилось.

Устя где-то за перегородкой со стоном пыталась снять рубаху, обмыть спину. Поплескалась немного, потом

оставила свои попытки, подошла к Бяше, постояла около, спросила:

— Ну как, теперь лучше? Встать еще не можешь?

Бяша с готовностью сел на лавке, надел очки. Устя попросила, поворачиваясь спиной:

— Вот, помоги...

Бережно отлепляя присохшие клочья ткани и ощущая, как Устя стискивает зубы, хотя он еле касался раны, Бяша увидел на худенькой девичьей спине от лопаток до самого крестца следы каких-то давних, еще более страшных наказаний.

— Устя, что это? — спросил он, обмирая.

— А это все твой царь-антихрист, чтоб ему провалиться в тартарары! Расскажу, коль живы будем, а пока отвернись-ка, да поживей.

Бяша вышел на улицу, отыскал воз с черепицей. Меринок Чубарый и кобылка Псиша мирно объедали траву возле церковной ограды. Устя тем временем завела печку, вскипятила грушевого взвару, которого дала им в дорогу благодетельница Марьяна. И уселись они пить взвар на ветрке, прямо на ступеньках высокого крыльца.

В многоголосом пении птиц выделился голос соловья. Он, видимо, только пробовал силы. То заливался замысловатой руладой, то внезапно смолкал и начинал снова, приближаясь.

— Вот он, серенький, — кивнула Устя на птичку, которая показалась прямо над ними на ближайшей ветви липы.

Соловей, как бы приосанившись, исполнил с присвистом целую трель.

— Устя! — сказал Бяша, потому что сдержат чувства, которые его переполняли, уже не мог. — Устя, знаешь, — я с тобою... хоть на край света, поверь!

А Устя, потупив взгляд, отвернулась и вдруг засмеялась, Бяша, сконфуженный, молчал, а она смеялась все сильнее, вздрагивал кончик косы, небрежно заправленной под косынку, и Бяше уже казалось, что она не смеется, а плачет. Но она как-то сразу, как умела делать все — без перехода, — перестала смеяться и, повернувшись, заглянула ему в глаза своим нестерпимо чистым взглядом:

— Что ты, голубчик! Не надо... Ну зачем?

А соловей, окончательно осмелев, выпустил такую ликующую песнь, такой неслыханный перелив, что весь остальной птичий хор завистливо умолк.



## Глава четвертая

### ПЛЕТЬ НЕ МУКА, А ВПРЕДЬ НАУКА

Май многотравный, май пышноцветный быстро шел на исход. Вот и праздник Троицы миновал, с хороводами на лугах, с березовыми ветками в домах, за ним Федосья Аржаница катит, траву косить велит. Майская трава, говорят, и голодного накормит!

По всей Москве во дворах вжиканье оселков — косы отбивают. У кого хоть малая есть усадьба в деревне, всем двором отъезжают на покос, прочие косят по просторным московским дворам да пустырям. Косят, щурятся на погоду да напевают: «Солнышко, солнышко, дай побольше ведрышка, запasti бы травушку по нашу скотинушку!» Косят на зеленых откосах под кремлевскими башнями (это стража, она считает, что кремлевская трава — ее вотчина), косят в церковных оградах попы и дьяконы. Дух упоительный свежего сена на залильном лугу между Неглинкой и Петровкой — там косят мирские пастухи, которые общественное стадо пасут.

— Когда же и нам? — спросила баба Марьяна. — Как там, хозяин, твои планиды показывают?

Она знала, что Онуфрич ничего важного не предпримет, пока не сверится с астрологическим календарем.

Сей Календарь Неисходимый — то есть вечный, постоянный — был во время оно составлен им самим при благосклонном наблюдении генерал-фельдцейхмейстера господина Брюса, который жил тогда в Москве. Иные так теперь его и называют — «Брюсов календарь».

Киприанов взял очки и подошел к висевшей на стене четвертой таблице календаря, которая называлась «Предзнаменование действ на каждый день по течению Луны в Зодии». Отыскал, водя пальцем по циклам, месяц «май», число «два десять девятое». Аспект Луны не скрещивался здесь с аспектами тех светил, кои для мая месяца 1716 года под знаком Близнецов неблагоприятны почитаются. Значит, смело можно дерзать, начинать.

«Лекарства принимать и кровь пускать... — с трудом разбирал он в полутьме библиотеки те начинания, которые считаются счастливыми в сей день. — Младенцев от груди отнимать...»

— Тыфу! — в сердцах сказала баба Марьяна. — И без твоей науки знамо — пора косить, белоголовником да тмином весь город пропах.

В Шаболове на Хавской стороне Киприановы снимали малую пустошь у монахов Даниловского монастыря, там и косили. Однако сама Марьяна на сенокос не поехала, сославшись на тот же четвертый лист Брюсова календаря: «Всякое суконное платье и мехи просушивать, выбивать и от молю хранить, а ежели много молю, то в хлебном духу и в табачном прахе несколько времени держать, что молю искореняет». Пришлось остаться дома и Киприанову: вице-губернатор весьма торопил с окончанием ландкарты. Не поехал и швед Саттеруп, который как военнопленный мог покидать пределы киприановского двора только под конвоем. Остальные же забрали косы, грабли, жбаны с квасом, сели в телегу и двинулись на ночь, чтобы с утра начать по росе. А в киприановской полатке на Спасском крестце состоялась серьезная беседа.

— Онуфрич! — сказала с тревогой баба Марьяна. — Ты знаешь, я посылала во Мценск, чтобы там сведали об этой прыткой Устинье.

— Ну? — равнодушно отозвался Киприанов, который был занят движением своего резца по медной доске.

— Вот те и «ну»! — Планиды твои тебе беду не сулят? Пока гром не грянет, ты и не перекрестишься!

— А и то! — поднял очки на лоб Киприанов. — А и взаправду третьего дня церковь во сне видал. Примета верная, дедовская, ох, шибко не к добру!

— Вот так у тебя всегда! Все «ну» да «ну», а как в трясину какую-нибудь впадешь, Марьяна тебя выволакивай.

— Ну, добро, говори, что ведаешь?

— Да в том и беда, что не ведаю ни шиша. Сродичи наши весь Мценск, можно сказать, перегребли, никакой аутки об той Устинье не нашлось. Разве только, полагают, она из тех, которые жили при остроге. В амченский наш острог пригнали как-то сотни две воров, после замирения Булавина взятых. Бают, сам атаман Кречет там на цепи сидел, да ведь ушел, разбойник... Там же и баб ихних содержали, и детей, некоторых даже к ворам приковывали, чтоб надежней.

— Так ты думаешь...

— А ты что скажешь?

— Тогда получается так, что и...— Киприанов положил резец, снял очки и с тревогой взглянул на Марьяну: — Так, значит, и...

— И Авсенья, ты хочешь сказать?

Мальчик пришелся всем по душе. Баба Марьяна брала его с собой на торжок, сшила ему рубаху с красными петухами крестиком по подолу. Он поминутно задавал разные вопросы: «Баба, а баба, а зачем в колокола бьют? Баба, а баба, а почему у курицы две ноги, а у свиньи четыре?»

Знакомые торговки умилялись: «Это что ж такой мальчик у вас лепый? Марьяна, ты уж не спорь, не спорь — на твоего Онуфрича он как две капли похож!»

Вечером, когда Бяша погружался в чтение какой-нибудь премудрой книги, а подмастерья терли красные от усталости глаза и, пошабавши, расходились, Авсенья забирался на табурет рядом со столом Онуфрича и начинал его донимать: «А это зачем ты иглоу по железке царапаешь? А почему у тебя на карте вон тот кудрявый в раковину трубит?»

И Киприанов задумывался о собственном сыне. Если бы не ранняя смерть жены, была бы сейчас их мала куча детей. А единственный сын его равнодушен к тому, что считал отец делом своей жизни: математику не любит, в логарифмусовой таблице еле разбирается, градусной сетки рассчитать не может, хоть и ученик того же Магницкого. А паче огорчительно — к гравированию, резцам, офортам нет у него никакой тяги.

Но нечего и зря клепать — парень смирный вырос, не ритатуй какой-нибудь вроде канунниковского Максютки! Даже излишне уж тихий, вареный, что ли, лучше б был победовее. Книги читает, на трех языках может, тоже ведь не ахти сказать. Узнает государь Петр Алексеевич и ко двору возьмет, так иной раз бывало. А к гравированию — ни-ни...

Теперь взять — мальчик этот, сиротка Авсенья. Выпросил он старую медную досочку, травлением проеденную насквозь, глядь — иглу подхватил и пытается что-то на той досочке выцарапать! Алеха, Федька заметили — станем, говорят, его гравировальному делу учить. Но тут уж он, Киприанов, вступился — буду учить сам.

А Васка-то, Васка, родимый! Вырос — рукава до локтей, прямо до слез трогает. Девицы им интересуются! Кстати, гиштория его с канунниковской дочкою весьма

непонятна — как это знакомство у них могло получиться? И еще — Устинья эта, Устинья, не дай господь!

— Ты не думаешь, что твой Бяша... — как бы читая его мысли, сказала Марьяна.

— Да, да, да... — Тревога Киприанова росла.

— И поет-то она, и подолом крутит... Ворожейница! Заговоры у нее и на присуху, и на остуду...

Долго бы они так сидели, обмениваясь вздохами, если бы не раздался стук палкой из-под пола мастерской. Это означало, что стучит швед Саттеруп, который оставался один в книжной лавке, и что пришел к нему охотник до купли книг, а объясниться он, швед, с ним не может. Марьяна выглянула в окошко и охнула — перед галдареею стояла карета купца Канунникова, запряженная цугом — шесть лошадей цепочкой. Так разрешалось ездить лишь князьям да окольниковым, но Канунников благодаря своему миллиону сам себе окольниковым.

Там, в библиотеке, царил аромат лаванды и веянье веев. Цвела улыбками красавица Стеша в летнем, шафранового цвета платье, в прическе «Сугубая огорчительность» (волосы распущены по спине). Вокруг вертели бочкообразными юбками и юная мачеха Софья, и достойная мценская полуполковница, и немка Карла Карловна.

А перед ними выказывал себя не кто иной, как Максютка. Недавно он вернулся из нетей — повинулся, стал на колени под образами. Авдей Лукич Канунников, вопреки своему всегдашнему суровству, его помиловал, батогов не назначил, даже пожаловал свой почти новый кафтан табачного цвета с роговыми пуговицами, в котором Максютка сделался похож на какого-нибудь ученого немца.

— Милостивые государыни! — разливался Максютка, кланяясь так, что пальцы почти до полу доставали. — Ей-ей напрасно вы меня не послушали и зашли в сию так называемую библиотеку. Забавных картинок или песен здесь вы не найдете, разве что купите указов об отыскании татей или об уплате мзды ночным стражам порядка. Забавные картинки не здесь, забавные картинки дальше, через мост, у самых у кремлевских ворот...

— Уж этот Максютка, прохиндей! — возмущилась баба Марьяна, сбегая по лестнице. — Давно ли хлеб-соль нашу ел, а теперь покушников от нас отваживает!

И вбежала в библиотеку, всплеснув руками:

— Ах, Софья Пудовна, ах, Степанида Авдеевна, ах, Карла Карловна, честь-то какая!.. — Пригласила к себе

в горницу.— Сей же миг будут кофеи, шоколаты или чего прикажете...

Стеша отказалась от кофею и шоколату, все оглядывалась — а где же Василий Васильевич, ваш молодой библиотекарь? Киприанов-старший, еле успев натянуть парадные чулки, камзол, кафтан с искрой, спустился к гостям, неловко раскланивался, объясняя, что все уехали на сенокос,— что поделать, пора такая! Поминутно ронял очки и был ужасно похож на своего сына.

Воспользовавшись замешательством, Максюта вновь пытался увести Канунниковых на мост к кремлевским воротам, но Стеша обратилась к Василию Онуфриевичу:

— Пожалуйте, герр Киприанов, дайте нам реестр некоего, то есть разъяснение касательно книг...

А полуполковница и немка-гувернантка, с ними шалун Татьяна Татьяныч пошли вслед за Марьяною и пили у нее кофе. Марьяна сама тоже пила, дула в блюдечко и мысленно морщилась — и кто его придумал, басурман, это гадкое кофе?

— Ах! — говорила мценская полуполковница. — Ранняя жара весною вредна. У меня от сего в грудях теснение и по всей природе моей великое оплошание...

— Зер шлехт, — подтвердила немка, моргнув выпуклыми глазами. — Отшень плехо!

— Позвольте объяснить по-научному, — вывернулся Татьяна Татьяныч, который по случаю выезда в город был одет не в сарафан и кикю, а в кавалерский кафтанец, на тмени же имел розовый паричок с рожками. — Угодно ли вам знать? Тело человеческое разделяется на члены и три живота, сиречь три пустых места. Из оных нижнее чрево первое, грудь вторая, а голова третья.

— Ну, это у тебя, батюшка, голова — пустой член, — сказала баба Марьяна, — а у меня там кое-что обретается.

— Позвольте, позвольте! — затанцевал на высоких каблучках Татьяна Татьяныч. — Сейчас объясню. Голова разделяется на лоб, затылок и виски. Сверху покрыта она черепом, наперед имеет разные части, а именно — нос, уши, виски, глаза, чело и прочее.

— О! — удивилась Карла Карловна.

— Изнемогаю! — обмахивалась веером полуполковница. — Милая Марьянушка, у тебя разве нету форточек?

— Терпение, терпение! — продолжал Татьяна Татьяныч. — Оные животы или пустоты повсюдни наполнены мокротою; в нижнем чреве, например, в мокроте селезен-

ка плавает, жилами привязана к спине. От прилития мокрот и происходят колотья, жжения и прочие чувствительные результаты.

— Ах,— сказала умирающим голосом полуполковника,— причины немощей наших мы от ваших слов познали. Но от сего, увы, не ослабляется их злобедность!

— Да и есть ли средство против немощей таковых?— спросила баба Марьяна, протягивая чашечку кофе и Татьяна Татьянычу. Она прониклась уважением к его эрудиции.

— Есть! Есть!— замахал он кружевными манжетами.— Возьми вещества антимонии полскрупеля, намешай его с маслицем конопляным или со скипидаром, положи пешной глины и, размешав все сие в овсе или даже в сене, давай. А ежели сам себя не захочет больной пользоваться, то— насильно...

— Что же мы, лошади, что ли?— возмутилась баба Марьяна.— В овсе да в сене! Ты, красавец мой, оказывается, шутник!

Рассердившиеся дамы принялись хлопать шалуна веерами по голове.

— А лучший вам рецепт,— продолжал он, загораживаясь от них,— истончай свою дебелость!

Пока в горнице у Марьяны шли эти научные разговоры, Киприанов, заменяя сына, показал покупателям куншты с изображениями проспектов новоблистательного Санктпитебурха, а также всяческих викторий и морских абордажей, продемонстрировал и гравированные персоны царя Петра Алексеевича, государыни, царевичей и царевен. Юные гости были в восторге и желали все купить.

Потом менее восторженная, но более наблюдательная мачеха Софья обратила внимание на развешанные в глубине большие листы с таинственными кругами, символами, знаками. Это и был знаменитый Брюсов календарь, Киприанов пустился объяснять знаки Зодиака — Козерог, Дева, Стрелец, Весы...

— У батюшки тоже есть такой Календарь Неисходимый,— сказала Стеша.— А вот скажите, герр Киприанов, правда ли, что по этому календарю можно угадать судьбу?

— Ну-ну...— усмехнулся Киприанов.— В некоторой степени... Ежели признать влияние хода небесных тел на жизненный эклипсис человека...

— Ой, погадайте, погадайте! — запрыгала Стеша, хлопая в ладоши.

— Тогда извольте доложить, в какой день вы родились. — Киприанов лукаво взглянул на нее поверх очков, опять же совсем как Бяша! И, узнав день, месяц и год рождения, он стал сосредоточенно водить пальцем по таблицам, говоря себе под нос: — Отроча, родившийся под Рыбою, — флегматик, студен, мокр... Однако что же это я? Вы ведь не под Рыбою родились, у вас знак Овна. Вот, смотрите: в Овне имеет счастье во всех плодах земли. Ведаете? Будет вам счастье во всем!

— Ах! — Стеша томно зажмурилась. — Мне во всем не надобно, у меня все есть. Мне бы только в одном, да чтобы по-моему. А больше ничего не сказано про мой день рождения?

— Правду ли говорить?

— Правду, правду! — закричали гости и даже расшевелившаяся вдруг флегматичная Софья.

— Вот, пожалуйста, — женщины, в сей день родившиеся, бывают гневливы, спорливы, во всякого влюбилы и любострастны, первого мужа переживают...

Веселый смех был ему ответом. Пожелала узнать и Софья. Вышло, что, родившись под знаком Козерога, она имеет счастье купляти и продавати, как и подобает купецкой жене.

— Пойдите! — сказал Киприанов, всматриваясь в циклы против Софьиного дня рождения. — Тут еще сказано: мужем уподобится доблестями, сильных трепетать заставит.

— Это Софья-то? — ахнули гости. — Такая тихоня?

— Зерно младое мало и неподвижно, — ответил притчей Киприанов, — однако целое дерево, со всею силою ветвей, в том зерне одном сокрыто.

Юные гости звонко смеялись, шутили, рассматривали диковинные картинки и знаки календаря. Казалось, будто райские птицы залетели в темный и сырой полуподвал библиотеки и трепещут радугою их крыла.

Тогда вышел из угла Максютга, поклонился, даже ножкой шаркнул:

— И мне, господин Киприанов...

— Гадать, что ли?

— Гадать.

— А что тебе хочется знать?

— Буду ли богат.

Киприанов выяснил время его рождения приблизительно, потому что Максюта, как сирота, когда родился, не помнил. Найдя его аспекты, скрещения планетарных линий, Киприанов усмехнулся:

— Максим, давай лучше не сказывать.

— Нет, сказывайте, прошу вас!

— Ну, пожалуй. Ты родился под знаком Водолея. Читаем. В Водоливе сем никто ничего благого да не зачнет, зане сие время супротивность тому. Млад, неразумен и склонен к беспутству, благо ему танцевати, пети, забавлятися...

Юные особы пришли в восторг и стали тормозить Максюту. Тут возвратились почтенные дамы, бывшие в гостях у бабы Марьяны. Киприанов проводил гостей, раскланялся и пошел к себе в мастерскую, улыбаясь и покачивая головой.

Когда же Канунниковы с домочадцами вышли на Красную площадь и щурились там от солнца после тьмы библиотеки, на них снова напустился Максюта, яростно уговаривал пойти через мост, где была толкучка лубочников.

— Вот где картины, не чета всем прочим!

На горбатом Спасском мосту разносчики, размякшие от жары, дремали, сидя прямо в пыли. Увидев приближающихся дам, они повскакали, спешно отряхиваясь, приводя в порядок товары. Другие выбегали из тени ворот, где прохлаждались, болтая со стражниками.

Тут же к Канунниковым пристал какой-то расстрига в мокром от пота подряснике. Он поминутно оглядывался и шипел, как змий-искуситель:

— Купите Псалтырь федоровской печати!

Самой Псалтыри, однако, при нем не имелось. Несмотря на это, он присунулся совсем близко, дыша чесноком:

— Дониконианскую, подлинную!.. За дешевку пока отдаю!— завопил он, видя что покупательницы уходят, и даже хотел ухватиться за кончик Софьиной шали, но тут Татьяна Татьяныч отбросил его ударом трости.

У самых ворот другие оборванцы окружили, расхваливая свой товар. Один пытался всучить нечто рукописное, по его словам— еще цареградского письма, другой, наоборот, имел под полой только немецкие книги, и в том числе какую-то тетрадку против царя Петра, напечатанную в Лейпциге и якобы раскрывавшую злодейства сего монарха.



— Эй! — сказал ему Татьян Татьяныч. — По тебе, брат, Преображенская тюрьма скучает.

Максюта все-таки притащил их к ларям, где на веревочках, протянутых от столба к столбу, висели образцы картинок, и покупателям приходилось то и дело нырять между ними. У образцов стояли картинщики — люди степенные, одетые в добротные армяки.

Вот на квадратном листе храбрый рыцарь Францыль Венециан в гвардейском кафтане с огромными алыми обшлагами. А вот — не желаете ли, всего алтын за штуку! — славное побоище царя Александра Македонского с царем Пором Индийским. Боевые слоны топчут людей! Или пожалуйста, вот это — петух, курица доброгласная, в спевании вельми красное, а в кушании отменно сладное...

Глаза разбегаются!

Максюта торжествовал — он отомстил Бяше со всей его библиотекой!

— Хочу козу! — кричала Стеша, выхватывая из рук картинщика лист: медведь с козю проклажаются, на музыке забавляются, медведь шляпу вздел, а коза в сарафане с рожками. И тут же, завидев другое, Стеша желала: — И это хочу! Хочу картинку, как баба-яга на свинье с крокодиллом драться едет...

Некоторые картинки были совершенно неприличны, приходилось мимо них прошмыгивать под укрытием вееров.

Подскочила визгливая тетка-разносчица, на которой было наверхено семь юбок. Затараторила, предлагая картинку с разгадкою женских имен:

— Постоянная дама — Варвара, с поволокою глаза — Василиса, кислой квас — Марья, великое ябедство — Елена, толста да просто — Ефросинья, ни туды ни сюды — Фетинья, взглянет да утешит — Арина, с молодцами погулять — Марина...

Уставшая Карла Карловна еле отмахивалась от нее зонтиком, умоляла Канунниковых:

— Генук, генук кауфен, пошалуста... Фатит торговля...

Сиречь — конец прогулке, конец веселью. Максютя весь согнулся под тяжестью канунниковских покупок, когда нес их к карете. Но счастлив был безмерно!

А тем временем на далеких шаболовских полях по ухабистой пыльной дороге, подскакивая, катилась киприя-

новская телега, в которой развеселая компания ехала на ночь косить Хавскую пустошь.

Федька с Алехой захватили с собой полуштоф — распили, согрели. Поэтому ехали разудалые, лошадок подбодряли и сами пели, не стесняясь встречных прохожих.

— «Как во городе, во Санктпитере, — выводил басом Федька, а подмастерья поддерживали голосистыми дискантами, — что на матушке на Неве-реке, на Васильевском славном острове...» А ты что не подтягиваешь, певунья? — спрашивал Федька Устю, которая сидела на краю телеги, свесив босые ноги.

— У вас свои песни, у меня свои, — отвечала она независимо.

— «Что на матушке на Неве-реке, — продолжал Федька еще басистее, — как на пристани корабельные... Молодой матрос корабли снастил, корабли снастил он о парусах, он о парусах полотняных!»

Далее шла бесконечная история о том, как из высокого нова терема, из косяцата из окошечка на матроса того усмотрелась краса девица, боярская дочь... Притихший Бяша всем плечом и локтем ощущал тепло ехавшей рядом Усти, и было ему хорошо, и хотелось, чтоб эта тряская и пыльная дорога тянулась и тянулась, пока движется жизнь. А рядом, над темной кромкой засыпающего леса, вошла одинокая звезда и смотрела не мигая, будто чье-то равнодушное светлое око.

— Приехали с орехами! — закричал вдруг Федька. — Нам-то кричали, мы-то не слышали!

— Действительно, телега, оказывается, уже стоит и даже лошади выпряжены, пасутся. Бяша, весь в своих мыслях, задремал в дороге.

— Устинья! — распорядился Федька. — Стаскивай с телеги своего сокола. — Что-то он у тебя разнежился...

— Гуляй, соколенок, пока кречет не в лету, — сказала Устя, сводя за руку Бяшу.

— Что ты там толкуешь? — полюбопытствовал Федька.

— Для глухого попа не разбить колокола. А толкую я, что скоро кречет влет, так и пташечки вразлет.

— Поди-ка, горлинка, нынче ты не в духе! — заметил Федька.

Арендванный участок пустоши начинался от прошлогоднего омета соломы, возле которого Киприановы

и расположили свой бивак. Тянулся участок тот до самого леса, где границей его служил темный пруд без водорослей, образовавшийся на копке канав. Лягушки, давясь от усердия, выводили свою сумеречную песнь.

— Искупаемся? — предложил Алеха-гравировщик, которого после полуштофа тоже тянуло на сон.

Бросились наперегонки, с гиканьем, с ржанием, как молодые жеребята, даже Федька, прихрамывая, старался не отставать. Скидывали рубахи еще на бегу, роняли их на мураву и с размаху кидались в пруд.

— Ну водица! — фыркал Алеха. — Парное молочко! Федька, чего ты там на бережку обвеиваешься! Шваркнись, да и конец!

Возвращались приуставшие, шли на свет костра, который развела Устя, варила кашу с дымком. Завидев их, Устя пошла навстречу:

— Теперь искупаюсь я.

— Темно уж! — затревожился Федька. — А ты не боишься, красотка, что кто-то тебя, одинокую, схватит? Тут Москва все-таки под боком, шальных людей предостаточно.

— Я сама шалая, — ответила Устя и прошла мимо, еле различимая в сумерках, но видно было ее гордую осанку и косы, перевязанные платком наподобие венца.

Мужики остановились, провожая ее взглядами, а Бяша — тот чуть не сорвался, чтобы бежать за ней, тем более что Федька с усмешечкой заметил:

— Ишь принцесса! Пойти бы посторожить, как бы кто взаправду не увел!

Но ничего не случилось. Она вернулась к костру прохладная, довольная, выхватила у Алехи деревянный уполовник, которым он не столько мешал кашу, сколько ее пробовал, и стала всех кормить. Наевшись, все долго глядели на звезду над лесом, спорили, что сие: око ли божие недреманное или это ангел держит свечу под куполом небес? Бяша не стал вмешиваться, объяснять, что может быть, в глубинах мира несказанных несетса вихрем такая же Земля, где — кто знает? — есть такой же сенокос, и такой же костерик в просторе полей, и Бяша, и грустная Устя...

— Шабаш, шабаш! — провозгласил Федька киприановским голосом. — Завтра подниму ни свет ни заря!

Укладывались, выкапывая себе гнезда в теплой и пахучей прошлогодней соломе. Бяша отодвинулся подальше от подмастерьев, которые все хохотали и дразнили друг

друга. Он постарался представить себе, по какую сторону омета расположилась Устя, а представив, принялся потихоньку прокапываться в том направлении.

Ночь текла под стрекот кузнечиков. Изредка вздыхали и фыркали лошади. В далекой деревеньке Черемушки лаяли собаки.

— Чего тебе? — прошептала Устя, когда Бяша все-таки до нее добрался.

Она была напряжена, будто ждала чего-то. Бяша дотронулся до нее рукой, она тотчас оттолкнула — и верно, чем-то она была огорчена.

Бяша стал говорить ей об одинокой звезде, которая может стать, такая ж, как и их планета, — все, как он вычитал в книге мудреца Фонтенеля в амстердамском издании. Устя молчала, не шевелилась, и нельзя было понять, бодрствует ли она. И так же по Фонтенелю он окончил ссылкой на бога, который все столь премудро устроил.

— А есть ли бог-то? — отчетливо выговорила Устя.

Ужаснувшись, Бяша стал говорить ей о мироздании, оно же, в сущности, и есть бог, о любви и всепрощении, которые также суть проявления бога, о предвечности...

— Всепрощение! — усмехнулась Устя. — Как складно ты сказываешь! А вот послушай, что я тебе расскажу. Мои два брата, меньше меня, были взяты, когда батьку моего сыскивали. Взяли их, значит, как аманатов, заложников, я спаслась, потому что как раз в клуне была, мать меня за зерном послала. Но батьку никак не могли доискаться. Тогда мамашку нашу привели в острог и мучили при ней братьев моих огнем да железом. Скажи, книжник, где тут был бог?

Бяша содрогнулся от ужаса и тоски, протянул к ней руку и положил пальцы на сгиб локтя, где под трепетной кожей билась ее кровь.

— А я тебе реку, — продолжала яростно Устя. — Век антихриста настал, конец света близок. Знаешь, который теперь год от сотворения мира? Седьмь тысяч два сто двадцать третий... Как сказал один старец у нас во Мценском остроге — осьмая тысяща лет, век звериный!

Бяша хотел спорить, доказывать, вынести из потемков эту блуждающую душу, но она все тем же яростным шепотом его пресекала:

— Постой! Сказано — во всем хочет льстец, он же антихрист, уподобиться сыну божию... Таков и твой царь, который везде возглашает — я сирым отец, я убогим при-

станище. Я-де училища открываю, я гошпитали учиняю, я флот строю, а народ российский — как ты, Бяша, сказываешь? — делаю политичным... Ан нет, он-то и есть сын погибели, хульник, лютый волк, всех он уловит и всех пожрет. Не будет с ним ладу, не будет с ним мира, не будет ему повиновения!

Бяша молчал. Уж много раз от самых разных людей слышал он о царе-антихристе, даже о том, что коварные немцы будто бы царя за рубежом подменили и сей есть теперь не царь, а чуженин басурманский с печатью дьявольской на челе.

Он слышал, как Устя усмехается во тьме. Шуршит соломой — наверное, поправляет волосы. Другую же руку она не убирает из-под ласковых пальцев Бяши.

— Болезный ты мой! — наконец сказала Устя. — И зачем я, безудальная, тебе все это наговорила? Ты ведь книжник, ты не от мира сего... Давай-ка я тебе лучше голубиную книгу сказывать буду, ты давно уж меня просишь.

В толще омета шебаршили ночные букашки. Слышно было, как кричит выпь на болоте, донесся колокол Даниловского монастыря. А Устя говорила монотонно, чуть громче на повторях, как бы раскачивая невидимую колыбель:

— Посреди горы фарафонские, да посреди поля сарачинские выпадала книга голубиная, и не мала она, не великая, в поперечине сорока сажень... И сама книга распечаталась, и сами листы расстилались, и сами слова прочитались...

А Бяше виделись орды, несущиеся сквозь огонь и поток. Как рассказывал Федька, который по солдатчине успел с генералом Трубецким усмирять казака Кондрата Булавина, скачут, скачут на низкорослых коньках, у кого пищаль, у кого вилы, у кого пленная боярышня поперек седла...

А голос Усти уже не шептал, а звенел еле ощутимо, как звенит крыло стрекозы или натянутая шелковинка. И казалось, что это одинокая звезда странным образом пронзила толщ омета и что звенит даже не крыло насекомого, не натянутая нить, а острый и еле видимый луч звезды...

— Соезжались, собирались что не сорок королей, королевичей, а сорок сороков нищеты людской, что не сорок князей, княжевичей, а сорок сороков убожества... И возговорил им небесный царь: «Вы не плачьте, не горюйте, лю-

ди сирые, верижные, уж я дам вам гору золота, уж я дам вам реку медвяную, чтобы были вы вечно у меня сытые, да обутые, да одетые!» И тут возговорят в ответ ему сорок сороков, сорок сороков да горемыканья: «Уж ты не давай нам злата-серебра, не давай нам и рек медвяных... Обманут нас сильные-богатые, много будет тут кровопролития, много будет криводушия...»

И перед засыпающим Бяшей все неслись и неслись: вереницы жаждущих, молящих, ликующих, затем вырвался вперед драгун в медной шапке. И вместо лика у него был оскал звериный, он занес плетку над бегущей Устей, петух возопил, словно труба, а голос, подобный раскатам грома, допел Голубиную книгу:

«И не сули ты нам быть сытыми, не сули быть одетыми-обутыми, того нам не надобно. А хотим мы одной воли-волюшки, ровно ветру степному, безначальному...»

Бяша очнулся и с трудом понял, что кто-то разрыл над ним солому и трясет его за пятку, а голос Алехи-гравировщика повторяет:

— Вставай, вставай, косарь!

В рассветной полутьме кругом лежал плотный туман, в котором голоса метались, будто в тесном срубе. Неправдоподобно далеко ржали лошади в ночном. Озябшие от утреннего холода подмастерья жались вокруг Федьки, который один был бодр и деятелен — он успел отбить бруском почти все косы. Подмастерья шептались встревоженно, оглядываясь на туман.

— Слышь, Бяша, Устинья пропала!

— Как пропала?

Алеха объяснил, что ночью он слышал возле самого омета молодецкий крик петуха. Трижды он повторился, после чего Устинья и исчезла. Федька поднял его на смех:

— Может, это у тебя после давешнего полштофа в башке закукарекало? Почему-то никто этого пенья не слышал.

Но Устиньи-то не было в самом деле!

Потом из тумана послышались чьи-то шаги по меже. Кто-то двигался осторожно, щупая ногой пространство. Все примолкли, вглядываясь в приближающуюся из тумана тень. И вдруг это оказалась Устя. Она поспешно подвизывала платком косы, чтобы не очутиться перед мужчинами простоволосой. Была она необыкновенно весела и добра, шутила над ихними страхами.

— А я купаться ходила! На зорьке купаться — живой водой умываться!

Косить Бяше по его близорукости не доверяли. В паре с Устей он сгребал накошенное, ворошил. Устя до работы была жадной — слова постороннего не позволяла, даже присесть, лишний раз дух перевести. Бяша умаялся, трудясь с ней без передышки, уж не до Голубиной было книги.

Лишь к вечеру, управившись с Хавской пустошью, киприановская команда вернулась на Спасский крестец. На сей раз ехали молча, осовелые, только лошади бежали резво, вволю нагулявшись и насытившись свежей травой.

У Бяши руки-ноги не владали, от ужина он отказался, бросился в постель.

Но в полночь опять его одолела бессонница. Опять слушал он ночные шорохи киприановского дома, припоминал в подробностях поездку на покос, и Устины речи, и Устины усмешки, и Устину руку там, где под кожицею бьется жилка.

И вдруг мысль одна его пронзила: ведь и он же той ночью слышал петуха! Не помнит, один или три раза, но слышал, хотя и думал, что во сне... А какой напряженной, настороженной была она там, в стоге! Будто прислушивалась к каким-то крикам и всплескам на воле, каждую минуту готовая сорваться и лететь!

Неужели петух — это чей-то условленный знак? Неужели есть кто-то, кто зовет ее и ждет, кого, раз уж так заведено от века, ждет и она?

Теперь уж он спать совершенно не мог. Стал впотьмах спускаться по лестнице. Камень тяжкий лег на душе. Думал о том, как однажды здесь наткнулся на стоявшую Устю — он тогда и не задумался, чего она во тьме стоит, чего выжидает?

Ощутил явственно, как тогда, теплоту и упругость ее плеча, услышал ее быстрый и монотонный, словно молитва, лепет: «Заря орина, заря скорина, возьми с раба божия младого Василия зыки и рыки, дневные и ночные...»

Но теперь на этом месте не было никого — пустота, воздух... Он обернулся в темноту поварни, пахнущую луком и распаренной рогожей, — там возле Марьяниной печи лавка, на которой спит себе его Устя...

Заворочался и вскрикнул маленький Авсенья. Баба Марьяна поднялась к нему, охая, стала поправлять фитилек в почти погасшей лампадке.

Бяша протянул руку к щеколде наружной двери, щеколда была почему-то не закрыта. Он толкнул дверь и вышел во двор. В узком проеме ночного неба меж крышами киприановской полатки и поварни, над причудливыми силуэтами луковиц Василия Блаженного щедрой россыпью сияли летние звезды. Теперь и не найдешь, не различишь в этой россыпи ту единственную, которая светила тогда.

— Как быть? Как быть? — в голос произнес Бяша, не в силах сдержать душевное страдание.

И тут вдруг послышался будто зов знакомых голосов и отчаянный, но тихий стук. Бяша затряс головой, отгоняя наваждение, и догадался, что стучат из чуланчика, который был рядом с наружной калиткой. Он отодвинул засов, и из чуланчика выскочил Федька, а за ним не кто иной, как Максюта.

— Кто же это нас там запер, вот кузькина мать! — негодовал Федька.

А сконфуженный Максюта объяснил Бяше, что вчера с вечера они с Федькой решили все-таки проследить, кто это все копает в киприановских владениях, и схоронились в этом чуланчике. И кто-то подкрался тишком и припер их снаружи. И если бы не услышали вдруг Бяшин голос, так и сидели бы там невесть докуда!

А утром явился солдат-инвалид, который разносил повестки губернаторской канцелярии. Еще ковыляя от Лобного места, он начал выкрикивать:

— Ваську Киприанова... Ваську!.. Посадского человека... Посадского!.. Кадашевской слободы!..

Дойдя до раствора киприановской полатки, он пристукнул деревянной ногой, приложил пальцы к замызганной своей треуголке и рапортовал:

— Их превосходство губернатор и кавалер господин Салтыков... требуют!

Выпил поднесенную ему по чину рюмку и удалился куда-то со следующей повесткой. А Киприанов страшно всполошился: не по поводу ли задержки ландкарты, которая все еще на кончике резца? У него дрожали руки, когда он собирал в парадную папку пробные оттиски. Кричал Федьке: «Запрягай, чего копаешься?» — а сам лихорадочно соображал: почему же вызвал как посадского тяглеца, а не упомянул ни ратушного его звания, ни библиотечарского чина?.. И верно Марьяна сказывает: побыстрее надо бы царю подавать челобитную, чтобы узаконить выход





из слободы. Да все руки не доходят — то календарь делал, возился день и ночь, теперь вот ландкарта!

Пока тряслись по колдобинам Никольской улицы, он все повторял, что скажет в свое оправдание: «Триангуляций и съемок геодезических во вверенной вашей милости губернии доселе не велось... Только уж при вашем благотворном правлении учитель Леонтий Магницкий с навигацкими школярами измерил направление на Клин — Тверь — Торжок, да и то государевой дороги ради в Санктпитебурх. Все волости, честно сказать, по пойме Клязьмы-реки до самого Ополя нарезаны мною, усердным слугой вашего высокопревосходительства, на глазок, по разумению чувствий...» Потом ему пришло в голову, что вызывает-то его не вице-губернатор Ершов, который ландкарту эту заказывал, а сам Салтыков!

И стало еще боязней. Ершов хоть и в чинах высоких и к государю приближен, но он свой человек, понятный — бывший холоп... А Салтыков — у него две царицы в роду!

В прихожей у губернатора, унылой длинной комнате, украшенной, кстати, киприановскими ландкартами «Всего земного круга таблицы», уже давно дожидались вызванные.

Это был Федор Поликарпович Орлов, мужчина угрюмый, и хотя был он чисто брит и облачен в придворный кафтан, даже с каким-то шитьем золотым, но всем своим обликом напоминал постника, монаха. Это про него сочинил вирши митрополит Феофан Прокопович:

Если в мучительские осужден кто руки,  
Ждет бедная голова печали и муки,  
Не веля томить его делом кузниц трудных,  
Не посылать в тяжкие работы мест рудных:  
Пусть лексикон делает — то одно довлеет,  
Всех мук роды сей един труд в себе имеет.

Сей Орлов ревностно сочинял алфавитари, азбуки, также лексиконы и поседел на этом поприще, стал уже и людей живых воспринимать как некие единицы из лексико-графической картотеки. Это быстро заметили высокопоставленные попы и монахи и выдвинули его в директоры Печатного двора — чем подальше от струй животворных, тем для дел казенных надежнее. Царь Петр Алексеевич ценил его за знание языков и за беспрекословную исполнительность, а уважая просьбу церковного синклита, повелел именовать по отцу — Поликарповым, так-де прямее усматривается его духовное происхождение.

— Ну, ты, Мазепа! — сказал Поликарпов своему помощнику, который держал наготове бумаги для доклада. — Плохо, видать, ты с утра читал акафист. Попали мы не в добрый час.

Действительно, за высокой палисандровой дверью губернаторских покоев слышался сердитый голос хозяина. Туда пробежал при шпаге дежурный офицер — артиллерии констапель Щенятьев, бросив на ходу Поликарпову:

— Изволят бриться.

За Щенятьевым поспешал цирюльник в белом подстихаре, за ним лакеи несли медный таз, кувшин, полотенце, скрюно с бритвенными принадлежностями.

— Так сказывай, Мазепа, — толкнул помощника Поликарпов, — что ты накопал там про еретика Киприано-ва?

Помощник, по прозвищу Мазепа, щупленький и тоже бритый, со странной дьячковской косицей, хотя никакого отношения к духовному сословию не имел. Просто окончил он в свое время Киевскую духовную академию и носил подрясник как закоренелый бурсак. Кем теперь ему не приходилось прикидываться! В свое время с большими родственными связями ему удалось устроиться писарем Нежинского полка. Думал, карьера теперь обеспечена. Ан нет! Сделал ставку на гетмана Мазепу, тот к швейскому королю переметнулся, а тут Полтава, а тут русский царь — победитель! И теперь бедный Иоанн Мануйлович, как любит он себя называть, на Московском печатном дворе из милости при кухне и лебезит перед каждым по-вытчиком и терпит прозвище «Мазепа». А ведь вирши может складывать даже и на латынском языке!

— Не нашел пока ничего, ваша милость... — ответил он, и голос у него был как у поповича — певучий тенорок. — Трудявайся многожды, скудно же восхитих. Еретического, лютерского в его, зловредного сего Киприашки, смотренных мною таблицах и картах ничего нету.

— Хохлацкая ты рожа! — закипел Поликарпов. — Мало что ничего нет! Надо сделать так, чтоб все было...

В этот момент палисандровые створки распахнулись, из двери послышалась громкая русская брань и вылетел медный таз, выплескивая мыльную воду. Затем выскочил и цирюльник, бежал задом, кланяясь в сторону палисандровых дверей и оправдываясь:

— Охти, ваше превосходительство, я лишь слегка под-

брил вам височки, так же, по самым достоверным сведениям, изволит побриваться и его царское величество Петр Алексеевич...

Под глазом у цирюльника зрела свежая дуля. Вновь пронесся озабоченный артиллерии констапель Щенятьев, придерживая шпагу и ведя за собой повара, буфетчика и целую толпу лакеев с блюдами и подносами.

— Изволят завтракать.

Затем в губернаторские покои преображенцы проволокали какого-то бедолагу, закованного в цепь.

— Гляди, Мазепа! — усмехнулся Поликарпов, растирая ладонями свое обрюзгшее лицо. — Ходить тебе тоже в мелкозвонах.

— Не извольте беспокоиться, ваша милость, — лебезил помощник. — Я намедни говорил с его благородием Щенятьевым, кой ныне при дежурстве. Господин Щенятьев также заинтересован в турбации на Киприашку, они ему какую-то чинят в брачных его намерениях противность. Его благородие господин Щенятьев изволили заверить, что их превосходительство губернатор прищелкнут богопротивного Киприашку, яко гнуснейшую вшу.

— Сам ты вша! — резюмировал Поликарпов и принялся разглядывать развешанные по стенам киприановские маппы. (Тьфу! Куда глаз ни кинь — везде оный Киприанов!) На карте Европы у него совершенно голую нимфу еще менее пристойный бык похищает. На карте Африки львы более похожи на деревенских полканов, а орды — на ощипанных ворон. И это царственные, геральдические звери! Но сие — увы! — к обвинению не пришьешь.

А вот киприановская карта под названием «Америка именованье имать от Америка Веспущия Флорентина, иже Емануила, Португалии царя помощию от Гадов в лето 1497 отшеды, первый из европейских, поелику надлежаще, во оную вниде...» Фу! Ну и язык! Таких, с позволения сказать, лексикографов надо при жизни заставлять адские сковородки лизать. Но тут тоже нет ничего для обвинения. Разве что в титуле царском внизу маппы есть оплошность — государь именован «всепресветлейшим», а сие именованье пристойно лишь для герцогов и великих князей. Не забыть упомянуть губернатору Салтыкову и об этом.

В это время палисандровая дверь сама приоткрылась, и стало слышно, как охает и молит о пощаде человек, вероятно, тот, которого провели на цепи. «Ваше превосходство»

дительство, ваше превосходительство,— задыхался он.— Христом богом заклинаю, помилуйте... Не видал я той гончей вашей, как ей лапку отдавило!»

Слуги гремели судками, а губернатор командовал:

— Подлей-ка мне соусу!

Послышалось, как он разламывает и вкусно разгрызает птичью ногу. Прожевав, Салтыков закричал иступленно:

— Эй, палач, что ты ленишься, сам в кнуты захотел? Поддай еще этому нахалу, чтоб ему впредь неповадно было господских собак портить!

Как раз в этот момент в приемную и вошел Киприанов, одетый в свой выходной кафтан с искрой, доставшийся ему от немца-певчего. Со страхом прислушиваясь к вою и всхлипываниям, доносившимся из-за приоткрытой губернаторской двери, он сел напротив Поликарпова и никак не мог унять трясущееся колено. Поликарпов же явно ухмылялся.

Когда окончилась наконец трапеза с расправой, Щенятьев на цыпочках провел в губернаторские покои всех — и Киприанова и Поликарпова с его Мазепой. В дверях они церемонно уступали друг другу право войти первым, пока Поликарпов не пошел-таки вперед, преисполненный достоинства.

Салтыков стоял перед овальным зеркалом, облаченный в утренний кафтан палевого цвета. Всматриваясь в свое отражение, он зверски выпучил глаза и раздул ноздри, добываясь полного сходства с его царским величеством. Затем резко повернулся к замершим в полупоклоне посетителям:

— Ну, который из вас Киприанов? Ты? Так вот что: завтра же чтоб все свои штанбы перевез в Печатный двор. Впредь всякое тиснение производить лишь по указанию директора господина Поликарпова. Слышал? Кругом марш!

— Ваше благородие,— сказал Киприанов,— у меня нет штанбов.

— Как? — изумился губернатор.

— Осмелюсь доложить... — высунулся Иоанн Мануйлович.

Но стоявший позади Щенятьев дернул его за полу подрысника, и тот вовремя остановился, потому что Салтыков на глазах багрел, наливаясь гневом.

— Как нет штанбов? — закричал он так, что зазвенели

стеклянные подвески в богемской люстре.— Чем же ты занимаешься в своей... как это... как это...

— Гражданской типографии, ваша милость,— подсказал Поликарпов, склоняясь долу.

И тут странное спокойствие охватило Киприанова. Исчез тик на шее и дрожание в колене. Он стал неторопливо развязывать шнуры на своей папке, а губернатор молчал, недоуменно на него глядя.

— В гражданской типографии только готовятся доски и наборы, иначе — печатные формы,— спокойно сказал Киприанов.— Тиснение же производим на штанбах Печатного двора, под милостивым наблюдением господина Поликарпова.

— Сие действительно так? — недоуменно обратился губернатор к Поликарпову.

Тот еще раз поклонился, а Иоанн Мануйлович вновь хотел что-то вставить, и опять Щенятьев сзади дернул его за подол.

— Позвольте мне присесть, ваша милость,— сказал Киприанов,— дабы сподручнее отыскать в моей папке сказки и письма, работы гражданской типографии регламентирующие...

— Да, да, садитесь... Все садитесь! — позволил губернатор, сел сам, сделал в воздухе жест, и чуткий Щенятьев подал ему табакерку.

Салтыков крикнул, насыпал табачку на седлышко между большим и указательным пальцем и со вкусом вынюхал. Киприанов листал принесенные документы, а Поликарпов со своим Мазепой угрюмо молчали.

В это время кто-то из-за двери спешно подозвал Щенятьева, тот кинулся туда, тут же вернулся — и к губернатору, зашептал ему что-то. Салтыков вскочил, выпучив глаза уже не понарошку. Табакерку сунул под зеркало, одернул палевый кафтан, стал приглаживать парик, а на посетителей рывкнул:

— Уходите, не до вас!

Но в кабинет уже входил, благоприятный и сияющий, раскланиваясь со всеми, господин обер-фискал, гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. Поднял ладони, как бы желая всех задержать:

— Нет, зачем же, зачем же уходить... Ваше превосходительство, друг мой, пусть они останутся. Уважаемый директор Поликарпов, уважаемый библиотекарь Киприанов, у меня дело как раз по вашей части.

После обмена приветствиями все сели. «Что еще за напасть?» — думал Киприанов, боясь взглянуть на всесильного обер-фискала.

Сперва Ушаков спросил директора Поликарпова:

— Сколько книжных лавок в ведении Печатного двора?

— Две, — ваше превосходительство, — ответил тот, вставая, и Ушаков снова любезным жестом пригласил его сидеть.

И снова Иоанн Мануйлович из-за спины своего начальника не вытерпел, ослабил мордочку:

— Ясновельможный пане фискал, осмелюсь уточнить...

Осекся под тяжким взором Поликарпова, но обер-фискал подбодрил его улыбкой, и он продолжал:

— Еще есть в торговых рядах комиссионеры Печатного двора, лавок десять наберется. — И развел руками, как бы показывая: разве можно что-либо не уточнить перед господином обер-фискалом?

Тогда Ушаков обратился к Киприанову.

— А у вас, как я понимаю, только одна лавка?

Но вопросы о книжных лавках, видать, были не главными в деле, ради которого он пришел. Вынув из-за общага своего преображенского мундира листок бумаги, он развернул его сначала перед губернатором, причем Салтыков даже крикнул, а потом показал остальным.

Это было подметное письмо, листовка из числа тех, которые время от времени некие воры и изменники государевы разбрасывают на папертях, торжках, крестцах и прочих людских местах города. Однако в отличие от всех прежних, за которые много людей уже было хватано и пытано и осталось без ноздрей, как тех, кто писали да разбрасывали, так и тех, кто читали да пересказывали, этот листок был не переписан от руки, а напечатан... Напечатан!

«Мироед! — значилось в подметном письме, и имелся в виду, конечно, царь. — Весь мир переел! Нет на кутилку на тебя переводу!»

— Заметьте, — обер-фискал потыкал толстым пальцем в подметное письмо, — это вам не лубок, не на единой доске резан. И зрите, зрите — это набрано новым, гражданским шрифтом!

Наступило тягостное молчание. Директор Поликарпов нашарил под кафтаном леству — четки — и принялся их

перебирать, в уме твердя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!»

— Как мне помнится,— продолжал Ушаков,— не на господина ли Киприанова указом было возложено весь книжный товар на московском торгу проверять и давать разрешение на продажу?.. Не трудитесь, господин Киприанов, не развязывайте шнуры вашей папки. Идя к господину губернатору я прочитал именное повеление его царского величества от 1705 еще года, где указано противу предложенных доносительных статей Кадашевской слободы купецкого человека Василия Киприанова, кроме всего прочего, все картины персональные святых, и всякие эмблематические, и символические, и прочие, зовомые фряжские листы, всякого чину людям продавать только через библиотеку, которая при оной гражданской типографии обретается. В библиотеке же, загербя, то есть поставив разрешительную печать, отнюдь не держать, а отдавать их хозяевам для продажи. А которые не потребны будут в продажу, ради несовершенно в них разума или неподлинного ради лица изображения, таковые листы чтоб изымать безденежно и хранить до указа... Не так ли это, господин Киприанов?

Киприанов тоже встал для ответа (коленка тряслась предательски!). Оправдывался: де, открывая лавку, сиречь библиотеку, он и не чаял себе власти над всем торгом книжным — чтобы и разрешать и изымать...

— Вы меня не поняли,— прервал его Ушаков.— Я как раз спрашиваю, почему вы не делаете этого? Почему?

— Да, да, да! — хлопнул по столу губернатор Салтыков.— Почему?

Киприанов, перхая от волнения, стал уверять, что слаб-де для сего и разумения должного ниже титула достойного не имеет... А уж Печатный двор, то есть почтенный господин Поликарпов, раз уж он хочет над гражданской его типографией начало иметь, вот ему и с руки за всю торговлю книгами отвечать...

Поликарпов, несмотря на присутствие обер-фискала, протестующе вскочил, но тот остановил его жестом, молчал, оценивая обстоятельства.

— Ну, вот что,— сказал Ушаков, побарабанив по столу пальцами.— Разбираться, кому у кого под началом быть, мы сейчас не станем. Пусть обсудят это ваши верховные начальники: Печатного двора — боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, а гражданской типографии —



генерал-фельдцейхмстер Яков Вилимович Брюс. Оба они ныне в Санктпетербурхе обретаются, мы им отпишем, а они какую резолюцию наложит изволят, пусть государю доложат. Мы же сядем тотчас потеснее и подумаем совместную думу, как бы нам злодеев сих, писем воровских подметчиков, изловить.

Киприанов вернулся домой в самом тяжелом настроении. Все домашние ушли к обедне, в полатке оставался один швед Саттеруп, который как лютеранин, да еще военнопленный, в церковь не ходил. Киприанов, послонявшись по мастерской и выкурив трубочку, немного пришел в себя, достал коробку с гравировальными резцами и склонился к абрису ландкарты.

За окошком, куда Киприанов вместо старой слюды вставил чистейшие стекла, кипел, шумел, торжествовал летний солнечный день. Но гнездилась на сердце неясная кручина, и все кругом было неуютно, и в мастерской казалось темно. Киприанов зажег две свечи в шандале, потом поднес ландкарту к самому окошку, разглядывая, и наконец распахнул окно настезь. Там, внизу, на площади, сквозь людской гомон и толчею медленно ехала фура, окруженная конными преображенцами.

— Преображенская фура! — хмыкнул Киприанов, склонясь к ландкарте.

Но непонятное беспокойство все более мучило, и он, бросив циркуль, вернулся к окну. Фура въехала уже на самую середину площади.

«Ох, чье-то сердце екает сейчас! — думал Киприанов. — Скольких людей увезла из дому эта фура и сколько их не вернулось к своим очагам!»

Он заставил себя отвернуться и вновь взяться за циркуль. Но не успел он сделать первые замеры, как услышал отчаянный стук палки Саттерупа, призывающий его вниз. Там у лестницы стоял усатый секунд-поручик Преображенского приказа.

— В твоём ли доме приписанная к Артиллерийскому приказу сирота Устинья, оказавшаяся по розыску Ступиной?

Киприанов остолбенел более чем во время всей аудиенции у губернатора Салтыкова. Пока он лихорадочно соображал, что сказать, а секунд-поручик хмуρο изучал его лицо, показались из церкви домочадцы с бабой Марьяной во главе.

И тут же Устинья выдала себя: увидев преображенцев,

она метнулась в сторону, наткнулась там на усача, бросилась в другую — и вот уже все преображенцы ловят ее и уже поймали, со знанием дела опутывают веревкой.

Затем секунд-поручик приказал Киприанову засвидетельствовать личность схваченной Устиньи. Баба Марьяна суетилась, предлагая служивым выпить по чарочке с устатку. Затем связанную Устинью повели, а точнее, понесли, потому что она отчаянно билась. И тут в дверях вырос запоздавший Бяша.

Он не сразу понял, что происходит.

— Ма-ама! — вскрикнула Устя, когда ей заломили руки, запихивая в фуру. И он без раздумья кинулся на солдат.

Неизвестно, чем бы кончилось это для него, но тут Федька и Алеха, и даже швед Саттеруп бросились, оттащили его от преображенцев, которые уж и кортики обнажили (нападение на конвой!). Откуда только у юноши взялась сила — Федька, здоровенный Алеха и все подмастерья не могли никак с ним справиться. Возились, пока фура отъезжала, пока огибала Лобное место, выкатывалась через ухаб на улицу Ильинку, исчезая в людной толпе.

## Глава пятая

### СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Лопухины — род древний и знаменитый, хотя при последних государях оскудевший и милостями забытый. Родословцы выводят Лопухиных от того баснословного Редеди Касожского, которого в честном бою поразил тьмутараканский князь Мстислав. Но и охудав и вотчин многих лишась, Лопухины оставались многочисленны и горласты. Не за то ли и избрала их вдовая царица Наталья Кирилловна, когда приискивала невесту сыну? Время тогда было смутное, правительница Софья в самой силе находилась, а положение юного Петра было шатким, стена из преданных свойственников казалась весьма кстати...

На свадьбе царя Петра и Евдокии Федоровны Лопухиной довольно было знатных персон, но почетную должность получил тогда самый младший брат новобрачной, совсем еще мальчик, — Аврам. Он ходил в подружках — невесте фату держал, молодых хмелем обсыпал, сенных

девушек одаривал. И виделись уже царскому свояку Авраму в его будущей фортуне неоглядные дали.

А получился афронт совсем уж неожиданный. Кто ныне разберет, какая там кошка между молодыми пробежала,— иные уверяют, что басурманы из Немецкой слободы государя опоили, другие — что прокляла его сестрица Софья из монастыря за то, что ее власти лишил. Так или этак, а как вернулся царь из путешествия за рубеж, так к царице уж ни ногой, а все в немецкий шинок, что возле Язуы-реки.

И вскоре веселая да румяная царица Евдокия — Авдотья, Дунюшка-лапушка, как звал ее когда-то муж, — стала инокиней Еленой, старицей Спасо-Евфимиевской обители в Суздали, вечно слезы лиющей. И сынок ее единородный, Алексей Петрович — Алешенька-свет, — был от матери взят и поручен старым девам-теткам, да корыстным приживальщикам, да немцам, профессорам безмозглым. А Лопухины, которые чаяли в генералы да министры, — те угодили воеводами в окраинные города.

«Ништо! — решил, однако, бывший поддружка. — Твоя, Аврам, свеча еще не загасла!» Снискав милость царевны Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра, приблизился он к царевичу Алексею, которого она воспитывала, стал у того нужным человеком. То выезжал дядя Аврам с царевичем в сельцо Коломенское, и там было кушанье и напитков изрядно, и царевич зело изволил увеселяться. То посещал его же, дядя Аврама, дом и изволили там кушать и пить много и забавляться с весельем, танцевали и в лещетки играли до полуночи. Немцы-учителя даже государю описывали, чтобы дядю того от царевича определил подале. Когда же царевич вырос, Лопухин тайно свез его в Суздаль, свидание с матерью, которую он не видел столько лет, ему устроил.

Затем царевич уехал в Петербург, потом за границу, в армию, женился, возвращаясь в Москву уж ненадолго, но Лопухин, не имея чинов и должностей, сильным стал на Москве человеком. Бояре царского указа так не слушали, как того Аврама Лопухина, в него веровали и боялись его, говорили: «Он всем завладел. Кого велит обвинить, того обвинят, кого от службы отставить, того отставят, и кого захочет послать, того пошлют».

В канун Петра и Павла, под вечер, Василий Онуфриевич Киприанов, взяв подвешенный молоток, постучал им в калитку усадьбы Лопухиных, что раскинулась на скло-

нах холмов напротив Кремля, обращенных к Неглинной-реке. Был разгар жары — духота, глухомань, пол-Москвы по деревням разбегалось, округ бродили грозы. Промокая платком взмокший лоб, Киприанов ожидал, пока калитка распахнется перед ним, и с некоторым страхом рассматривал высоченный забор, а за ним — мрачный чертог рода Лопухиных. Слыл тот дом на Москве воровским, тут-де против государя что-то замешивается, тут беглых много скрывается, юродивых... И вообще, конечно, лучше бы сюда вовсе не ходить, да Лопухин сам звал через нарочного, попробуй-ка к такому не пойдешь!

— Откушайте, гостюшки, не побрезгуйте! — потчевал Аврам Лопухин многочисленное застолье. — Эй, стряпуха, все, что есть в печи, все на стол мечи!

Восклицание его надо было понимать иносказательно, потому что стол заранее был уставлен продуманной переменной блюд, слуги суетились, наливая да подкладывая.

Сам Аврам Федорович не ел, не пил, обмахивался салфеткой. Цвела липа. То ли от ее сладкой одури, то ли от духоты, которая даже к вечеру не спадала, головы мутнели, а языки развязывались.

Протопоп Яков Игнатьев, сдвинув мрачные брови, начал с того, что благословил трапезу, помолился и за здравие отсутствующего царевича Алексея Петровича, как было заведено в лопухинском доме. Гости стали спрашивать о житии царевича и его сироток «прынцев».

Тут Лопухин выпроводил слуг и плотно закрыл за ними двери.

— Худо царевичу, — ответил он на вопросы гостей. — Я, сказать без обиняков, затем и собрал вас под предлогом царских именин. Все вы во время оно были милостями его высочества взысканы. Помогать царевичу надобно. Кто и поможет, если не мы?

— Мы бы рады, — отвечали гости и сродники, воздавая честь лопухинскому столу. — Да как помочь-то? Мы без полномочия.

— Государь отъехать за рубеж изволил, — продолжал Лопухин. — Объявлено — для лечения, а прямо сказать — для изыскания новых злоумышлений на народ православный. Отъезжая, сказывал царевичу: одумайся к моему возвращению, а не то-де лишу тебя наследства, понеже зрю тебя к нашему делу неудобна и непотребна.

— Так, может, царевичу взять да одуматься? — спросил канунниковский шут Татьян Татьяныч, который

присутствовал здесь на равных в своем розовом парижском паричке и усердно занимался лопухинской жирной солянкой.

— Го! — вскричал Аврам Лопухин. — В чем ему одумываться-то? Уж чего он не делал, чтобы отцу угодить. Вот у меня в руке собственноручное письмо царевича, где он своим бесчестиям реестр учиняет. Желю ему, чертовку немку, навязали — раз. Стерпел, покорился; слава богу, недавно прибрал ее господь, умерла. Холуй Меншиков его, царевича, за волоса всенародно волочил, якобы за пьянство, — два. Он же, царевич, даже не пожаловался отцу. Да и как жаловаться-то? Царевич вообще к отцу ходить боится — то его прибьют, то облают... В чем одумываться-то ему, скажи?

— А бояре, князья, господа сенаторы? — снова возразил шут, и все стали на него смотреть. Некоторые даже привстали, чтобы лучше увидеть, кто это осмеливается Лопухину перечить. — Есть же закон... — развивал свою мысль Татьяна Татьяныч. — Мы же суть благоустроенное государство, то и монарший сын может рекет подать, сиречь жалобу, Сенату на самоуправство отца. Тогда бы бояре...

— Бояре! — с сарказмом воскликнул Лопухин. — Князь Голицын, когда однажды царевич с ним заговорил, стал просить — ради бога, не подходи ко мне, боюсь, государь заметит, что ты со мной часто бываешь. А Васька Долгорукий, придворная шавка, советовал государю, чтоб он царевича почаще таскал по флотам, надорвался бы тот скорей и умер от такой волокиты.

— Ежели судить по твоим речам, — пожал плечами Татьяна Татьяныч, — кто же тогда поддержит царевича?

— Все поддержат, все! — запальчиво крикнул Лопухин.

А протопоп Яков Игнатьев подтвердил:

— Воистину все!

— Царство стонет от непосильных тягот! — продолжал Лопухин, оглянувшись на двери, хорошо ли заперты. — Митрополит Досифей, всеизвестно — пастырь жития знаменитого, сказывал наемни: «Посмотрите, у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, в народе-то что говорят?»

— И что же в народе говорят? — переспросил Татьяна Татьяныч.

Он усмотрел на столе квас со льдом и потянулся, что-

бы налить себе в кружку. В этот момент протопоп, который, оказывается, тоже облюбовал себе этот живительный напиток, со злобой ударил его по руке. Не по чину, мол, лезешь! Квас полился всем на колени.

— Аврам Федорыч! — вскочил шут. — Ежели я к тебе шутить приглашен, то давай я буду шутить. У меня колпак всегда с собой в кармане, вот он — гав, гав, гав! Но уж коль ты меня для иного звал, то изволь, защити меня от твоих гостей...

Протопоп и шут, как два бойцовых петуха, один огромный, черный, другой маленький, нахохлившийся, нацелились друг на друга.

— Господа! Господа! — утихомиривал их Лопухин. — Что мы тут, чинами равняться станем?

Квас кое-как вытерли, протопоп утолил жажду первым и победоносно обтер бороду, шут же демонстративно отвернулся. Лопухин продолжал:

— Я потому и пригласил сюда господина Киприанова, царского библиотекаря, запомятовал вам сразу представить его, господа, вот он. Господин Киприанов по желанию государя в свое время обучал его высокочеству Алексея Петровича гравировальному мастерству, и царевич к нему благоволил. Прошу вас, господин Киприанов... Василий Васильевич вас зовут-величают?.. Ах, Онуфриевич? Ради бога, не питайте досады. Прошу вас, вы сами из посадских, вы на торгу живете, так скажите же нам: что народ?

Киприанов встал, как недавно у губернатора Салтыкова, и так же медлил с ответом. Чувствовал себя словно сеченый школяр, которому велят благодарить за науку: знает, чего от него ждут, да сил нет сказать. Сотый раз проклинал себя за то, что пришел к Лопухину...

— Люди молятся за царевича... — только и смог он вымолвить.

— Царевич вот пишет, — Лопухин взмахнул письмом. — Я-де плюю на всех, здорова была бы мне чернь...

— Чернь! — опять вскочил Татьяна Татьяныч. — Хорошо же он любит народ, коль чернью его называет!

— Аврашка! — заревел, раздувая бороду, протопоп. — Ежели ты не заткнешь пасть этому лицедею, ноги моей больше у тебя не будет!

Но тут уж не вытерпел и Лопухин. Сорвал со стены охотничий арапник, ударил по столу так, что посуда брызгами полетела, и гости еле успели отшатнуться.

— Молчите, ироды! Сей миг кликну псарей, всех велью хлыстами перепороть!

Угроза возымела действие. Сам Лопухин, помолчав, обер платком обширный лоб и обратился к Татьян Татьянычу:

— Ведь ты, почтенный, из рода князей Вельяминовых. Покойная царевна тебя любила, царевича ты не раз тешил... Не можешь ты равнодушен быть к царевичу и его делу. Вот что пишет царевич: «Когда буду государем, я старых всех переведу...» — это он про Меншикова пишет, про Брюса и про иных — «...и изберу себе новых, по своей воле буду жити в Москве, а Петербург оставлю простым городом. Кораблей держать не буду — на что мне корабли? Войска тоже, я войны ни с кем не хочу... Все буду делать по-старому». Слышал?

— Я-то слышал, — сказал Татьян Татьяныч. — Теперь послушайте вы меня, старого балаганщика. Да, был я князем, так давно, что уж не знаю, был ли. Случилось однажды так, что не потрафил я государю Петру Алексеевичу: не пожелал я в тезоименитство царя выпить перцовки чару. Всегда к питью я отвращение смертное имел, а государь наш в молодости гневлив был, у-уй! Указал царь мне с той поры шутить, вот я и шучу. При царевне Наталье Алексеевне, доброй душе, шалил и, однова, царевичу служал. Бывало, прибежит царевич ко мне в каморку — помоги-де уроки приготовить, немцы ученые талдычат, ни черта у них не разберешь. Я возьму книжку — так-де и так, царевич все и поймет и побежит веселый. А я все же Парижский университет окончил в незапамятные времена... Теперь после кончины царевны-благодетельницы живу у купца Канунникова. Вот истинно православная душа — хоть и заставил меня однажды исподние панталоны, мелко порезав, скушать в соусе, зато знаю: на старости лет он меня куска не лишит, в собачью конуру не выгонит.

— Хватит болтать-то! — мрачно сказал протопоп. — Заврался уж совсем.

— Постойте, постойте! Дайте же досказать. Я к тому, что царевичу я не враг, даже наоборот. Но лучше-таки ему внушить, чтобы слушался отца, а вы грех творите, что на государя его натравливаете.

— У-у-у! — вскочил протопоп, потрясая кулаками.

Рядом сидящие схватили его за локти.

— Да, да! — не сдавался Татьян Татьяныч, тоже отби-

ваясь от соседей.— Я укажу вам, где ваша ошибка... Пойдите, стойте! Вы полагаете, царь Петр все один устроил — и флот, и пушки, и Санктпетербург и цифирные школы? Он-де кузнец, он-де плотник, он-де бомбардир? Умрет он, и все вспять повернуты? Ан нет, мудрецы, ан тут-то вы и оплошали! Да, царь кует, царь плотничает, но дело рук его — лишь капля в море всенародного труда. Все творит народ, чернь, как вы изволили выразиться, ее величество чернь! А уж сего корабля вам не повернуть вспять никогда!

Тут огромный, страшный в гневе черный протопоп вырвался из рук гостей, старавшихся его удержать, и ринулся на тщедушного шута. Он тряс его, как котенка, и, верно бы, совсем придушил, если бы вдруг не распахнулись фрамуги окон и вместе с ударом грома вихрь не взвил драпировки и не стал валить вазы, шандалы, опустошенные бутылки. В пылу спора не заметили, как налетела гроза.

Гости стали торопливо собираться.

— В сад, в сад! — направлял хозяин.— Там три калитки на разные улицы, а возле подъезда шпионы так и кишат.

Они остались вдвоем с протопопом. Зажгли свечи, налили вина, слушая, как за плотно зашторенными окнами грохочет гром и шумит ливень. Протопоп усмирился и захрустел огурчиком.

— Сказано — не мечи бисер перед свиньями... Затем ты этих греховодников собирал?

— А с кем же полагаешь дела делать, отче? Где твои суть верные войска? Александр Васильевич Кикин тебе как отписывал?

— Что Кикин! Со здешними болтунами только зря в застенки попадешь к кровососу князю-кесарю. Теперь еще пуше на нас пришла напасть — петербургский сей обер-фискал! А верные войска? Вольготно ему отписывать — войска! Даже генерал-фельдмаршал Шереметев, кой царевичу, бывало, стопы готов был облизывать, ныне наших людей даже и на порог к себе не пускает... Прозевали, как в декабре царь околевал, на божию милость все уповали! Придавить бы его тогда подушкой...

— Что теперь рассуждать, как надо было бы... Ежели бы да кабы во рту росли грибы! Скажи лучше, отче, как найти людей надежных да увертливых, чтобы к холопам ходы имели, к посадским, к казакам?



— Ты, знать, затем и Киприанова приглашал?

Лопухин кивнул.

— Зря! — махнул протопоп. — У Киприанова этого низость его происхождения на челе каленым гвоздем начертана. А почто тебе, как ты сказываешь, человек тот надежный?

— Тут, бают, на Москве атаман Кречет появился, из булавинских он, что ли... Этих воров недобитых всюду еще шатается предостаточно, тоже небось себе вожака ищут. У них ведь при Булавине в обозе какой-то царевич будто бы ехал, самозванец...

Помолчали, слушая шелест дождя. Лопухин продолжал мечтательно:

— А собрать бы под царевича, под Алексея Петровича, всех обездоленных, всех пытаных, мученых... Так бы тряхнули да по царю, по антихристу, дружно бы опрокинули его проклятую новизну!

Опять молчали, витали мыслями в эмпиреях. Первым очнулся от мечтаний протопоп, стукнул ножиком по столу, сказал со вздохом:

— Нет, тут нужен вождь. Хоть самозванец, а вождь. А наш подлинный царевич только в божьи угодники способен... Даже мученик из него не выйдет. Вестимо отписывает Кикин — уговорить его, царевича, за рубеж уйти. Пусть просит войск у цесаря в Вене или сам волонтеров иностранных скликает. Он бы оттуда ударил, а мы бы здесь двинули!

Протопоп встал, потянулся, расправляя могучие свои члены, снял со спинки кресла сброшенную по случаю жары верхнюю рясу и стал облачаться, напевая себе под нос: «Еже недостойный еси. Аки лев рыкающ, аки пес смердящ, во пустыне влачишася...»

Лопухин со стоном ударил кулаками по столу и погрозил ими куда-то за окно, где еще бушевал ливень.

— Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня!.. Яко будете у меня в руках — выдавлю из вас сок!

Та же гроза застала Бяшу и его друга Максюту в окрестностях Преображенского.

— Поди-ка! — ахал Максюта, переживая историю Усти, которую по дороге ему откровенно рассказал приятель. — Ну, авось в Преображенском хоть узнаем, куда ее увезли. Бывает, что и милостыню там принимают, и грамотки от родных. Бог даст, словечком с нею перекинемся, а то, глядишь, что-нибудь измыслим.

Когда они вышли из рощи на Стромынской дороге, перед ними открылась долина свободно струившейся Яузы. Цвели травы, жужжали всяческие пчелы, осы, шмели, день был благословенный, жаркий, и просто не верилось, что на другой стороне реки, на высоком холме, где возвышались бревенчатые каланчи и частоколы, там мучения и смерть и там, может быть, Устя!

Они спустились к мосту через Яузу, но на мосту размлевшие от жары ярыжки собирали со всех конных и пеших проезжую подать. Практичный Максюта не растерялся; он на жизненном своем опыте знал, что везде, где имеются парадные ворота или стоит усиленный караул, непременно найдется обходной лаз, а где-нибудь на задах ограда вообще отсутствует.

Так оказалось и здесь. Чуткое ухо Максюты уловило в тишине лугов размеренное постукивание мельничного колеса. Плотина!

Спустившись по тропинке мимо теремов и крылец обветшавшего Охотничьего дворца, где некогда проживала опальная царица Наталья Кирилловна с малышом Петром, а теперь окна были заколочены и кровля уже кем-то растаскивалась, приятели обнаружили за купой ракич Матросскую слободу, где работала парусинная фабрика, и привод та фабрика имела от мельничного колеса. По плотине они и перебежали без помехи на левый берег.

Они поднимались в высокой, по пояс, траве на склон холма. Вокруг буйствовали белые шары дягиля, золотые звезды зверобоя, малиновые кисти иван-чая. Парни, однако, не замечали всей этой красоты, потому что напряженно вглядывались в серые бревенчатые бастионы над головой.

«Свет мой! — думал Бяша. — Еще ли ты дышишь? Или уж замучили, убили тебя?»

Максюта, который малый был шатущий и всю Москву изучил собственными подошвами, показал Бяше издали приземистое кирпичное здание. Под его железной крышей был припрятан деревянный трехкомнатный домик, в котором всегда осганавливался царь Петр Алексеевич, когда приезжал в Москву. В прежние-то времена он только и жил, что в этом домике. Странное дело: человек гигантского роста, неукротимых страстей, смелых дерзаний терпеть не мог роскошных дворцов и парадных покоев. Голландский уют небольших чистеньких комнат с низкими потолками и тихим перезвоном часов — таков был его домашний мир, его отдых. Основав новую столицу —

«истинный парадиз»,— он и там настроил себе домиков по своему вкусу и уже редко приезжал пожить в Преображенское. Но приказал, чтобы сберечь от времени и непогоды, соорудить кирпичный чехол над этим любимым пристанищем своей юности. Вокруг царского дома стояли, опершись на ружья, усатые часовые, провожали подозрительным взглядом всех, кто проходил мимо.

Впрочем, иных прохожих, кроме Бяши и Максюты, в этот час здесь и не было. Безделье, жара и сонная тишина, нарушаемая только зудением пчел, стояли вокруг, будто где-нибудь в глухой деревенской усадьбе.

— Вон, гляди! — указал Максюта на длинный сарай возле церкви, где над воротами была устроена каланча с дощатой луковицей.— Это называется— генеральный двор. Там сложены пушки и бомбы, взятые при Полтаве. Некоторые ядра в три обхвата, ух!

— А где же, где то самое? — тосковал Бяша.

— Вот, глянь левее, о другом склоне... Да нет, не там, это Прешпург, потешная крепостца. Вон за солдатскими светелками — первый ряд, второй ряд... видишь? Такая бревенчатая, пузатая, припертая колодами, чтоб не распалась,— это и есть Бедность, главная башня Преображенского приказа. Только, брат, туда мы с тобою не попадем, охраны там, видать, гораздо!

В этот момент загудел ефрейторский рожок возле генерального двора, и начался развод караула. Приятели засмотрелись, как четко вышагивают солдатики, будто заводные. Перестраиваются по двое, по четверо, отдают честь, ружьями артикул выделывают на ходу.

Заглядевшись, они вздрогнули от окрика за спиной:

— Позволь! Позволь!

Конвойные солдаты, сонные и злые от жары, гнали по тропе целую вереницу колодников. Возвращались, видимо, из Семеновского или Лефортова, куда их каждый день гоняют милостыню собирать. Казне экономия, а на что же и питаться сей бедноте?

Приятели поспешно посторонились, и мимо них, воняя потом, гнилью, тюремной парашей, заковыляли убогие, с любопытством поворачивая к ним бородатые клейменные, калеченые и при всем том развеселые лица. Хоть все они были в цепях, но звона почти не слышалось — опытные колодники, они ловко несли в руках свои «мелкозвонны». Некоторые на ходу жевали калачи.

— Сынки, подайте, Христа ради! — стал кланяться

крайний, у которого на лбу красовался струп от наложенного клейма.

Максюта спросил капрала, который шагал по обочине, поигрывая полосатой палкой:

— Ваша светлость! Позвольте ему подать!

А Бяше он шепнул:

— Авось и разузнаем!

— Подавай! — милостиво разрешил капрал и крикнул: — Эй, каторга! Приставить ногу — привал!

Максюта вынул из-за щеки копеечку, единственное свое сокровище, и подал клейменому. Наклонившись, стал у него выспрашивать, где женщины содержатся да есть ли туда какой доступ.

К Бяше тоже пристал колодник с костылем; лицо у него было перетянуто тряпицей — вероятно, вырваны ноздри.

— Эй, боярин! Поддай и ты, спасения души ради!

Бяша растерянно развел руками — у него с собой не было ничего. Колодник, подняв костыль, перелез через канавку и вплотную приблизил свою морду к Бяше. Так и пахнуло чесноком и перегаром.

— Ты, гунявый! — сказал ему другой колодник, благообразный, с глубоко ввалившимися праведными глазами. — Что из ряда вылез! Вон капрал — он те живо визжаком замастырит.

— Нича! — весело ответил гунявый. — Обойдется. А ты знай свою хлебалку, в мою не суйся!

Он стал ощупывать полотняный армячок Бяши, который тот по случаю жары нес в руке, и насмешливо восхитился:

— Ого-го! Шелка, бархата заморские! Подарил бы ты мне его на мои болести, а? — И, не дожидаясь ответа, стал тынуть кафтанец к себе.

Бяша не знал, как и сопротивляться. Тут благообразный колодник ахнул, всплеснув руками: «Что он делает, хриstopродавец, что он делает!» — перемахнул через канавку и принялся деловито стаскивать с Бяши его канифасовые порточки.

— Гы-гы-гы! — завопил третий колодник, подсакивая. — Ваши ручки, ваши ножки, пузичко, а едало, чур, мое! — И, завалив Бяшу на траву, он большим пальцем влез ему в рот, ища за щекой монету.

— Подъем, подъем! — раздался голос капрала. — А



ну, нищета, бегом — гроза идет! Ты, нюхало сатанинское, уже улегся? Храповицкого задавать? Вот тебе!

Зарботала полосатая палка, и вся команда, отчаянно зазвенев кандалами, бросилась вверх по тропе. И верно — незаметно подкралась гроза. Горячий воздух сгустился, все померкло, притихло и вдруг взорвалось под напором холодного ветра. Налетевший шквал гнул травы, нес какие-то ошметки тряпья. Столб пыли крутился над Яузой. В небе грозно урчал гром.

— Господин начальник! — отчаянно кричал вслед уходящему конвою Максюты. — Они же нас раздели! Как же мы теперь голые пойдем?

Конвой не обратил ни малейшего внимания на его вопли. Бежать, догонять, драться? Команда уже втягивалась в распахнувшуюся дубовую пасть острога.

Хуже всего, что вместе с сермяжным кафтанцем исчезли и Бяшины очки. Да и что же теперь, действительно, делать? Вновь и вновь ударял гром, блистала молния, а они сидели растерянные в мятущейся от ветра траве.

Упали первые капли, а потом полились и струи дождя.

— Голому дождь не страшен! — мрачно шутил Максюты.

Но надо было что-то предпринимать. В острожные строения и в царские палаты лезть нечего было и думать. Холодные, противные струи лили на них сверху, все сразу сделалось ужасным — и трава и небо. Бяша только что не плакал, стиснув зубы, зажмурил глаза.

— Спасение! — вдруг закричал Максюты, схватил друга за руку и потащил за собой вниз.

Он вспомнил, что на другом берегу ручья есть монастырская богадельня. Монахи-то уж рогожку какую-нибудь да подадут!

Впопыхах угодили в болотце, хоть плачь! Завязли — и ни туда ни сюда, а ливень, как нанятый, шпарит без передышки! Наконец нашли брод, выбрались на противоположный берег окаянной Хапиловки. Тут и дождь перестал, как по заказу, выглянуло солнце. Бедный Бяша трясся мелкой дрожью, зуб на зуб не попадал.

А неунывающий Максюты уже стучался в ставень богадельни:

— Отцы пречестные! Милостивцы! Помогите православным, пострадавшим от татей! Яко в писании — еже имеши ризу единую, голому отдах... Или по-иному, я не помню, все равно помогите!

Ни стука ни шороха. А Бяша изнемогал от озноба, ухватившись за плечо друга. Максюту удвоил усилия, крича, что один из ограбленных — сын богатого купца из Покромного ряда, его родители щедро одарят...

Тогда ставень приоткрылся, и чья-то благодетельная рука высунула ворох разнообразной одежды. Максюту с восторгом принял его и уже стал говорить о благодарности, как низкий женский голос проговорил из-за ставня:

— Ступайте, отроки, удаляйтесь поскорее. Мы ничего более не можем, обещаем только молиться за вас. Здесь девичья обитель.

Среди одежд оказались рясы и какие-то покрывала — монастырские платы, что ли? Но этого было достаточно, чтобы поспешно одеться и бежать по направлению к Москве. Приятели ухитрились вернуться незамеченными. Бяша переоделся, отказался от ужина, лег в постель. А Максюту все-таки перехватил сам Канунников. Был он не в духе — отделал парня вожжами, потом запер одумываться в ледник.

А ночью у Бяши открылся жар. Он метался, не узнавал никого, кричал, порывался разбить башню Бедность, ту самую, что подперта дубовыми колодами.

Киприанов и баба Марьяна в изумлении переглянулись — это где же он такое вчера был-пропадал?

— Что делать, Онуфрич? — спросила баба Марьяна. — Ведь он шибко хворый! Лекаря, что ли, звать? А он и лекарю наговорит страстей про Преображенку... Что там твой Календарь Неисходимый предписывает? Ты же сказывал, что в нем имеется врачующая часть.

Но календарь что-то неясно толковал о противостоянии Марса и Меркурия, о прилитии мокрот, советовал взять на коришной воды лот тминного масла полквинтеля и давать больному по ложке через несколько часов. Баба Марьяна махнула рукой и, хорошенько натопя печь в поварне, вместе с Федькой и Саттерупом вынесла беспмятного Бяшу, посадила его прямо в устье печи и там выпарила хорошенько. Потом напоила малиновым отваром, горчичным семенем смазала ему подошвы и, закутав в овчинный тулуп, уложила на свою печь.

И бред прошел. Перестали чудиться не то бревна, не то лапы, ожившие драконы с преображенских флюгеров. Стало тихо и спокойно, стало понятно, что он в родном доме, где все мирно спят, лишь мерцает полунощная лам-

падка, возле которой прикорнула баба Марьяна, взявшаяся дежурить у больного до утра.

И вдруг снова где-то не очень далеко раздался призывный крик петуха. Бяша хотел вскочить, закричать, позвать людей, сам не зная зачем, но сковавшая его слабость не дала и пальцем шевельнуть. Он только слушал, как петушиный крик повторился еще два раза, и потом уже, погружаясь в бездну сна, Бяша слышал, как петух кричал вновь, но уж как-то глухо и безнадежно.

Бяша не запомнил, как все эти дни за ним ухаживала баба Марьяна, только осталось ощущение ее заботливых рук. А вот помнит, как отец забирался к нему на печь, касался колючим подбородком его пылающей щеки, наговаривал присказочку, которую мать, покойница, пела Бяше в детстве, когда он хворал,—а он часто хворал!

«Дома ли, кума, воробей?» — «До-ома!» — «Что он делает?» — «Болен лежит». — «А что у него болит?» — «Пяточки». — «Пойди, кума, в огород, возьми травы мяточки, попарь ему пяточки». — «Парила, кумушка, парила, голубушка, его пар не берет, только жару придает!»

И он опять забылся, и виделось ему детство. Он, Бяша, первый год в Навигацкой школе. Все ему в диковинку — и огромные сводчатые залы Сухаревой башни, и учитель, непрерывно стучающий линейкой по столу, и товарищи, сидящие на скамьях тесно, плечо к плечу. Среди них и уса-тые, великовозрастные женатики, и совсем еще мальцы вроде Бяши. В шесть утра их, сонных, разомлевших, мастер, еще более заспанный, ругательски ругая строгий школьный регламент, тащит на пустырь, где они упражняются в черчении планов. А вот учитель фехтования, сухопарый живчик француз с бородкой острой и усами словно пики: «Алле! Алле! Мосье Кипианофф, шорт побери, алле, кураж!»

Вот триумф полтавской победы. Школяры в белых подстихарях, напаянных прямо на тулупцы, идут чинно, парами, поют гимны: «Чтоб Россия впредь достала мир и благоденствие, радость и веселие, чтоб Москва всегда стояла несмущенна, без войны...» Внезапно триумф изменили: получено было известие, что царица родила дочь, Елизавету Петровну. Зато была огненная потеха, невиданная доселе! С грохочущим свистом взвились в зимнее небо ракеты, поднялись целые снопы разноцветного огня и рассыпались дождем медленно тающих звезд. Завертелись огненные вихри, закрутились колеса, разбрасывая



струи трескучего пламени. Новый взрыв — и новый всплеск удивительных огней, лопающиеся шары, целые картины, начертанные из огня в декабрьском небосклоне.

А триумф победы все-таки состоялся, на несколько дней позже. Была на удивление мягкая, снежная зима. Все высыпали на улицу, никто не мерз. Смотрели, как из Котлов через Серпуховские ворота идут бесконечными колоннами пленные шведы, трут себе носы и уши, бьют рукавицы и лопочут что-то на своем басурманском языке. А вот и пленные генералы, сумрачные, хотя, сказывают, их с утра поили водкой, чтобы они от конфузного того огорчения ранее времени не сомлели.

Вот и сам царь в новеньком адмиральском мундире (он по случаю победы звание вице-адмирала получил) с лентой стоит среди других генералов и министров на палубе корабля, кой сорок пар лошадей тянут по снеговым рытвинам на огромнейших санях. Царь выше всех на голову, отовсюду виден издалека. Глаза его сияют радостью, он, смеясь, о чем-то говорит своим клевретам.

«Виват Петр Великий, спаситель Отечества, отец народа!»

Тогда-то в киприановской полатке появился инвалид полтавской баталии Федька, бездомный, потому что, пока он воевал во славу Марса Российского, деревня, где жили его родные, вымерла, в голодный год. Бяша любил Федьку — от него пахло далекими походами, ременной португеей, солдатским табачком, — просил его рассказать о Полтаве. Но тот вообще был насмешник, трудно было иной раз понять, где он шутит, а где просто злобничает.

«Распахана, — говорит, — шведская пашня да солдатской русской белой грудью, орана шведская пашня солдатскими ногами. Засеяна та шведская пашня да солдатскими головушками...»

Вдруг сквозь эти видения детства Бяше почудился звонкий, несколько резкий девичий голос: «Во всем хочет льстец, сиречь антихрист, уподобиться сыну божию... Не будет с ним ладу, не будет с ним мира, не будет ему повиновения!» И вновь ощутил, почувствовал, как бьется горячая жилка на нижнем сгибе локтя.

— Свет мой! — повторял он в ознобе какие-то далекие, когда-то читанные слова. — Еще ли ты дышишь? Или уже нет тебя в живых?

Странно это или нет, но в те же дни о своем далеком детстве вспоминал и еще один человек. Это был не кто

иной, как обер-фискал, гвардии майор Ушаков, и воспоминания эти пришлось на то как раз время, когда посетил он, обер-фискал, знаменитый Печатный двор.

Ехал он мимо киприановской полатки по Красной площади и размышлял о том, как бросается в глаза разница между тем и другим заведением. Печатный двор не столь уже далек от киприановской полатки — менее полуверсты. Все-то подняться по Красной площади, у главной аптеки завернуть направо и идти по Никольским торговым рядам до Греческого подворья. За ним и увидишь единорога да солнечные часы над вычурной резной дверью Печатного двора.

А разницу меж ними никакими верстами не измеришь. И не потому только, что Печатный двор — заведение в десять раз более крупное, чем киприановское, нет. В сводчатых полутемных галереях Печатного двора, где день-деньской скрипя движутся вверх-вниз прессы штанбов — печатных станков, в прокопченных от вечных свечей правильнях — редакторских комнатах, — везде царит дух церковный, православный, дух верноподданический, казенный.

Обер-фискал медленно шел в глубь темного старинного коридора, иногда похлопывал ладонью по каменному столбу, удивленно качая головой. Стены — двухсаженной толщины, как будто строилась крепость!

Сто пятьдесят лет тому назад пришел на место сие таинственный диакон Иван Федоров с помощником своим Петром Мстиславцем и в деревянной светелке взялись царю Иоанну делать книги... Таинственный потому, что до сих пор ведь неизвестно, откуда тот диакон пришел, где мастерству чудному книгопечатания учился, как он один все сам превзошел — и правил, и гравировал, и резал, и рисовал, и послесловия сочинял... И слыл вольнодумцем, как ныне этот же Киприанов, а потом таинственно взял да и утек из Москвы... Потом его ученики здесь старались — Адроник Невежа да Никифор Тарасиев, пока в Смуту в бесконечных уличных боях весь бревенчатый царский Печатный двор не выгорел дотла. А уж когда воссели на трон Романовы, они уж выстроили его с двухаршинными стенами из большемерного кирпича — цитадель!

И укрепилась Печатным двором сим православная церковь, он же одни духовные книги выпускает! И все они

там либо монахи, либо на монахов смахивают, как сам директор — великий постник Федор Поликарпов.

Прежде чем вступить в мрачную, обитую черной кожей дверь поликарповского кабинета, обер-фискал задумался. Труднее всего до крамолы докопаться, ежели она, та крамола, искусно в ризы благочестия оправлена. Пока шествовал он, обер-фискал, по длиннейшим коридорам Печатного двора, эти монахи-типографы во множестве ему попадались, испуганно кланялись и спешили исчезнуть... А кто знает, что у них там, под их косицами да клобуками? Государь Петр Алексеевич не доверяет монахам. Запретил, чтобы в монастырских кельях вообще были какие-нибудь чернила, перья или бумага. Пусть лучше себе молятся или идут в поле пашню пахать.

Монахоподобный директор Поликарпов долго и нудно скрипел, излагая содержание своей промемории о Печатном дворе, его истории и денежных делах. Ушаков ковырял в ухе свернутой бумажкой и не слушал. Так или иначе, эту многостраничную промеморию придется ему потом читать и целиком и между строк. Голова обер-фискала была занята иным. Из Петербурга он получал настораживающие вести — государь изволил выехать за рубеж, единому богу известно, надолго ли. Как всегда в казусах оных, при дворе мышьяная возня учинилась — один другого кусает. И царевича намерения неясны — в монастырь ли он желает, как заявил недавно, в армию ли вернуться? Здоровье государя внушает изрядные опасения, он же, Андрей Ушаков, которому государь оказал однажды великую честь, назвав его опорой трона, — он, Ушаков, сидит в Москве и занимается черт те чем, вместо того чтобы быть на страже там, в Северном Парадизе...

— ...За неимуществом же в казне типографии оной денег, — продолжал монотонно докладывать Поликарпов, а его верный помощник, бывший нежинский казак Мануйлович, подавал ему из папки очередные листы промемории, — мы работникам типографии жалованье книгами выдаем, зане побеспокоятся сами продажею изделий рук своих. И дабы оные книги от бесплодного лежання не истлели...

А обер-фискал подремывал, и сквозь унылую физиономию директора Печатного двора ему тоже виделось свое детство. И было оно нищим и голодным, потому что росло их у отца пятеро сыновей, пятеро дворян Ушаковых. Остались они сиротами совсем юнцами, жили в Бе-

жецких лесах, в Мегринском погосте, сплошное болото, а не поместье. Единственный холоп их, мужик Аноха, шшил на всех братьев один выходной балахон из холстины. Зато плечист был он, будущий обер-фискал, малой Андрей Ушаков, подковы гнул свободно, да это и не считалось у них диковинкой: в голоде росли, а силачи были хоть куда. «Ай детина! Ай детина!» — говаривали, бывало, на него, еще недоросля. Так и остался он под семейным прозвищем «Ай детина!» Но не сила, конечно, выдвинула его в ближние при государе, нет, — рачительное исполнение им всяческого долга и, главное, верность. Верен, как пес! Вели ему, скажем, государь Петр Алексеевич любого, будь хоть кровный себе родич, хоть кто, изничтожить, для примера, хоть государыню Екатерину Алексеевну, несмотря что именно она, государыня, его, Андрюшку Ушакова, из грязи извлекла, ко двору приблизила. Или, не дай бог, царевича Алексея Петровича — страшно сказать!

Обер-фискал встрепенулся, открыл глаза. Поликарпов закончил речь, видимо, чем-то очень для него важным, потому что, сообразив, что обер-фискал не слушает, повторил фразу снова.

— Паки молю, к стопам его величества припадаю, да изволит он мне, недостойному, прибавление в жалованье. Невозможно доле в такой скудости жить, в какой я по се число живу...

— Доложу, — обещал Ушаков. — Впрочем, ныне кто только не просит о прибавке. Даже губернатор Салтыков, уж на что имений и угодий всяческих владетель, и тот жалуется на бедность.

Теперь стал докладывать Иоанн Мануйлович. Ему было поручено сыскивать о могущем быть шрифте, коим злополучное то подметное письмо напечатано. Мануйлович пространно начал о первоучителях славянских Кирилле и Мефодии, изобретших азбуку. Затем принялся повествовать о том, почему оный славянский шрифт, рекомый устав, который еще от Ивана Федорова в книгоделании употребляется, почему он не пригоден для книг новой печати и почему государь Петр Алексеевич озаботился изобретением нового, гражданского шрифта. И как принялись в Москве за дело сие иноземцы-гравировщики Андриан Шхонебек и Петр Пикарт...

«Черт бы их всех побрал, Шхонебеков и Пикартов! —

мысленно поморщился Ушаков.— И этот такой же нуда, как и его директор».

Но по-прежнему улыбался любезно, только полузакрыл и без того вечно сонные, узенькие глазки.

Вчера утром к нему, обер-фискалу, неожиданно явился Киприанов. Доложил образцы всех шрифтов, которые когда-либо для его, киприановских, изданий употреблялись. Простое сравнение с подметным письмом показало — шрифты не те.

Но не это, не это его, Киприанова, беспокоило, и Ушаков понимал, точнее, знал — что, но виду не подавал. Терпеливо дожидался, пока Киприанов, закончив о шрифтах, толковал о том, о сем, о дороговизне бумаги в связи с войной да о новом указе, чтобы крыс морить, все медлил уходить. Наконец, уже встав, чтобы раскланяться, он скороговоркой сообщил, что у него из дому в Преображенский приказ взята девка, сирота, которая к его двору приписана... (Ага, вот где его заело!)

Ушаков как можно любезнее выразил сочувствие, но усомнился в том, что Преображенский приказ к сему причастен. Скорее, Сыскной приказ, кой занимается розыском беглых.

— А она не беглая? — прищурился он.

И Киприанов, конечно, на это ответить не смог!

Крепкий орешек, однако, этот Киприанов! С виду прост, этаким наивный трудолюбец, но обер-фискалу известно кое-что иное. Спросил, как бы невзначай:

— Вы анадьсь изволили у Аврама у Лопухина быть, что вам там за дело?

Трудно, конечно, было ожидать, что Киприанов во всем так сразу и покается. Но такого изощренного хитроумия, которое он вдруг проявил, Ушаков, честно говоря, не ожидал.

Напустив на себя невиннейший вид, хитрец Киприанов заявил, что попал туда по ошибке. Аврам Лопухин, очевидно, считает, что он, Киприанов, был в числе друзей царевича, но это неверно. Во время оно Киприанов месяца два пытался учить царевича гравировальному делу, таково было желание государя-отца. Но из учения сего ничего не вышло, потому что сам-то царевич никакой склонности к нему не проявил. Что касается его, Киприанова, отношения к царевичу, то ему-де ведомо, что Алексей Петрович после богоданного рождения сына у мачехи, у государыни Екатерины Алексеевны, ныне у отца не в милости;

он, Киприанов, вельми бедного царевича жалеет и хотел бы ему помочь, но не ведает как — что в его слабых силах?

«Особый вид коварства! — подумал обер-фискал. — Искусная ложь под маской доверительной откровенности. Ну погоди, Василий Онуфрич, теперь-то пощупаем мы твою сиротку, она у нас язычок развяжет. Пока еще он, Ушаков, не велел ее в пыточный разряд переводить, пусть еще кое-какие про нее сведения соберутся».

Но Киприанов-то, Киприанов — так прямо и режет: он-де опального царевича жалеет и хотел бы ему помочь! Ну какая же bestия! Однако видали мы таких!

Тем временем докладывавший Иоанн Мануйлович выложил образцы:

— Глядите сами, ваша милость. Сие есть законодательно утвержденная в 1710 году гражданская азбука под наименованием «Изображение древних и новых письмен славенских печатных и рукописных». На ней подлинно начертано рукою государя — сими литерами печатать. А сам государь, как видите, многие литеры подчеркнул — значит, выбросить изволил, — иные же поправил по разумению высокому своему. Из чего явствует, что его царское величество Петр Алексеевич есть сам как бы изобретатель новых гражданских азбуки.

— Так, так... — говорил Ушаков, прилежно рассматривая образцы, хотя мысли его были далеко.

— Давай, Мазепа, шпаль побыстрой! — шепнул Поликарпов, дернув Мануйловича за подрясник. Ему стало просто завидно, что обер-фискал помощника его слушает со вниманием, а на директорском докладе он дремал!

— Теперь вот книга Синописис, иначе говоря — собрание летописцев, первее всего напечатана во граде Амстердаме в 1700 году, в Голландии. Осмелюсь напомнить, типографию эту основал по повелению государя голландец Ян Тессинг, помощником его был Ильюшка Копиевич, поляк. Они тоже делали себе особый шрифт. Вот, потрудитесь рассмотреть, шрифт их по сравнению с гражданским округлый, с силами, сиречь ударениями, и с титлами, яко в старом славянском. Извольте также видеть — шрифт разбойничьего письма точно такой же округлый и с силами и с титлами...

«А он мужик-то отнюдь не глупый, этот Мазепа!» — подумал Ушаков.

Мануйлович же закончил:

— Егда же голландец сей Ян Тессинг умер, Ильюшка

Копиевич, ныне тоже покойный, со шрифтами приехал в Москву. Однако литеры его на Печатный двор не все переданы, не все. Многие затерялись еще до передачи, куда — неизвестно.

— В общем, тот покойный, этот покойный, отвечать некому, — заключил Ушаков, когда Мануйлович завязал свои папки с образцами и стал откланиваться.

Выпроводив Мануйловича, Поликарпов снова уселся напротив обер-фискала и принялся за любимую тему о том, что киприановскую типографию надобно закрыть, а его, Киприанова, в работники Печатного двора определить.

— Его уж тогда государь в Санктпитебурх заберет, — сказал Ушаков, доставая из камзольного кармашка часы-луковицу.

— Ни в коем случае! — ужаснулся Поликарпов. — Невозможно!

— А почему же?

— Он подозрителен, ваша милость.

— Чем же? — заинтересовался Ушаков.

— Он живет не как все люди! В церковь он, конечно, ходит. На Москве, например, есть явные еретики, кои в церковь божию совсем не ходят, икон святых не почитают. Таковы, ведомо, аптекарь Тверитинов, часовщик Яшка Кудрин. Если прикажете, я их подробный реестрик представлю. Злоумышленный Киприанов в церковь-то ходит, но он там не молится.

— Откуда же это вам известно?

— Он губами не шевелит!

— Это аргумент! — усмехнулся Ушаков.

— Да! — воскликнул ободренный Поликарпов. — Это первое. — Он загнул палец на правой руке, и поднял второй палец. — Затем он по праздникам не пьет, не буянит. На посаде у нас все напиваются и баб своих колошматят, а он — ни-ни!

И он принялся загибать по очереди пальцы, перечисляя подозрительные свойства своего недруга. А Ушаков, как и всегда в случаях, если речь собеседника была неинтересна, предался своим размышлениям.

Тяжела ты, доля фискала! Назначая его, Ушакова, на должность сию, государь Петр Алексеевич сказать изволил: ты глаза мои, ты уши, без тебя я слеп и глух. Но требует правды и только правды, как бы горестна она ни была. Тех же слухов, кои ежедневно и ежечасно роятся воз-

ле трона под видом правды, он выносить не может. Говаривает: я с ушниками и бездельниками дел не хочу делать! Подметные письма про придворные разные интриги, в коих подписей не имеется, он велит, отнюдь не читая, жечь всенародно. Должен же монарх правду ведать о том, что творится в государстве!

И еще он говаривал, царь Петр Алексеевич: знаю, мол, земского фискала чин тяжел и всеми ненавидим. Но взгляните — нет ничего тяжелее доли царской! Вечно у мира на виду, не прощает мир царю ни промаха, ни слабости, ни просто доброты. Прощать-то не прощает, но и не очень-то подсобляет! Сказывал некто, хотя и еретик отъявленный, но муж честный, — царь Петр-де с немногими тянет в гору, а все остальные многие стараются под гору тянуть. Честные — как Ершов, например, вице-губернатор, — редки. Государь ему, Ершову, безгранично доверяет, сказывал про него — на Москве он-де, Ершов, один, никого не боясь, ни для какой неправды никакой корысти не сделает. Одна беда — Ершов не дворянин, из подлых он происхождения, а гусь свинье никогда не товарищ. Губернатор Салтыков, алчная bestия, лихоимец очевидный, и тот как-то ближе и понятнее...

Тут Ушаков заметил, что директор Поликарпов загибает уже мизинец второй руки, продолжая перечень недостатков библиотекаря Киприанова, и встал, собираясь уходить. Поликарпов осекся на полуслове, засуетился, схватил щеточку, обмахнул ею обер-фискалову треуголку, подал почтительно.

— Душно! — сказал Ушаков. — И гнетет что-то и давит.

— Это от полнокровия, вестимо! Не угодно ли, есть у меня рецептик лекарственной настоечки? — суетился Поликарпов. — Я вам ее в натуре предоставлю! В скляночку круглую отолью, обертя в пенку и учредя в деревянный кожух, пошлю ее к милости вашей с нарочным.

«Ты-то уж, брат, вне всяких подозрений, — подумал Ушаков и направился в свою карету. — Понятен дворянин, который взятки берет, ясно — ему поместье надо благоустроить, кое он теперь от государя Петра Алексеевича в вечное владение получил. Надобно ему и немца детискама нанять, и женке кое-никакое платье выписать, и себе мундир златом-серебром вышить, чтобы от холопов своих чем-то отличиться. Так что воровство, лихоимство — оно, конечно, зловредно и наказуемо, но оно по-



нятно! Такие же, как Ершов, как Киприанов,— они из художомильных, они нищие,— почему же они не берут? Сие непонятно, и ежели правду говорить страшно. Что у них на уме?»

Карета брела шажком по улицам, опустевшим после полудня, ибо, пообедав, деловая Москва неукоснительно почивает.

Рано или поздно он, Ушаков, найдет ключ и к такому, как Киприанов. Однако отнюдь не сразу! Киприанова знает сам государь, картографией его интересуется. У Киприанова сего есть могущественный покровитель— генерал-фельдцейхмейстер господин Брюс, за которым высится фигура еще более монументальная— сам Александр Данилыч. Ушаков на сей раз не повторит ошибки прошлого года, когда он пытался свалить сразу трех таких мамонтов, как Меншиков, Брюс, Апраксин, не считая всякой сошки вроде Кикина. И доказательства верные обер-фискал тогда отыскал, и следствие провел— ан нет!

Государь тогда закрыл все росчерком пера, даже рассматривать не соизволил. Теперь вот и Кикин прощен, последний из этой компаньицы, смутьян беспредельный. Нет, обер-фискал впредь должен действовать по-иному.

Карета со скрипом въезжала на косогор перед Спаскими воротами, и Ушаков не мог удержаться, чтобы не приподнять занавеску и не взглянуть вновь на облупленный фасад киприановской полатки, где над столбами галдарей было выведено суздальской вязью: «Библиотека». У раствора лавки стояла черная повозка Лефортовского гошпиталя, из которой выбирался, опираясь на услужливо подставленные руки киприановской домочади, сам прославленный доктор Николас Бидлоо.

Там, в киприановской полатке, баба Марьяна, целительница, уже отчаялась во всех домашних средствах. И горшок она Бяше больному накидывала, и зелье готовила из горицвета. То спохватывалась, что полатка— бывшая ступинская, недаром и девка Ступиной оказалась. Домовой-то, знать, ихний остался, ступинский, а известно, что чужой домовой всегда лихой. И она принялась того домового закармливать кашей, пряниками, прося, чтоб не бесился. То кидалась баба Марьяна в церковь, натывая свечки перед всеми чудотворцами. Развязав узелок на платке, которого мценский ее свояк Варлам наказал касаться не иначе, как в случае пожара или враже-

ского нашествия, она извлекла оттуда старинный толстый гривенник, разменяла и щедро одарила нищих.

А лихорадка все не утихала. И пришлось согласиться на крайнюю меру — звать басурманского врача, немца Бидлоо. Приехал очкастый, благодушный, то и дело достающий скляницу с розовой водой и протирающий себе руки. Похохатывал, хлопал по плечу бабу Марьяну и расстроенного Федьку, а маленькому Авсене пожаловал заморский леденец.

— Нишево, ми вашему Василиус зер шнель — очень, ошень скоро будем здоровье делать.

Он рассуждал вслух: кровь пустить? Теперь сие модно, тот не медикус, который кровопускание не прописывает. Но этот Василиус зело млад, кровь излишняя ему не во вред, как старцам, а напротив — на великую пользу. Прописал ему примочки, припарки, разные пилюли и благосклонно выслушал бабу Марьяну, чем она Бяшу лечила, согласно кивая головой:

— О, яволь! Натура сама себя проявит, не надо только хиндерн, то есть ей мешать.

И Бяша пошел на поправку. Уже узнавал тех, кто возле него бодрствовал по ночам, при свете лампадки перед Николой Амченским. Однажды бодрствующим оказался Максютя.

— Купец-то мой, Канунников,— шептал он, наклонясь к восковому лицу приятеля.— Купец-то! Сам отпустил меня к тебе. Стеша выпросила. Фортуна же у тебя, Васка, фортуна, убей меня бог!

Не в силах сдержать новостей, которые его распирали, он склонялся к его уху, озираясь в темноту.

— А клад-то, клад! Ты выздоравливай скорее, Васка, я тебе такое расскажу про клад!

— Что про клад?

— Ты выздоравливай, выздоравливай, тогда...

— Нет, я хочу сейчас.

— А помнишь крик петуха, трижды повторявшийся кряду, ты мне сказывал?.. Нет, нет, лежи, не подымайся! Немчин-лекарь не велел тебя мирской суетой смущать...

Однако Бяшу теперь как-то уж ничто не волновало — ни даже судьба Усти, ни клад... Все словно отболело, ушло в какой-то иной мир. Наверное, так чувствуют себя схимники, навек отрекшись от живого мира.

Днем возле него возился Авсеня, строил чертоги из кубарей, которые в изобилии ему напиллил швед Саттеруп.

Иногда спрашивал что-нибудь совсем неожиданное, например:

— А что, солдаты — недобрые люди?

— Почему ты так думаешь? Вовсе нет.

— А зачем они Устю увели?..

Вот попробуй ему ответить!

Отец приколот на дощаницу лист фряжской бумаги, дал Авсене серый сланцевый карандаш и стал приучать рисовать с натуры. Мальчик начинал довольно похоже, но потом ему надоело, и он чертил зигзаги и завихрения. Киприанов сердился, тогда Авсенья бросал карандаш и бежал к Бяше, прятал голову у него в подушках.

Наконец вновь явился доктор Бидлоо, долго шупал пульс, выслушивал грудь и спину, глубокомысленно рассматривал мочу в урыльнике. Затем снял очки и, утомленно вытирая ладонью умное лицо, объявил:

— Лечение окончено. Энде гут, аллес гут, конец венчает дело.

И, всматриваясь в вымученную улыбку на безразличном лице Бяши, добрый немец воскликнул:

— Молодой человек! Вам веселить себя надо, мит юнге фрейлен шпацирен, что означает — за девицами волокаться. Вот примите, пожалуйста, для всей вашей уважаемой фамилии эйнладенбилеттен — грамотки в театр. Стоит сие пречудное зрительное увеселение в военной гофшпитали, что у Лефортова вала. Представляют же оно ди медикусшоллер — школьные наши лицедеи!

В те годы еще высился на Красной площади, на другом ее конце, как раз насупротив киприановской полатки, огромный, довольно нелепый амбар Комедийной хоромины. В 1702 году амбар тот построили с великим поспешением по приказу нетерпеливого царя, которому хотелось, чтобы в его тогдашней столице все было как в Европиях, да побыстрее. Сначала немецкие любители, а затем и «природные русские комедианты» начали в нем спектакли давать. Там духовные игрались притчи и пиесы про галантных рыцарей, про прелестных дам и даже про современность — «Божие уничижителей, гордых уничижение, сиречь Посрамление при полтавской преславной виктории гордеца Каролуса и изменника Мазепы». Народ в театр сей валом валил, хотя места были по тогдашним ценам не дешевы: первой статьи (кресла вдоль стен) по целому гривеннику, ну, а четвертой статьи, например (стоять перед сценою), — алтын.

Затем как-то получилось, что Комедийная хоромина опустела — шла жестокая война, было не до того. В амбаре стали держать порох, потом строение вообще передали Аптекарскому приказу. Балки наспех построенного здания обрушились, и стояло оно заброшенным, только москвичи то и дело вспоминали: «А на театре — помнишь? — дон Франтишкус тому наглецу в лошадиных волосах как звезданет по морде! И тот запел...»

Потом был театр у царевны Натальи Алексеевны во дворце, игрались представления и в Славяно-греко-латинской академии, но растущий Петербург откачивал из старой Москвы все новое и свежее, и московские театры быстро перемещались туда.

— Ах, какая предивная чудность! — воскликнула знакомая нам полуполковница, вплывая вслед за своей подопечной Степанидой в вестибюль гофшпитали и увидев там младшего Киприанова, бледного и худого, в сопровождении бабы Марьяны.

Начались реверансы, расспросы, вздохи, сочувствия. Тут же присутствовал и неперемный Татьяна Татьяныч, который кланялся бабе Марьяне столь усердно, что розовая пыль стояла над его паричком. Польщенная баба Марьяна наградила шалуна пунцовым яблоком из Мценска.

Доктор Бидлоо, видя такой наплыв желающих, сиял очками, лысиной, румянцем на щеках, всем, чем только можно сиять. С Киприановыми, с Канунниковыми он раскланивался по всем правилам галантности. А завидев Карлу Карловну, принялся с ней церемонно беседовать по-немецки.

Стоя в дверях, он приглашал гостей быстрее рассаживаться. Лучшие места были вдоль стен — прямо на хирургические столы, покрытые дерюгой, втащили кресла и устроили ступеньки из ящиков. Прочая публика, главным образом офицеры, находящиеся в гофшпитали на излечении, и многочисленные школяры всех московских учебных заведений, расположились прямо на полу. Зал был велик — в дни Полтавы в нем делались хирургические операции, а в дни мирные, если приезжал царь или производился выпуск медицинской школы, устраивались банкеты и маскарады. Но теперь народу набилось столь много, что от дыхания публики стали меркнуть свечи в паникадилах. Пришлось приоткрыть наружные окна за шторами.

Заиграл органчик за сценой. Пока он приглушенно и уныло гудел, зрители постепенно успокаивались. Вышел доктор Бидлоо и, подняв обе ладони, призвал ко вниманию:

— Уважаемый публикум! Представляется днесь преизрядное действо, именуемое «Честный соперник, или Дон Федерико фон Момфей и принцесса Бесилья, невеста его», тщанием благородных великороссийских младенцев, медицинской науки обучающихся...

И доктор Бидлоо принялся пространно объяснять, что произойдет, видимо, не надеясь, что публика все поймет по ходу действия. Речь его занесло в философию по поводу галантных чувств, между женщиной и мужчиною существующих, никто его не слушал, все болтали между собой, а озорники, помещавшиеся ближе к сцене, даже бились об заклад: если они станут дуть, не сходя с места, задуются ли плошки на рампе с одного дыху или нет?

Тогда в дело вступил находчивый Татьяна Татьяныч.

— Ты нам показывай, а не рассказывай! — крикнул он доктору. — Лучше на миг увидеть прелестную деву, чем битый час слушать старого козла!

Зал захохотал, затопал, захлопал. Доктор развел руками и скрылся. Вновь заиграл органчик, и все воззрились на занавес, нетерпеливо ожидая.

Выскочили два ярко размалеванных дона при шпагах, и заговорили, перебивая друг друга.

— Комедийно мы хотим явити! — провещал один, напрягшись, будто для подъема тяжестей.

Другой же напрягся еще сильнее, до посинения, и уж совершенно рявкнул:

— И ако само дело представити!

— Извольте ж милость нам явити! — крикнул первый.

— Очи и слух к делу приклонити! — гаркнул другой.

Так они надувались и рявкали один перед другим, и дело быстро дошло у них до ссоры. Под ободряющие клики зала доны обжали клинки.

Степанида Канунникова в тесноте и полутьме импровизированной ложи почти не интересовалась фехтовальным искусством на сцене. Она оглядывалась, чтобы лучше разглядеть исхудавшее лицо Бяши. Наконец, когда во время из ряда вон выходящего курбета фехтовальщиков зал разразился настоящей овацией, ей удалось вплотную приблизиться к Бяше и отыскать его руку.



— Мне все ведомо...— шепнула она.— Душа моя полна слов сочувственных... Ах! Почто Купидон, божок жестокий, мне соперницу послал? Но, Василий...

— Ш-ш-ш! — вознегодовали их соседи и закричали: — А вот и прелестница!

Героиня вплыла, колыхая фижмами и обмахиваясь опухалом. Оба дона прекратили шпажную драку, стали перед ней шаркать, кланяться, мести пол перьями. Стоило, однако, прелестнице раскрыть накрашенный рот и произнести фразу, как весь зал взорвался хохотом, и остановить этот смех удалось лишь умиленной игрой органчика.

— Да это же Прошка Щенятьев! — выли, потешаясь, школяры.— Хороша девица! Он же басом говорит!

— А у нас во Мценске,— сказала полуполковница,— ряженые на святого уж таково-то забавно представляют. Трех волхвов изображали, зубастых, страшных, меня от испуга аж на два дни икота схватила!

— О-о! — удивилась немка Карла Карловна.

И баба Марьяна из приличия сочувственно поахала.

Меж тем на сцене, пока один из донов бурно объяснялся в своих чувствах, а потрясенная этим прелестница-Щенятьев находилась в обмороке, пираты с мочальными бородами и в красных косынках подкрались, чтобы захватить донну в рабство. Зрители притихли, ожидая — что-то будет? Но расторопный Татьян Татьяныч швырнул на сцену огрызком мценского яблока и крикнул донам:

— Невесту прозеваете, сопляки!

Вновь поднялся буйный гам, заглушаемый игрой органчика. Воспользовавшись этим, Степанида опять нашла меж кресел бессильно повисшую руку Бяши и сжала ее с пылкостью, свидетельствующей, какой есть жар ее души:

— Ах, герр Василий!..

Когда окончилось веселое представление, многие, однако, вытирали слезы. Уж очень чувствителен был финал, когда по условию родителя, короля Махарского, прелестница должна быть отдана в жены тому, кто освободил ее от пиратов, но любила-то она другого! И дон-победитель, исполненный благородства, отказывается в пользу соперника. Любовь и честь викторию свою отменно торжествуют!

Гремя мебелью и обмениваясь впечатлениями, публика двинулась из зала.

К выходу явился Прошка Щенятьев, который успел и краски смыть и переодеться, спеша увидеть Степаниду. Никто раньше не обращал внимания на внешность Прошки, а теперь многие находили, что он недурен, хоть и без бровей, и щеки излишне розовые, и глаза воден зато усы яки хоть куда!

— Шарман, шарман! — вздыхала Карла Карловна, питавшая к Щенятьеву некоторую слабость.

И даже Татьян Татьяныч высказался в том смысле, что медикам ни за что не найти бы исполнительницу столь трудной роли, если бы не господин констапель Щенятьев.

Окрыленный похвалами артист взял ручку Степаниды, чтобы запечатлеть поцелуй, но та тотчас вырвала ее.

— Подите прочь! Может ли почитать себя мужчиною тот, кто добровольно на себя признаки слабого пола возлагает?

— Ах, надседаюсь я от смеха! — горестно воскликнул Щенятьев и затерялся в толпе.

Канунниковы уехали, раскланявшись, а баба Марьяна с Бяшей остались ждать, пока объявится их Федька с повозкой — по своему обычаю, он где-то пировал с лакеями.

Тогда вновь возник констапель Щенятьев, звякнул шпорами и предложил господину Киприанову отойти с ним для нескольких слов. Баба Марьяна взволновалась, но констапель заверил:

— Не питайте опасения! Даже сатисфакции, сиречь удовлетворения оскорбленных чувств, я от вас не стану требовать. Вы не шляхетного звания, увы! Однако выйдемте!

Он был расстроен — выронил треуголку, которую держал под локтем, стал ее отряхивать от пыли — вновь выронил. Усики его дрожали от обиды.

— Милостивый государь! — обратился он к Бяше, когда они отошли. — Давайте с вами трактамент заключим... Откажитесь вы от Степаниды, она вам не пара. Что вы за это возьмете — денег?

Бяша помотал головой и постарался объяснить Щенятьеву, что он, Бяша, здесь ни при чем — и почему именно так — и у Щенятьева нет оснований для ревности.

— Я ведал сие, — сказал Щенятьев, еще недоверчиво всматриваясь в лицо Бяши. — Желал лишь от вас удостоверение получить.



Радость от услышанного, однако, его распирала, он просто не знал, как лучше выразить свою признательность Бяше. Придвинулся к нему, оглянулся и сказал тихо:

— Мне вестима и ваша беда... Желаете ли, я помогу вам девку сию... простите — сию мадемуазель, вызволить из Преображенского, а?

Он приосанился, подкрутил ус.

— Я могу!

## Глава шестая

### ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ — ПОКРЫТ РОГОЖЕЙ

В начале Пятницкой улицы, где надо съезжать с бревенчатого Балчуга на глинистый скос набережной, где возле фартины с жестяным мужиком, бьющимся на ветру, стоят понурые лошадки, там стучит-гремит своими станками царевна швальня — Суконный двор. Если же прислушаться, то в предосенней теплой тишине, когда уже птицы не щебечут и кузнечики не трескочат, из каждого двора слышится приглушенный рокот и снованье.

Это славная Кадашевская слобода, которая на все Российское государство валяет войлоки и сукна, ткет посконину и полотно. Давным-давно, при Грозном еще царе, здесь жили бондари — кадаши. Кадки они мастерили, корчаги, лохани, корыта, бочонки-окоренки, потому и получила свое название Кадашевская царская слобода. Но после великой Смуты на выгоревшем пустыре обосновались уже другие люди — ткачи, портошвеи, сукновалы, швальники и те, кто торгуют хамовным товаром, тканью всякой, суконным добром.

Здесь производили льняные убрusy, полотенца, скатерти, холсты кудельные, пологи на кровать, да мало ли всего добра — опись их товаров насчитывает триста статей. При царе Петре Алексеевиче стали кадашевцы ткать парусину. Знатно служили оные паруса любезному Отечеству, что российский флот и доказал при Гангуте, при Гренгаме и иных викториях преславных.

А было время, когда кадашевцы обслуживали только царский дворец. Из Постельничьего приказа сюда особая боярыня назначалась. Она дело распределяла, она уста-

навликала покрой, кормление жаловала, кому надо — избы, каморы, огородишки, она же творила суд и расправу и даже благословляла на брак. Словом — князь-баба!

Но то были уж, почитай, баснословные времена! Тогда позволялось в слободе жить только мастерам хамовного дела, подмастерьям их, ученикам да зятьям, и то происхождением не иначе как из Ярославского уезда, сел именитых. Даже дочерей, племянниц, внучек запрещено было замуж выдавать за пределы Кадашей, чтобы все были одного дела людишки. Ныне же народ в слободе куда как попестрел — инослободцев много, а за станками можно услышать и окающих, и цокающих, и говорящих похлоацки нараспев. Да и саму слободу стеснили — стрельцов подселили, затем дворцовых казаков, монетчиков, которые даже главный Хамовный двор себе оттягали. Некоторые же вышли в избылие, разбогатели, зазнались... И нет теперь там князь-бабы, которая за свой страх и совесть расправу бы творила. Заседают теперь в мирской избе выборные старосты, целовальники, десятники, писаря — та же мелкотравчатая кадашня.

Размышляя о делах слободы, выборной ее целовальник Маракуев скреб себя в затылке.

— Ить нелегкая разбери! Указано мирские палаты и иные строения привезь в чистоту по случаю имеющей быть ревизии от господина обер-фискала его превосходительства Ушакова, а людей не соберешь на исполнение тягла! Кто паруса ткет — тех не замай, дело государево особой прокурации. Сукновалы — те на господина Меншикова работают, оный же еще страшней, чем обер-фискал... Есть еще избылые — кто в слободе проживает или числится проживающим, а на самом деле из сукновалов давно вышел в чиновники или в торгоши; повинностей слободских они не несут, податей не платят. Пробовал делать расклад и на избылых — куда там! За них ходатаев куча! Полы помыть некому, хоть собственную бабу разувай да посылай.

Он сам был в купцах, сей целовальник Маракуев, при-торговывал с Канунниковым. И все мысли у него были на торгу, где как раз персияне большой закуп делали. Конкуренты, конечно, воспользуются его, Маракуева, занятостью, своего не упустят и чужого прихватят... Однако надо перекрестясь — и за дело.

— Титок! — заорал выборный целовальник. — Давай зови следующую, кто там, язви их в печенку!

Титок — писарская крыса, из тех, о ком говорится: в государственной конторе сидит молодец в уборе, на затылке — коса до шелкова пояса, перед ним — горой бумаги, что кропают бедолаги, на столе чернил ведро, а уж за ухом — перо...

— Следующая! — заорал в свою очередь Титок, открывая низкую железную дверь в прихожую.

Там, в темной сводчатой палате, мигом утихло жужжание бабьих языков, затем после некоторого замешательства все кинулись штурмовать дверь, произошло пихание, ворчание, пищание, и победительница, красная, отдувающаяся, в сбитом набок повойнике, явилась, крестясь и кланяясь.

— Почему не вышла по наряду на мытье полов? — гневно спросил Маракуев.

— Полуполковница я, вдова... — сказала проникновенно посетительница.

— С вами тут и моя баба скоро вдовою станет! За тобой числится тягловый двор, так изволь по нарядам на работу выходить, мне какое дело — полуполковница ты или архиерей?

— Его милость гостиной сотни господин Канунников... — еще проникновенней произнесла полуполковница.

— Что Канунников? — сразу сбавил тон целовальник.

— Кланяется велел и про меня, сирую вдовицу, приказал напомнить...

Черт побери! Маракуев вновь всей пятерней заскреб в затылке. Канунников — вице-президент Ратуши, с ним сам царь за ручку здоровается! Кроме того, компаньон он его, Маракуева.

— Титок! — позвал целовальник. — Да брось ты наконец зевать, муху проглотишь! Подай-ка мне столбцы.

Титок не торопясь разыскал в ворохе бумаг столбец — длиннейший свиток, исписанный кудряво по старинке, со всякими «оунде» и «иже». Склонившись вдвоем, они принялись искать в нем запись тягла полуполковницы. А та тем временем жаловалась:

— Я женщина сырая, руки ежели подыму, по всему естеству изнемогание, а ежели наклон сделаю — пря идет по животам. Мне полы мыть никуда не пригодно...

— Все, матка! — объявил Маракуев. — На сей расклад я тебя вычеркнул. Кланяйся господину Канунникову!

— Я милости твоей плательщица! — заверила полуполковница, удаляясь задом.

На смену ей в дверь сунулась была другая, но Титок бесцеремонно выдал ее назад, в прихожую, и закрыл дверь.

— Там эта пришла...— сказал он, понизив голос.— Я твою степенству намедни докладывал...

— Пусти! — кивнул Маракуев.

Войдя в прихожую, Титок разыскал и ввел к целовальнику бабу Марьяну. Она была в новом шушуне с узорчатыми вошвами и в шелковом платке. Бабы в прихожей за-протестовали — почему без очереди? Титок на них цыкнул.

— Батюшка мой, — поклонилась баба Марьяна целовальнику, — я не за себя, я за Киприановых, кои библиотекарствуют...

— Знаю! — рявкнул Маракуев.— Титок, съешь тебя раки, ты какой мне столбец подал, нету здесь Киприанова.

Найдя наконец нужный документ, он водил по нему пальцем и читал, останавливаясь и выразительно поглядывая на бабу Марьяну:

— Из слободы твой Киприанов вышел в 1701 году, слышишь! Где он после был, нам неведомо — к Ратуше ли приписан, к Артиллерийскому ли приказу. У нас много таких избылых — туда-сюда приписались, а повинности их, тягла, никто с нас не скащивает, что же, мы их оброки меж собой должны разложить, а?

Он возмущенно хлопнул по свитку и поднял ладонь, когда баба Марьяна попыталась возразить.

— Ничего не ведаю, а повинен я волей-неволею к мирскому делу вас нудить. Сколько же оброчного долга за твоим Киприановым за те пятнадцать лет накашляло? Мирская подать, числим с него как со слобожанина средней руки, не более как по рублю, по три алтына в год, итого, считаем, рублей — пять на десять, а копеек семьдесят пять...

И он со значением щелкнул пuzатыми косточками на огромных счетах.

— Далее. Мостовщина, которая ранее платилась Земскому приказу, а ныне за нее слобода круговую записью отвечает. Сюда, значит, семь рубликов кругленьких причислим...

Он откладывая на счетах киприановские долги, выкрикивая:

— Извозные, то есть ямские деньги! Метельщина или подметание улиц! На драгунских коней, чтобы выставить эскадрон! На выкуп пленных из Крыма! Пищальные...

— Ну уж, батюшка,— вмешалась баба Марьяна,— ты уж меня вокруг пальца не води. Пищальные-то деньги были при покойном государе Федоре Алексеевиче, ныне их не платят!

— Молчать! — разъярился Маракуев, все равно при считывая пищальные деньги и продолжая выкрикивать: — Караульные! Школьные! За поднятие чудотворной при освящении нового мельничного колеса! Итого... — Он нахмурился, взял в зубы перо и, быстро нащелкав результат, записал, выговаривая: — Четыре ста два десять осьмь рублей... Вот это сумма!

В этот момент послышалось, будто какой-то мягкий, но тяжелый предмет под столом шлепнулся на пол, глухо звякнув металлом.

— Что-то упало? — насторожился Маракуев. — Это не у тебя, баба, упало?

— Это у тебя, батюшка, упало. — Баба Марьяна сказала, как пропела.

— Хм, у меня упало? Титок, подними!

Титок поднял. Это оказалась увесистая киса. Он померил ее на руке и глубокомысленно заключил:

— Рубля два, ежели медью.

Дело приняло другой оборот. Маракуев откашлялся и миролюбиво объявил последнее Киприанову предупреждение: пусть либо платит недоимку, либо возвращается в тягло, либо челом бьет об указе переписать его в иное сословие.

Баба Марьяна, откланиваясь, двинулась задом к двери, как вдруг в прихожей послышались громкие голоса и топот множества сапог. Железная дверца распахнулась. Наклонив голову, в нее вошел гвардии майор Ушаков, за ним губернский фискал Митька Косой с сыном, коего он сызмала к государеву фискальству приучает, и еще толпа фискалов разного чина. В земской избе сразу стало тесно и грозно.

Ушаков прищурился на бабу Марьяну, которая металась, словно муха по стеклу, не зная, куда исчезнуть.

— Ежели не ошибаюсь,— спросил обер-фискал,— это есть достойная управительница господина Киприанова?

— Она! — заорал, исполнившись рвения, Маракуев, на всякий случай ощупывая на шее бородовой знак: не забыл

ли на сей раз его дома?— Последний раз я предупредил ее, зловредную сию бабу, чтоб завтра же недоимки были в слободской казне!

— Ну, зачем же так?— укорил его Ушаков.— С дамским полом приятность и галантное обхождение пристойны... Позвольте, мадам, выйти со мною во двор, имеется у меня к вам несколько слов конфиденстных.

Он вывел обескураженную бабу Марьяну во внутренний двор и галантно повел ее, держа за локоть, мимо раскрытых амбаров и контор хамовного дела, где, увидев обер-фискала, торопились вскочить и поклониться разные подъячие и приказчики.

— Так вы овдовели в 1707 году во Мценске, в посаде?— спрашивал обер-фискал.

— Так, сударь мой, вестимо так,— отвечала она, стараясь деликатно освободить локоть от его прикосновения.— Отпустил бы ты меня, батюшка, невместно мне, простой бабе, с тобою так ходить... Спросил бы что надо Василья, что ль, Онуфрича...

— Что вы, что вы!— запротестовал Ушаков.— А скажите, вы ведь не венчались с Васильем Онуфричем, не было у вас разговоров таких?

— Сударь мой!— остановилась баба Марьяна и даже руки к груди прижала.— Паки, недостойная, молю— отпусти!

— Ну хорошо, хорошо... А вот мы лучше к этому помосту подойдем, где часовые стоят и зевают, бедненькие. Наверное, спят себе тут на посту, пока начальство от них далеко. А знаете ли, мадам, что там, под этим помостом, под землей? Там яма, где содержатся государевы отказчики, кои повинностей своих исполнять не желали. Ну-ка, сержант, открой крышку.

Крышка откинулась, и в зияющей черноте ямы стали различимы какие-то белесые тени, послышался не то стон, не то урчанье: «Корочку хоть пожалуйте, милостивцы...» Из ямы несло застойным смрадом и гнилой водой.

— Третий день не кормим по вашему приказанию,— доложил подбежавший подъячий, пока сержант вновь закрывал крышку.

Ушаков усмехнулся и повел притихшую бабу Марьяну дальше, в каменный амбар. По кирпичной лестнице они стали спускаться в подземелье, сержант нес за ними зажженный фонарь.

Внизу была караульня, где горели свечи. Вскочил сидевший на скамье здоровенный мужик в красной рубахе, поклонился, доложил, что все прибрано по приказанию его превосходительства.

Ушаков кивнул ему и повел бабу Марьяну дальше, через порог, в палату без окон, с кирпичными сводами, освещенную факелами. Низко у земли, как в кузнице, зиял огромный погасший зев печи. С потолка свисали какие-то канаты и бревна.

Обер-фискал принялся любезно объяснять, что сие есть не что иное, как застенок, каковые заведены по указу великих государей во всех приказах и иных учреждениях, понеже людей, не радеющих о пользе Отечества объявилось предостаточно. Он подробно рассказал и даже изволил собственноручно демонстрировать, как работает дыба, в какие петли продвигаются ноги допрашиваемого, а в какие — руки и как вращается ворот, коим адская сия махина в действие запускается. Сырые факелы трещали, плюясь искрами, тени металась по обшарпанной стене.

— Ох! — сказала баба Марьяна, чувствуя, что ноги у нее не стоят.

— Приказный! — позвал Ушаков, и из караульни тотчас вбежал тот мужичина в красной рубахе. — А это что ж у тебя худо тут прибрано?

— Охти! Не изволь гневаться! — вскричал приказный и стал убирать на совок из-под лавки нечто похожее на свиную требуху.

А Ушаков взял с поставца начищенное до блеска металлическое кольцо с зубьями по внутренней стороне и с искусно выкованной цепочкой и объяснил, что безделушка сия надевается на руку испытуемого и подвинчивается вот этим винтом, чтобы зубья дробили кость запястья. Особо обратил внимание, что кольцо сие — малого размера, дабы для женского пола употреблять его было возможно.

— Батюшка! — завопила баба Марьяна, ничего уж не стесняясь, и села прямо на кирпичный свежепротертый пол. — Что же ты со мною хочешь делать, с дурою?

— Вот это другая кондиция! — сказал Ушаков.

Он велел приказному поднять бабу Марьяну с пола, отвести ее в караульную и там посадить на скамью. Сам сел напротив, сказав прочим удалиться.

И обер-фискал начал задавать вопросы. Кем та Устинья приходится Киприановым? А самой Марьяне? Поче-

му они обе из Мценска? Знал ли Киприанов Ступина до стрелецких казней? Берет ли взятки сам Киприанов и у кого?

— Государь мой, ты послушай! — Баба Марьяна приободрилась. — Василий Онуфриевич Киприанов, он же ангел небесный... Что ему мирская корысть? Он бы довольствовался сухарем черствым, чем пропитаться, да ветшкой, чем прикрыться, лишь бы ему ландкарты его чертить да книжки издавать!

— Все они ангелы небесные... — хмыкнул Ушаков, заложил пальцы в пальцы и потрепал ими. — А как копнешь поглубже — сплошная алчба! Что фельдмаршалы, что фельдцейхмейстеры, что сенаторы! Все податливы на мзду. А твой Василий Онуфриевич, он разве из другого теста слеплен? Зачем же тогда в своем Календаре Неисходимом он начертать изволил: «Читателю-де мой, зело прелюбезный, вонми — бо труд сей весьма не безмездный и тако о нем разумевай всегда, еже бо что даруешь когда...»

— Но он же для государя, для других господ что только не делает! — заступилась Марьяна, хотя отлично понимала: сейчас — молчать, молчать и молчать! — А жалованье ему дается каково? Вот уж воистину служил семь лет, выслужил семь реп.

— Ладно! — Ушаков вынул часы-луковицу, нажал пружинку, и они мелодично отзвонили ему час пополудни.

Он встал и Марьяне сделал знак подняться.

— Слушай, баба! — сказал он злым, переменявшимся тоном. — И не только слушай, исполняй! Забирай-ка свои рухлядишки и шпарь ты себе назад, во Мценск. Однако раз ты сказываешь, что шаболовский дом на деньги твоего свояка строен, мы проверим! Подай челобитную, пусть вам со свояком в том шаболовском сельце позволят приписаться. Я помогу. Одно требую, баба: беги от Киприана!

С такою-то сердечною сокрухой мчалась баба Марьяна до злополучной той полатки. Не обратив ни на кого внимания, вбежала к себе в поварню, рухнула на колени перед Николою Амченским, лбом стукнулась в пол.

— Что с тобою, матушка? — спросил Варлам, свояк. Он как раз прибыл из Мценска с обозом муки, успел в баньке побывать, теперь пил грушевый взвар, отдуваясь и вытирая лоб рушником. — Что стряслося?



Марьяна к нему по полу подползла, уткнулась лицом в колени и завывала, приглушая голос.

А внизу, в книжной лавке, Степан Малыгин, который только что из Санктпитебурха снова прибыл, обнимал Бяшу с радостными восклицаниями. Ворох новостей! Им, Малыгиным, от самого генерал-адмирала господина Апраксина получено приказание ехать в Архангельск, срубить там две парусные шнявы для ледовитого плавания пригодные. Идти на них до Пустозерска и далее на Вайгач, искать места для будущих зимовок и острожков.

— Я уже в секунд-лейтенанты произведен! — горделиво показал он трехцветный форменный шарф с серебряной бахромою и офицерскую бляшку на груди. — В Москве заберем все снаряжение, парусину закажем, такелаж самый наилучший... Да! — воскликнул он, оборачиваясь к вошедшим вслед за ним рослым молодым людям, тоже в морской форме. — Что же я, безголовый! Представляю тебе моих компаньонов, будьте друзьями. Ты, Васка, их не помнишь, когда мы кончали, они были лишь на первом году обучения, — гардемарин Чириков, унтер-офицер Снежков. Нашего северного похода волонтеры!

Малыгин взял с прилавка книжку, перелистал ее — «Книга о способах, творящих водохождение рек свободное».

— Возьмем ее? — спросил он у своих компаньонов и поручил гардемарину Чирикову: — Ты, брат, подбери здесь книжек вместе с Ваской, он у нас большой им знаток. Мы ведь не на один год отправляемся, нам многое с собою надобно взять — и конечно, книги, книги, книги!

Жизнь в нем была ключом, нетерпение действовать сказывалось в каждом жесте, хотя на первый взгляд он казался медлительным, даже излишне неторопливым.

— Признаюсь как другу, — шептал он Бяше. — Еще одну баталию я должен здесь, в Москве, выдержать — по делам сердечным. Если божок крылатый мне поможет, я поеду на Север не один!

Он опять листал книги, читал титульные листы и минутно поглядывал на распахнутый настешь раствор, как будто кого-то еще ждал.

— А знаешь, Васка, — говорил он, — едем-ка с нами — там воля, там все новое... Ты же со своими книжками тут засохнешь, охотников до купли у тебя не прибавляется. Помнишь, в Навигацкой школе мы мечтали вдвоем, как будем Отечеству служить?

Тут солнечный свет за раствором лавки на минуту померк, будто затрепыхались в нем крылья райской птицы. Это спускалась в лавку Степанида Канунникова. Она была сегодня в польском — руки оголены до плеч, накидка, тканная парчою, шапочка и бело-красное перо. За нею шла, обмахиваясь веером, ее юная мачеха Софья и наконец — Наталья Овцына, более чем всегда томная и усыпанная парижскими мушками. Обычной свиты на сей раз с ними не было, только верный Татьян Татьяныч, зайдя в лавку, чтобы поклониться, тотчас же вернулся в раствор и встал на страже у входа.

— Знаешь, Федька, какой язык у немцев? — пристал он к библиотечарскому солдату, который дремал на осеннем солнышке, сидя на тумбе возле лавки.

— «Какой, какой»... Ясно — немецкий!

— Хи-хи-хи, красный! Ха-ха-ха!

— И где вас только, дураков, делают? — проворчал Федька.

— Там же, где вас, умников, в нас переделывают!

Степан Малыгин в нетерпении бросился к Наталье Овцыной, увел ее за книжную горку с лексиконами, то бишь словарями.

— Ну что, Натальюшка, свет мой! Говорила ли с отцом?

— Ах! — От душевного расстройства у нее осыпались парижские мушки. — Говорила...

— И каково?

— Родитель мой — они необразованны, могут ли они понимать тонкости нежного чувства?

— Отказ?

— Дура, Наташка! — вступила в дело Степанида, которая из сочувствия к подруге прислушивалась к их беседе. — А я тебе говорю — беги! Обвенчаешься в Котлах, попа мы найдем...

— Ах, Стеша, Стеша! — схватилась за сердце Софья.

Наталья, отвернувшись и вынув зеркальце, тщетно старалась запудрить льющиеся слезы. Степан Малыгин грыз ногти, не зная, на что решиться. Сверху слышался хохот Федьки, который выслушал очередную побасенку Татьян Татьяныча.

— Они сказали, — глотая слезы, продолжала Наталья, — пусть он и шляхетского сословия... но ты же уедешь

с ним, безумцем! Не хочу, говорят, чтобы дочь мою там съели какие-нибудь антиподы...

— Решайся, Наташка! — требовала Стеша.

— Нет, — выступил вперед Малыгин. — Сердце мое огню жестокому предано, пусть, но Малыгины никогда не женились увозом. Потерпи, Наташа, горлинка. Попробую теперь я сам убедить твоего батюшку.

— Фи! — сказала Стеша, отходя от них к Бяше. — Что касается меня, Василий, знайте: я никогда не отступлю от того, что задумала, и никому своего не отдам.

Закрывшись книгой, будто листая ее, она говорила, глядя на Бяшу блестящими, странными глазами:

— Меня Наталья эта Овцына или даже Софья спрашивают, за что ты, мол, любишь его, то есть вас, Василий. А вы, вы знаете, что я люблю вас, пора уж вам это открыть. Я же отвечаю: разве любят за что-нибудь? Ах, не ведаю, не ведаю, но вы такой задумчивый, а мне надоели все эти наши шибко деловые люди...

В сей миг Татьян Татьяныч закудахтал наседкой, и это означало, что близятся посторонние. Дамы затрепетали веерами и тотчас выпорхнули из лавки. Удалились и моряки. Это пришел Максюта. Спросил расстроено:

— Она была? — Услышав, что была, чертыхнулся, сел на лавку. — А у нас в Суконном ряду фискал аршины мерял, проверял.

— Ну, и как? — съязвил солдат Федька. — Небось по вершку на каждый аршин не хватает?

— Ни-ни! Наш Канунников по старинке не торгует — мол, не обманешь, не продашь. У нас все как в Европиях, честно.

— Честно! — хохотал Федька. — То-то ваши кафтанцы на второй месяц носки годятся только свиньям на подстилку. Уморил — Европия!

Максюта показал Федьке за спиной язык и попросил его подежурить при книгах, они же пойдут в подклеть, поговорить по своим делам надобно.

— Валяйте! — согласился Федька. — Тайная канцелярия!

В подклети Максюта стал рассказывать Бяше про то, как, пока он болел, нашелся ступинский клад.

— Да ты не волнуйся, — поминутно твердил он. — Там денег-то никаких, в том кладе, и не было.

А обстояло так. Во время Бяшиной болезни Максюта

не раз слышал крик петуха. Однажды, когда он дежурил ночью возле Бяши, больного, а все у Киприановых спали, он на крик этот вышел и калитку отпер. Какие-то люди тотчас его схватили, связали, утащили на пустырь за Василием Блаженным.

— Ты знаешь, ты знаешь, кто это был, Бяша? Сам атаман Кречет.

По-видимому, Максютя не знал людей более значительных, чем атаман Кречет. От возбуждения он чуть не кричал о нем на всю полатку:

— Ух, и страшен и зол мужик, тот атаман! Но отходчив и милостив...

По словам Максюты, узнав об Усте и ее судьбе, атаман просил его помочь в поисках клада. Это они, оказывается, копали по ночам, а Устя тайно их впускала. Они уже нащупали в земле, под тем углом, что ближе к кремлевской башне, ящик, окованный железом. На другой же день Максютя, еще раз вызвавшись полуночничать при больном, выпустил их. В ящике оказалось оружие, да не пищали какие-нибудь времен царя Гороха, — кремневые тулки, французские мушкетоны, все смазанное жиром, — хоть сейчас стреляй!

— Вчера я у них гостевал, — сообщил Максютя. — Они хоть и воры, разбойнички, но добрые ребята. Зовут с собою на Дон, гулять. Устинью же они хотят беспременно выручить, только пока не ведают как. А уж как выручат, так в степь и подадутся.

Тут Бяша рассказал ему о Щенятьеве и его предложении.

— Ой, лихо мне, лишенько! — сразу закручинился Максютя. — Значит, и этот Сукин-Щенятьев за моей Стешей махается! Повсюду у меня соперники! Лучше я утоплюся, пусть река меня полощет, рыбы тело белое едят!

Бяша поведал, что Щенятьев уже заходил к нему в лавку и с большой конфиденцией сообщил, что освободить оную мадемуазель можно, но сие стоит сто рублей. Понеже, прибавил он, очень могущественная особа на пути том стоит, ему же, Щенятьеву, лично денег не надо. Очень он был удивлен, узнав, что у Киприановых нету ста рублей, они же торговцы!

— Сто рублей! — вздохнул Максютя. — Я бы с такими деньгами и сам из оброка выкупился. Изба крестьянская со всею рухлядью три рубля стоит!

Он предложил сегодня же, как стемнеет, идти к тем

атамановым людям — у кого же сто рублей, как не у них?

Бяша сперва отказался:

— Они против царя воруют, а я присягу давал в Навигацкой школе.

— Каков же ты! — удивился Максюта. — Дело об Устинье идет, ты мне все уши просверлил своими охами-вздохами, теперь тебе присяга мешает?

Бяша еще колебался, но, когда вечером, при закрытии лавок, Максюта явился и потащил его за руку, он не стал сопротивляться.

Они дошли до Никольских рядов, где в древней стене Китай-города от обвала образовался лаз к Неглинной-реке. Весь народ ходил этим лазом, и не столько потому, чтобы сократить дорогу, как для того, чтобы не платить денежку за проход в Воскресенских воротах. Вице-губернатор Ершов уж что только не делал, чтобы прикрыть тот лаз, сокращавший доходы градоначальства, но каждый раз отремонтированная стена вновь обрушивалась, а приставленная стража исчезала в близлежащих кабаках.

Большой колокол ударил часы на звоннице Николы Греческого, и под его медный гул хлынула толпа из Печатного двора. Понурые, злые от двенадцатичасового стояния у станков, печатники торопливо крестились, спустились в лаз, разъезжаясь лаптями по глинистой тропке.

Несмотря на ранние осенние сумерки, на топком берегу Неглинки жизнь была ключом. Дымили торговые бани, бабы всю стучали вальками, вода шумно сливалась в створы мельниц, которые вращали жернова денежного двора. По узенькой, засыпанной желтым листом тропке Максюта и Бяша прошли вдоль угрюмой бревенчатой стены Денежного двора и вышли прямо под арку Воскресенского моста. На широченном этом каменном мосту наверху стоят лавки и купеческие скамьи, где толчется торговый народ, есть даже две-три часовни с огоньками лампадок у икон. А глубоко внизу, под склизлыми сводами каменных арок, куда не достигает уже скудный закатный свет, множество бездомных укладываются на ночлег. Кто ящики себе разбитые приспособит, кто постелит рогожку, иной даже огарок свечи затеплит, и глядь — принес дрожащий огонечек свой уют в проклятую богом жизнь бродяг.

Максюта бестрепетно провел своего друга среди этих храпящих, сопящих, жующих, ищущих друг у друга в го-

лове. Справа и слева требовали милостыни, и Бяша с ужасом смотрел на тянущиеся к нему покрытые язвами руки. Но Максюта был знаком со здешними порядками; он ударил по одной руке, по другой, невзирая на отчаянную брань, и просящие милостыню умолкли.

Тут кто-то пустил слух, что идут ярыжки разгонять ночующих. Все вскочили, загомонили, принялись гасить огарки, расталкивать спящих, один слепец оглушительно свистел в четыре пальца. Но тут же прошел слух противоположный, что ярыжки сегодня не придут, потому что миром собрано по четверть копейки за ночлег. Все улеглись снова.

Максюта и Бяша, меся грязь, вышли к мостовому быку как раз напротив Охотного ряда. Там уже была тьма — хоть глаз выколи, только на противоположном берегу в деревянных чуланах Обжорки визжали поросята, приведенные для завтрашной еды.

— Здесь мы подождем еще одного кавалера, — сказал Максюта и осекся, потому что кавалер был уже тут.

— Рано стало темнеть... — проговорил кавалер, различив их во тьме, и шумно потер ладони.

По голосу Бяша тотчас узнал его — это же был шалун Татьяна Татьянач! Бяша даже остановился сначала — причем здесь шут, ведь идут-то к атаману? Не ждать ли из этого беды? Но спросить у Максюты не решился и двинулся вперед.

Стали спускаться к воде. Максюта впереди, Бяша скользил, еле удерживаясь за колючий кустарник, шут шлепал позади, то призывая угодников, то фыркая от озноба.

Внизу у плотины, еле различимый в сгустившейся тьме, покачивался дощаник, полный людей. Печатники собирались в свою слободку; кто-то впотьмах уронил за борт мешок, и его вылавливали при слабом свете фонаря, боясь опрокинуть лодку. Максюта сунул лодочнику приготовленный грош, и их разместили, невзирая на тесноту и протесты печатников.

Лодочники оттолкнулись шестами, дощаник развернулся и выплыл на середину запруды, минуя ряды всяческих посудин, причаленных вдоль чернеющей во тьме Кигайгородской стены. Взялись за весла. Хотя и против течения, но идти было легко — от осенних дождей Неглинка разлилась, затопив низкие берега.

Татьяна Татьянач, закутанный в какую-то епанчицу, совсем продрог, зуб на зуб у него не попадал. Бяша обхва-

тил его, стараясь согреть, старый шут благодарно прижался к нему.

Печатники в лодке, которые не дремали и не гребли веслами, негромко беседовали. Все о том, что жалованье затеяли книгами — будь они неладны! — выдавать, а попробуй продай эти книги, кому они нужны? Книготорговцы-перекупщики на Торжке берут их за бесценок, прямо ложись и околейвай!

— А ты что же, Афанасий? — обличал кого-то старчески бас на корме. — Опять из царевой типографии краску крадешь? Это что там у тебя в крынке?

Виноватый голос что-то промямлил ему в ответ, и бас обещал, засмеявшись:

— Пойду завтра Мазепе скажу, пусть вздует тебя ба-тогами. Лубок небось дома печатаешь и продаешь? То-то люди дивятся: простой тискальщик, а дом у тебя под железной крышей!

Проплыли мимо Пушечного двора, где за высоким тыном подымались в осеннее черное небо сполохи огня. В кузницах звенели молоты — работа шла и ночью, война требовала пушек.

— Эй, наклонись, наклонись, спины не жалей! — закричали лодочники.

Проходили под аркой Кузнецкого моста, где полноводная Неглинка плескалась чуть ли не у самого свода. Легли почти что на дно лодки, и при свете фонаря в водяной ряби было видно, как проплыла навстречу раздутая дохлая лошадь. Приходилось и носы затыкать на этой речке Неглинке.

Странно было видеть на залитых водою Петровских лугах избы на сваях, словно острова, и в них приветливо мелькающие огоньки. Неугомонный бас на корме опять принялся корить кого-то за покражу, но другие вступились.

От монотонного покачивания и тихого плеска волны Бяша чуть не уснул, тем более что Татьяна Татьяныч разогрелся под его рукой и стал в свою очередь согревать Бяшу.

— Приехали! — закричали лодочники. — Труба! Вылезайте из кареты, ваши, драть-передрать, благородия!

Это была действительно труба — отверстие в стене Белого города, куда сквозь решетку с шумом вливалась текущая с севера Неглинка. Печатники выбрались из доща-

ника, кто зевая, кто бранясь, и по гудам кирпича стали карабкаться к пролому в стене. Там, за стеной, начиналось их царство— Печатникова слобода. Вслед побрели и наши приятели.

Погода была сырая, но, слава богу, без дождя. Ветер все же пронизывал, и бедный Татьян Татьяныч, ковыляя сзади, охал и чертыхался.

— Доколе ж идти?

— Вон Драчевка на горе,— ответил Максюта, хотя во тьме не видно было не только что горы, но и самого Максюты, который, однако, шагал весьма уверенно.— Там нас ждет провожатый.

Остановились у стены бастиона, построенного еще когда ждали нашествия шведов; здесь было потише от ветра. Провожатого не было, долго стояли, казалось— целую вечность. И присесть-то было негде, везде мокрядь да гнилой осенний лист.

Наконец послышалось равномерное позвякивание железа, тяжелые шаги и стук посоха.

— Он!— встрепенулся Максюта.

Провожатый приближаться не стал, откуда-то издали пробормотал молитву: «Достойно убо всещедрого света...», а Максюта ответил: «Аминь». И провожатый двинулся во тьму тяжкими шагами по еле различимой тропке, звеня железом и напевая тропарь. Шли долго, и Татьян Татьяныч стал задыхаться, отставать. Максюта просил провожатого идти потише.

— Теперь уже скоро...

Пошли вдоль пахнувших смолой штабелей теса, где-то близко плескалась вода. Бяша узнал— это был лесной торжок у Самотеки, дрова сплавлялись сюда по реке. Вышли из-за штабелей, и, хоть луны не было, при свете звезд вполне можно было определиться— вперед виднелся часток стол старого Тележного двора. Двор этот был заброшен с тех пор, как Каретный и Колымажный ряды перенесли отсюда на другой берег Неглинки. Теперь слобода печатников устроила в нем какие-то свои склады. Бяша однажды ездил сюда с отцом. А за спиной на высоком холме высилась луковица Рождественского монастыря. Самотека! Здесь такие урочища, что ярыжки сюда и днем не смеют соваться.

Добрались до частокола, сквозь щели которого чудились огни и голоса. Провожатый постучал в калитку



условным знаком. Отозвался тенорок, странно знакомый, сладкий, как у певчего:

— Кандывенды?

— Свонды, свонды! — ответил хрипло провожатый, и его голос также показался Бяше удивительно знакомым. — Свонды! Впускай скорее, нечего православных томить!

Калитка открылась, и по дощатому мостку они прошли в глубь двора, где было обширное низкое строение, похожее на амбар. В распахнутых воротцах амбара был виден костер, вокруг которого сидели люди.

У сарая к ним приблизились два молодца, стриженные по-казацки в кружок, и бесцеремонно ощупали их, стараясь отыскать, очевидно, оружие.

Пока его обыскивали, Бяша смотрел на провожатого, который безучастно стоял в стороне. Это оказался юродивый от Николы Москворецкого, кто же его не знал? Блаженнейший был он, Петечкой его звали, по прозвищу «Мырник». Сидел он обычно лохматый, зверовидный, приковав себя к стене храма на огромной ржавой цепи; приезжие ужасались, серебро щедро сыпалось в кружку. Теперь он стоял, перекинув через плечо эту цепь с выданным из стены штырем. Можно было разглядеть также висевшие на нем вериги — каменный крест, который, казалось бы, не поднять и бурлаку.

— Петечка! — сказал ему тенорок. Это был певчий не певчий, бритый, но с косицей и в подряснике, какой-то по виду церковный человек. — Опять табашников привел? Давай-ка лучше хлопнем их по темечку — и в реку, а?

На слова его, однако, никто не обратил внимания, и певчий этот, хихикая, побежал за казаками. А Бяша узнал и его. И, узнав, ужаснулся, потому что это был не кто иной, как Иоанн Мануилович, помощник директора Печатного двора, по прозвищу «Мазепа», которого все мальчишки на Никольской и на Торжке ненавидели, потому что он их походя за уши драл и за вихры таскал, и палкою потчевал. Слава богу, он Бяшу не знал в лицо, хотя раза два отпускал и ему ни за что подзатыльники. Ночь летела, как стремительный сон, всполохи костра, мелькающие тени людей, приглушенные голоса — Бяша потряхивал головой, чтобы отогнать наваждение.

Казаки привели юношей и шута в амбар, посреди которого ярко горел костер. Вдоль бревенчатых стен было расставлено самое разнообразное оружие — и старинные

пищали, и аркебузы, и новейшие мушкеты тульской работы. На коновязи были развешаны пистолеты, сабли — целый арсенал. В воротцах сарая даже стояла пушечка на деревянном лафете.

Дальний конец огромного амбара, куда свет костра еле достигал, и где горело несколько свечей, занимало какое-то странное деревянное сооружение с длинной рукояткой и перекладиной. Вокруг суетились люди — уже не казаки, стриженные в кружок, а похожие на московских мастеровых, с подвязанными ремешком волосами и в кожаных фартуках. Одни держали в руках деревянные доски или бумажные листы, другие — кисти и крынки с краской. Среди них был один в казацких шароварах, подпоясанный полотенцем, полуголый. Обнаженная спина его была столь могуча, мускулиста, так высок был его рост, что фигура эта поневоле выделялась среди прочих.

Блаженненький Петечка Мырник приковылял именно к нему и подергал за полотенце:

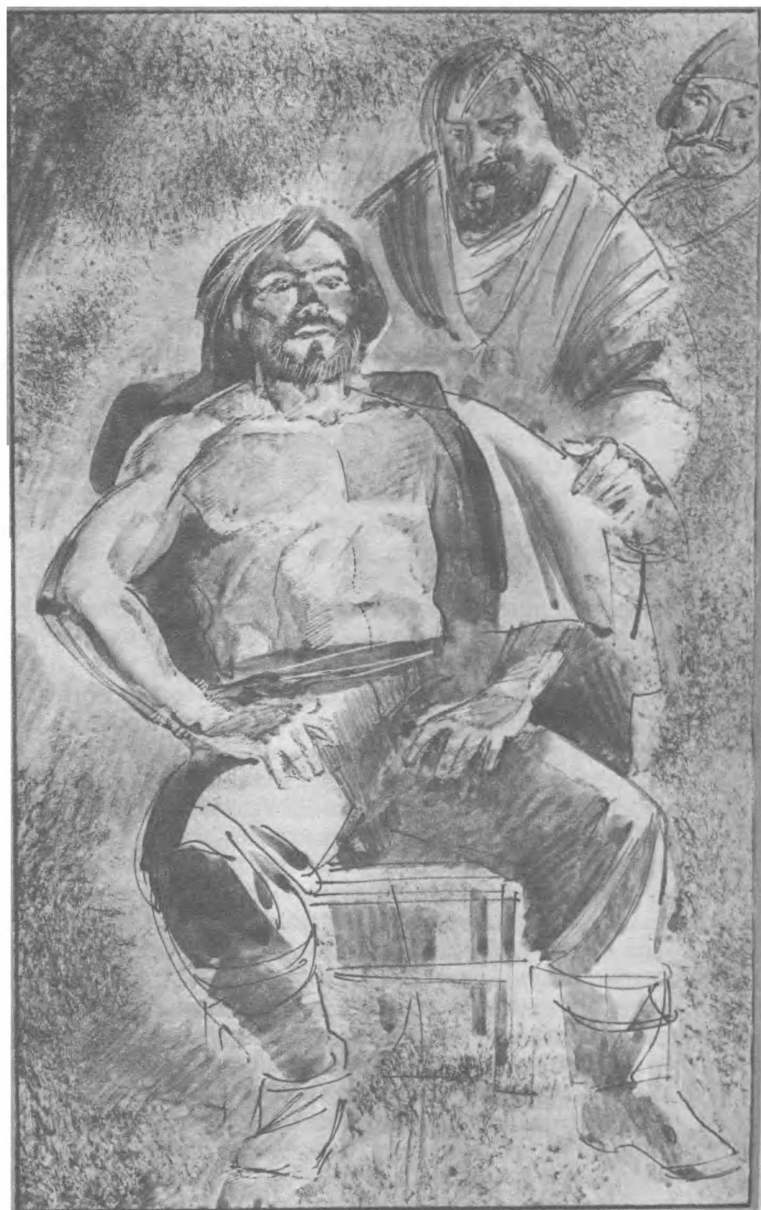
— Привел я их, атаман.

— Ага, — отозвался тот, не оборачиваясь. — Пусть они трапезуют.

Тогда пришедших пригласили к костру, где деревянными ложками по очереди хлебали из котла. Тут же стояла объемистая сулея с вином.

Пока шли к костру, Бяша рассмотрел, что за сооружение в дальнем углу колымажного сарая: это была обыкновенная штанба, печатный станок! И люди вокруг занимались самым знакомым Бяше делом — они делали картинки, лубок, что продавался на Спасском крестце. Московская полиция сбилась с ног, разыскивая зловредных лубочников, в печатной слободе обыск за обыском, а они, оказывается, вот где угнездились в неприступном урочище, под защитой гулящих людей! Иные резали печатные доски — со смехом, с прибаутками, видимо, без оригиналов, прямо наобум. Другие производили оттиски их на штанбе, которую как раз помогал налаживать атаман. Третьи раскрашивали эти оттиски грубо, как говорится, по носам. И наутро же, очевидно, несли их на Крестец, где бойко ими торговали, — то-то им было и брашно!

На развешанных для просушки оттисках Бяша различил хорошо знакомые сюжеты. Вот Яшка Трык, полна пазуха лык, три дня не ел, а в зубах ковыряет. А вот Кот казанский, обормот астраханский, жулик сибирский, обжора богатырский, славно жил, не тужил, сладко ел, вволю



храпел... Котовья морда ужасно получалась похожей на царя Петра Алексеевича, недаром те, кто ее красил, столь веселились!

Атаман наконец запустил в дело штанбу и вышел к костру. Бяшу холодок по спине продрал — у атамана когда-то были вырваны ноздри, и лицо его, и без того рябое, страшное, мнилось как бы звериным.

Атаман сел у костра на единственный во всем колымажном сарае стул — все прочие сидели на земле, на соломе, — и казак, которого остальные с извечной почитательностью именовали «пан Хлуп», поспешил накинуть ему на плечи душегрейку, затем чистой полоской ткани аккуратно обвязал атаману лицо, и оно приобрело вполне земное, даже добродушное выражение. Оглядев сидящих вокруг костра, атаман засмеялся.

— Шут, ты лишний, — сказал он Татьян Татьянычу, который примостился как раз возле ножек его стула. — Нас тут тринадцать, чертова дюжина.

— А ты не оттуда считаешь, — спокойно ответил шалун. — Ты начни с меня, тогда лишним будешь ты, твое воровское величество.

Разбойники вглядывались в атамана, ожидая, как он отнесется к ответу шута, но тот улыбнулся, и все вокруг костра разразились хохотом.

— А ты все тот же... — сказал шуту атаман. — А меня ты узнал, старый плутишка?

— Как же, как же... Тебя и без ноздрей узнаешь, которые ты оставил на память твоему господину, царевичу Алексею Петровичу.

— А тебя чем одарил твой возлюбленный царевич? Что-то ты не в карете к нам прикатил?

— Ха! Еще мальчишкой ты был, я тебе сказывал: там, где глупость катит в карете, ум идет пешком.

— Где ж тогда разница меж дураком и умным?

— Разница? Умный спрашивает, дурак отвечает.

Казаки не знали, смеяться им или негодовать. Некоторые еле сдерживались, чтобы не схватить дерзкого шута за шиворот. Но атаман со снисходительной усмешкой продолжал наблюдать за шутком с высоты своего стула.

— А мне говорили, что тебя тут твои новые господа заставляют окорока целиком съедать и даже исподники.

— Упаси бог, — ответил шалун. — Ты лучше-ка ответь, зачем ты вновь на Москве народ православный сму-

щасешь и зачем тебе старый дурак, который доживает себе на покое, питаюсь господскими исподниками?

— Хотел тебя, дядюшка, повидать, ай мало этого?

— Ну, я же не стыдливая девица, коя потупляет очи, егда узре жениха грядуща, чего меня видать? Говори правду.

— Видеться надобно с царевичем.

— Вон оно! Царевич в Санктпитебурхе, ступай туда, там, бают, вашего воровского степенства, как и здесь, полным-полно. Да и почто ты ко мне? Ступай к Авраму Лопухину, он его, царевича, здесь конфидент.

— К Лопухину не пойду, меня же через него казнили. Будь милостив, дядюшка шут, помоги в просьбе моей.

— Ну, добро. А скажи допреж, почто тебе царевич? Ты же знаешь неверность его и буйство почти отцовское, а разума ведь он у батюшки не занял!

— Большое дело хочю заварить. Почище, чем при покойном Кондратию Булавине.— Атаман благоговейно перекрестился, за ним двумя перстами перекрестились и все прочие.— Да ведь для такого дела нужен самозванец. У Разина был царевич якобы, Алешка Нечай, потом объявлялись царевичи Симеошка и Тимофей Луплений. Кондратию как раз царевича не хватало.

— Знать, желаешь ты всех прочих воров перещеголять? У тебя-то будет подлинный царевич! И что же ты под его именем учинишь?

— Али не видишь всюду страдание народное? Засилье боярское и поповское, теперь еще и немецкое! Жгут и казнят напрасно, догола мужика обирают. Великий же государь проклят! Проклят, потому что немецкие чулки да бубли заводит...

— Антихрист!—вдруг выкрикнул блаженненький, и все вздрогнули, даже печатники бросили свои доски.— Се грядет антихрист! Скорбь великая и плач, и рыдание горькое, и боязнь нестерпимая!

Все усердно крестились двумя перстами, кроме шута и Бяши с Максютой, почему на них и поглядывали весьма косо.

— И это твое войско?— Шут обвел рукой всех в колымажном сарае.

— Моих тут только двенадцать,— ответил атаман.— Прочие из слободы Печатниковой, мы у них квартируем, вот я и велел им в лубке помогать, чтобы люди не забаловались. Но из малого, дядюшка, вырастают великие дела!

— Знаем, знаем,— усмехнулся Татьяна Татьяныч.— Государь Петр Алексеевич точно твоими словами сказывать изволит. Однако, может, вместо царевича ты бы самого царя сманил гулять на Дон?

— Шутишь, дядюшка! Баюют досужие, что подменен наш царь на немца... Казнит встречного и поперечного. Каких людей загубил — перста он их мизинного не стоит! Преобразователь! Шуты у него на свиньях скачут! А собор всепьянейший, а водка в корытах посреди дворца, а паны пьяные всенародно валяются?... Вот ежели б нам того подлинного царя сыскать, коего немцы упрятали!

— А совсем без царя вам нельзя?

— Как... без царя?

Атаман, который в этот момент пил из кружки, даже поперхнулся, закашлялся.

— Как — без царя? Кто же будет править?

Татьян Татьяныч порылся в кармане и достал бумагу, сложенную в квадратик. Это был очень старый лист, желтый и хрупкий от времени,— немецкая гравюра. На нем был нарисован помост, а на помосте плаха, перед которой стоял на коленях, молитвенно сложив руки, человек с бородкой клинышком. Вокруг шеренгами сходились торжествующие люди в остроконечных шляпах, а в облаках парили фигуры — Истина, Справедливость, Свобода, перстами указуя на происходящее действо.

— Вот,— сказал Татьяна Татьяныч, поворачивая свою иноземную куншту так, чтоб видно было каждому.— Лет полста тому назад или более англичане короля своего Карлуса до смерти забили. За алчность, за неправду, за забвение народа! И что же? Живут себе, не тужат!

— Кто же у них правит? — недоверчиво спросил атаман. Он протянул кружку, и пан Хлуп поспешно налил ему еще вина.

— Сами собой и правят. Жребий кидают. Кому выпадет, тот и правит условленное время.

Атаман засмеялся. Оглядел своих приверженцев, спросил:

— Скажи, пан Хлуп, выпал бы тебе жребий, сел бы ты на мое атаманское стуло?

— Ни батько,— поспешно ответил тот.— Николи.

— Вот видишь, дядюшка. Таково же и всем. Царь нужен, либо, прости господи, сопля любая, абы в короне.

— Эх! — махнул Татьяна Татьяныч.— Тебе не втолкуешь. Как с ноздрями был ты пентюх, так и без нозд-

рей — простак. Давай-ка, племянничек, поторопись, полночь на носу. Либо ты отпускаяй меня, либо уж казни, раз такова твоя милость...

— На кол его, на кол! — заблеял сладкогласный тенор.

А блаженненький басом ухал свое:

— Антихрист, антихрист! Земля вся потрясется, и камни все распадутся, пройдет река огненная, пожрет всю тварь, все земное!

Множество рук протянулось к Татьян Татьянычу, чтобы его схватить.

— Цыц! — произнес атаман тихо, но так, что все руки тотчас убралась. — Послушай, дядюшка шут, хочу все же я твою истину уразуметь. Ведь ты же сам пострадал от царя-антихриста! Глянь-ка вот на этого праведника с косичкою. Он у директора Печатного двора портки моет, а ведь ученый человек, не хуже тебя — латынь знает. А за что он в такое поношение попал? За то, что был он у гетмана Мазепы, который первый на царя-злодея оружие поднял... За то праведник сей с Печатного двора несправедливости и поношения многие претерпел и с нами теперь на Дон гулять пойдет.

— Мельница какая-то, — сказал Татьян Татьяныч. — Ты — на царя, царь — на тебя, тому благо и другому благо... Ки-ки-ки! Кукареку!

— Постой дурить, — продолжал допытываться атаман. — Ведь сколько раз ты сам хулил царские деяния разные, а язычок у тебя, балаболка, вострее ятагана. Это ли не воровство?

— Я шалун, — сказал Татьян Татьяныч, пытаюсь встать и оттеснить сгрудившихся вокруг него. — С дурака что и возьмешь? Дурак есть выкидыш правды. Но я-то шалю языком, а ты шалишь кулаком. Язык кулака проворней, да кулак-то погрозней...

— А ну, все прочь! — приказал атаман, и все отшатнулись от шута. — Поддай-ка, пан Хлуп, мою лиру, затаю лучше мою любимую, головушки и поостынут.

И он заиграл, перебирая струны. Запел протяжно, и великолепный тенор Мануйловича вторил ему:

Нищ есмь,  
Села не имею,  
Добра не стяжаю,  
Купли не дею,  
Князю не служу, боярам не точен,  
В слугах не потребен,

Книжному учению забытлив,  
Церкви божией не держуся,  
Заповеди преступляю,  
Беззакония исполнен,  
Грехи совершаю!

Все пригорюнились, глядя в раскаленные уголья костра. Блаженненький ворошился, укладываясь так, чтобы каменный крест не давил. Атаман хлопнул себя по коленке, передавая лиру пану Хлупу.

— Тебе, шут, нас не понять,— сказал он.— Ты комнатная собачка, мы — степные псы.

Он тоже задумался, опустив чубатую голову. Костер потрескивал, пресс ухал, выдавая один оттиск за другим. Пели предрассветные петухи.

— Да,— встрепенулся атаман,— где этот... тот... который про Устю...

Максюта выдвинул вперед Бяшу, и тот, робея и запинаясь, рассказал о Щенятьеве и его ста рублях.

— За Устинью я жизни не пожалею...— сказал Атаман, потягиваясь.— Взял бы шестопер и пошел крушить преображенские остроги! А ста рублей у меня нет. Может, Аврашку Лопухина поцарапаем, а, братва? У него кубышки водятся, я знаю!

— Треба поразведать допреж...— усомнился пан Хлуп.— А то як в тот раз сунемся, и половину перестреляют.

— Но ее же там мучат!— вскричал Максютя, как будто не Бяша, а именно он страдал по этой Устинье.

— Эх вы!— усмехнулся Татьяна Татьяныч.— Воры вы, разбойнички, боготворите работнички. Не ведаю, о ком у вас речь, слышу лишь, что выкупить человека надобно. А вы рассуждаете — деньги, не деньги! Вот!

Он залез рукой себе в портки и, покопавшись, извлек тряпицу, завязанную узелком. Долго развязывал негнушимися старыми пальцами, даже зубом помогал, наконец извлек и показал, повертев в свете костра. Это был измаргад — зеленый драгоценный камень, отблески его, казалось, травяными бликами отражались на лицах.

— Сие есть фамильная драгоценность князей Вельяминовых,— сказал горделиво шут.— Прапрадед мой князь Микула под Мценском разбил крымского хана Айдара, полон его огромный перенял, многих православных от неволи избавил. А перстень сей измаргад в скрыне был, которую бежавший хан на поле бросил, царь его пожало-



вал победителю. Ничего теперь от нашего княжеского не осталось я последний, ношу оный всегда при себе, ибо нет у меня и пристанища своего. Пусть уж послужит спасения ради еще одной живой души. Мне огранщики да золотари на торгу давали за него пятьдесят рублей. Остальные вы соберете.

Из-за спин молчавших в сосредоточении казаков просунулась рука и кинула шуту золотой браслет с арабской черненой вязью.

— На! Не жаль на доброе дело!

И тут стали развязывать мошны, вытаскивать потайные узелки, доставать золотые ефимки, серебряные кольца, серьги из коралла, перстни с лалом...

— Нишкни! — крикнул атаман и встал, сбросив душегрейку. — Шут, забери назад свою побрякушку. Атаман Кречет не нуждается в милостыни.

Все тут же расхватали назад свои подношения. Атаман поманил к себе Максюту:

— А кто же выкуп Щенятьеву передаст? Кто удостоверится, что дворянчик тот не обманет?

Максюта указал на Бяшу, но атаман отрицательно потряс головой. Промолвил довольно холодно:

— Сей юноша пусть свое ведает торговое дело и благодарит бога, что он его ведает. Мануйлович, поди сюда!

Тенорок с косичкой подбежал услужливо.

— Ты среди верхних обращаешься, не приходилось ли тебе там ведать некоего Щенятьева, который у губернатора Салтыкова на побегушках?

Иоанн Мануйлович подумал некоторое время, закрыв глаза, потом развел руками и помотал косицей:

— Увы, господь не удостоил...

— Ладно! — сказал атаман, вновь усаживаясь на свой трон. — Мы подумаем. А вы идите.

В ту же ночь, уже дома, снова трепала Бяшу лихорадка. Чудилось во сне или, скорее, в бреду: звероподобный лик атамана Кречета, вывороченные ноздри; полыхают отблески адского пламени, а людишки вокруг, словно черти на иконе Страшного суда, копошатся, хохочут, мастерят, шуруют... И вдруг еще — страдальческая мина Татьяна Татьяныча, сухонькое личико, горькие морщины. И Бяша будто безжалостно спрашивает: что ж, мол, наврали разбойникам вы про англичан? Они ведь только десять лет народоправство то имели, а потом у них снова

пошли короли... И лицо будто у Татьян Татьяныча еще несчастнее, а морщины еще горше!

Заставил себя встать, отмахнуться от видений. Испил простокваши, лег, всматриваясь во тьму слушая, как спит отец. Никогда Бяша как-то не думал о том, какого возраста отец, этот вечно деятельный, требовательный, бесконечно добрый Онуфрич... А спит тяжело, дышит, словно мех кузнечный подымает. Всего опасается, за всех болеет, и пылью серебристой уже припорошена голова! Да еще намедни вице-губернатор Ершов его взял да испугал. Из лучших, вероятно, намерений — испугал.

В тот день Киприанов с сыном, надев выходные кафтаны, представляли вице-губернатору первый вариант ландкарты. Ершов принимал как раз челобитчиков, его ожидали толпы обиженных и страждущих, знали — Ершов никому не откажет. Что может — решит справедливо, копейки не возьмет.

— Вот! — воскликнул Ершов, обращаясь к обоим Киприановым. — Сколь много лишнего повинен исполнять вице-губернатор, вместо того чтобы решать важнейшие дела! Вот жалоба дьячка-старика, коему какой-то правитель канцелярии отрезал косичку. Глупое дело — косичка, кому она нужна? А он-то, дьячок, семидесятилетний, его уж в немецкие букли не вырядишь, да и зачем все сие?

Вице-губернатор поднял в ладонях целый ворох грамот и потряс ими в воздухе:

— А вот позловреднее. — Он извлек длинный, развивающийся столбец с кудрявой вязью писарского почерка. — Парня одного сельского приписали к Тульскому заводу, а из опасения, что сбежит, ни с того ни с сего поставили ему на руку клеймо. И рука начала сохнуть, и вообще теперь он работник никакой. А вот в этой бумаге совсем уж воровство — рекрутов из Москвы снарядили две тысячи, а дошла до Санктпитербурха едва ли половина. Худое пропитание в пути, отчего многие померли, другие с дороги побежали. Кто же виновен?

Он указал пальцем на потолок, где в верхнем жилье были покои губернатора господина Салтыкова.

— Посему я, когда ландкарту вашу беру, — продолжал вице-губернатор, разворачивая принесенный Киприановыми лист, — я душою отдыхаю и новую Россию зрю в ней, мыслию человека преображенную.

Вице-губернатор рукою в обшлагае, украшенном галунами, провел по эскизу ландкарты сверху вниз:

— Когда окончится свейская война, мы канал будем здесь проводить от самой Волги до Москвы нашей реки. Государь указывал геодезические измерения уже начинать. И пойдут суда по воде от нас до самого до Санктптербурха, и от всех морей корабли прямо в нашу Москву придут!

Тут как раз распахнулась дверь и быстрым шагом вошел курьер в мундире полицейского драгуна, подал Ершову грамотку. Тот развернул, прочел, шевеля губами, и, отбросив грамотку на стол, сказал, обращаясь к Киприановым:

— Вот вам и канал! Вчера в Дмитровском уезде убили инженера, который вел съемку,—заподозрили, что он своей астролябией на церковь божию духа нечистого наводит!

Затем, сделав некоторые замечания по карте, вице-губернатор бережно скатал ее в трубку и вернул Киприанову. Но отец медлил откланиваться, просительно взглядывал на Ершова, и Бяша знал почему. В руке у отца была челобитная, все о том же: «Девка, сирота, оказавшаяся по розыску Ступиной... Приписанная к Артиллерийскому приказу... Сим доношу тебе, великому государю, и паки молю помиловать, отпустить...»

И вдруг вице-губернатор как бы догадался об этом.

— Послушайте, Киприанов...—сказал он.— Вы, брат, ни с кем из зазорных лиц не якшайтесь, мой вам добрый совет.

Оба, отец и сын, словно остолбенели. Киприанов мял в пальцах так и не поданную челобитную.

— Я ничего дурного не хочу вам сказать,—поспешил успокоить Ершов.— Нет за вами дурного. Но все они,— он снова сделал движение рукою на потолок,— все они, именующие нас худофамильными, подлой чернью,— что им наши дела, что им наши заслуги перед государем?.. Не давайте им повода, Киприанов!

Он ничего более не стал объяснять, крепко пожал обоим руки и отпустил.

Ехали молча домой оба Киприановы, тень неведомой беды легла на их смутные головы.

И теперь ночью, бодрствуя один, Бяша думал: сказать, не сказать отцу про тележный двор? Конечно, это и есть то зазорное знакомство, о котором предупреждал Ершов. Но как примет это отец?

Может быть, ему самому идти не машкая к вице-губернатору, указать на злоумышленников... Впрочем, какие же они злоумышленники? Они Устинью хотят вызволить, болезную его Устю!

Но странно — имя Усти как-то не возбуждало уже в нем той сладости и тревоги, как раньше. Что-то отболело, отсохло, как жухлый листок, отвалилось... И он мучился, лег и в полусне метался в постели, тем более что горницу с вечера жарко натопили — начались заморозки.

А утром начался кавардак. Явился сват Варлам, стал объясняться с Киприановым:

— Ты, Онуфрич, блаженненький, что ли, скажи уж прямо! Вроде Петечки Мырника, который сидит на цепи, хе-хе! Ну что ты все корпишь над своей ландкартой, что ты имеешь с нее? Делай лубок — это же живые деньги! Нет, брат, нам с тобою кумпанствовать несподручно — я вроде на лошади еду, ты вроде пешком тащишься... Не понимаю, не понимаю, видит бог! Ему же, простаку этакому, был дан в руки царский указ — никому на Москве ни одной книги в продажу не пускать, предварительно у Киприанова не загербя. Да это же скипетр, это же власть! Мне бы такой указ, я бы у себя в избе стены золотом обил, как у князя Голицына! Все московские книготорговцы мне бы нужники чистили!

Он, распаренный, отдувался — только что был из бани, из парилки бы всю жизнь не вылезал! Пил квас с изюмом и вопрошал Киприанова:

— Ну когда же ты жить научишься, ну когда?

Онуфрич только и поддакивал:

— Да, жить я не умею, это верно... Да, неторговый я человек, а за торговлю взялся... Все верно, да... Наверное, уж и не выучусь, ведь мне уже пятьдесят...

Варлам опрокидывал очередную кружку кваса и грохотал:

— А свояченицу мою ты в какое положение поставил? Честная она вдовица, а ты на ней жениться не желаешь!

Киприанов сел, вынул трубочку, стал набивать табачком, промолвил спокойно:

— Не блажи, Варлам... Знаю я, чего тебе надобно. Забирай на себя шаболовский дом, отписывай — и с богом!

Сват Варлам не любил откладывать решений в долгий ящик. В тот же день, возбуждая любопытство мальчишек, собак и нищих со всего торжка, от киприановской полатки

отъехали возы, нагруженные всяческим добром, которое Варлам объявил мценским, а Киририанов ему не препятствовал. Закутанная в плат, цветастый, как маковый луг, и подаренный ей на выезд Варламом, баба Марьяна не смела и выть, чтобы свояков гнев не усилить. Бяша стоял в калитке, грустный, бледный, она его лишь крестила издали, отъезжая. А маленький Авсеня, которого на день расставания отправили в соседнюю лавку играть с приказчиковыми ребятишками, вырвался оттуда, прибежал, кинулся за бабой Марьяной.

Федька спросил язвительно:

— Ты, Марьяна, тридцать сребреников-то свои где прятать станешь? — и захохотал.

А баба Марьяна, глотая слезы, ответила:

— Гляди, Федечка, как бы ты сам вскоре отсюда не побег!

И слова ее оказались пророческими.

В канун Покрова вице-президент Ратуши купец господин Канунников был вызван к обер-фискалу гвардии майору Ушакову, который сказал:

— В Покромном ряду находится заведение Киприанова. По известным нам и досконально выверенным сказкам персона сия занимается делом тем не по праву. Они суть тяглецы Кадашевской слободы, их надлежит вернуть в прежнее состояние, а имущество их опечатать, понеже за пятнадцать лет они слободской оброк не вносили. Вот предписание, сударь мой, действуйте.

— Помилуйте, — развел руками Канунников, — почему же именно я?

— Вы вице-президент Ратуши.

— Но есть же для исполнения таких действий недельщики, судебные приставы, земские ездоки...

— Господин Канунников, дозвольте я вам прочту собственноручное письмо, кое изволил мне прислать сам государь из Богемских вод, где он здравие свое ныне поправляет.

Ушаков открыл конверт с таким благоговением, что Канунников даже подумал, что обер-фискал его поцелует, и никак не мог решить, целовать ли в таком случае конверт ему, Канунникову. Но обошлось без целования.

— Итак, слушайте, что написано. Також гораздо смотрите... Это нам, значит, фискалам, чтобы лишнего не брали и обид не чинили, ибо за сие не будет никто пощажен, ни делатель, ни тот, кто виноватым спустит... Особо

государь указывает выявлять тех, кто скрывал злоупотребления по дружбе или для своей бездельной корысти.

Канунников сидел молча, поглаживал усы, не зная, что еще сказать, чтобы отвертеться от сией пренеприятной для него диспозиции.

— Слышал я краем уха,— вдруг спросил обер-фискал, постукивая по столу толстым пальцем,— что ваша единственная дочь от сына Киприанова посватана быть ожидает?..

Возвратясь домой, Канунников не удержался, чтобы не бросить упрек дочери и вечно присутствующей тут полуполковнице:

— Вот ваши Киприановы... Завтра выселять их будут. Полная турбация и лишение чести.

— Ты не смеешь! — закричала Стеша и бросилась на шею отцу.

Как он ни объяснял ей, что не в силах что-нибудь изменить, она, сжав кулачки, топала ногами, по щекам от краших ресниц текли черные потоки.

Тогда, видя, что ее усилия бесполезны, она объявила, хватая теплый платок:

— Пойду предупрежу. Извольте подать лошадь.

Канунников стал кликать челядь — Митька, Савка, Вавила! Приказал Степаниду взять, как бы ни бултыхалась, и запереть в людской баньке, которая была без окошек, навесил замок, а ключ — к себе на шнурок вместе с нательным крестом.

— О русише барбар! — возмущалась Карла Карловна.— Как сие мощно!

А полуполковница металась, не зная, как ей быть: бежать за новостями к Варламу на Шаболовку или оставаться тут — вдруг события как-нибудь еще повернутся? Канунников велел выставить стражу у дверей, никого не выпускать.

Ночью Максютя постучал в калитку опустевшего киприановского дома:

— Меня Татьяна Татьяна прислал... Завтра вам будет зорение... Бегите!

— Куда же? — спросил, глядя из-под очков, Онуфрич, который вышел к нему со штангенциркулем в руке.— Куда?

— Да вот к Кречету хотя бы... В тележный сарай... Киприанов улыбнулся и потрепал ему вихор:

— Мы к ворам не бегаем...

А Бяша даже вообще не встал с постели, где он при свете агарка читал какой-то французский волком.

Обер-фискал не зря избрал канун Покрова как время для турбации Киприановых. Это храмовой праздник у Василия Блаженного. На всей Красной площади стоят, задрав оглобли, распряженные телеги приезжих. Кареты к храму подкатывают одна за другой, подарки несут, вклады, больных ведут, чающих исцеления. Народищу видимо-невидимо.

После полудня пришел ратушный приказный, постучал палкой в калитку к Киприановым. Канунников стоял за его спиной, кусая ус и держа грамотку с предписанием.

— Мы готовы,—ответил Киприанов, распахивая створу ворот.

Псиша, лошадка Киприанова, оставшаяся при разделе, напряглась в хомуте и потянула за собой воз.

— Стойте!—сказал суровый Канунников.— Все имущество ваше, за исключением нательного платья, останется здесь. Оно будет опечатано в покрытие вашей недоимки за избылые годы. Люди же расходятся туда, где кто приписан по штатной ведомости, никто за Киприановым следовать не смеет. Пленный швед не может без конвоя ходить по московским улицам.

— А мальчик?—спросил Бяша, прижимая к себе Авсеню, перевязанного шерстяным платком, который ему тайком оставила баба Марьяна.

Канунников пожал плечами. Насчет мальчика в предписании ничего не говорилось.

И пошли оба Киприанова с пустыми руками по Москворецкой улице; правда, с ними еще за руку бежал парнишка. Улица кипела, галдела, готовилась к празднику Покрова.

Хуже было им, когда они ступили в расквашенную грязь Кадашевских переулков. Отовсюду выскакивали какие-то совсем незнакомые им люди. Оказалось, Киприановых все знали и все злорадствовали, пальцами показывая:

— Вон умников назад ведут... Что, из грязи в князи вам захотелось?

Вот и камора на задах Хамовного двора. Ржавым ключом, который подал ему приказный, Онуфрич отпер дверь, вошли. Все оставалось как в те дни, когда умирала здесь мать. Только ржавые потеки сырости на стене да печь огромная, холодная.

— Ну, прощай, Киприанов,— сказал мягко Канунников.— Я, пожалуй, пойду. Ты на меня, брат, не сердчай.

— Что ж,— пожал тот плечами,— дело служебное.

И они остались втроем. Вышли поискать дров, хотели взять щепу из кучи у какого-то амбара. Распахнулось напротив окошко, визгливый женский голос закричал:

— Не братъ, не братъ! Ишь, ученые, не успели возвратиться — уже и за воровство?

Тогда разбили табуретку, нашли в сенцах заржавленный косарь, раскололи на щепу. Печь сырая затоплялась туго, дым шел из всех щелей. Но наконец стало теплее и суше. Затем отыскивали какие-то лохмотья десятилетней давности, устроили постельку Авсене. Разделили ломоть хлеба, который случайно оказался в кармане у Бяши.

Бяша успокаивал мальчика, тот все не засыпал, капризничал, и прикрикнуть-то на него было жалко.

Отец, виновато улыбаясь, отщепил тоненькую лучинку, укрепил ее в железный поставец, который он нашел в сенцах. Лучина зашипела, роняя искры в корытце, и ярко загорелась. Киприанов загородил свет от детской постели и достал из кармана медную дощечку, а из-за обшлага — резец. Склонился над дощечкой, что-то обдумывая, поправляя в нанесенном карандашном эскизе. И его штихель побежал по гладкой, блестящей медной поверхности, оставляя за собою светлый след.

А Бяша, время от времени касаясь губами теплого лба мальчика, напевал вполголоса то, что в этой же самой камере много лет тому назад пела ему мать:

Патока, патока,  
Вареная, сладкая...  
Тетушка Ненила  
Кушала, хвалила,  
А дядюшка Елизар  
Все пальчики облизал!

## Глава седьмая

### ТОРГОВАЛИ — ВЕСЕЛИЛИСЬ, ПОДСЧИТАЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Холодный осенний рассвет тягуче вставал над спящей Москвой. Заспанные пономари, наспех творя молитву, лезли на звонницы, ударяли по первому, потом, переkre-



стясь, по второму. Праздничный звон, начавшись от Василия Блаженного, вздымался от слободы к слободе — был великий праздник Покров, когда летняя страда позади, а к зиме у каждого, кто трудился, есть надежный кусок хлеба и крыша над головой. «Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, готовому и теплому спасению, иже избавит от великих зол и скорбей...»

Стеша, одетая словно какая-нибудь простуша-слобожанка, бежала по Колпашному переулку вниз, давя хрусткий ледок. У выхода к Варварским воротам она уперлась в рогатку, перекрывавшую переулок. «Скорей, миленок, шевелись!» — просила она ярыжку, который не спешил вылезть из своей будки, отодвинуть слегу. Кинула ему денежку, он принял, отворил, хотя с сомнением глянул на ее овчинку и грошовые лапти.

— То-то, служивый! — захохотал Татьяна Татьяныч, проскакывая рогатку следом, и показал ему пальцем нос.

Стеша, за ней Татьяна Татьяныч бежали вдоль глухих заборов улицы. Ни одно окошко еще не теплилось огоньком, только кое-где маячили тени старух, которые плелись к ранней заутрене.

Шут напевал себе на бегу:

— Покров бабий, батюшка! Покрой меня, девушку!

Стеша останавливалась и молила, прижав руки к груди:

— Не дразни, Татьяна Татьяныч... Ступай лучше назад!

Накануне вечером отец выпустил ее из баньки. Она тут же направила почтенную полуполковницу в Кадаши за новостями. Та явилась к полуночи, сообщив, что Киприановы сидят в своей прежней каморе, никого с ними нет.

— Вот клушка эта полканиха! — рассердилась Стеша. — Не могла узнать, стоит ли там охрана!

Всю ночь она не сомкнула глаз, наконец решила. В девичьей взяла людскую поневу, кожушок. Лапки у нее были от лета — отец велел в них бегать по саду, так здоровее. Никого не будила, бодрствовали только ее сеновая девушка, перепуганная до слез, да мачеха Софья, которая не спала из сочувствия.

— Ах, Софьюшка, — говорила ей Стеша, — не плачь ты надо мною... Амур, божок несуразный, пронзил меня стрелою безвозвратно, ныне я раба судьбы своей! Ступай лучше к батюшке на половину, — не ровен час, спохватится он.

И так как Софья продолжала ее отговаривать, вспылила:

— Уж тебе бы молчать!.. Купил тебя отец, ровно вещь на торгу! И Наташка эта Овцына, дура слякотная, слезою изошлась, а за своим Малыгиным идти не смеет. Я вам докажу, из какой плоти я сотворена!

Сделав такое заявление, она через заднюю калитку выскользнула к ручью Гачке и мимо громады Покровских ворот помчалась в темноту. Оказалось, что не спал еще и Татьян Татьяныч, шалун, он, не спросясь, кинулся за ней.

В пути до Кадашей Стеше пришлось еще раза два раскошелиться ради тех, кои обязаны стеречь ночной покой и наблюдать, чтобы между людьми не было какой-либо шатости. Но как избавиться от непрошеного провожатого?

Стеша спряталась за каким-то строением и выскочила оттуда прямо на бежавшего Татьян Татьяныча. Потребовала, чтобы он не следовал за нею дальше ворот Хамовного двора.

— Так что же, касатка... — оправдывался он. — Я же ради тебя...

Но за ограду Хамовного двора он все-таки не ступил. Крадучись (впрочем, было уже совсем светло), Стеша подобралась к дверям киприановской каморы. Дальше этого ее первоначальный замысел не простирался, она просто не знала, что ей теперь делать. Наступило противное бессилие, стали чувствительны мороз и сырость осеннего утра.

За хилой дверью каморы слышались мужские голоса, она невольно прислушалась. Там спорили, доносились слова: «Отечество...», «Государь...», «Печатный двор...». Стеше стало совсем любопытно, она приложила ухо к дверной щели.

— Полатка наша никуда не годится, — говорил старший Киприанов. — Напрасны были мои на оную надежды. Ее сносить и заново строить надобно. Вот, Васка, какой я чертежик тут измысливаю, вчера с собою захватил. Бери, сын, теперь уж тебе эту архитекцию производить доведется... Зришь ли на здании надпись красивым эльзевиром — «Всенародная библиотека»? А внизу уж, гляди, не наша сгнившая галдарея, а портик, колонны штиля ионийского...

— А это что у нее, три жилья?

— Как видишь. На втором жилье — палата для чте-

ния, сиречь лекториум... Я, знаешь, думал: потому к нам мало охотников до купли ходит, что люди стесняются в семьях своих гражданские книжки читать, много у нас еще ревнителей старины. Видал, как у Юрки Белозерцова на торжке бойко церковную печать раскупают? Вот и пусть люди в наш лекториум ходят читать без помех, а единомышленников встретив, то и обсуждать прочитанное...

— А еще, батюшка, я скажу... Купца Алферьева я третье дни встретил, который из Касимова, ты знаешь. Сговорил его взять у нас книжек в долг, на веру. Он с баржою отплывает, там в уезде будет красный товар показывать, заодно и наши книжки продаст... Он, кстати, лубок давно уже возит, также и сонники, лечебники, календари.

— Сие ты верно рассудил, сыне... Пусть книга наша не ждет охотника, а сама бежит за ним.

Стеша была поражена. Бессонной ночью чудился ей плач и скрежет зубовой в каморе Киприановых, а эти простецы о книжках своих рассуждают!

— Дойти бы до государя,— продолжал старший Киприанов.— Кинуться бы в ноги. Пусть отдаст нам в аренду Печатный двор целиком, понеже гнездо это поповщины всякой... Мы бы взяли аренду из десятой деньги и перевели бы все его штанбы на гражданскую печать, на книгу общепользную. Одна беда — Петр Алексеевич сейчас на водах богемских, а его превосходительство господин Брюс — даже не ведаю где, сказывали верные люди, что и в Санктпитебурхе он не обретается.

Стеше стало невмоготу, ноги совсем уж заledenели. По Хамовному двору началось хождение, в любой миг ее могли обнаружить. Но решиться постучать не хватало сил.

Из-за угла, крадучись, подступал Татьян Татьяныч, уговаривал:

— Матушка! Послушай же меня: прогулялась — и довольно, пойдем-ка восвосяси. Скоро папаша твой изволит к обедне подняться — спохватится!

Тогда-то Стеша и застучалась в киприановскую камору. Голоса смолкли, но никто не отозвался. Татьян Татьяныч кинулся, хотел удержать, и она, распахнув незапертую дверь, вошла.

Воняло кислым, как в богадельнях, которые она милостыни ради посещала с отцом. Из кучи тряпья выглядывала розовая мордашка Авсени. Оба Киприанова оказались

в нательных рубахах и в смущении принялись надевать камзолы. Стеша поискала образа, чтобы перекреститься, но икон в каморе не было — когда-то вывезли их на Спасский крестец, лишь на стене остались темные четвероугольники.

— К вам я... — сказала она, набираясь решительности. — Ежели что помочь, сделать...

Смущенный Бяша спешно прибирался на полатах, на скамье. Отец же, подав гостье табурет, благодарил и уверял, что они ни в чем нужды не терпят.

Тут Стеша вспомнила, как бабы в рядах ходят на Пасху проводить бобылей — одиноких мужиков и первое, что они там делают — моют полы.

— Я воды принесу, — сказала отважно Стеша, размазывая головной платок.

И она действительно отыскала коромысло, которым еще мать Бяшина воду носила, да две бадейки. Колодец на углу переулка она заметила еще по пути. И она сходила к колодцу и несла оттуда бадейки на коромысле — кто бы сказал, что первый раз в жизни! Гордо покачиваясь, шла и понимала, что идет на виду у всей слободы, но это-то и доставляло ей мстительное наслаждение — на-ка, мир людской, выкуси!

Татьян Татьянычу же, который со стенами вертелся у нее под ногами, она заявила:

— Еще слово, шут, я тебе коромыслом голову сшибу!

Но мыть пол оказалось невозможно, потому что он от старости разохся и имел щели в кулак. Тогда Стеша, несмотря на протесты Киприановых, затопила печь, причем щепу для этого добыла из той самой кучи, откуда накануне не позволили взять Киприановым. Щепа была сырая, огонь никак не раздувался, Стеша втихомолку наплакалась от едкого дыма. Стала мыть посуду и разбила единственную глиняную миску.

Киприанов-старший тем временем оделся и ушел в слободскую избу получать указания на дальнейшее. Бяша рассматривал чертеж «Всенародной библиотеки», который дал ему отец. Снаружи в тусклом слюдяном оконце металась всполошенная тень, это Татьян Татьяныч, не смея войти, пытался рассмотреть, что делается в каморе.

А в каморе Стеша занялась мальчиком. Умыла его, смазала ему волосы льняным маслом, оно нашлось в печурке. Теперь, не зная, чем уж занять ребенка, она ста-

ла напевать ему песенку. А в голову ничего больше не лезло, кроме чувствительной «Таня рученьку дала, Ваню милым назвала и в светлицу повела. Навсегда будем в спокойстве, и в веселье, и в довольстве, я пленилася тобой, мне не скучно быть с тобой!»

Бяща поверх чертежа с любопытством наблюдал за Стешей. А та раскраснелась, над расписным кокошничком русые волосы вставали короной, даже тонкие щучкины губы складывались упоительным сердечком.

К полудню на Кадаши прибыл цугом сам вице-президент ратуши господин Канунников, с ним верхами несколько слуг. Выборный целовальник Маракуев поспешил навстречу, приседая от страха. Прочие слобожане на всякий случай притаились, ахая на здоровенные рыла канунниковских клеветов. Первому досталось Татьян Татьянычу, несмотря на то, что он уверял, будто находится здесь из канунниковских же фамильных интересов. Взяли шалуна в ременные нагайки! Очередь пришла за Степанидой.

— Митька, Севка, Вавила! — командовал вице-президент. — Хватайте ее за что ни попадя, только помните — она кусается.

Но Стеша остановила их, заявив кратко: «Иду!» Она укутала Авсенью, оставила ему свой теплый плат. Встала на пороге и вдруг решительно вернулась, подошла к Бяше и, взяв его за щеки, крепко поцеловала в губы. И уже выходя, заявила, не оглядываясь на хмурое лицо отца в окошке рыдвана:

— Прощайте, Василий, суженый. Все равно ненадолго.

Однако не успел рыдван Канунникова покинуть Хамовный двор, а слободские кумушки еще не кончили обсуждать столь невероятное происшествие, как другая женщина, закутанная в платок до бровей, постучалась в дверь киприановской каморы. Это была баба Марьяна.

— Ох, страдальцы мои! — запричитала она. — Я же вам ситничку принесла и мясца вот от праздника... Чтоб он, Варлам, свояк скаженный, своими разносолами мценскими подавился! Теперь никуда от вас не пойду, будь что будет! Сяду на всех вас, как кура раскрылевившись...

Затем раздалось на всю слободу:

— Ать-два, ать-два! — Некий человек конвоировал другого, наставив ему в спину воображаемое ружье. —

Ать-два, левой, свейское ты благородие! Ходить под команду в плену разучился?

Это библиотечарский солдат Федька привел пленного шведа Сатгерупа. Накануне они посетили все приказы, к которым должны были быть приписаны, но повытчики только пожимали плечами—без Киприанова никто не знал, что с его людьми делать. Дьяк же Павлов, комиссар Артиллерийского приказа, велел им идти к Киприанову и с ним дожидаться решения высших инстанций.

Когда совсем стемнело, кто-то в оконце поскребся, словно мышь. Это оказался Алеха Ростовцев, гравировальщик; он принес полштофа, праздничек отметить. Всплакнул, жалуясь на директора Федора Поликарпова, который его принялся унижать только за то, что прежде Алеха работал у Киприановых.

И снова они были все вместе. Сидели вокруг накрытого, хотя и скудного стола, лучина весело трещала, искры шипя падали в корытце. Авсенья, разбаловавшись, прыгал по полатам. А Федька хохотал, рассказывая последние новости с торжка, и вдруг осекся, хлопнув себя по лбу:

— Накажи меня угодник! Главного же я вам не поведал! Люди с Сухаревки сказывали, что в канун праздника прибыл в Москву его превосходительство господин Брюс.

Все вскочили. Вот так Федька! Такую новость — и позабыл!

В тот же час в слободской избе подьячий Титок, согнув ладонь воронкою и приставив ее к уху целовальника Маракуева, хотя были они в палате только вдвоем, шепотом сообщил ему ту же весть.

— Помилуй бог! — встрепенулся Маракуев. — Ну, пойдет теперь катавасия! Брюс-то, он горой за этих Киприановых. А нам-то чего? Мы приказ выполняли.

Он встал, потянулся, зевнул так, будто хотел проглотить паникадило в сорок свечей, свисавшее с потолка.

— Одного не пойму, — сказал он. — Эта Степанида и все другие... Ну чего их тянет к убогим тем Киприановым? Что в них такого есть? Ума невозможно приложить!

Через неделю происходил выпуск школяров в Сухаревой башне. Сия школа навигацкого и математического искусства, а в просторечии Навигацкая школа была учреждена государем в 1701 году, когда после отчаянной конфузии под Нарвой выяснилось, что без образованных офицеров российской армии и флота не быть.

Во учителях той школы были сначала английской земли уроженцы: наук математических — Андрей Данилов сын Фарфархсон, навигацких — Степан Гвын да рыцарь Грыз. Из отечественных же учителей избран был на то на государево дело Леонтий Филиппов сын Магницкий, оставшковский уроженец, который по нехватке, обыденной в русском персонале, и учебники сам составлял, и учил всем наукам универсально, то есть всеохватно.

И набрали туда охотников учиться сперва из матросских и плотничьих детей, а по принуждению паче из детей шляхетских и даже иных боярских и княжеских. И за пятнадцать лет ту школу окончили весьма многие, которые, кроме наук, умели и солдатскую экзерцицию, и матросские первоначальные действия, и корабельное правление, штурманское же дело. И с течением времени выросли из них добрые навигаторы и капитаны, даже и адмиралы, славу стяжавшие российскому флоту.

Затем по перенесении резиденции в славный Санкт-петербурх из числа учеников школы был корпус младых шляхтичей выбран лет не очень чтобы начальных, одет одноцветно и переведен на берега Невы, дабы камень положить в основание Академии морской. Но не угасла лампада живительная и школы московской, которая, понеже от географии морской отдалена, стала готовить царю слуг более по линии сухопутной.

Так говорил в своей приветственной речи Леонтий Магницкий, начальник Навигацкой школы. Стоя слушали его питомцы и знатные гости, и среди них знатнейший — не кто иной, как сам генерал-фельдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс, величественное лицо коего выражало внимание и благосклонность. В громадном зале Сухаревой башни слышно было только потрескиванье свечей и дыхание воспитанников, построенных в ряды. Да время от времени кто-нибудь глухо кашлял, простуженный в сырых сухаревских общежитиях.

Магницкий взял свиток с царским указом, но, прежде чем читать, вновь разразился пространнным комментарием:

— Государь, однако ж, истинно заметить изволил, что у нас учение еще не гораздо вкоренилось в военных и в гражданских делах, особливо же в экономических. И по манию воли государевой отныне каждый губернатор или воевода повинен смотреть всех, которые кроются в домах

или под именем малых детей по городам, и оных сыскивать, не спуская никому под страхом натуральной или политической смерти. А ваш долг, отроча младые, возвратить Отчизне сторицей то, что она вам дала, сиречь, обучившись самим, теперь обучать многих тех, кто не вкусил сего плода...

Генерал-фельдцейхмейстер прилежно рассматривал лакированные носки своих испанских ботфортов. Черт побери, как эти русские привержены к многочасовым церемониям, к многоглаголанию профессорскому! Человек двести собралось в этом зале — за прошедший час сколько бы полезного они сделали!

Наконец Магницкий развернул свиток и принялся, поправив очки, торжественно читать указ 1714 года:

— «Послать во все губернии по несколько человек из школ математических, чтоб учить дворянских детей цифири и геометрии и положить штраф такой, что не вольно будет никому жениться, пока наукам сим не выучится».

Вице-губернатор Ершов, который тоже стоял, изнывая от вынужденного безделья, приподнялся на цыпочки и шепнул Брюсу:

— Потеха! У нас в уездах тридцатилетние бородачи за буквари садятся, иначе в церквах их теперь не венчают без свидетельства школьного.

Брюс про себя усмехнулся. Этот Ершов, сам выучившийся грамоте в двадцать лет, полон веры в просвещение. Когда-то, в его возрасте, и Брюс был таким, да отрезился с тех пор от сией химеры. Когда-нибудь, где-нибудь помешало ли просвещение кому-нибудь пьянствовать, жульничать, дела кровавые творить? Наука — великое таинство, это сказал великий англичанин Исаак Невтон, но таинство доступно лишь избранным...

Окончились официальные речи, начинался молебен. Обалдевшие школяры переминались с ноги на ногу, с тоской вычисляя, как долго теперь продлятся все эти тропари да аллилуйи.

— А где же начальник ваш, господин Салтыков? — спросил Брюс, склонив голову к Ершову. — Он что же, образование народное мнит ничтожным для губернаторских своих забот?

— О нет! — сказал Ершов, хотя рад бы ответить утвердительно. — У него какое-то вдруг наиважнейшее дело в Преображенском приказе.



Молодой поп, творя возгласы и кропя святой водой, был озабочен одним — предлагать ли просфору генерал-фельдцейхмейстеру или не предлагать? С одной стороны, вроде бы не предлагать — он лютеранин, а вдруг к тому же откажется принять, вот скандал будет всенародный! С другой стороны, как и не предлагать? Вот он стоит — правая рука царя, главнокомандующий всей российской артиллерией, один из победителей при Полтаве, — полузакрыв глаза и подняв надменно узкие свои иноземные брови. У него сразу две кавалерии — российская, голубая, и иностранная, красная, он высший из всех, кто начальствует над Навигацкой школой. У бедного попа голова шла кругом, рука с кадилом не слушалась, тем более что он боялся от волнения перепутать порядок службы.

Однако все обошлось. Генерал-фельдцейхмейстер просфору принял с почтением, — должно быть, ему не впервые уж приходилось бывать в подобной ситуации. Молебен окончился. Все шумно поспешили к скамьям, а Магницкий, надрывая голос, напоминал питомцам, чтобы садились со всяким почтением и всевозможной учтивостью, без конфузии, не досаждая друг другу. Наконец разместились класс за классом, и возле каждой скамьи встал классный дядька с розгой.

Преподаватели и приглашенные рассаживались под портретом царя Петра Алексеевича за длинный академический, накрытый парчовой скатертью стол. Служители внесли аспидные доски, квадранты, компасы и прочую навигационную посуду, а также глобус малый в медных обручах.

— Начинается экзамен! — провозгласил Леонтий Магницкий и, пригладив длинные седые патлы, заложил их за уши. — Досмотрение уставное приращению ваших знаний! Напомню наставление к сему государеву: экзамен имеет быть чинен с равного для всех правдою, без всякой льготы ниже отмены во всем, что добрый навигатор должен знать.

Генерал-фельдцейхмейстер вновь смежил веки — надобно вытерпеть теперь еще пару часов скучнейшего экзамена. Государь Петр Алексеевич, тот даже из экзамена умел извлекать всеобщий интерес — сердился на тех, кто выказывал в знаниях «неты», спорил, даже, не в силах удержать гнев, дрался! Но лишь только царя нет — всякое его же наимолезнейшее начинание превращается в самую мертвую казенщину. Какой-то рок неисповедимый! С дру-

гой стороны, и его, царя, присутствие налагает некое ярмо на всех остальных. Сказал же ему когда-то Кикин, один из немногих, что не боится резать правду-матку: «Ум любит простор, а от тебя ему тесно!»

Первый экзаменующийся бубнил мертвым от страха голосом вызубренные названия парусов:

— Слушай искусной человек круеру, пусть падет фока и грота зиль и примичи бакборус галсен сюды, вытолкни фoor и groot марзиль...

«И это язык науки российской!» — с тоской подумал Брюс. Вмешиваться ни во что не хотелось.

И вдруг он почувствовал как будто сильный укол, потрясение души. Сбоку из-за парчового стола на него смотрели не мигая чьи-то вроде бы сонные и в то же время настороженные глаза. Странно знакомо это благожелательное румяное лицо, эта усмешка сфинкса. Мой бог! Да это не кто иной, как сам обер-фискал гвардии майор Ушаков, он же ведь перед сегодняшней церемонией изволил ему, Брюсу, наилюбезнейше поклониться... Генерал-фельдцейхмейстер, закаливший выдержку свою в тридцати сражениях, боях и десантах, на сей раз не стерпел — отвернулся.

Гвардии майор Ушаков! Персона эта вот уже много лет, как фатальная тень, преследует его, Брюса, да и не только его одного! Начать с того, что Ушаков представил Сенату донос некоего человека о том, что нарвский комендант будто бы утаил 25 тысяч ефимков из шведской добычи. И коменданта приговорили было к смерти. А комендант тот оказался сводным братом Якова Вилимовича, сын матери его от второго брака. Государь, по челобитью Брюса, оставил коменданта в живых, но в чинах понизил, поскольку доказать невиновность его было никак нельзя. Никто толком даже не знал, были ли вообще те ефимки браны от шведов или это плод фантазии досу-жей...

Он мастер, сей Ушаков, устраивать такие обвинения, где конца не сыщешь. Вроде бы человек виноват, а вроде бы и прав. Вот хотя бы последнее, самое тяжкое его обвинение — в городе Архангельске был взят в железа артиллерийский извощик Золотарев, который повинулся, что по приказу господина Брюса вручил ему для его, Брюсовых, личных надобностей шесть тысяч казенных денег... Обер-фискал немедленно арестовал Артиллерийского приказа главного судью, дьяков, комиссаров, секрета-

рей — и в застенок. Все это были надежные люди Брюса, обученные им самим; царь в подборе людей ему полностью доверял, «только б были добрые и знающие в своем деле». Под дыбой они, однако, надавали таких показаний, что его бы, Брюса, яко татя неподобного, следовало без жалости четвертовать немедля. Оказались тут замешаны и Меншиков, который, честно говоря, любит ручку свою погреть, и сам генерал-адмирал Апраксин, и еще многие.

Пошло то дело к государю. Петр Алексеевич вызвал Брюса, показал ему все бумаги. Долго смотрел ему в глаза, потом говорит: «Яшка, не верю!» И кинул бумаги те в камин, а дело велел закрыть. Не забыл, значит, государь, как в час триумфальный после Полтавы его, Брюса, в обе щеки целовал и кавалерию ему, сняв с себя, на грудь повесил.

Брюс встrepенулся, потому что течение экзамена вдруг нарушилось. Экзаменаторы и экзаменующиеся с любопытством повернулись к двери, от которой на цыпочках крался, чтобы не помешать священнодействию, губернский фискал Митька Косой, тот самый, который сына своего к фискальству приучает. На сей раз был он без сына, а дело, которое его привело, было, по-видимому, архиважным, иначе он не осмелился бы войти. Извинительно кланяясь, губернский фискал нашел за парчовым столом свое начальство и через плечо Ушакова стал что-то ему нашептывать, многозначительно округляя глаза.

Ушаков сначала отмахнулся, но Митька Косой продолжал настаивать, и тогда обер-фискал встал, поклонился Магницкому, прося извинения, и вышел вслед за клеветом.

Губернский фискал завел его в пустой класс, где сидел ни жив ни мертв не кто иной, как Иоанн Мануйлович, незадачливый помощник директора Печатного двора. Завидев обер-фискала при шпаге и всех регалиях, Мануйлович затряс косицей и сполз со скамьи на колени.

— Отче ридный! — забормотал он, сопротивляясь попыткам фискалов поставить его на ноги, поскольку имелся строгий указ царя коленопреклонений перед официальными лицами не допускать. — Батько милостивый! Не вели казнить, вели слово молвить!

— Говорите дело, — прервал его Ушаков. — Нам некогда.

Тогда Иоанн Мануйлович, всхлипывая и путая русские слова с украинскими, поведал, что в сей именно миг губернатору Салтыкову будет вручена мзда — сто рублей — за то, что он выпустит из тюрьмы какую-то кликушу...

«Снова раскольничьи проделки, — подумал Ушаков. — А Салтыков-то, Салтыков! Неисправим царский свояк». И приказал Митьке Косому:

— Бери этого Мануйловича, скачи с ним к Салтыкову, тройку возьми мою, она угонная, с бубенчиками, мигом домчит во дворец к Салтыкову. Затем вернешься, доложишь, как и что. Доносителя же этого, Мануйловича, ни в коем случае не выпускай.

И возвратился в зал за парчовый стол. Очень ему было интересно наблюдать за генерал-фельдцейхмейстером, который явно от него отворачивался. «Что, Яшка, не нравлюсь я тебе?» — хотелось ему бросить в это высокомерное, не по-русски красивое лицо.

Как ненавидел Ушаков, скорее, как презирал он всех этих «птенцов гнезда Петрова», этих «первозванных», как однажды изволила выразиться царица Екатерина Алексеевна. Тех, кто был призван к опальному отроку-царю в потешные еще сопливыми мальчишками, чтобы разделить его судьбу. А судьба-то оказалась милостивой, и вот бывший пирожник — ныне светлейший князь, а сын певчего — генерал-прокурор, а захудалые недоросли — министры. И каждый — глянь на него! — будто и не человек, а полубог. Взгляд, устремленный вдаль, затуманен государственной заботой, речь медлительная, каждая фраза — с особым значением...

Он-то, Ушаков, ничем не блещет, разве что подковы гнет руками, да кто ж это оценит, кроме государыни Екатерины Алексеевны? А уж как сии «птенцы» оскорблены бывают, ежели обер-фискал у них ревизию наведет! Будто уж столь они безупречны, столь бескорыстны! У честнейшего того генерал-адмирала Федьки Апраксина копнули раз в Адмиралтействе, а там под крылышком сего полубога — вор на воре!

Брюс, конечно, иной — нет в нем этакой настырности, как у Апраксина, или хамства, как у Меншикова, — все же выходец из шкоцкия земли, потомок королей, сам мог бы быть ныне принцем. И хоть родился он во Пскове, а учился над яузской тиною, но иноземец виден в нем с ног до головы: слова выговаривает без исконной россий-

ской расхлябанности и брови поднимает, словно удивлен, что вдруг оказался среди варваров-москвитов.

Государь их лелеет, своих «первозванных», много им спускает, обвинительные на них доношения сжигать изволят. Яшке этому Брюсу, например, государь прощает то, чего не прощает никому: Брюс терпеть не может водки и никогда не участвует в соборах всепьянейших. Да и то сказать — все эти «птенцы» еле грамоту знают, светлейший князь Меншиков в своей же подписи учиняет две ошибки! А Брюс — ученый, мигни ему царь, он гору книг переверочает, а любую невозможность превозмогнет. Теперь, слышать, Брюс склоняет Петра Алексеевича принять титул императорский. Рискованная затея! Вся Европа может на дыбы встать, до сих пор ведь император был один — в Вене.

Но государь, увы, не вечен, а новая государыня или наследник царевич могут по-иному взглянуть на необыкновенность сих «птенцов». И пойдут на плаху и в Сибирь надменные полубоги, а смиренный Ушаков будет свою лямку тянуть на благо трона, будет розыск чинить, хитрить, мудрить, лицедействовать, предотвращать — и будет нужен всегда. Лишь спокойствие — ибо рвение и ярость умаляют отпущенные дни!

Царство Петрово строится таким порядком, что все здесь в меру, все законом регламентируется, даже и величина флюгеров на печных трубах. Непохожесть любая, своеобразие всяческое для царства самодержавного — сущий вред. Сие есть воровство нравственное, которое в десятикрат хуже, чем любая денежная татьба. Взять того же лихоимца Салтыкова. И тут обер-фискалу вдруг подумалось: а что, если та кликуша, которую Салтыков продает сейчас за сто рублей, и есть ступинская Устинья? Обер-фискал велел содержать ее за семью замками, к розыску еще не приступал, но уже ясно: от сей ложной кликуши нити тянутся и к булавинцам, и к чающим воцарения Алексея Петровича. Кстати, как это раньше в голову не пришло: а почему Салтыкова нет на сем важном акте, на коем присутствует, по указу царя, вся сановная Москва?

Ушаков перегнулся через стул к вице-губернатору Ершову: «Зело дивуюсь я, что нету...» И получил от него тот же ответ, что и генерал-фельдцейхмейстер: «У его превосходительства какая-то внезапность в приказе Преображенском...» У обер-фискала все внутри пронзило ледяной

стрелой. Он встал, как распрямившаяся пружина, вышел, на сей раз не спросившись у Магницкого. Внизу, под наружной лестницей Сухаревой башни, вдали от рыночной толчеи стояли экипажи гостей и экзаменаторов. Лошади, пофыркивая, мирно жевали в торбах овес. Кучера, усевшись в кружок, дулись в карты.

Но тройку-то свою угонную он отдал Митьке Косому! Ушаков стиснул зубы и простонал: «Ай детина! Вот детина!» Нашел на площадке брошенную кем-то ржавую кочегру, повозившись немного, связал в узел, успокоился. А время шло!

Кликнул адъютанта, велел взять любую школьную клячу, скакать в кремлевскую кордегардию, привести взвод драгун и свежих оседланных лошадей. Поручик кинулся исполнять, нашел лошадь, ускакал. Время тянулось томительно. Ушаков никогда себя не ругал за промахи, и теперь он, топчась на продуваемой ветрами верхней площадке лестницы, материл этого дурацкого поповича из Печатного двора — нашелся тоже доносчик бестолковый! Ну, погоди!

Вдруг из-за угла Сретенки вырвалась его угонная тройка с бубенчиком; возница, круто натянув вожжи, остановил. Прохожие, завидев гербы на дверцах, поспешно разбегались. Выскочил губернский фискал Митька Косой, навстречу ему уже неся через две ступеньки грузный Ушаков.

— Быстрее! — Митька Косой еле попевал за ним, докладывая на ходу: — Салтыкова нету, выехал, сказывают, в Преображенское с утра.

Кинувшись в карету, Ушаков крикнул Митьке, который вспрыгнул на облучок: «Гони!» — а сам отыскал в полутьме икающего от переживаний Иоанна Мануйловича и, схватив его за косичку, стал тыкать лицом в кожаное сиденье.

Но у Сретенских ворот они увидели адъютанта, скакавшего навстречу со взводом драгун. Ушаков принял другое решение.

— Теперь Салтыков, ни дна ему ни покрышки, уже едет назад, надо ловить его на дороге. Будем двигаться к Преображенскому с трех сторон. Ты, Митька, бери десяток драгун, скачи на Черкизово. Ты, адъютант, дуй на Семеновское, а я буду заезжать со Стромьнки. Проверьте кремни в пистолях!

Тем временем в Сухаревой башне экзамен шел своим

чередом. Перед началом опроса по риторике вышел учитель латыни, одетый в шелковую рясу. Огладил бородку и объявил, что прочтет свои перетолмачения, то есть переводы, из римского поэта Галлюса Ювенция. При этом латинист покосился на генерал-фельдцейхмейстера, и не зря, потому что Брюс нахмурился, вспоминая: что это за римский поэт? Небось опять свои доморощенные кропаня скрывают под звучным псевдонимом...

Учитель латыни принял приличествующую позу, и полились звучные латинские стихи. Слушатели, ничего не поняв, наградили его аплодисментами. Тогда латинист откашлялся и прочел свой переклад на российскую речь:

Пусть ложная других свобода угнетает,  
Нас рабство под твоей державой возвышает!

Все оживились, закивали париками, захлопали, обернувшись к портрету Петра Алексеевича, где царь — молодой, кудрявый — стоял на фоне баталии, уперев полководческий жезл в стальную кирасу.

Обернувшись вместе со всеми, Брюс увидел, что кресло обер-фискала пусто. «Удалился, спаситель отечества! — усмехнулся он про себя. — Помчался куда-то с поспешением великим. Небось по очередному фискальству. Царь Петр Алексеевич, раздражаясь гневом противу врагов внутренних, именует их бородачами, закостеневшими в старине, непотребными людьми, которые грубые и замерзлые обькности имеют. Но это-то Ушаков, который, несмотря на красную рожу, и политесу обучен, и духи французские льет, он-то со своим рвением показным не есть ли главный внутренний враг?»

Вот не успел он, Брюс, прибыть в Москву, как дьяк Павлов, его артиллерийский комиссар, доложил о турбации и разорении великом, кое имели Киприановы. Зачем это? Неужто ему, обер-фискалу, который таковой уж, кажется, законник и бумагокопатель, неужто ему не известен царский указ 1705 года, где оную гражданскую типографию и мастера ее, помянутого библиотекаря Киприанова, со всеми работными людьми его ведать надлежит в приказе Артиллерийском, а следовательно, ни о каком возврате в слободу и речи быть не может?

Нет, конечно, все знал, все ведал лицедей Ушаков, только учинил сие из тайной зависти к «птенцам гнезда Петрова», и особенно к нему, Брюсу.

Экзамен заканчивался, присутствующие переводили

дух. Магницкий вновь взобрался на дубовую кафедру, копясь в изрядной кипе листков.

— Наука у нас,— воскликнул он, подняв палец,— в процветающее состояние приведена, российская же шляхетная юность ей с пользой великою днесь обучается!

Взять того же хоть Магницкого, продолжал размышлять Брюс. Суший бессребренник, добросовестен, в нем же лести нет. И царь его любит, подарки жалует, профессором сделал, для большей чести велел даже именовать Магнитским, от слова «магнит». И вот сего почтенного старика тщанием все того же обер-фискала из-за пустой приказной ябеды в Петербург гоняли за караулом, от чего Магницкому великие были страх и убытки. Жестокости Брюсу самому не занимать, в нужный час он, бывало, сам артиллерию через ижорские болота тащил людьми, от чего весьма многие померли, но то была война!

Брюс усмехнулся. Однажды в военном лагере в походе на Литву, когда сей Ушаков был еще желторотым посыльным при Екатерине Алексеевне и до фискальства было ему так же далеко, как улитке до облака, он, Ушаков, зайдя с казенным пакетом в шатер Брюса, увидел только что сделанную часовщиками модель Коперниковой системы. Стал он осведомляться деликатно, что за столь хитрая механика? Брюс все ему кратко объяснил, и сей Ушаков начал креститься — дескать, как возможно, чтобы Земля вращалась вокруг Солнца, ибо дураку видно, что Солнце всходит и заходит. Брюс обыкновенно каждому москвиту все это терпеливо доказывал, но на сей раз он был не в настроении, да и перед ним стоял всего-навсего ненадобный унтер, царицын прихлебатель, и Брюс просто объявил, что его величество сию систему Коперникову истинной почитает. На что Ушаков ответствовал (и весь он тут, в ответе том): ах, раз государь ее истинной почитает, значит, так оно и есть.

Однако как же быть с Киприановыми? Брюсу смерть не хотелось объясняться с Ушаковым, хотя тот внешне любезностей преисполнен. Генерал-фельдцейхмейстер придвинул к себе лист бумаги, достал серебряный голландский карандаш на цепочке и стал набрасывать: «Государь мой милостивый Андрей Иванович...» Рука дрогнула, хотелось это обращение вычеркнуть, но Брюс удержался и даже добавил вежливое: «Здравствуй на множество лет». Затем стал писать уже сухо, по-деловому, что библиотекарь-де Василий Киприанов выдан от вашей ми-





лости в слободу и впредь ему книг и никаких картин производить будет невозможно... Просил — так же сухо и поделшавому — навести надлежащие справки и, нимало не мешкая, вернуть одного Киприанова в артиллерийский чин.

Тут большие часы на Сухаревой башне закрипели, будто неподмазанная телега, и отбили полдень — адмиральский час. Школяры весело закричали: «Поют музыци, разные языци!» — и, теснясь, стали выбегать в распахнутые двери.

Пробило полдень и на кремлевской Спасской башне, к которой как раз приближалась карета Салтыкова, запряженная цугом вороных. Губернаторские фореиторы хлестали народ, крича: «Пади, пади!» Возле Ветошного ряда губернатор велел остановиться и приподнял занавеску, кого-то выглядывая в толпе. Никто, однако, не привлек его внимания, и Салтыков оборотился внутрь кареты, дотронувшись до медвежьей дохи на противоположном сиденье:

— Красавица моя! Ровно полдень, и мы стоим у Ветошного ряда... Все как условились!

В медвежью ту доху была закутана Устя, которую летом преобразенцы взяли босую, в одном сарафанчике. Когда утром в преобразенскую караулку привели ее из каземата, Салтыков не мог сдержать восхищение. Несмотря на прах темницы, была она точно Аврора, богиня зари, как ее волшебник француз написал на потолке салтыковского дворца!

Однако игривое настроение губернатора вскоре улетучилось.

«Фи дон! Она дерется! Уж и приласкаться нельзя!»

Но все же был он известный галант и приказал принести ей валеночки и медвежью доху. Пока они мчались, — а шестерка салтыковских славилась проворством, — покоренный губернатор, все более воодушевляясь, убеждал Устю не возвращаться к тем ворах, а лучше скрыться у него, Салтыкова. Договорился даже до того, что сообщил: вдовец, мол, он, детей не имеет, и, ежели какая особа пришлась бы ему по сердцу, отчего бы и не под венец?

Медвежья доха молчала.

Салтыков с жаром поведал, какие француженки ему попадались, но хоть одна из тех француженок подобна ль этакой Авроре?

— Ежели ты, скажем, страшишься родни моей иль титула моего, так вот тебе — выбирай любую из моих подмосковных, будешь там барской барыней хозяйствовать до предела дней. Ну что тебе твоя воля? Без крова, без пристанища, — а чем все эти гулящие кончают?

Доха по-прежнему молчала, и обескураженный губернатор не мог взять в толк — как можно отказываться от таких лестных предложений?

Но вот и Ветошный ряд, карета стоит, и часы бьют двенадцать. Губернатор усмехнулся, хотел было пустить в ход последний аргумент: «Вот прикажу сейчас форейторам погонять что есть силы, куда ты денешься от меня?»

Но он не пустил его в ход и правильно сделал, потому что, еще раз выглянув под занавеску, он увидел, что какие-то дюжие молодцы держат его лошадей под уздцы и у каждого молодца полы кафтана оттопырены, словно от сабель или пистолей. А в Ветошном шумном ряду в толпе покупающих и продающих слышится задорный крик петушка.

Губернатор ахнуть не успел, как Устя выскочила из дохи, словно цыпленок из скорлупы. Простоволосая — что ей люди, что ей мороз! — распахнула дверцу, выпрыгнула на снег. Возле дощатого шалаша, из которого торговали лубяной дрянью, манил ее рукой здоровенный малый в валяном колпаке. Он виден был отовсюду, потому что был выше и плечистее всех, а лицо его поперек носа было обвязано белым платком.

Устя не прибежала — прилетела к нему, закинула локти, обняла, копна волос рассыпалась по плечам; зажмурилась, целуя.

— Э-эх! — с чувством крякнул губернатор и тростью достал своего возницу: — Гони, скотина, домой!

Там, в кабинете, его и застал обер-фискал Ушаков. Губернатор, сняв кафтан, расправлял перед зеркалом крахмальные манжеты. На яростный вопрос Ушакова (не мог сдержаться на сей раз обер-фискал) Салтыков спокойно отвечал, не отрывая глаз от рукава:

- А, она у меня из кареты в окошко выскочила.
- Так и выскочила?
- Так и выскочила.
- И убежала, конечно?
- И убежала.

Обер-фискал по-кошачьи подходил к губернатору, кулаки у него сжимались.

— Да какое же вы, господин губернатор, имели право?..

— Очень простое право. Я допросную сказку на нее потребовал. Там записано, что взята она в приказ как кликуша. Есть именное повеление государя— губернатору кликуш тех имать, допрашивать по тяжести вины каждой, вразумив же, отпустить.

Ушаков готов был зубами скрипеть. Наглость этого «птенца» (Салтыков ведь тоже был из потешных!) превосходила все.

— А что это за деньги рассыпаны у вас на столе?

— Как—что за деньги? Вот иоакимсталеры, сиречь ефимки, вот голландские золотые гульдены, а это рубли... Всего ровно сто рублей. Сумма немалая, можно флигелек купить либо деревеньку. Вы нуждаетесь в деньгах, милостивый государь?

Ушаков стоял оглушенный, словно выстрелом, а Салтыков, окончив заниматься манжетами, одернул камзол и приказал лакею подавать домашний кафтан. Затем засмеялся и сказал Ушакову примирительно:

— Ну что вы все—девка, девка... Да хотите, я вам из моей подмосковной двух девок пришлю? А какие плясуньи, какие вышивальщицы!

Обер-фискал повернулся и стал уходить, не прощаясь.

— Куда же вы?—всполошился Салтыков.—Останьтесь ужинать! У меня нынче ботвинья с угрями!

Выйдя в прихожую, обер-фискал остановил свой взор на артиллерии констапеле Щенятьеве, который сидел на месте дежурного. Ушаков знал, что именно Щенятьев навел воров на мздоимца губернатора.

Щенятьев был по уши погружен в труднейшее и необходимое для него дело—сочинял послание к Степаниде Канунниковой. Для этого у него была книжка, которую он когда-то купил—не у Киприановых, конечно, чтоб им кисло икалось, а в книжной лавке Печатного двора. Книжка называлась «Приклады, како пишутся комплименты разные на местном языке...» Щенятьев долго и задумчиво листал ее, выбирая подходящее. Вот, кажется: «Объявительное писание о супружестве». Приподняв парик, Прошка почесал себя в затылке и решил: нет, это рано. Далее следует «Утешительное писание от приятеля к приятелю, который злую жену имеет»,—это смешно, но уж совсем не

из того толочка. Наконец — «Просительное писание некоторого человека к женскому полу». Вот это подойдет.

Прошка выбрал хорошо очиненное перо, пальцами снял с него воображаемую былинку и даже для верности подул. Обмакнул в чернильницу и начал, любуясь получающимися завитушками: «Моя госпожа. Я пред долгим временем честь искал с вами в компанию прийти...»

Написал и остановился. В книжном тексте, кроме общих вежливостей, ни словечка не было о том, что просилось из его, щенятьевской, души: «Любезная моя, душенька, оставь ты этого Киприашку, дался он тебе!..»

Еще раз он потревожил свою потылицу, но слова такие, чтобы были кумплиментально изложены, не приходили на ум... В книжке же маячило перед глазами одно: «Кто терпением вооружается, тот имеет совершенную победу, понеже оно побеждает непостижимое женское жестокое и злое».

И тут он обернулся на шаги входящих. Посреди прихожей стоял, уставясь на Щенятьева, обер-фискал Ушаков, а с ним другие фискальские чины.

— Встать! — приказал Ушаков, продолжая сверлить его взглядом.

Вот он стоит навтыжку, это Прошка Щенятьев, под стол упала книжка и какие-то листки бумаги, которые он держал на коленях. Гетры у него модные, о сорока медных пуговицах, платочек надушенный торчит из кармашка камзола, щечки розовые, а усики — по всему Зарядью моднее таких усиков нет! Но парик его разлохматился, сбился. Хлопает Щенятьев белобрысыми ресницами, от чего лик его имеет самое деревенское выражение. Коров бы ему, Прошке, пасти, а не в губернаторских адъютантах ходить!

Сейчас тронь его, побегут с челобитными всякие тетушки и крестнички, а у него они — Массальские, Хованские, Голицыны! Да и арестовать; по существу, он, обер-фискал, права не имеет, его дело донести инстанциям вышшим.

— Вольно! — скомандовал Ушаков и проследовал вон из полутемных и затхлых салтыковских покоев, в которых уже дюжина поколений этой фамилии произросла.

На улицу, на улицу, на мороз, на свежий ветер!

В тот же вечер рота фузилеров Московского полка, оцепив Самотеку, крадучись, подступила к воротам Тельного двора.

— А ну, Мазепа! — сказал губернский фискал Митька Косой, подталкивая Иоанна Мануйловича. — Стучи в ворота и говори — «свои»!

Однако ни на стук Мануйловича, ни на его сладкий голос, уверявший, что он-де, Мануйлович, совершенно один и что надобно открыть калитку, никто не отозвался. Митька Косой махнул рукавицей и два здоровенных солдата стали высаживать калитку заранее приготовленным бревном. Тогда во дворе, в амбаре, раздался взрыв, тусклое пламя осветило бревенчатые стены, к низким осенним облакам взметнулись щепки, тряпье, ключья соломы. Солдаты загордились рукавицами в ожидании новых взрывов, но их не было, только пламя разгоралось с треском и уже начали лететь горящие шапки.

— Этого еще не хватало, — проворчал Ушаков, который наблюдал осаду из своей кареты, стоявшей у дозорной бани на Драчевке, — чтобы пал, самосожжение раскольников учинилось на самой Москве!

Он дал команду, и солдаты, дружно крикнув: «Ать-два, взяли!» — завалили не только калитку, но и весь забор. Рота устремилась во двор с примкнутыми штыками. Впереди бежал губернский фискал Митька Косой, толкая перед собой окончательно обомлевшего поповича с косицей.

Но в разметанном взрывом амбаре не было никого. Валялись разодранные лубочные картины. Разрушенная штанба напоминала старый колодец.

Обыскав Тележный двор и окрестности Самотеки, солдаты построились и ушли с песней. Местные слобожане передавали цепочкой ведра, гасили пожар. Казенная карета обер-фискала уже тронулась и въезжала в Петровские ворота, когда ярыжки подвели к ней задержанного парня в обширном, не по росту, кафтане табачного цвета и немецких с пряжками башмаках.

— Кто таков?

— Максим Тузов, ваше превосходительство, прохожий человек. А эти ироды схватили... Пусти, пусти руку-то, что выворачиваешь?

— В железа его до выяснения личности.

Возвратившись на подворье, где он квартировал, Андрей Иванович Ушаков вздохнул, повертел пальцами, потом решил писать письмо. Камердинер зажег ему шандал о пяти свечах, принес бумаги, выбрав по требованию хозяина итальянской, плотной, в рубчик, поставил черниль-

ницу, услужливо открыв крышечку, придвинул баночку с песком.

Конечно, обер-фискал мог бы вызвать секретаря, хоть бы даже и в полночь, так как писать не любил, но все же предпочел обойтись сам.

Начал: «Государю моему, его царскому величеству Петру Алексеевичу, да хранит бог его пресветлость, недостойный раб Андрюшка Ушаков челом бьет... В трудах непрестанных и заботах от твоей, великого государя, пользе по вся дни пребываю...»

— Да,— вздохнул Ушаков, положил перо и размял утомившуюся руку.— Все валят на фискалов, все их чествуют почем свет, а ведь от государя каждый божий день идут повеления — людей, денег, людей, денег! И все обер-фискал — найди, подай, в ранжир приведи! А в деревнях иных и мужиков-то нет, начисто забрали в рекруты, бабы сеют, бабы пашут. Помещики и те от солдатчины да от матросчины в бега норовят!

«Понеже аз, многогрешный, почитаю год, как в отвлочке от семьи,— продолжал выводить Ушаков,— пожалуй мне к дому моему в славный Санктпитебург от Москвы отъехать...»

Камердинер подал ужин — рыбец заливной, пирог, подогретое вино.

— Что болтают на торжке? — спросил Ушаков.

— Царевич Алексей Петрович за рубеж ушел, бают — немецкого цесаря с нашим царем на войну подбивает...

Ушаков как раз поднял песочницу, чтобы обсыпать готовое письмо, а тут задержался, поставил ее на место. Долго молчал, покачивая головой и уставясь во тьму. Затем встал и решительно порвал написанное письмо.

## Глава восьмая

### ЕЩЕ РАЗ СОВЕТ И ЕЩЕ РАЗ ЛЮБОВЬ

Снова святки, снова морозец и снова шумство на крестцах, людская волна то прихлынет, то откатится. У Тверской-Ямской заставы, где проверяют паспорта прибывающих из Санктпитебурха, скоморохи перед воротами скачут, колпаками машут. Гудит дуда, бряцают бубны, один скоморох ходит впрысядку, держа шапку

в зубах, а хохочущие зрители мечут ему туда грошики. Двое лицедействуют, православных потешают:

— Вот добрые молодцы, кулачные бойцы, шут Парамошка и брат его Ермошка! (Хлоп бычьим пузырем по башке!) Раздери ты хоть мне рожу, да не тронь мою одежду!

Поднялся шлагбаум, в ворота въехал возок без гербов, зато с позолоченными полозьями. Видимо, долго препирались из-за таможенных сборов; возница зло понукал лошадей, надорвался от крика, требуя дороги, толпа нехотя расступалась.

А шут Парамошка кричал брату Ермошке:

— Ухлебался ты молока пресного! (Хвать пузырем по потылице!) У тебя и портки лопнули!

Из возка высунулось гневное лицо седока:

— А ну, Гаврюха, дай им кнутом, да похлеще!

Люди наконец раздались, уступая дорогу, но, лишь только возок набрал скорость, вслед ему полетел свежий, дымящийся на морозе лошадиный навоз.

— Мерзавцы вшивые! — негодовал седок, рассматривая нашлепку на заднем стекле. — Царевич, бедный, еще говаривал, что любит чернь сию... Нет! Кнут, и только кнут!

Куда прикажете? — обернулся возница.

— На Воздвиженку, к Авраму Лопухину, куда же еще...

Но возок вновь замедлил ход и, тихо поскрипывая полозьями, совсем остановился.

— Что еще там? — нервно осведомился седок.

Возница указал ему кнутом на перекресток.

Это калики перехожие — идут, бредут, подпираясь посохами; они не нищие, лохмотьев показных у них нет, все аккуратное — и лапотки, и армяки, и холстинные мешочки для подаяний. Некоторые из них слепцы; они поднимают вечно улыбающиеся лица и поворачивают их в ту сторону, откуда слышен колокольный звон, крестятся. Ведут их столь же благолепные мальчишки-поводыри.

Неторопливой чередой калики перешли Тверскую улицу, расположились на ступенях паперти. Прохожие кидали им мелочь, и, заслышав звон падающей монеты, калики начали привычно голосить:

— Спаси вас бог за ваше подаяние, народи вам боже в поле ржи восходом, в гумне умолотом... Попаси вам



Фрол-Лавер лошадок, а Власий — коровок, а Настасей — овечек...

Седок откинулся на кожаную спинку сиденья, руки так и чесались кого-нибудь вздуть. Он только что из-за границы — там порядок, там уж чернь не осмелится преградить путь знатному экипажу. Нет, пожалуй, и правда такому разнузданному племени нужен только царь-антихрист!

И вдруг, вновь поглядев в окошко, седок отворил дверцу кареты, всматриваясь в лица бредущих слепцов.

— Иоанн Мануйлович, неужели это вы? Помощник директора Печатного двора, латинист, стихотворец — и калики перехожие? Что я зрю?

— Господня воля... — отвечал Иоанн Мануйлович, который успел отпустить бородку и, когда закатывал глаза, весьма был похож на слепого. — Господня воля, всемиростивейший государь господин Кикин... Велено свыше мне возвращаться на родину, в Нежин, так я сподобился со слепцами: и трат никаких, и пение мое им сподручно.

Кикин из возка любопытствовал:

— Так за что же, за что же это вас?

Иоанн Мануйлович пытался промолчать, указывал посохом в сторону слепцов, — мол, отставать неудобно, — но Кикин продолжал настаивать на своем.

Тогда с Мануйловича слетела обычная маска сладкого благолепия, он зло сверкнул черными зрачками:

— А вам знакома, ваше благородие, игра в кости, в угадки? Там чем больше угадаешь, тем больше получишь, да не всякому везет... — И заковылял, заторопился к своим каликам, опираясь на высокий посох, божий угадчик...

«Один раз ты ставил на гетмана Мазепу, это всем известно, — подумал Кикин, — на ком же ты прогадал сейчас?» И крикнул своему вознице:

— Улица свободная, чего спишь?

Лопухинский дом — будто мрачная скала среди всеобщей иллюминации и веселья, ни плошки в окне, ни свечи. Возница долго стучал в ворота, наконец сам хозяин вышел с огнем, унял собак, отвалил перекладину.

— Пречистая заступница! Господин Кикин, Александр Васильевич, благодетель! И не дал знать предварительно!

— Поцелуемся, Аврам Федорович, может, видимся в последний раз. Времена грядут ой-ой-ой!

Прибывшего гостя спешно провели наверх, слуги зажигали свечи в столовой палате.

— А я уж боялся, что и у тебя, Аврам, встречу святочные рыла да пьяное шумство. Вся Москва ваша нынче как с цепи сорвалась...

— Скажи, Александр Васильевич, правда ли бают, что царевич...

— Правда, правда, кум, свечки ставь угодникам...

Вошел, крестясь на образа, цыганоподобный Яков Игнатьев, протопоп верхоспасский, за ним другие, спешно вызванные Лопухиным. Притихшие, настороженные, здоровались с Кикиным, ожидая новостей.

Кикин рассказал. Будучи по повелению царя с делами разными в Европе, он осторожно навел справки. Опально-го царевича, которого суровый отец настойчиво отстранял от престола, охотно бы приютили при многих европейских дворах, лишь бы досадить этим москвитам, которые за каких-нибудь пятнадцать лет вдруг возникли из ничего — и встали грозной державой на Востоке. Теперь и флот имеют, который способен с английским или голландским потягаться, и, выслав двухсоттысячную армию, распоряжаются как хотят в самом сердце Европы. На обратном пути, в Риге, Кикин повстречался с царевичем, который якобы ехал к войску, по вызову отца...

— Ты ему поведал о намерениях претендентов европейских? — нетерпеливо перебил Лопухин.

— Зачем? — усмехнулся Кикин. — У царевича свой ум, своя голова, которая сотворена шапку мономахову носить.

— А даст ли ему цесарь войско? — интересовался протопоп.

— Даст или не даст, это другой разговор, — сказал Кикин, положив обе руки на стол. — Сядьте-ка поближе, други, вот что хочу вам объявить...

Все придвинулись к самому его стулу, колеблющийся свет шандала осветил их тревожные лица.

— Слаб царевич для такого дела, слабенец. Плакал, не знал, на что решиться... Почти силком выпихнул я его за кордон, наказав не возвращаться, что бы ему ни сулили.

— А ежели он вернется?

Кикин отпил из чаши, взгляделся в лица единомышленников, тяжело вздохнул. Протопоп, обернув лицо к обра-

зам, размахисто крестился и шевелил губами — читал молитву.

— Правду жестокую не стану таить от вас — он, конечно, вернется.

Наступило молчание, слышался только горячий шепот протопопа.

— Так это что же? — закричал Аврам. — Так это для нас — казнь?

— Затем я и приехал к вам сюда, — ответил Кикин.

— Стало быть, ты нас в эту затею всех вовлек, а теперь приехал сказать — спасайтесь кто куда? Ну, Кикин, мне сказывали, что ты без стыда и без сорому, я не хотел верить. Может, ты завтра, очистив совесть свою перед нами, и к обер-фискалу пойдешь?

— Ну уж, господин Лопухин, — язвительно ответил Кикин, — кто-кто, а это ты, властвовать мечтая со своей сестрицею-черницей, всех под свое крылышко подбирал...

— Врешь, врешь! — задыхаясь, говорил Лопухин, промокая свою лысину кружевным платочком. — Я и на дыбе скажу — врешь!

Протопоп перегнулся через стол к Кикину, черный, страшный, похожий на огромного коршуна:

— А кто, как не ты, царевича супротив отца подбивал непрестанно?

— А кто, как не ты, — передразнил его Кикин, — кто как не ты, духовный его отец, говаривал царевичу про отца его во плоти — мы-де все ему смерти желаем?

Протопоп рванулся и вцепился Кикину в его адмиралтейский, расшитый галунами кафтан. Тощий Кикин, однако, увернулся и, схватив шандал, принялся утюжить протопопа по косматой макушке.

Первым опомнился Аврам Лопухин, стал хватать за руки дерущихся, рассаживать в разные концы.

— «Час скорбей моих настал, — запел протопоп. — И возопиих аз в горести велией...»

— Надо бы уговориться, как вести себя при розыске, — сказал Кикин и вдруг не смог удержаться — заплакал, захлопал, как младенец, высморкался и заплакал снова.

Аврам Лопухин молчал, уставясь взглядом в штоф зеленого стекла, а протопоп все пел свой псалом, взмахивая руками, — крестился. Прочие тоже плакали и молились.

Вдруг грохот снаружи заставил их вздрогнуть. Сквозь

щели ставней, которыми были закрыты окна, стали видны разноцветные — зеленые, рубиновые, лиловые — огни. Огни рассыпались и поплыли, начиналась грандиозная огненная потеха — святочный фейерверк.

Спустя неделю генерал-фальдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс в Сухаревой башне принял отца и сына Киприановых, которые желали поблагодарить за заступничество и за возвращение их в свою любезную полатку.

На сей раз, уступая настойчивому желанию бабы Марьяны, они нарочито для визитации сей купили кафтаны на новый парижский покрой — полы с цветной подкладкой завернуты назад. У старшего Киприанова кафтанец был скромного сливового цвета, а у Бяши очень яркий — бирюзовый, что весьма шло к его бледности и темным волосам.

Брюс перевозил свое московское имущество в Петербург, где на Литейном проспекте он выстроил царю арсенал, а себе — небольшой дворец. Прочее он хотел вывезти в подмосковную усадьбу, с московскими же хоромами на Мясницкой улице, которыми был он пожалован некогда после одного попавшего в опалу боярского рода, Брюс хотел покончить насовсем.

По сему поводу в верхних покоях Сухаревой башни царило оживление. Люди Брюса в кафтанах его свиты — красного цвета с зелеными отворотами — копошились в кладовых и каморах, вытаскивая, переписывая и распределяя пропылившееся имущество.

Государя Якова Вилимовича шуба рысья под бархатом, — диктовал камердинеру почтенный домоправитель, — да муф соболий, нашивки серебряные, да волосы новые накладные, да трость с черепаховой оправой... Записал? В корзину все клади.

Из каптенармусовой же палаты выносили и раскладывали в коридоре мерки пороховые, домкраты, молотки конопатные, лукошки барабанные, бердыши. Затем пошли значки дивизионные кумачовые, бунчуки и, наконец, старинное, еще от Азова, артиллерийское знамя с перекрещенными пушками. Когда его развернули, оказалось, что оно молью трачено. Господин Брюс весьма изволил сердиться.

Так, не в настроении, он встретил и Киприановых, которые шли к нему, осторожно перешагивая через разложенное на полу артиллерийское добро. Руки не подал, но

кивнул благосклонно, оглянулся, где бы их принять, и, указав на винтовую лестницу в центральной башенке, пригласил их наверх.

Это была святая святых генерал-фельдцейхмейстера. Здесь в пору далекой юности он полагал собирать ученый круг людей во главе с царем, конечно. Наблюдали бы светила, составляли бы гороскопы, читали рефераты. И название было уже придумано — «Нептуново общество», и утварь приличествующая собиралась — трубки зрительные, банки с заспиртованными уродцами, глобусы земные и небесные, ландкарты и книги. Тогда, однако, Франц Яковлевич Лефорт, великий кутилка, наскучил сидением при разговорах высокоумных и сбил молоденького еще царя к развеселым кабакам Немецкой слободы да к всепьянейшему собору...

А посуда та для мудрствования осталась. Остался и скелет, который Брюс собственноручно приготовил из утонувшего в бочке водки царского шута Мадамкина и про который суеверные сухаревцы сочиняли, будто Брюс с ним как с живым разговаривает, вопрошает. Взять все сие в Санктпетербурх? Государь задумал там устроить кунсткамеру по примеру берлинского двора, но здания еще нет, вечные наводнения, драгоценное подчас имущество от сырости гибнет... Пусть пока остается.

Близится конец службы его, Брюсовой. Сразу из Москвы он едет на Аландские острова, где соберется мирный конгресс. Брюс принесет государю долгожданный и совершенно викториальный мир, затем наконец удалится на покой, в уединение. Никакая сила его тогда не притягивает более к этим рабам Бахуса, к этим мздолюбцам, придворным самоедам, тупицам в сенаторских мантиях.

— Взгляни, Киприанов, — Брюс раскатал большую карту. — На Спасском мосту лубочники уже тебе и в этом конкуренцию составляют, мой адъютант вчера купил мимоходом. Хе-хе! Космография — настоящая карта Вселенной! Гляди, какие тут надписи помрачительные — Крулевство польское пространно и многолюдно, люди величавы и обманчивы и всяким слабостям покорны, кралей своих мало слушают... А вот еще лучше — мазическое царство, девичье. Людие, власы у них видом львовы, велицы и страшны зело в удивление. А здесь, глянь, надпись в левом нижнем углу, где должна быть Африка, — змеи,

лица у них девические, до пупа человек, а от пупа крылаты и зовомы — василиск!

Брюс швырнул лубочную карту на стол и прошелся по кабинету, поднимая руки.

— И это 1716 год! И это век рационализма — как сказал философ, — я мыслю, следовательно, я существую... Да нет, еще двести, триста лет минет — этот народ мыслить не научится.

— Позвольте, ваше превосходительство, — осторожно заметил Киприанов, поклонившись. — Повелением его величества цифирные и словесные школы открываются, и детей учится всяческого сословия довольно, и успехи их умножаются. Но беда в том, что шляхетство в школы идет паче по принуждению, простой же народ либо в невежестве полном пребывает, либо учится у дьячков, кои сами Псалтырь еле разбирают. Вот ежели бы государь издал указ об обучении всенародном...

— Но! — рассмеялся Брюс и поднял на Киприанова свою надменную бровь. — Обучение всенародное! Чего придумал! Разве тебе, братец, не довольно еще попечения, кое имел над тобою господин обер-фискал? Я же тебя предупреждал, Киприанов, чтобы ты собою сам ничего не вымышлял, дабы тебе в том слова не нажить!

Выслушав это, Киприанов засомневался, показывать ли уж генерал-фельдцейхмейстеру проект «Библиотеки всенародной», который они с сыном перечертили на лучшей бумаге и даже акварелью подкрасили. Все же развернул. Бяша держал лист за другой угол, а отец объяснял, водя указкой: здесь вот будет лекториум для общедоступного чтения, здесь — типография, а вот тут — книжная лавка...

— Не пойму я тебя, Киприанов, — сказал вдруг Брюс. — Человек ты вроде науке привержен, косности всякой чураешься. Но зачем ты, скажем, в своем Календаре Неисходимом, который теперь напрасно моему имени приписывают, гороскопы всяческие приводишь, предвещения? Неужели ты и вправду мнишь, что от того, как сойдутся на небосводе Марс и Меркурий, у какого-нибудь жалкого человечешки случится насморк или проигрыш в карты?

Забыв о чертеже «Библиотеки всенародной», Брюс подошел к одному из полукруглых окон башенки и отодвинул его ставень. Открылось ночное морозное звездное небо над засыпающей в низине и покрытой снегом Сухаре-

вой слободой. Невзирая на ворвавшийся холод, генерал-фельдцейхмейстер сбросил с себя красный свой иноземного сукна кафтан. Видимо, он ожидал, что младший Киприанов подхватит, а Бяша, по обычаю своему, растерялся, и великолепный тот кавалерский кафтан упал на пол. Брюс, не обращая внимания, подвинул к окошку самую большую из зрительных труб, объектив которой, подобно астролябии, был вделан в деревянный шар. Генерал-фельдцейхмейстер подсучил кружевные рукава до локтей и принялся настраивать трубу — вымерил уровень отвесом, подкрутил установочные кольца, наконец приник к окуляру, продолжая принаравливать его верчением рукоятки.

Киприанов с чертежом своим в руке и Бяша, поднявший кафтан Брюса, молча наблюдали за манипуляциями генерал-фельдцейхмейстера.

Наконец тот нашел, что искал, некоторое время смотрел сам, видимо наслаждаясь, потом оторвался и пригласил к окуляру Киприановых.

— Планета Сатурн, коя имеет кольца! — воскликнул он, словно провозглашал появление какого-нибудь именитого гостя. — Смотри, смотри, Киприанов, и скажи — воистину ведь красота? Понимаешь ли, что сие значит для объяснения тайны происхождения миров?

И когда Киприановы насмотрелись, не зная уж, хвалить ли всемогущего творца при этом безбожнике Брюсе, генерал-фельдцейхмейстер собственноручно вернул все на место — и трубу и ставень, — позволил Бяше помочь ему надеть кафтан.

— А теперь реки, Киприанов, зачем же кольца сверхчудные сии показывать деревенскому мужику, коему не ведаешь, потребна ли и азбука?

Киприановы вежливо молчали, и Брюс подумал, что не следовало бы ему говорить так при них, ведь они сами из мужиков. Он решил перевести разговор на другую тему и заметил как раз, что Бяша не отрывает глаз от висящей на стене картины.

Гравюра эта представляла собой дородного человека с остроконечной бородкой, стоящего на коленях перед плахой, вокруг ряды господ в высоких шляпах, а в небесах — витающие аллегорические фигуры.

— Сие есть казнь, справедливее сказать — убийство несчастного короля Карла, совершенное британской нацией. Из-за сего исторического казуса мы, Брюсы,

и покинули родину. Вам, русским, которые так любят своего государя, это, наверное, представляется диким...

Киприановы стали откланиваться, а Брюс разговорился и пришел теперь в отличное настроение. Направляясь к двери, чтобы проводить посетителей, он еще раз обратился к гравиоре.

— Может быть, изволите спросить — ну, и как же англичане? Как обошлись они без монарха? Да по чести сказать, без монарха они не обошлись. Был там протектор Кромвель, но вчерашний плебей на троне, как известно, хуже всякого тирана. И британская нация поспешила королей законных пригласить обратно! Хе-хе...

Выпроводив Киприановых, генерал-фельдцейхмейстер еще раз оглянулся на дверь и, удостоверившись, что в башенке никого больше нет, разбежался и перепрыгнул через стул, хлопнув себя по ляжке и воскликнув:

— О ля-ля!

Покачал головой — все-таки сорок пять лет дают себя знать. Теперь уж без одышки такой прыжок не обходится, хотя как человек военный генерал-фельдцейхмейстер следил за своей выправкой. Отдышавшись, привел себя в порядок перед зеркалом, поправил фитили в свечах и, потеряв удовлетворенно руки, отомкнул потайной шкафчик.

Там у него среди вещей архиважнейших хранилась запотевшая от старости стеклянная банка с заспиртованным монстром. Это был купленный Брюсом за безумные деньги во время путешествия по Германии гомункулос — якобы искусственный человек, изготовленный великим химиком Парацельсом.

Брюс, нахмурившись, пытался сначала оттереть мутное стекло, но вскоре это ему надоело, он взял сильную лупу, придвинул свечи и принялся старательно разглядывать жалкую синюю плоть зародыша в банке.

Внезапно он вздрогнул, ему послышался стук в дверь. Кто бы это мог быть? Слуги и подчиненные знали — в кабинет Брюса без вызова хозяина даже и стучать нельзя. Но стук повторился.

Брюс вскочил в намерении строго наказать ослушника, сунул банку в железный шкафчик, распахнул дверь. В башенку вступил, кланяясь, странный человечек маленького роста, с худым и язвительно улыбающимся лицом. Все в его одежде — и паричок, и кафтанчик, и панталончи-



ки — было респектабельным, будто только что из версальского салона.

— Миль пардон, вотр экселянс, же озе де детрюиор вотр солитюд... — заговорил он на отличном французском языке, что означало: «Тысячу извинений, ваше превосходительство, я осмелился нарушить ваше уединение...»

Все же ясно было, что он не француз, а Брюс французского языка не любил, он и на языке своих дедов — английском — объяснялся через переводчика.

— Что вам угодно? — спросил Брюс по-русски.

Посетитель достал из кармашка камзола лорнет, рассмотрел не торопясь кабинет и его хозяина, затем лорнет сложил и вдруг подскочил с курбетом, сделав наивнейший поклон, как это делают учителя танцев и цирковые мимы. И суровый Брюс поневоле улыбнулся, вспомнив, как сам четверть часа тому назад по-мальчишески прыгал на этом самом месте.

— Что ж, пожалуйте... — пригласил он любезно.

А посетителю, видно, только это и было надобно. Он тотчас уселся на атласный пуф и, вновь достав лорнет, продолжал рассматривать хозяина, который запирали шкафчик.

— Якушка, или ты меня не узнаешь? — спросил он с комическим сожалением.

Брюс резко повернулся, даже ключи уронил. Что за притча? Со времен далекой юности никто не смел так называть его — «Якушка»!

— Вельяминов я, — сказал посетитель.

— Говори, что тебе надо! — резко сказал Брюс, он не любил ходатаев по личному делу.

— Ах, Якушка! — вновь сожалительно произнес шут. — Много ты стал ныне знать, скелеты у тебя тут, уродцы в банках... Знайка-то по дорожке бежит, а незнайка в постельке лежит. Не бойся, однако, фальдцейхмейстер, я у тебя ни денег, ни почестей просить не буду...

Брюсу на мгновение стало стыдно — действительно, зачем его, старого теперь уже человека, обижать? И пострадали-то они с ним когда-то за одно и то же — за отращивание к пьянству. Всемогущий князь-кесарь Ромода шаркнул ножкой, как бы представляясь. — Помнишь, великое посольство, Амстердам, австории, наши дебоши?

Да, да, да! Вельяминов! Брюс помнит — был такой у них в потешном полку, ну уж действительно всех поте-

шал. Затем Петру Алексеевичу не угодил, тот велел ему шутить, наверное, и по сей час где-нибудь шутит. Лет десять тому назад говорили, что он в комнатных шалунах у царевны Натальи Алексеевны. Царевна умерла, стало быть, пенсию пришел выхлопатывать.

Новский его, Брюса, каленым железом мучил, заставляя пить водку. Тот еле от него убежал, добрался до Петра Алексеевича, который был в Амстердаме, царь оттуда даже писал своему возлюбленному князю-кесарю: «Зверь! Долго ль тебе людей жечь?» А спустя малое время он же, Петр Алексеевич, этому Вельяминову, который привез диплом Парижского университета, за отказ от заздравной чарки повелел всю жизнь быть шутом.

— Так что тебе, камрад? — спросил Брюс уже мягче.

Вельяминов просил его, генерал-фельдцейхмейстера, быть сватом. Ведь, к примеру, и его царское величество соглашается сватать даже совсем простых людей — матросов, корабельщиков, купцов.

— Кого же сватать?

— От Василия Киприанова-младшего надобно сватать Степаниду, дочь Канунникова, вице-президента Рагуши.

— Киприанова! — изумился Брюс. — Да они только ушли от меня! И ни словечка ведь, хитрецы! Тебя предпочли подослать!

— Нет, нет! — уверял Вельяминов. — Они тут ни при чем. Это я, сам жалеючи их, придумал...

Но генерал-фельдцейхмейстер вскочил, не в силах сдержать нарастающий гнев. Это уж слишком! Теперь и его, Брюса, хотят сделать шутом! Сватать Киприанова? Никогда! Всяк сверчок, в конце концов, знай свой шесток. Ах, эти интриганы, а с виду божьи агнцы. Недаром, видать, обер-фискал к ним прицепился!

Шут тоже вскочил, стал бегать за расхаживающим по комнате Брюсом, объяснять. Ведь любовь! Ну, положим, сам-то он, Брюс, мог жениться из политесу, но ведь должна же быть на свете настоящая любовь? Отец девицы распален чрезвычайно, о Киприанове и думать не хочет, теперь лишь сватовство такого человека, как Брюс, может спасти любовь.

Но генерал-фельдцейхмейстер только фыркал, останавливался перед зеркалом, чтобы выщипнуть седой волосок, и не переставал повторять: «Ах хитрецы, ах проныры!»

Так и ушел от него шут несолоно хлебавши.

А в родительскую субботу последний день провели Киприановы в своей поварне позади полатки. Переезжали они со всеми домочадцами в новопостроенный шаболовский дом, а в бывшей поварне отныне должна разместиться расширяемая гражданская типография. Настоянием генерал-фельдцейхмейстера директор Федор Поликарпов повинен был выдать Киприанову одну штанбу и даже мастеров отпустить.

В последний раз накрыли большой стол в поварне, устали его горшками да плошками, в печи запекался целый индейский петух. За столом владычествовал не кто иной, как Варлам, который, придя из баньки, обмотал себе голову огромным полотенцем, словно турецкий салтан, и разглагольствовал вовсю. Варлам был в духе — еще бы, накануне объявлен был сговор: Василий Онуфриевич Киприанов женился на Марьяне.

— Ах, государи мои,—говорила гостья-полуполковница в промежутке между скоромной лапшой и кулебякой с угрями,—сон мне привиделся блазновитый — аспид, сиречь змея крылатая, нос у нее птичий и два хобота! Бяшенька, ты у нас книжник, объяснил бы, к чему сие?

Солдат Федька захохотал, не дав Бяше и рта раскрыть:

— Сразу за двоих замуж выйдешь!

— Чур тебе! — обиделась почтенная дама. — Возраст у меня не тот, чтобы плезиры таковые учинять, и звание не позволяет. А вы вот люди ученые и над мною, мценской простолюдинкой, смеетесь. И ты, Бяшенька, вижу, смеешься. А объяснили бы вы лучше мне, грешнице, правда ли, на торжке бают, будто ваш генерал — как его? — фицельмицель часовщика своего на куски разрезал и закопал под Сухаревой башней, а на святки будто бы он его снова вырыл, плакун-травой помазал и живой водою окропил. И часовщик тот будто ныне жив-здоров и всю гишторию сию в кабаке на Сретенке за малую мзду желающим рассказывает.

И опять ей отвечал библиотечарский солдат Федька:

— Хочешь, лучше я объясню, почему у нас с тобой зубы болят? Оттого, что мы их часто языком треплем...

Полуполковница опять обиделась, и баба Марьяна принялась ее утешать инбирным пивком.

— О людское недомыслие! — воскликнул Киприа-

нов.— Сей часовщик, кстати, известный безбожник, за оскорбление святых образов был взят в Преображенский приказ. На святки же действительно по милосердному ходатайству его превосходительства был освобожден... Где же тут плакун-трава?

— А я скажу,— вступил в разговор Варлам, от инбирного пива лицо его багровело.— В новом доме на Шаболовке мы не позволим сажать с собою за стол разных солдат либо подмастерьев. На нас покоится чин государев...

Обиженный Федька встал, горестно заявляя:

— Спать лучше пойду — кто спит, тот никому не вредит.

Киприанов также вскочил, напряженный от возмущения тем, что кто-то хозяйничает в его доме, искал слов, не находил.

— Мужички, мужички! — урезонивала их баба Марьяна.— Ну что вы? Варлам, куда уж тебе за шляхетством тянуться?

Варлам со звоном положил на стол нож. Назревала ссора. Баба Марьяна, однако, нашла, чем отвлечь внимание.

— Ну, что там у Канунниковых? — спросила она полуполковницу.

— Ах, мать моя! — всплеснула та руками.— Приданое готовят на целый миллиён! Одних шуб невестиних четыре — кунья, енотовая, белья и сомовья.

— Как, как?

— Сомовья, батюшка.

— Соболья, ох, уморила!

Все засмеялись, и воспользовавшись этим, Киприанов пригласил Федьку не чиниться, снова сесть за стол. Но тот теперь артачился:

— Срамно мне, убогому, с богатыми в пиру сидеть. На них платья цветные, а на мне одна дыра.

Но баба Марьяна мир снова водворила. Федьку на место усадила. Спросила полуполковницу:

— Значит, за Щенятьева, за сынка этого боярского, ваша Степанида идет?

Все боялись смотреть на Бяшу, который сидел, опустив взгляд, в беседу не вступал. Баба Марьяна продолжала спрашивать:

— А кто у них сват, кто в посаженных? Ты уж, милая, поведай нам, уважь нашу простоту.

Полуполковница обстоятельно рассказала, что сватом был сам губернатор, господин Салтыков. Такому свату разве откажешь?

— Эй, Онуфрич! — не выдержала баба Марьяна. — Говорила я тебе: проси быть сватом господина генерал-фельдцейхмейстера. Перед таким сватом и Салтыков бы не устоял. И была бы Степанида наша, а то досталась долдону этому Прошке...

— Эх, Марьяна! — в тон ей начал Киприанов, но не договорил и махнул рукой.

Все ели молча, не глядя друг на друга, а полуполковница разливалась соловьем. Обручения, сговора, посиделок — никакой этой старины не будет. Сразу венчание, после чего Канунниковы и с молодым зятем переезжают в Санктпитербурх, им уж там разные царские льготы обнаружены...

— Да, да, знаю, — подтвердил Киприанов. — Канунников объявил мне сие, когда вручал достоверную запись, что все мои недоимки прощены.

— Ого-го! — вскричал Варлам, даже турецкая чалма у него развязалась. — И ты молчишь? Сие Канунников тебе устроил? Вот уж поистине царский дар!

За дверью кто-то топал ногами, отряхая снег, потом постучал трижды, символизируя троицу, — чтобы бесы не проникли.

— Аминь! — сказал Варлам, позволяя войти.

Это был Максюта в клубах морозного пара. С холоду его попотчевали пивком, а баба Марьяна спешила наложить ему закуску.

— Ну, отпустили тебя, рекрут? — спросил Киприанов.

— Три дня гулять, потом в Питер потопаем — ать-два! Там и муницию выдадут, а то, пока по дебрям будем добираться, все казенная одежда в лоскут обратится.

— И как это начальство не боится, что ты сбежишь? — съехидничал Варлам.

Максюта заголил рукав и показал бледно-синий крест, наколотый на руке выше локтя, — знак, что человек поверстан и принадлежит уже царю.

— Каб не эта солдатчина, женился б ты, Максюта, — пригорюнилась баба Марьяна, которая в своем счастье готова была всех переженить.

— Солдатские жены — пушки заряжены! — захохотал Федька, который успел оправиться после давешней конфузии.

— Лучше дядю Саттеру на русачке женим!— предложил Максюту.— А то, как только я в сраженье пойду, сразу замиренье настанет и пленных отпустят. Пусть уж в свои свейские края с русскою женою поедет.

— Не отдам дядю Саттеру, не отдам!— закричал мальш Авсеня, который сидел у шведа на коленях.— А кто со мной стáнет в пятнашки играть?

Они хохотали, перебрасывались шутками, а Киприанов нагнулся к сыну, сидевшему задумчиво:

— Не кручинься, Васка, соколенок мой. Бог с нами, с Канунниковыми. Найдешь ты себе суженую по душе.

Бяша хотел ему что-то ответить, но, пока он собирался это сделать, отец встал и вышел, а вернулся с листом Брюсова календаря.

— Прочтем-ка, други, что на год минувший звезды через Календарь сей Неисходимый нам предсказывали. Вот он, 1716 год,— под знаком Меркурия, бога торговли, и под Венус— сиречь любви и веселия. «Когда злые люди содружество учинят, то внимай делам их и внемли себе от злых советов их, ибо они токмо ищут от чуждыя мошны насыщаться... Великим господам и сенаторам такожде не все по желанию их возможет быти, но многие противности возмогут являтися». Гляньте-ка, братцы, планиды-то нам не так уж ложно прорицали!

— Пойдем, есть дело!— шепнул Максюта Бяше через плечо бабы Марьяны.

Та постороилась, ворча:

— Идите уж, тайная канцелярия, посекретничайте напоследок!

Они вышли в подклеть, но там все было загромождено вещами, готовыми к переезду. Перешли в запертую книжную лавку.

— Холодно у тебя тут, Васка!— ежился Максюта.— Уж год прошел, как я тебе советовал печь поставить...

Он состроил плаксивую гримаску и произнес словами из песенки:

— «Терплю болезни лютые, любовь мою тая...» Слушай, Васка, ну что же ты надумал про Степаниду? Зело время поздает!

Бяша молчал, не зная, что ответить. Татьян Татьяныч уж прибежал к нему утром от Стешы. Степанида сидела под замком, но велела передать, что готова на все.

Максюта сорвал с головы колпак и в сердцах шлепнул его об землю.

— Эй, какой же ты нетударь-несюдари! Мне бы да твою удачу, только бодливой корове бог рог не дает!

Окоченевший в казенных опорках и рогожном армячке — таким его выпустили из тюрьмы, чтобы сдать в рекруты. — Максюта прошелся дробью, отбивая трепака. Потом остановился.

— Ну, слушай же, сие в последний раз. Я только что был у нее, и послание самое доверительное. Сегодня — родительская суббота, Стеша отпросилась на Пятницкое кладбище, мать помянуть. На исходе обедни, у Иоанна Предтечи. Слыхал, байбак?

Но Бяша молчал, потупившись. И Максюта, не выдержав, крикнул, сжал кулаки так, что ногти впились чуть не до крови:

— Если ты не пойдешь... Я не знаю, что с тобой сделаю, если ты не пойдешь!

На Пятницком кладбище и у Бяши была мать погребена, это кладбище приходское для Кадашей, а Канунниковы сами из этой слободы.

Бяша пришел и бродил между могилками, где в тусклом снежном свете рано угасающего дня были видны там и тут мерцающие огоньки — это догорали на холмиках поминальные свечки. Летом здесь заросль сплошная, буйство листвы — кленов, ясеней. Сейчас сквозь голые ветви кустарника снежная пустыня кладбища с тенями крестов кажется особенно печальной. Могила матери ухожена — ни одного из установленных шести поминальных дней в году они с отцом не пропускали, и крест деревянный, по-старинному восьмиконечный, отец сам выстрогал. Хотелось вздохнуть глубоко, из самого донца души: «Мама, мама, зачем же я такой получился у тебя безудальный?» Где-то она лежит там, внизу, под спудом промерзшей, как камень, земли... Как Устя пела свои каличьи стихиры: «И место темное, и черви лютые, и пропасть подземельная!»

Печально ударил колокол Иоанна Предтечи; сквозь решетку ограды было видно, как в сумерках тянулись в церковь прихожане. Бяша подошел к паперти. Там под железным козырьком была страшная икона, Бяша маленький очень ее боялся. Когда они с матерью проходили на базар, всегда старался отворачиваться, хотя мать заставляла креститься. Святой был изображен там с усекновен-

ною главою в собственных руках, и зловещая кровь стекала кинovarью. Сейчас под иконой сидел блаженненький — лохматый, зверовидный, приковав себя на цепь к подножию храма. Это был все тот же Петечка Мырник; он, видимо, для вящего спокойствия сменил свое выгодное место у Василия Блаженного. Петечка ныл, привычно позвякивая железом: «Девы и вдовицы, со отроковицы, сюды притецйте, молитву сотворите...» Он, видимо, узнал Бяшу — странно сверкнул на него глазом из-под нечесанных волос, в глазу том мгновенно отразились цветные огоньки лампад из церковного раствора. «Спросить у него про Устю?» — подумал Бяша, преодолевая страх, но не решился.

Степаниду сопровождала Карла Карловна, немка, никому другому, по-видимому, Авдей Лукич теперь не доверял. Канунниковский тарантас отъехал на другую сторону Пятницкой улицы, Карла Карловна, воспользовавшись тем, что в православной церкви она впервые оказалась без господ, спешила разглядеть поражавшие ее иконы, а Стеше предоставила свободу.

На немку все косились, но она, не обращая ни на кого внимания, вытягивала черепашью шею, держала лорнет, рассматривая образа. Икона Троицы, где вписаны были три лица в одном лике, ее удивила. «О, чудесно! Вундербар!» Завидев образ с житием, где мученик был изображен сразу во отрочестве, во подвигах и во казнях и везде рядом сам с собой. Карла Карловна решительно затрясла головой: «Унмеглих! Невероятно!»

Степанида нашла Бяшу в притворе за большим медным седьмисвещником, сиявшим огнями. Она привалилась к нему, закрыв глаза, обдав запахом неведомых духов, даже легонько простонала.

— Василий! Ну поцелуйте же меня! Ну, скорее!

Бяша хотел отшатнуться — в церкви? — но не в силах был противиться ее соблазнительной воле, притянул за меховой воротник, видел, как в мерцании свеч дрожат ее закрытые веки. Какие-то горбатые старухи зашипели, но, впрочем, в Москве это было привычным — все любовные истории завязывались и развязывались во время длиннейших стояний в церквах.

— Совсем заскорбела я без вас, — сказала Стеша, заправляя волосы под платок. — И вы, вижу, zelo собою забижены. Явите же милость, решимся! Никто и не заметит, как мы выйдем из храма, пока немка моя тут



клячeteет. Лишь бы не мешкотно, милый Василий, скорей!

Она трясла его за рукав и сама тряслась от волнения.

— А, знаю! — вдруг сказала она. — Это та самая икотница, вражья сила! Она вас присушила! Что же мне делать? Что мне делать, боже!

Стеша ломала руки, но не проронила и слезы — не из таких она была. Почти закричала на всю церковь:

— Уже херувимскую поют! Ну, решайтесь же, Василий...

И вдруг оттолкнула его с силой и выбежала вон, невзирая на ропот молящихся.

— Вас ист дас, вас ист дас? — закудаhtала Карла Карловна и понеслась следом.

А Бяша опустилса на колени перед какой-то иконой и стоял, пытаясь превозмочь проклятую пустоту, и плакал про себя: «Мама моя, мамочка, мама!»

Тарантас Канунниковых благополучно возвратился к славным берегам ручья Рачки. Пока ехали, немка пилила Стешу, которая молчала, утопив нос в лисьей муфте. Раздевшись внизу, поднялись. Стеша чувствовала себя расслабленной, будто на ней возили дрова.

С лестницы слышны были взрывы звонкого смеха из девичьей. Там переписывали приданое, и шут Татьян Татьяныч потешал всех, переиначивая опись по-своему:

— Шуба ежова, подкладка ей ножова! Бастрок венчальный из материи мочальной! Ароматник с клопами да табакерка с блохами! Конь гнед, а шерсти на нем нет, передом сечет, а зад волочет!

Заслышав их приезд, из всех дверей домочадцы и приживалы наблюдали с сочувствием, как Стеша в сопровождении Карлы Карловны поднимается по ступенькам.

Дойдя до серединной площадки, Стеша подняла взгляд и, увидев высунувшиеся головы, топнула изо всех сил. Залилась краской гнева, оттолкнула немку, не своим голосом закричала:

— Убью всех до единого!

Выбежал Татьян Татьяныч, велел немке уйти, замахал руками, все и без того попрятались. Он обнял Стешу, привлек ее голову к себе, плечи ее словно окаменели.

— Что, горлинка моя? — нашептывал шут. — Отказался дуралей этот? Я же предвидел, я же говорил... Я и к Брюсу-то ходил только по твоей просьбе, знал же,



что ничего не выйдет... Нож острый был мне к этому гордецу Якушке на поклон идти!

Он поднялся на цыпочки и поцеловал девушку в темя:

— Ну, не печалься, ну, глупенькая... Поедешь в Санкт-петербурх, там балы, ассамблеи, машкерады. Щенятье-вы-то, они от Симеона Гордого известны, со знатным мужем будешь и при дворе.

Татьян Татьяныч развязал свой чепец — ему позволялось в девичьей присутствовать только в женском платье — и достал завязанную в узел тряпицу. Это был все тот же горящий мрачным блеском зеленый измарагд, отнятый некогда у хана Айдара.

— Вот мой дар тебе на свадьбу... А хочешь, лучше сделаем по-иному? Батюшка твой обещал меня запечь в пирог из полутора пудов... Пирог разрежут, я выйду, стану читать поздравительные вирши, заодно преподнесу сей перстень!

Степанида взяла перстень, поворачивала, глаза ее загорелись восхищением, почти как сам этот зеленый самоцвет.

Раскрылись двери верхних покоев, выбежала Софья:

— Стеша! Глянь, какое платье батюшка привез — парижское, самое настоящее...

И Стеша уже бежала к ней по лестнице, затем с блестящими глазами мчались по анфиладе покоев, а Софья, еле попевая, восторженно сообщала на бегу:

— Здесь на корсаже рюшки канаве до самого дю тайль... А кружева не брабантские, петуший глаз, нет — те уже не галантуются. Кружева самые, самые... Как это сказать?.. Паутинка!

Шут, постояв, сел на нижнюю ступеньку, достал табакерочку, пощелкал по ней и насыпал табаку между большим и указательным пальцем. Нюхнул, закрыл глаза, потер нос, чихнул громоподобно. Затем вдруг вскочил и ловко перевернулся через голову. Задрал свои бутафорские юбки, закудахтал и кинулся в девичью.

Три дня длилась свадьба у Канунниковых. Господа веселились в фамильном щенятьевском доме, который иждивением тестя был отмыт, натоплен, приведен в праздничное состояние. Суконнорядцы же, приказчики и прочая челядь с торжка угощались на Варварке, где для этого пира был очищен большой канунниковский зимний амбар. В течение трех дней и трех ночей шум и гром ка-

нунниковской свадьбы не давал покоя всему Покромному ряду.

Бяша один оставался в полатке, которую на ночь все покидали, уезжая в Шаболово. Каждый вечер он придумывал какой-нибудь предлог — то товар надо пересчитать, который он с купцами отправляет, то в тишине заняться росписью книг, кои будут выставлены в открываемой вновь каморе для чтения. Киприанов и баба Марьяна, понимая его состояние, не препятствовали ему. Библиотечарский же солдат Федька, который нарочито для того засиживался за полночь в фартине у Балчуга, поднимался по Москворецкой улице до крестца. Увидев мерцающий свет в окошке верхнего жилья киприановской полатки, удовлетворенно крестился и отправлялся ковылять себе пешком до Шаболовки.

А Бяшу все еще не покидала смутная надежда, что Устя придет. Ведь не могла же она уйти, не попрощавшись... В этой нелепой полатке она родилась, в конце концов!

И он допоздна возился там в одиночестве, прислушиваясь к затихающему прибою людской волны на Красной площади и к разгорающемуся веселью в канунниковском амбаре. Мерно били часы на Спасской башне, затем этим главным курантам чинно отвечали часы на других башнях, где-то колокол приходской церквушки отбивал псалтырь, читаемую по покойнику.

Вспомнил, что оставил свою черновую роспись на просмотр отцу, а надо бы перебелить. Вышел во флигель, где теперь помещалась гравировальная мастерская, там был и отцовский рабочий стол. Выкресал огонь, желтое пламя осветило прибитый над столом красивый чертеж «Библиотеки всенародной», который начальство оставило без внимания, усмехнулся.

У отца на столе чего только нет — тут и трубка-носогрейка с обгрызленным мундштуком, и набор рейсфедеров вперемежку с кипарисовыми ветками, которые принесли монахи-паломники, тут и маленькая модель вечно-го двигателя, и баночки с киноварью. Казалось бы, беспорядок, но отец ворчит на бабу Марьяну, ежели та приближается с тряпкой. Сам же он в этом хаосе найдет нужную вещь во мгновение ока.

Бяша осторожненько приподнял бумаги, надеясь найти под ними черновик своей росписи. Посыпались пожелтевшие документы — отцовский архив. Бяша наклонился,

поднял — это же копия той челобитной 1704 года, с которой все отцовское дело начиналось! Подписано: «Вашего царского величества покорный раб, математических наук!..» А сколько надежд! Сколько надежд!

Затем еще ворох бумаг — «...И от промыслишку своего отбыл, и кормовых денег мне ничего не давано, также и по се число не взыскан я ничем». Нужда неисходимая, а от должностных персон одни препоны либо глумливое непонимание — куда, мол, дурак лезет? И еще челобитная: «Вели же, государь, оной гражданской типографии быть, ради твоя царского величества бессмертная славы и всему российскому народу в пользу благоприятную...» И снова — надежды! Печатня! Гравировальня! Слово-литня! Книжная торговля, чтобы всеми прочими лавками на Москве ведала!

А вот уже совсем новая бумажка, промемория, опять про жалованье, которое приходится выбить дубьем: «...понеже имеются у меня два сына, оба Василья...»

Крик на площади — иль это почудилось? Бяша вздрогнул, приподнял фрамугу — вместе с морозным воздухом ворвались разудалые вопли пирующих из канунниковского амбара: «Я Парашу ошарашу, а Матрену я не трону!..» Нет, напрасно он ждет, надеется напрасно... Опять одиночество, тишина.

Отыскал наконец свою роспись, стал укладывать бумаги в прежнем порядке, рассыпал какие-то пакетики с семенами, вероятно приготовленными для шаболовского сада. Семечко клена крылатое — сколько должно пройти долгих-долгих лет и столь же долгих зим, пока из тебя не вырастет великан в два обхвата, пока могучие ветви не вскинут в небеса зеленый и шумящий мир, царство птиц и вольного ветра! А ведь все уже заключено в этом маленьком желтом семечке спервоначала — и кряжистый ствол, и надежные ветви, и резные зеленые листья, и ветер, и птицы, и солнце, и воля, и все!

И тут он явственно услышал, как в тишине площади, где-то у самого Василия Блаженного, голосисто запел петушок. Сердце оборвалось, а руки-ноги онемели. Бяша опустился на скамью. И тогда петушок еще раз — звонко, будто предвещаая рассвет, — запел уже под самым Покромным рядом. И третий раз запел, когда Бяша лихорадочно шарил рукой по двери — найти задвижку, бежать к калитке! Да, это была она. В полутьме двора, при отсвете снежных сугробов было видно, как она изменилась! Похуже-

ла, стала строгой, совсем взрослой. На ней был полушубочек мерлушковый и добротный канифасный платок.

— У тебя никого? — сказала она, входя в бывшую поварню. Размотала платок, сняла венчик, вынула гребни. — Ты отвернись, не гляди, я косыньку переплету.

— Устя! — только и мог вымолвить он, прижав руки к груди.

— Что — Устя? — усмехнулась она сквозь гребень, который держала во рту. — Была Устя, стала пустя...

— Оставайся с нами, оставайся! Устя! Отец попросит генерал-фельдцейхмейстера, тот ему не откажет...

Бяша сел рядом с ней на скамью, но она тотчас вскочила и стала прохаживаться, осматривая все. Что ей виделось здесь в этот миг? Ее детская колыбель? Материна прылка? Или уже недавнее — их киприановское бытие?

— Вот зачем я к тебе, — сказала она деловито. — Малыш этот, Василий, Авсенья, он и верно ведь мне брат. Но он был мал, чтобы разуместь, и я решила тогда, пусть лучше сего не знает, что ступинский отпрыск... Блажен отча не вем своя... Прошу тебя, Бяша милый, в память обо мне береги его!

Она пошарила в своем полушубке и достала что-то завернутое в бумажку.

— Надобно бы дар какой на память оставить либо денег... Ан нету у меня ничего, сама на кормлении есмь. А тебе вот, Бяша, такую вещь принесла.

Развернула сверточек, там оказались очки Бяши, те самые, из проволоки, с желтенькими стеклышками, которые пропали когда-то на Преображенском бугре!

— Я все раздумывала, как их тебе передать! Каково ж тебе без очков, небось и читать-то не можешь...

— Оставайся, Устя, оставайся! — молил Бяша. Подойти к ней уж не осмеливался.

Но Устя решительно помотала головой. Повязала платок, тщательно убрав под него косу, и погрозила кулачком куда-то в сторону предполагаемого Санктпитербурха:

— У, антихрист, кутабрыс! Здорово еще твоя брейка бреет! А сам все с музыкою тешишься, забавляешься ненасытно! Ну, годи, сатана, отольются кошке мышкены слезки.

— Тогда и я с тобой! — закричал уже во весь голос Бяша. Действительно — была не была!

И снова у Василия Блаженного запел тот бодренький петушок.

— Мне пора.— Устя двинулась к двери.

— Кто тебя зовет?

— Он.

— Атаман?

— Что за дело? Зовет!

— Подожди...— Бяша, теряя волю, вцепился ей в полушубок.

— Пусти. Он гневаться станет. Он и так хотел полатку вашу совсем сжечь.

— За что?

— А так. Сказывал — нечего им народ православный книжками антихристовыми мутить.

И поскольку Бяша, вцепившись в мерлушку, не отпустил, Устя повернулась к нему, запахнула поллой полушубка, как ребенка, прижала к себе, стала шептать:

— Бяша славный, Бяша добрый, Бяша сердечный. Расслабь же рученьки-то, распусти мышечки, размягчи... Тьфу, тьфу, трава реска, изведи из того места. Будешь, Бяша, счастливым, будешь богатым, купцом станешь знаменитым. Да хранит тебя мое слово, слово нерушимое, не испортить, не сглазить ни чернцу, ни ченцу, ни попу, ни великому праведнику...

Бяша очнулся от боя Спасских курантов. Он лежал в бывшей поварне на лавке, на меховой подстилке, видимо, был туда кем-то уложен. Огарок погас, в слюдяные окошки заглядывал тугой зимний рассвет. И не поймешь — сон ли то был или правда? Но на столе лежали на развернутой бумажке его, Бяшины, очки.

А когда над резными коньками и причудливыми флюгерами Китай-города взошло тусклое февральское солныце, окончилась канунниковская свадьба. Гости, пошатываясь, выходили из распахнутого амбара, шли, скрипя каблучками по снегу, какие-то тетки плясали на ходу, балалайки тренькали, мужики орали сиплыми от трехдневной гульбы голосами: «Трах, трах, тарарах, едет баба на волах!» И с песнями, с плясками спускались мимо Василия Блаженного по Москворецкой улице к реке, к Портомойным воротам.

А на Москворецкой улице уже начинался день забот. Открывались растворы лавок, веники сидельцев выметали оттуда клубы пыли. Звенели молоточками медники, заказчики выносили из удушливой тьмы их мастерских кто

купель детскую, а кто таз для варки варенья. С шипеньем двигались вверх и вниз большие мехи, раздувая огонь, и в кирпичной пасти горна гудело веселое пламя.

Вверх от Балчуга к Красной площади прошла рота солдат в новеньких зеленых кафтанцах, с кожаными португезами, с белыми султанами на кожаных же шляпах. Солдаты шли не в ногу, но быстро, розовощекие новобранцы с любопытством разглядывали пестрый быт Москворецкой улицы.

— Трах, трах, тарарах, едет баба на волах! — кричали уже без всякой охоты гости, расходящиеся со свадьбы.

Тетки плясали тоже лениво, повизгивали:

— И-их И-их! В Москве, на доске, на горячем песке!

— Постор-ронись! — Навстречу им снизу, с моста, въезжал целый обоз.

Ехали в санных возках насупленные, серьезные офицеры, закутавшись в черные епанчи, на дровнях везли какие-то громоздкие бочки, ящики, в отдельной повозке ехал секунд-лейтенант Степан Малыгин. В одной руке он держал драгоценный для него портфель с картами Архангельской губернии и Ледовитого побережья, а в другой сжимал теплые пальцы молодой жены, Натальи, урожденной Овцыной, которая старалась рассмотреть в качающемся дорожное зеркальце, не отпала ли у нее мушка на правой щеке, и говорила мужу:

— А через два года, когда мы вернемся, мы устроим ведь ассамблею для всех наших друзей?

— Да, да, сердечко мое, да, да... — отвечал ей Малыгин, и ехали они дальше, мимо Сапожного ряда, где, расположившись прямо на снегу, резво колотили молотками холодные сапожники.

Там гуляли рекруты; они прогуливали милостыню, которую собрали им москворецкие купчихи, да проводили свой последний вольный день.

Один рекрут, кудрявый, тороватый, и несмотря на морозец, в одной красной рубахе, брэнчал на расписной балалаечке.

— Максютя! — звали его торговки из Белильного ряда, что был у самой реки; там румянами всяческими торговали и прочей женской красотой, из-за чего оно и было самое что ни на есть бабье место на всем торжке. — Максютя, голубь! Спел бы ты нам что-нибудь на прощанье!

И Максютя пел:



Я — курочка, хохлушечка,  
Совсем была глупушечка,  
Теперь цыпляток я вожу,  
Хозяйству прибыль приношу!

Отставив балалаечку, пускался вприсядку.

Иех! И-эх! И-эх! И-эх!

А девушки и молодки кричали:

— Ты не забывай нас, Максюта! Возвращайся к нам  
фельдмаршалом!

И Максюта, подбоченившись, отвечал:

— А что же! И вернусь!

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЕ  
КУНСТКАМЕРЫ,  
ИЛИ  
СЕМЬ СВЕТЫХ НОЧЕЙ  
1726 ГОДА





## Глава первая

# ПОЙДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА

### 1

Господин Шумахер ударом ладони распахнул фрамугу окна. Распахнул и тут же придержал бережно: как-никак все же академическое имущество, казенное.

— Штюрмише нахт! — восклицал он. — О, какой была бурная ночь!

За окном, правда, расстилались безмятежные просторы невской утренней зари, только птицы нарушали тишину, приветствуя восходящее солнце. Но господин Шумахер Иван Данилович, он же Иоганн Даниэль, библиотекарь ея императорского величества, куратор Кунсткамеры государевой, прочих званий его не перечить, господин Шумахер перед распахнутым окном горестно воздымал руки.

— Какой была злая ночь! Ни момент не спал ни минуты!

И он сорвал свой франтовский парик гнедого цвета и вытер платком лоб и череп, который был у него яйцевидным и совершенно лысым, несмотря на молодой возраст господина куратора.

— О, штюрмише нахт!

Впрочем, как было не волноваться господину Шумахеру. Дело в том, что вчера из марева Финского залива выплыл наконец корабль, которого ждали уже много дней. На корабле том должны были прибыть новообретенные родственники государыни, царица не уставала спрашивать, да что же они не едут, да что же их не везут.

Но, как говорится, долго ждали, а врасплох дождались. Государыня, как нарочно, прилегла вздремнуть, ожидая, а самого главного распорядителя — светлейшего князя Меншикова — в столице тоже не оказалось: пребывал он далеко, в Курляндии, по делам первостатейной важности.

Придворные были в замешательстве — как встретить драгоценных гостей, где разместить; государыню будить никто не решался. И тогда какого-то осла («Осла!» —

простонал Шумахер, вспоминая все это) угораздило послать вновь прибывших в Кикины палаты.

Однако даже самому малочиновному жителю Санкт-Петербурга<sup>1</sup> было известно, что в граде сем имеется по крайней мере три дома, известные как Кикины палаты. Строитель их и владелец Кикин, был когда-то «в случае» при дворе, любимцем был особым и царя и царицы. Затем склонил к измене несчастного царевича Алексея и сам себя привел на плаху. Строеие же его, как и все мимолетное богатство, все было отписано в казну.

Один из его домиков, довольно неказистый, размещался, однако, на набережной, вблизи царского дворца. Там-то, по всей логике вещей, и следовало поселить вновь прибывших родственников государыни.

Но придворный осел («Дер эзель глупый!» — расстраивался Шумахер) случайно, а может быть и намеренно, направил кортеж с вновь обретенными знатными гостями не сюда, а в тот дом, в те Кикины палаты, которые были строены в три этажа и находились возле царской смолокурни. А размещались там и Академия, и Кунсткамера, и библиотека, и все прочее хлопотное хозяйство господина Шумахера.

И дом тот Кикина, хоть и большой, но был забит до отказа и книгами, и коллекциями, и раритетами, и монстрами, и махинами, и даже там профессора иные проживали. И уже строилось новое здание на Васильевском острове ради уничтожения тесноты, которая мешает приращению науки российской.

А тут, представьте себе, в самую что ни на есть полночь врываются в академические те хоромы драгуны личного князя Меншикова ингерманландского полка, коим было вменено сопровождать знатных новоприбывших. Усатые, грубые, надменные, они вышвыривают вон всю академическую утварь, даже самую субтильную из гнутого стекла. Иных академикусов, взирая на их почтенность, под руки из покоев выводят, других удаляют просто за шиворот...

— Шерт побери! — Шумахер париком ударил по подоконнику, подняв тучу пыли. Что делать теперь? Мчаться ли в загородную резиденцию, в Стрельну, к императрице или побежать по министрам? Стукнула дверь,

---

<sup>1</sup> В петровскую эпоху слово «Санктпетербург» писалось без дефиса.

и появился служитель, прерывая кипение кураторского гнева.

— К вам господин студент Милеров. Давеча изволили его срочно требовать.

Шумахер замахал было париком — ах, это было вчера, а сегодня иные страсти затмили давешние. Но студент уже входил бочком, посверкивая стеклами в дешевой медной оправе.

Господин куратор оглядел его с сомнением — крайне непрезентабелен был тот студент, тощий, обсыпан перхотью, башмаки разбитые, один с пряжкой, другой — без.

По случаю крайней занятости президента Академии господина Блументроста, который был придворным лекарем, а следовательно, должен был денно и ночью пребывать возле пестуемых им особ, на Ивана Даниловича Шумахера было возложено еще негласно руководство всеми членами Академии, от самого достопочтенного из профессоров до низжайшего из служителей.

Так что хочешь не хочешь, а вошедшим Милеровым займись.

Шумахер вынул из ящика стола пухлую книжицу в переплете из крокодиловой кожи.

— Узнаете, сударь?

— О,— жалобно сказал Миллер,— дас ист майн ноцибух, моя записная книжка!

— И где вы изволили оную утратить?

Миллер заговорил нечто невразумительное:

— Увы... Три дня... Худая пища...

— А помните ли вы, что писали в той книжице?

Миллер окончательно притих, протирая очки краем галстука. Шумахер сунул ему книжицу, открыв на определенной странице.

— Читайте вслух.

Студент медлил, держа свою книжицу, словно ядовитого змея. И тогда Шумахер вынужден был толкнуть.

— Читайте, черт побери!

Миллер надел очки и принялся читать загробным голосом, будто сам себе читал приговор:

— «Либе мутер, дражайшая матушка, так как нет никакой надежды, что мои письма дойдут к тебе из этой дикой глуши, я буду их писать в моей записной книжке, как некий путевой дневник... Когда подплываешь к этому городу, он встает из пучины моря, словно сказочное чудо,— истинный парадиз, рай на земле!»

Миллер остановился и недоуменно взглянул на куратора.

— Переверните страницу,— приказал тот.

— «Ты же знаешь, обожаемая матушка,— перевернув страницу, продолжал Миллер,— что три человека на всей земле были уважаемы мною — английский мудрец Исаак Ньютон, наш немецкий гений Лейбниц и Петр Великий, российский император, герой эпический, полубог в доспехах война и фартуке кузнеца. Но пока я вырос и выучился, все они чредою печальной сошли в царство теней. И здесь, в Санктпетербурге, я застал тело императора, гниющее в соборе. По какому-то непостижимому русскому обычаю его не стали закапывать. А народ говорит, что вдовая царица либо спит как сурчиха, либо пьет как торговка. И вообще здесь никто ничего не делает, каждый только и ждет, чем закончится это странное царствование...»

Шумахер взялся за сердце, закрыл глаза.

— Да как же вы могли... Да вы же всю Академию проводите под топор... Да я же вас немедленно отошлю назад, и будете там умирать без работы со своей дражайшей матушкой!

Еще повозмущавшись и потопав ножкой, библиотекариус сменил гнев на милость.

— Но я вас спасу, да, спасу... Спасу как земляка и вообще как симпатичного мне человека. Дайте-ка сюда эту вашу нотицбух. Глядите, сию глупую страницу я выдираю — айн, цвай, драй! — и разрываю на кусочки. А вы напишите новое, умное, благонамеренное письмо и пошлите его своей матушке через почтампт, и, между прочим, упомяните, что не кто иной, как Иоганн Даниэль Шумахер, спас вас от очень крупной неприятности.

Он поднял палец.

— Вы очень доверчивы, господин студент! Русские — это загадочный народ, о, вы скоро узнаете, какой это загадочный народ!

И Шумахер, растопырив руки, показал, как безгранично доверчив господин студент Миллер. Затем спросил:

— Правда ли, в событиях минувшей ночи и вы пострадали? Будто вас тоже выселили и вы поместились на квартире в слободке?

Миллер кивнул, подтверждая. Но добрейший унтер-офицер, господин Максюта — так кажется его зовут? — приютил его у себя. И все его книги и коллекции также приютил. А что, разве и это нельзя?

— О, нет, наоборот! — хохотнул Шумахер. И, наклонившись к самому уху студента, стал ему внушать, дирижируя пальцем: — Все, что вы услышите от этого мужика в мундире, тотчас сообщайте мне. Он, между прочим, водку не пьет, в церковь не ходит, это так нетипично для здешнего народа, увидите сами... Русская инквизиция мимо такого человека не пройдет. А вы понаблюдайте за ним, понаблюдайте... Рано или поздно это может оказаться полезным для нас, немцев.

Миллер хотел спросить, каким именно образом полезным, как вдруг раздался удар в дверь, готические створки распахнулись и на сцену выступило новое лицо.

## 2

Лицо это было румяно, как пасхальный пирожок, вооружено вислым носом и парой пронизательных глаз. Паричок на нем был пышный, как шевелюра Купидона, а кафтанец прямо с парижской модной гравюрки. Лицо перебирало ножками на высоких каблуках, и вообще, как говорится, жизнелюбие из него так и лучилось, хотя лицо это стеноло и заламывало руки.

— О, герр Шумахер, ваше превосходительство, меня обокрали!

Шумахер в первую очередь отметил светский вид неожиданного посетителя. Но следовало для начала и поставить его на место, поэтому господин куратор насупился.

— Что вам угодно?

Посетитель взмахнул кружевными манжетами и рассыпался в поклонах. Шумахер нахлобучил парик и тоже сделал несколько па политеса.

— Меня обокрали! — жаловался посетитель. — Ночью вломились солдаты... О-о, как они себя вели!

— Кто сей есть? — спросил Шумахер у стоящего рядом студента. Но тот не знал, и ответил служитель из-за распахнутых дверей:

— Академикус... Из прибывших наемни. Я им сказывал, что беспокоить вас нельзя...

Услышав этот диалог, посетитель подпрыгнул, склонился до паркета и представил себя:

— Игнаций-Констанций-Фелиций граф Бруччи де Рафалович, кавалер Золотого Овна и иных орденов Священной Римской империи, магистр свободных искусств!



— Ах, герр Рафалович! — весь просиял Шумахер.— О, граф Рафалович!

Он тоже приветливо полоскал ручкой у самого пола, но при этом силился вспомнить, кто такой? До сих пор он, Шумахер, первым узнавал любого, прибывавшего в Санктпетербург, а здесь так оплошать? Да еще и академикус, а всех академиков, служивших в Санктпетербурге, именно Шумахер приглашал, еще по повелению покойного государя... Да еще и граф, да еще и кавалер какого-то Золотого Овна! Впрочем, что-то смутно Шумахеру припоминалось — не то в Ганновере, не то в Вене...

Шумахер выразил графу свое крайнее соболезнование и заверил, что сегодня же найдет время, чтобы ознакомиться с его патентами и рекомендательными письмами. Но эти слова вызвали у графа буквально приступ плача.

— О санта мадонна! Сегодня ночью в этом вашем доме у меня их похитили! Пропало все!

— Как, неужели все?

— О, да, да! И графская грамота, и академический диплом, и патент магистра... А какие были там высокие подписи, какие печати!

Тут Шумахер заметил, что, несмотря на плач и заламывание рук, новоявленный граф исподтишка следит за ним паучьим взглядом. Господину куратору стало зябко, и он повернулся, давая понять, что аудиенция окончена. Тогда граф Бруччи де Рафалович буквально пал к его ногам.

— А главное, главное, блистательный синьор! Главное, что у меня пропало...

Он внимательно оглядывал каждого, а все молчали, ожидая. И граф сказал выразительно, понизив голос:

— Философский камень!

### 3

Караульный, стоявший на площадке второго этажа в Кикиных палатах, перегнулся через перила и позвал:

— Господин корпорал Тузов, к господину библиотекарису!

— Цыц, горластый! — подскочил к нему придворный в раззолоченном кафтане.— Принцы почивать изволят.

Придворный, перешагивая через академическую утварь, нагроможденную в коридоре, подкрался к высокой

двери покоев, послушал у замочной скважины, затем, удовлетворенный, распрямился:

— Спят!

Это был обер-гофмейстер Рейнгольд фон Левенвольде, весь Санктпетербург именовал его «Красавчик». Был он гибок, как хорек, и любезен несравненно, придворные дамы в нем не чаяли души. Царица третьего дня, не дождавшись родственников и уезжая в Стрельну, особо поручила их заботам Левенвольде.

Лавируя между грудками вещей, подтянутый, при кортике, лишь слегка прихрамывая, по коридору проследовал корпорал Максим Тузов. Обер-гофмейстер ему прошипел:

— Распустил свою команду, вели, чтоб не орали.

На что Тузов отвечал хладнокровно:

— Здесь не постоялый двор.

И вошел в кабинет Шумахера, а обер-гофмейстер остался беситься перед закрывшейся дверью.

Шумахер, поглядывая на лежащего в креслах графа, которого отпаивали лакрицей служитель и студент Миллер, стоял грозный, словно коршун.

— Твой ли караул,— спросил он Тузова,— дежурил сегодня ночью, когда привезли господ принцев?

Максим Тузов подтвердил это, добавив, что он, корпорал, отвечает за охрану Кунсткамеры вообще.

Шумахеру такая независимость не понравилась, он привык, чтобы перед ним благоговели.

— Отвечай, айн балькен, чурбан! Говори... Куда делся этот, как его по-русски... Дер штайн дес везен!

Он крутил пальцами, вспоминая забытые слова, но корпорал Тузов сам ему напомнил:

— Философский камень?

— О, ты знаешь по-немецки? Я, я, натюрлих — философский камень...

Некоторое время все молчали, потом Тузов щелкнул каблуками и доложил:

— Не могу знать.

При этих словах граф Рафалович зарыдал дико. Он кричал, что камень сей предназначенся не кому-нибудь, а самой Семирамиде севера, императрице Екатерине... Его высокородные покровители уже писали об этом в Санктпетербург, и здесь камень тот ожидают...

Рациональный дух Шумахера не мог спокойно перене-

сти такого поворота. Он поднес волосатый свой кулак к самому носу корпорала:

— Плут! Ротозей! Бубуменш! Ты слышал? Камень должен быть представлен ко двору!

И он принялся и по-немецки и по-русски честить вытянувшегося перед ним Тузова, а тот только покусывал губы. И вдруг Тузова бросило в жар, он выкрикнул в лицо беснующемуся начальству:

— Тпру!

Шумахер, изумленный, осекся на полуслове, растерянно оглянулся на служителя и студента, которые на всякий случай отодвинулись.

— Вас ист дас? Вас ист дас? Разве я лошадь?— говорил он невпопад.

А Тузов храбро перешел в контрнаступление, напомнил Устав воинский, в котором запрещалось бранными словами поносить тех, кои при исполнении...

Но тут он сам от волнения, или раненая нога его подвела, замолк и присел на край табуретки. Опомнившийся Шумахер окончательно рассвирепел и занес над ним кураторскую трость. Тузов вновь вскочил, схватился за кортик. И неизвестно, чем бы закончилось все это, если бы студент Миллер, поперхнувшись от неловкости, не вступил в разговор:

— А разве философский камень вообще существует? Теперь ведь даже в школах учат, что все это обман, заблуждения прошлых веков, иными словами — фальшь.

Тут, услышав такие слова, подскочил граф Рафалович.

— Как вы говорите? Фальшь? Сами вы фальшь! Мой камень был подлинный эликсир мудрецов!

Снова растворились готические двери, за которыми раззолоченный обер-гофмейстер пилочкой полировал свои ногти и говорил со значением.

— Так, господа академикусы, докричались. Принцев изволили разбудить!

Тут со двора раздалась певучие звуки кавалерийского рожка. Забыв о распре, все кинулись к окну. В палисадник Кикиных палат въезжали кареты. Кучера чмокали, сдерживая лошадей. Конвойные драгуны звенели оружием. Из карет выглядывали фрейлины в мушках. Экипажи прислала царица, чтобы пригласить вновь прибывших родственников к себе.

На лютеранской кирке за лесом пробило полдень, и академики сошлись на обед. Уселись за общий стол тесно — все сплошь знаменитости. И важный Бильфингер, физик, и математик Эйлер — совсем молодой, но нервный и не сдержанный в движениях. Тут были и братья Бернуллы, и старичок Герман, ученик самого Лейбница. Стола не трогали — пока не явится господин библиотекариус; таков был заведен порядок.

В раскрытые окна доносился шум листвы, бесконечный гомон птиц. Лето выдалось жаркое, без дождей. Академики то и дело прогоняли докучливых мух, а толстый Бильфингер, совсем изнемогая, снял кафтан, несмотря на академический этикет.

— Чего я здесь торчу? — ворчал он, дуя в усы. — Ни квартиры, ни лаборатории, как обещано договором... Сидел бы в своей Саксонии.

Академики задвигались. Бильфингер попал в большое место. Стали жаловаться те, кого ночью скоропалительно выселили. Тихонький Герман стенал, что ему теперь приходится квартировать в сарайчике, где прежде жили свиньи.

— Зато жалованье такое, — усмехнулся Эйлер и нервно дернул плечом, — какое в вашей Саксонии и не снилось.

— Вам-то что, уныло отвечал Бильфингер. — Вы свои формулы и на песке чертить можете. А у меня барометры, приборы... Уговорено было также, чтоб преподавал я принцу Петру Алексеевичу, внуку государыни. Так вице-канцлер Остерман к тому принцу и мухи не подпускает!

— Ох уж этот Остерман! — воскликнули академики.

— Хоть и сам немец, но немцам от него житья нет...

— Да и только ли немцам?

Вошел Шумахер; его щеки были помяты после сна. Проголодавшиеся академики заткнули за галстук салфетки и накинулись на еду.

Шумахер еще из коридора слышал громкий голос Бильфингера и понял, что говорилось что-то об Остермане. Он погрозил пальцем:

— Господа, еще раз прошу — нет, категорически требую. Об Остермане — ни слова!

Бильфингер тотчас принял это на свой счет и с шумом отодвинул блюдо.

— Как! — воскликнул он. — Какой-то библиотекаришка смеет грозить мне пальцем? Да знаете ли, милейший, что я доктор богословия и еще корпорант четырех университетов? Монархи спорили за честь пригласить Бильфингера ко двору!

Но академики были заняты едой, и возмущение Бильфингера потонуло в хрусте разгрызаемых косточек, звяканье ножей и в звоне бокалов, куда наливалось вино.

— Недаром ведь, — сказал Эйлер, покончив с половиной цыпленка, — Лейбниц в сей вновь воздвигнутый Петрополис так и не поехал, что ни сулил ему царь. Будто бы сказал — лучше умру нищим, да в своей отчизне.

Он усмехнулся и стал тереть глаз, который у него начинал дергаться время от времени. А Бильфингер захохотал.

— Вы не договариваете, коллега. Совершенно достоверно, что Лейбниц сказал так: лучше быть нищим, да свободным, чем богатым и рабом!

— Господа, господа! — расстраивался Шумахер. — Да господа же!

И тут возвысил голос человек, присутствия которого сначала никто не заметил.

— А правда ли, что в Санктпетербурге голод, едят траву? Простите мою неосведомленность, я здесь новичок...

Академики с изумлением стали рассматривать его лиловый, умопомрачительного фасона кафтанчик, кружевные брыжжи из самого Брюсселя. «Граф Рафалович... — передавалось на ухо. — Из цесарских краев...»

— Да вам-то что до того, что здесь едят люди? — чуть не простонал Шумахер. — У вас-то на столе все есть!

Продовольствование иноземных академиков было его главной заботой и гордостью.

А граф Рафалович вытаращил черные глазки и спросил невинно:

— А правда ли, императрица хочет выйти за князя Меншикова? Об этом весь Гамбург говорит!

Но академики уткнули носы в только что разнесенную вторую перемену блюд, и никто не реагировал на бестактные вопросы малознакомого приезжего. Лишь неугомонный Эйлер снова дернул плечом и спросил Рафаловича в его же недоуменно-издевательском тоне:

— А правда ли, коллега, у вас сегодня ночью был украден философский камень?

Академики перестали жевать, подняли головы. Бильфингер, поперхнувшись, переспросил:

— Что, что? Повторите.

— Был украден философский камень.

— Философский камень! — вскричали все академики разом.

Тогда граф Бруччи де Рафалович, увидев себя в центре всеобщего внимания, вытер рот салфеткой и встал. Он рассказал, сколько стоил ему этот камень-монстр с двухсоглетней биографией и как он надеялся вручить его самой великой Семирамиде...

Академики кивали с большим сочувствием, некоторые молчали, не зная, что сказать, только Эйлер откровенно смеялся в лицо величавому графу.

Громоздкий Бильфингер, пригладив растрепавшиеся на сквозняке волосы, парика он принципиально не носил, повернулся в сторону Шумахера.

— Сознайтесь, уважаемый, это ваш новый трюк?

Шумахер встал, во гневе уронил соусницу на бархатные панталоны, пытался урезонить Бильфингера. Голоса его не было слышно, потому что академики, забыв о сладком, всю спорили о философском камне.

Бильфингер был куда громогласнее, ведь он, как бывший кузнец, голосом своим лупил словно кувалдой.

— А разве не вы, уважаемый Шумахер, в тысяча семьсот двадцать первом году закупили перпетуум-мобиле, вечный, знаете ли, двигатель? А уж не вас ли хотел за это покойный император сечь кнутом на базарной площади?

Академики всплескивали руками, ужасались, хохотали — все-таки в этой одуряющей невской скуке были и развлечения. А Бильфингер встал напротив Шумахера, хотя соседи и тянули его за полы. Волосы его развевались, усы топорщились, глаза сверкали — недаром находили в нем сходство с царем Петром.

— Но государь простил вас, — он тыкал пальцем в напряженное лицо библиотекариуса. — Простил, на беду российской науке. А теперь вы философским этим камнем государыне хотите ум заморочить?

Тут уже и Рафалович вскочил, распалялся, ища на боку воображаемую шпагу.

— А что, коллеги, — сказал раздумчиво старший из братьев Бернулли, — этот философский камень, ведь в нем



что-то есть! Вы все ученнейшие люди, реалисты, практики науки, но кто из вас осмелится отрицать иррациональное? Кто возьмется объяснить тайну привидений или, скажем, предчувствий, вещей снов? Может быть, в этом все-таки что-то есть?

Разговор принял спокойное направление, спорящие сели. Шумахер позволил себе расслабиться, выпрямил под столом ноги и на что-то странное наткнулся. Он приподнял парчовую скатерть. Там, в тесноте академических тощих ног, пробирался карлик Нулишка, всем известный монстр. Как живой экспонат постоянно обитал он в Кунсткамере и получал там паек.

— Куда это он, плут?

Карлик добрался до ног графа Рафаловича, выглянул из-под скатерти и, удостоверившись, что это именно граф, что-то ему передал или сообщил.

«Вот дела! — подумал Шумахер. — Не успел этот царский граф и недели пробыть в Санктпетербурге, а у него уж тайные связи!»

## 5

— Искупаться бы! — тосковал Максютя, он же корпорал Максим Тузов, унтер-офицер градского батальона. Жара не спадала, суконный мундир жег измученное тело.

Но принцы не возвращались, и вся челядь, нужная и ненужная, не смела расходиться.

Ждал и Шумахер, от нечего делать перебирал счета и накладные. Дай бог, чтобы государыня, обрадовавшись вновь обретенным родичам своим, пожаловала бы им какой-нибудь дворец, а Кикины сии палаты оставила для науки. Шумахер с утра успел уже и к президенту Блуменросту слетать, авось он шепнет ей на благосклонное ушко.

Ах эти принцы! Лет двадцать тому назад в Россию кого-нибудь путного калачом было не заманить. Считалась эта страна дикой, хуже, чем Америка. Но как только выросший колосс петровской империи замаячил на перекрестках мировой политики — и едут, и идут, и плывут в новооснованную столицу.

Тем более что сама-то владычица, Екатерина Первая, в прошлом — сирота, портомоя. А вот сочеталась же с династией византийской и дочерей желает видеть за отпры-



сками знатнейших домов Европы. Потому и едут, и плывут, и чуть не летят.

Когда в 1723 году покойный Петр Алексеевич повелел короновать жену императорским венцом, в манифестах было объявлено — родитель царицы сей есть не кто иной, как обедневший шляхтич литовский — Самуил Скавронский. И как-нибудь иначе российскому обывателю не то что говорить, а и думать было заказано.

При обращении в православную веру дочь Скавронского, Марта, была наречена Екатериной Алексеевной. Сказывалось официально, что государь увидел ее воспитанницей в доме благочестивого лютеранского пастора и взял в жены.

Но говорит народ, не умолкает, а народу на роток не накинешь платок,— и про некоего шведского трубача, и про другого шведа, и про третьего. И про фельдмаршала Шереметева, которому она, та Марта, портки стирала. А паче всего говорят про светлейшего князя Меншикова... И все те люди будто бы сироту Марту пригревали.

Что сирота? Она подобна ягоде землянике — кто ни наклонится, всяк щипнет.

Рассказывал как-то один Шумахеров приятель из герольдмейстерской канцелярии, который за рюмку доброго шнапса может любую новость преподнести. Будто покойному Петру Алексеевичу донесли однажды, что в Лифляндии некий мужик похваляется, что он-де самому царю сродственник, потому что его, мужика, родная сестра есть царева жена. И взяли того мужика и допросили строго, хотя без членовредительства. И мужик тот назвался Карлом Самойловичем и показал, что, когда была шведская война и погром и разорение, он сам, малолетний, и его братья и сестры разбежались кто куда. А более ничего показать не смог.

Тогда, не сказав жене и единого слова, царь устроил ей с тем Карлом Самойловичем внезапную встречу. И царица брата своего без малейшей запинки признала, хотя прошло столько лет!

И все же не торопился признавать своих новых родственников Петр Алексеевич, не спешил приближать. То ли уж шибко были неказисты, то ли в собственной жене он был как-то не очень уверен.

Шумахер вздрогнул и оглянулся, как будто кто-то мог узнать его тайные мысли. Но в кураторском высоком ка-

бинете было, как всегда, сумрачно и тихо, размеренно шли гамбургские напольные часы.

После же кончины любимого супруга, поосмотревшись да пообвыкнув, самодержлица Екатерина Алексеевна взялась за розыск своих близких. И стали прибывать в столицу Скавронские, еще их называют Сквородскими, и Веселевские, и Дуклясы... Каждая вновь являющаяся фамилия претендовала на дворец, и на кошт, и на рабов, а говорят, уж и патенты им заготовлялись на титулы графов или герцогов.

Вот теперь явились Фендриковы или Гендриковы, сами они точно не знали, как их фамилия пишется. Герольдмейстерские доки смогли точно установить только одно — новоявленная принцесса, по имени Христина, есть доподлинная сестра государыни. Спрашивают ее, однако:

— Скажи, ваше сиятельство, как мужа твоего звали, кто он был?

Подумав, она отвечает:

— Фендрик.

— Так ведь это слово немецкое, и означает оно — прапорщик. Это, видимо, его звание. А ты скажи уж нам, ваше сиятельство, каково было его христианское имя?

Но на это ответить она не умеет.

— Так, может, его звали Генрих?

— Точно так, — отвечает, — Гендрик.

— Так как же все-таки — Фендрик или Гендрик?

На это она опять пожимает плечами.

— А как вы в семье-то его звали?

— Никак, — удивляется она. — А зачем было его звать? Мужик и он и есть мужик. Ежели надо позвать, так и звали — мужик!

Сама Христина на границе Лифляндии имела корчму, сиречь постоялый двор, немалые имела дивиденды. Однако, получив призыв сестры-царицы брать детей и ехать в Санктпетербург, она нарядила всю свою семью в невозможные лохмотья.

— Матушка! — сказал ей рижский губернатор, обозревая перед посадкой в императорские кареты. — В таком виде ехать невозможно. Вот изволь видеть — мы заготовили тебе платье-роброн, серебряной парчи ушло четырнадцать фунтов, вот сыновьям твоим шитые кафтаны от лучших ревельских портных...

Переодевшись после долгих уговоров, Христина лохмотья тщательно собрала и в узелок завязала, и всюду

с собой носила, под подушку клала. Пока однажды узелок от ветхости не лопнул, и из него дождем посыпались и алмазы, и жемчужины, и монеты золотые...

— Хо-хо-хо! — смеялись слушатели, хотя не без некоторого почтения. Еще бы! Вот что значит господин его величество случай! Наливали герольдмейстерскому канцеляристу еще рюмочку и просили: — Ну, еще чего-нибудь!

И Шумахеров приятель продолжал.

В Ревеле при посадке на санктпетербургский корабль требовалось заполнить шкиперский журнал.

— Как, ваше сиятельство, твоих принцев-то звать?

— А зачем вам? — насторожилась Христина. Ей памятно были порядки при шведах — тогда раз имя в реестр впишут, считай, что забрит в драгуны.

— Ну, вот видишь, ваше сиятельство, порядок такой...

— Незачем, — отвечала она категорически. — Бог знает, а вам ни к чему.

— А скажи тогда, ваше сиятельство, сколько твоим принцам лет?

— Старшенькому поболее, меньшенькому поменее.

И весь ответ.

Старшенький принц был еще ничего — с утра, еле надев портки, выпивал ковшик водки, но рассуждал разумно. Младшенький же, как говорится, был совсем богом обижен, или, как называет сей случай медицина, — деменция имбецилис.

Дойдя до этих мыслей, Шумахер поправил пальцем накрахмаленное жабо на потной шее. А как утром в первый день проснувшиеся принцы с изумлением рассматривали уродов и скелетов, которые их окружали! Наверное, станут просить у царицы другой дворец. А Христина все ахала и спрашивала: сколько вот это стоит, а сколько то. И вспомнилось вдруг, что, спускаясь по лестнице, чтобы ехать ко двору, Христина увидела под ногами на ступенях какую-то блестящую штучку. Она вся извернулась в своих негнущихся робронах, а штучку ту подняла и спрятала за корсаж.

Шумахер встрепнулся от внезапной догадки. Да это же и есть философский камень! Она его подняла!

Он сначала отверг это предположение, потом подумал: почему бы и нет? Христина по своей первобытности едва ли понимает истинную цену находки.

Сердце зашло от предвкушения удачи. Но дело это

тонкое, тонкое и придворное, как бы не опростоволоситься с ним, как с перпетуумом-мобиле.

За окном послышался стук копыт, окрик часового. Вошел Максим Тузов, доложил:

— Фельдъегерь от государыни. Принцем Гендриковым пожалован дворец. Указано: пожитки их собрать и в великом бережении туда отправить.

Шумахер снял парик и принялся обтирать потную лысину.

## 6

Если встать на балюстраде возле Кикиных палат, с возвышенности видна вся округа.

За рощей Нева катит свои спокойные воды. Здесь она делает поворот к морю, и образуется мысок, который в народе зовется Смоляной буян. Там, среди осушенных болот, чернеют вышки Смоляного двора. Его смолокурни день и ночь выбрасывают тяжелый, едкий дым. Если подует ветер с Ладоги, от дыма этого хоть в погреб залезай.

А на бугре, среди молоденького парка, высится, как игрушечка, Смольный дворец. Построен был он царем Петром для младшей дочери, любимицы Елисавет. Там и померанцы в кадучках, и зверинец, и катальные павильоны — чего только нет. Но простолюдину туда путь заказан — стоят усатые преображенцы в медных шишаках.

По санктпетербургской дороге вдоль течения Невыреки тянутся заборы Шпалерного двора. Там хамовницы, вольные и невольные, стучат станками, ткут коврышпалеры и для двора, и для придворных, и просто на продажу. У кромки воды — чертоги цариц и царевен, иные уже заколочены: вымирает петровское семейство. Над лесом возвышается лютеранская кирка, и время от времени слышен заунывный звон ее часов.

А на юге, с солнечной стороны Кикиных палат, как раз насупротив их резного, вычурного крыльца, там русская Канатная слободка. Раскинулись огороды, курятники, бани, амбары по берегам извилистого ручья.

Для изобильного приготовления снастей и канатов, российский флоту потребных, в слободе поселены были знатки пенькового и крутильного искусства, веревочной хитрости, переведенные сюда из других городов. К тому же и смолить ту вервь было здесь подручно — Смоляной двор рядом.

На торфянике строили, били сваи в черную грязь, плодородную землю в лукошках доставляли. Зато теперь там и сады, и огороды, и яблоньки цветут, как где-нибудь в Рязани.

И все равно мертва эта земля, рассуждают старики. Комарье кругом, хлипкая жижа. А болотная сизая марь по вечерам, от которой грудь кашлем заходится и вольная душа изнывает!

Как и весь новооснованный Санктпетербург, слобода была распланирована по линейке. Изб и шалашей разных не строили чтоб — ни-ни! Каждому переведенцу казенными силами дом был выстроен, по чертежу, образцовый. А за дом сей жалованья вычитать следовало двадцать лет.

Но обычаи в казенную, по ранжиру строенную слободу перешли из самой что ни на есть исконной Руси. На качелях качаются, в баньках парятся до изнеможения, песни поют по вечерам.

И на завалинке собираются как на какой-нибудь парламент. Хороша завалинка у образцового дома вдовы Грачевой; защищена и от смоляного дыма едкого, и от солнцепека, а напротив, как раз у мостика через ручей, возвышается блистающий зеркальными окнами Кикин чертог.

Приходит бурмистр, сиречь цеховой староста, по фамилии Данилов, с золоченой цепью во весь живот, поигрывает ключиками от чуланов, где лежит его имущество. Является бездельник карлик Пулишка, который, хотя и монстр, но происхождения дворянского. Присутствует и вдовы той нахлебник, студент Миллер, в жалких очочках, которого никто иначе как Федя не называет. Тут, наконец, и главный закоперщик всяких бесед — отставной драгун Ерофеич, промышлявший трепанием конопли.

Пеший ли, конный ли — все завалинке той пища для рассужденья. Пока идет он или едет, завалинка молча грызет орешки или щелкает тыквенное семя. Следуя мимо, он непременно завалинке всей поклонится, и завалинка обязательно ответит, а у кого есть шляпа или хотя бы трух — приподнимет.

А уж когда путник скроется из виду, тут завалинка даст себе волю — все косточки перемоет.

— Гляньте! — пропищал карлик Нулишка. Таков уж у него был голос пронзительный. — Гляньте! От Кикиных палат уже третий воз с пожитками принцев отъехал.

— Не успели принцами заделаться, уже пожитки возами возят.

— Каждого одень, обуй,—сказал отставной драгун Ерофеич, доставая кiset с табачком.— Да не попростому, по-княжескому.

— Да накорми, да напои!—волновалась завалинка.— А на торжищах-то—шаром покати.

Боязливая вдова охнула из окна своей кухни:

— Ох, господа хорошие, вы говорите, говорите, а до Тайной канцелярии не доведите.

— Кого тут бояться?—взвизгнул Нулишка.— Тут все свои.

— Свои-то свои...—усмехнулся Ерофеич, наскреб в кисете табачку и двумя пальцами засунул в нос.— А как бы не случилось, как в Святогорском монастыре.

— А что случилось в Святогорском монастыре?—воскликнула в один голос завалинка, предвкушая интересный рассказец.

— А там инок Варлаам, отменного жития старец, рассказывал братии, будто царя нашего за рубежом подменили, прислали взамен басурмана. Тот и пошел всем бороды брить, головы сносить. Всех обольстил, только сын его богоданный, царевич, правду ту прознал, за что его басурман мучениям подверг.

Ерофеич сладко зажмурился на заходящее солнце и чихнул, будто из пушки выстрелил, а завалинка ждала продолжения.

— Сам ты басурман,—сказала вдова Грачиха, хотя в своем окошке тоже ждала продолжения.

— При чем тут я?—развел руками Ерофеич.— Так монах тот говорил, за что и поплатился по закону.

— Дальше, дальше!—требовали слушатели.

— А что дальше? Дальше старец тот сказывал, что царь наш подлинный теперь освобожден и едет сюда.

— Брешут!—закричали все в волнении.

— Вот и монахи, те сначала сказали «брешут», а потом крикнули «Слово и дело!»—старца в Преображенский приказ мигом сволокли. И монахов тех в железа обратили, за то что сами дураки и дурака слушали.

— Ай-ай-ай!—соболезнующе вскрикнула вдова Грачиха.

— Значит, что же?—соображал бурмистр Данилов, пока завалинка на все лады перетолковала рассказец Ерофеича.— Значит, по тому старцу выходит, что в соборе

под погребальным покровом лежит и не император настоящий?

Ерофеич не отвечал, он весь напрягся перед очередным чиханием.

— А где же теперь тот доподлинный царь, монах злонамеренный этого не сказывал?

— А доподлинный царь,— сказал Ерофеич, отсморкавшись,— он уже в Санктпетербурге, но до поры скрывает свое обличье. Вроде бы простой обыватель, как любой из нас.

— Может быть, ты и есть тот самый скрывающийся царь?— спросил изумленный Данилов.

— Может быть,— ответил отставной драгун, приосанясь.

— Ну и трепальщик же ты, служивый,— сказал с досадой бурмистр.— Не даром треплешь коноплю.

— Позвольте, герр Иеро-феитч,— обратился студент Миллер, подыскивая русские слова.— Фюр ди виссеншафт нуссен, записать ваш замечательный рассказ для науки...

Ерофеич посмеивался, потряхивая кисетом.

— А вот я...— вскочил Нулишка, показывая всем кулачок.— А вот я захочу и крикну «Слово и дело!» И вас всех тотчас... Всех, всех, всех!

Но не успел договорить, потому что бурмистр Данилов взял его за загривок так, что бедный карлик только хрюкнул.

— А вот я тебя тотчас ногтем раздавлю!

## 7

— Ах, батюшки!— закричала из окна Грачиха.— Моего-то властелина снова под руки ведут!

От санктпетербургской дороги через мостик переезжали дроги, а на них один преображенец в зеленом форменном кафтане поддерживал другого, который валился белокурой головой то направо, то налево.

Завалинка проворно вскочила и разбежалась. Тот же, которого везли, а был он в унтер-офицерском мундире с серебряным галуном, очнулся и, завидев вдову Грачиху, отдал ей честь:

— Здорово, раба, принимай сокола!

Это был ее барин, Евмолп Холявин, лейб-гвардии сержант, совсем еще мальчишка, белобрысый, нахальный

и зубастый, словно жерех. Вдова засуетилась, выбежала навстречу, за ней студент Миллер, всегда добровольный помощник, кому надо услужить. Другой преображенный унтер-офицер, который привез Холявина, смуглый, с волосами до плеч, большими черными глазами, похожий на девушку, увидев Миллера, раскланялся с ним. С помощью кучера и слуги он сдал Евмолпа на руки Грачихи и отъехал восвояси.

— Прощай, брат Кантемир! — кричал ему вслед Холявин и посылал воздушный поцелуй. — Прощай, князенька, российский пиита!

Вдова со студентом ввели подгулявшего лейб-гвардии сержанта в дом, сам бурмистр придержал перед ним распахнутые двери, а тот продолжал балагурить:

— Вот ты, Данилов, хотя ты и златом препоясан, ты знаешь, что такое пиита, вирши, гекзаметр? Нет? Куда тебе, торгаш несчастный!

Оказавшись у лестницы, которая вела к нему в светелку, или, как он любил называть, на антресоли, барин взбунтовался и потребовал «посошок». Вдова вынесла ему чарочку, поклонилась, а он поставил новое требование:

— А кто будет мне чесать пятки? При дворе всем чешут, даже царевнам. Слышь, Грачиха? Пусть дочка твоя немедля придет, Аленка. Разве я ей не господин?

Но через минуту он уже храпел на перине гусяного пуха.

Хотя солнце уже низко стояло над лесом, завалинка сошла вью.

— Досталось тебе, мать моя, — сказал бурмистр, щелкая орешки.

История прачки Грачевой многократно обсуждалась и уже не вызывала лишних разговоров. Вольная дочь приказного писаря, она вышла по любви за переведенца-канатчика. Тогда особенно не разбирались — беглый, не беглый, лишь царю канаты вей. Дом они отстроили — вот этот самый, — родилась Аленка.

Да добрался-таки розыск беглецов и до канатчика Грачева. Явился полицейский ярыжка, предъявил повестку. Оказалось, что Грачев лет тридцать тому назад от кабальной записи уклонился.

Но канатный мастер Грачев уже лежал на смертном одре. Светла его работа гнучая, пыль едкая, марь болотная



санктпетербургская. Казалось бы, что — повыла вдова, и делу конец, сама-то она по рождению вольная.

Ан нет, через малое время прибыл откуда-то из мценских дебрей Евмолп Холявин, недоросль. В полк по протекции поступил. Предъявил права и на грачевский дом, и на все ими нажитое, как на проценты за неуплаты кабалы. Ходил он в контору и там бумагу выправил, что после смерти отца кабальная запись распространяется на дочь. Так вольная Аленка стала крепостной!

— Не повезло тебе, баба,— сочувствовал бурмистр, а вдова то и дело подхватывала в передник набегающую слезу.

— Самой мне что,— говорила прачка.— Я двужильная. Вот к доченьке моей он подбирается, змей! Я уж предлагала, давай, мол, батюшка, поменяем в конторе запись. Пусть я лучше буду твоей крепостной. Он же смеется, бог ему прости. На что, говорит, мне такая страхолюда!

— Как вы сказали?— заинтересовался студент Миллер, доставая записную книжку.— Стра-ко-люда? Что это есть?

Бурмистр стал толковать вдове, что дело поправимое, лишь бы найти Алене человека солидного, в летах, который бы ее выкупил. Вдруг внимание завалинки было отвлечено на другое.

## 8

От Кикиных палат спускался унтер-офицер Тузов. Он был любимец завалинки, хотя некоторые считали его гордецом, который ни с кем компании не водит. Трепальщик Ерофеич, завидев унтер-офицера, вскочил, пристукнул бо-сьми пятками и сделал под козырек.

— А, Максютя!— захихикал карлик Нулишка.— Говорят, ты там философский камень потерял?

Максим хотел взять его за ухо, но карлик извернулся и высунул язык.

— И-и, ярыга несчастный! А правда ли, тебе за то Шумахер каторгу обещал?

Завалинка охнула, а бурмистр, крестясь, воскликнул:

— Проклятый немец!— и тут же извинился перед Миллером, так как он не всех немцев имел в виду, а только прохвоста Шумахера.

— Да что ж он такое, этот философский камень, или

как его там!—воскликнула из своего окна Грачиха.— Ежели из-за него люди в такое неистовство впадают!

Взволнованный студент Миллер вскочил и заговорил что-то на невероятной смеси языков, делая при этом категорический жест рукой, будто что-то отбрасывая, отвергая. Но так как его никто не понял, завалинка продолжала судачить по поводу чудесных свойств философского камня.

Максим Тузов усмехнулся и собрался ступить на первую ступеньку крыльца, как Ерофеич потянул его за полу кафтана.

— Пстой, брат корпорал! Я скажу тебе, где обретається твой камень...

Все умолкли, зная, что Ерофеич что-нибудь отмочит. И правда, он наклонился, сделал круглые глаза.

— Сонька его похитила! Сонька Золотая Ручка!

Все даже руками замахали. Эх, куда хватил! Сонька — разбойница, потатчица, об ней весь Санктпетербург говорит, но чтоб философский камень, да из Кунсткамеры...

— Трепальщик он и есть трепальщик,— сказал пренебрежительно бурмистр, поднимаясь, чтобы идти домой.

Пстой, погоди, народоправец,— не сдавался Ерофеич.— А знаешь ли ты, как та Сонька у светлейшего князя перину с кровати утащила?

Бурмистр не удержался от соблазна, чтобы не сесть на прежнее место. Грачиха даже из дома вышла, присела на ступеньки, а Нулишка чуть не на колени к ней забрался.

— Повстречал как-то Соньку светлейший на самом на Сытном рынке. Говорит, хорошо-де ты, Сонька, воруешь, пока еще мне ни разу не попалась. Вот давай, говорит, с тобой об заклад побьемся, что меня, светлейшего князя, генерал-губернатора и фельдмаршала войск российских, тебе, Соньке, ни за что не обокрасть.

— Ну! — торопили слушатели, пока Ерофеич скреб в своем кисете.

— Вот вам и ну! Сонька князю отвечает: а хочешь, мол, светлейший, я из-под тебя и из-под твоей супруги перину выкраду целиком? Светлейший тут сильно смеялся, потому что дворец его, что на Васильевском острове, сами знаете, в семь рядов клеветами окружен. А Сонька ночью оделась трубочистом — порточки такие узенькие, черная шляпа, кочерга — и через камин явилась прямо в покой. Видит, на господской кухне кувшин стоит

с квашней, наутро тесто делать, князю, хе-хе, пирожки печь.

Пока он заправлялся понюшкой, завалинка трепетала от страха и любопытства.

— Ту квашню,— продолжал Ерофеич, еще понизив голос,— Сонька взяла и вылила князю и княгине в постель, а сама до поры спряталась. Вот пополуночи светлейший проснулся да с испугу перину ту самолично в окно выбросил, а там Сонька со своими татями — и была такова.

— Сказка! — заключил, отсмеявшись, бурмистр Данилов.

— Да ей-же-богу! — не сдавался Ерофеич. — А вот, послушай, был некогда откупщик, фамилия его Чистоплясов.

— Как же! — подтвердил Данилов. — Кровопийца известный, деньги в рост давал. Ни вдовы не жалел, ни сироты.

— Точно! — поднял палец Ерофеич. — А знаете, через что он умер? опять же через Соньку.

— Ну уж, поди ты прочь, это уж чепуха! — Бурмистр даже отвернулся.

— Ан не чепуха! Слушай-ка лучше, господин слободоначальник. Прознала как-то Сонька через своих сообщников, а у нее они везде, что в некоем кабаке тот откупщик хвастался, будто у него на сеновале кубышка спрятана, а в ней — миллион!

Вдова Грачиха изумленно ойкнула, остальные зачарованно молчали.

— Забралась она к нему на сеновал, а тут, как назло, сам откупщик дверь отмыкает, проведать свое сокровище пришел.

Последний луч солнца угас за далеким шпилем Адмиралтейства. В церквах звонили ко всеобщей.

— А, Сонька,— продолжал Ерофеич,— Сонька не растерялась, во, бой-баба! Видит, в углу коса, та самая, которой луга косят. Взяла ее в руку, зубы оскалила, точно как наш преображенный сержант, господин Холявин. Молвит Чистоплясову: «Разве ты меня не признал? Глянь-ка попроворнее — я ведь смерть твоя, за тобой пришла. Сейчас косою тебя вжик!» И повалился замертво тот откупщик, сердце его таковых речей не вынесло.

— А Сонька?

— Что Сонька? Сонька кубышку под мышку — и ищи ветра в поле.

— А миллион?

— Деньги те Сонька бедным раздала. На что ей деньги? С нее хватит росой умыться, из ключа напиться.

## 9

Сбросив ремень и португею, Максюта опустился на скамью. Свеча чадила, но не было сил встать, поправить. Голова гудела, как пчелиный рой.

Подобно тени появился в горнице сожитель — студент Миллер. Деликатно направился в свой угол, где прямо на куче книг была приготовлена ему постель. Максюта подобрал его, выброшенного драгунами, среди разоренных коллекций и поместил к себе.

Максим Тузов неплохо говорил по-немецки, объясняя это так:

— Три года стоял с гарнизоном в Померании. Была там немочка одна. Проси, говорит, у своего начальства отставку. У меня, говорит, есть сбережения, купим мельницу и заживем.

— И что? — спросил Миллер.

— Что видишь, милый Федя. Служил семь лет, а выслужил семь реп.

— И об офицерской перевязи уже не мечтаешь?

— Теперь войны нет, — усмехнулся Максюта. — Никого не убивают, в полках вакансий не образуется. А недорослей дворянских понаехало, куда нам с ними тягаться. Остается одно — случай.

— Как это — случай?

— В милость попасть, либо в штаб, либо при начальстве. А то, поднимай выше, при дворе. Как говорит наш Ерофеич, царевне пятки чесать.

— А может, тебе учиться, добрый Максюта, науки изучать?

— Э, брат! Проплясал я свое ученье, на балалаечке проиграл.

— А то давай начнем? — Очки Миллера весело заблестали. — Я тебя буду учить всему, что знаю. Я все-таки магистр Тюбингенского университета, у меня и грамота есть, печать — ух, огромная! А ты станешь меня русскому языку учить.

— Да я же и букв не знаю! — с отчаянием воскликнул корпорал. — Ни русских, ни немецких!

Такой разговор состоялся у них вчера. А сегодня, при

известии о пропаже философского камня, разговоры не шли на ум. Миллер деликатно улегся на свое книжное ложе, вздыхал сочувственно.

— Хоть бы знать,— сказал Максюта,— представить бы себе, что за штука эта — философский камень.

Миллер, не вставая, порывлся рядом, в пирамиде фиолетовых, и они угрожающе поползли на пол. Миллер остановил их движение и выдернул из-под низу какой-то ветхий том.

— Вот, Герман Ацилиус Мейендорф, прозванный королем алхимиков! Что он пишет: «... многие считают, камень сей есть подобие золота и платины, даром в надлежащих условиях он сам все металлы приводит в состояние золота. На самом же деле в своей дикой природе он напоминает плод смоковницы или кедровую небольшую шишку...»

— Шишку! — повторил Максюта.

— Да, да, шишку. Слушай, я переведу тебе с латинского языка. «Для того чтобы камень этот проявил свои экстранормальные свойства, необходима определенная космическая ситуация...» Понимаешь?

— Ни черта.

— Постараюсь объяснить. Знаешь, что есть такие астрологи, звездочеты, предсказатели судьбы, которые составляют гороскопы, сиречь таблицы положения небесных тел, от которого зависит, по их мнению, и жизнь и смерть человека?

— Глупости,— сказал Максюта.

— Да, да, и я верю, что глупости. Но, как пишет Герман Ацилиус фон Мейендорф, а он был знаток этого дела, каждый экземпляр философского камня имеет собственный гороскоп, совершенно как человек. И значит, в другой космической ситуации он просто не проявит своих волшебных свойств — посмотришь и скажешь: да это обыкновенная шишка, больше ничего.

Максюта покачал головой — ну и ну! Но, значит, возможно и такое — у каждого человека свой собственный философский камень, который только для него одного волшебный?

Миллер умолк, пораженный мыслью Максюты. Потом заговорил о тайнствах метафизики, о трансцендентных знаниях, об алхимии, давно отвергнутой подлинной наукой.

Максюта его прервал:

— Значит, правду говорят, что оно может превращать в золото? А я-то, дурачок, мечтал, бывало, клад, что ли, найти, чтоб выкупиться у барина...

Миллер, ударяя себя кулаком в грудь, принялся доказывать, что все это сущий бред.

Максюта встал, оправил кафтан, ремни, щелкнул пряжкой.

— Пойду караулы проверю. А ты, брат Федя, что я тебе скажу... Истина или нет — философский камень, для меня сейчас истина одна. По сказке того графа, цесарца, государыня назначила ему аудиенцию через семь дней. Значит, семь дней мне жизни. Семь дней!

— Но где же его тогда искать, где? — горестно восклицал Миллер.

— Вот именно — где? Пойди туда — не знаю куда. Принеси то — не знаю что.

Услышав поговорку, Миллер кинулся за своей нотицбух, но Максюта вышел, плотно притворив за собой дверь.

## 10

Нева, серебряная, словно застывшая, угадывалась за силуэтами деревьев. В безбрежном светлом небе повис серпик месяца. А воздух был глух и насыщен тишиной, которой мешал только далекий брех собак.

Одного часового Максюта обнаружил болтающим с профессорской горничной. Другой, прислонясь к парапету, похрапывал и очнулся, только когда Максюта хотел взять у него мушкет.

Наказывать не хотелось, и он ограничился устными внушениями. Поднялся на левое крыло Кикиных палат, где располагалась Кунсткамера. Гулкые коридоры в рассеянном полуночном свете были неприветливы. Под сводами отдавалось эхо шагов, в углах таились настоороженные тени.

В комнаты, где мерцали позолотой ряды книг, Максюта не пошел. Не умея грамоте, он относился к ним с почтением, любил рассматривать гравюры и красно-черные титульные листы, однако сегодня было не до них.

В большой каморе располагались скелеты, вывезенные царем из Голландии и собранные в витринах в живописные группы. Этим занималась немка Доротейя, числившаяся в Кунсткамере в должности малярши. Она же води-

ла посетителей. Максюта столько раз слышал пояснения Доротеи, что запомнил их наизусть.

«Вот два скелета семимесячных близнецов в трогательных позах у гроба третьего. Один из них,— взгляните, уважаемые посетители,— подносит к лицу искусно препарированные внутренности, как бы вытирая ими слезы, другой же держит в руке кусок артериального сосуда...»

Посетители ужасались, некоторых тошнило и они выбегали наружу, но потом неукоснительно возвращались.

«Пусть смотрят все и знают!»—сказал царь Петр, учреждая сей музей.

С течением времени Максюта привык к этим витринам и даже кивал как знакомому вот этому грустному скелету с искусственным цветком в костяшках пальцев, о котором Доротея сообщала, что это «фройленшкелетте», то есть скелет девушки..

Была глубокая ночь. Максюта не взял с собой караульного фонаря, да он бы и не понадобился. В высокие окна лился призрачный свет небес, полуночная тьма никак не приходила. Бесовская ночь, как говорят в народе!

— Вот так, дорогая фройленшкелетте!—сказал Максюта скелету с искусственным цветком.— Где тут искать философский камень?

В давешней суматохе его могли куда угодно засунуть, вон сколько ларей стоит с мелкими экспонатами! Тут и чучела колибри, и морские звезды, и мамонтовы кости из Сибири.

А вот фигуры монстров, которые еще пару лет тому назад были живы и проживали при Кунсткамере, как теперь живет и тунеядствует карлик Нулишка. Вот чучело уroda двупалого Фомы Игнатьева. А вот осанистый великан Буржуа, любимец Петра. Этот был добропорядочен, трудолюбив, имел семейство. И хотя получал от казны полный кошт, ходил прирабатывать—дрова колол, в лакеи нанимался.

«Где же тут философский камень?»—мысленно обратился к ним Максюта. Монстры безмолвствовали в своих нишах.

Он повернулся, чтобы выйти, и наткнулся на кадку с растением. Это была, по определению той же малярши Доротеи, карликовая сосна «пиния пигмея», с океанских островов. По словам немки, эта сосна была реальным подтверждением того, что существуют где-нибудь миры, где все крохотное—и деревья, и животные, и, естествен-

но, люди. На карликовой сосне всегда красовалась шишечка золотистого цвета.

— Шишка! — грустно усмехнулся Максютя, вспомнив описание философского камня в книге у Миллера. Но и шишка с карликовой сосны теперь тоже куда-то исчезла.

Максюта прошел мимо вытасенных драгунами в ту кошмарную ночь и еще не расставленных по местам огромных стеклянных банок, аквариумов, коробок, рассыпанных коллекций. Эхо его шагов угасало под сводами. По винтовой служебной лестнице Максютя спустился в самый подвал.

Там уже ощупью он нашел железную дверь, потрогал висячий замок. Он был цел, даже пыль ощущалась под пальцами. Еще бы! Ключ от этого замка висел на шнуре от нательного креста у самого Тузова Максима.

Он, Максим, приступая к службе сей, давал страшную клятву о неразглашении — да не Шумахеру, нет! Самому светлейшему князю, Александру Даниловичу, давал клятву Максим Тузов, и тот ему все показал, что находится за этой страшной дверью.

Там, за железной дверью, хранились два объемистых стеклянных сосуда, и в каждом по отрубленной голове. В одном — царской фрейлины Марии Гамильтон, в другом — камер-юнкера Монса. За что их, господи прости? И христианское погребение несчастным теперь невозможно, ибо без голов какое же вечное упокоение?

А еще хранится там некий свинцовый ящик, государственной печатью запечатан, длинный, словно гроб. Про ящик тот даже сам светлейший ничего Тузову не объяснил, вручая караул. Рукою княжеской махнул и лицо свое прикрыл фуляровым платком.

И никто, даже Шумахер, не знает, что хранится за сей железной дверью. Зато Шумахер и злобствует на Тузова, очень не любит библиотекариус, чтобы кто-то в чем-то его превосходил. Лишь в народе говорят, что в свинцовом ящике лежит изувеченное тело царского сына, царевича Алексея, вместо него же погребен в соборе похожий на него солдат. А что сокрыт тот ящик в Кунсткамере, того и народ не знает.

Пойти бы к светлейшему, пасть в ноги, поведать об этом дурачком философском камне. Да нет вот его, светлейшего, в Курляндии он, говорят, герцогского престола себе домогается. Мало ему российской власти и почестей различных.



Максюта вышел на крыльцо Кикиных палат, вдохнул речного ветра, поднял лицо к светлому небу. Часы на лютеранской кирке пробили час.

## 11

Когда Максютя спустился в мирно спящую слободку, он заметил на крыльце вдовы Грачихи белую тень. За резной балясиной кто-то кого-то ожидал.

Максюта отлично знал, что ждут именно его. Конечно же, это Аленка, дочь старой Грачихи.

А началось зимой, когда он прибыл, чтобы возглавить охрану Кикиных палат. Как это было? После войны служил он в Рогервике, где строился порт для нового Балтийского флота. Но сидела в нем пуля еще после померанских походов, лекаря так и не сумели ее вынуть. Полковой командир хотел сначала его вообще списать в инвалиды, но пожалел за всегдашнюю расторопность.

По его протекции вызвали Тузова в Санктпетербург. Там шла раздача должностей — кому питейный двор, кому почтовую станцию. Короче говоря, каждому свой магарыч.

Раздатчиком был племянник самого генерал-адмирала Апраксина, от этакого кита гривенником не отделаешься. Максютя же вообще сплоховал, явился на раздачу только с поклоном.

Младший Апраксин кривенько так улыбнулся, оглядел бегло фигуру Тузова, говорит:

— Очень ты, братец, похож на одного моего ученого знакомого, тоже вылитый Аристотель. Пошлю-ка я тебя на службу в науку, в Кунсткамеру академическую. В тех палатах, смотрел я недавно, чудес видимо-невидимо. Чучела всякие, уродцы засушенные — вот с них тебе будет добрый магарыч...

Подписывая новое назначение, добавил:

— Впрочем, там по царскому указу отпускается вино, нарочито для тех, кои осмотреть похощут. Гляди ты мне, Тузов! Воровать у казны есть большая провинность!

Так и явился на постой к вдове Грачевой корпорал Тузов. И в первую же ночь услышал: «Ратуйте, добрые люди!» И, выбежав в сени, увидел, как подвыпивший барин, Евмолп Холявин, ухватил за косу хозяйскую дочь, а вдова мечется с иконою в руках. Канатная слободка на эти сце-

ны взирала с интересом, но вмешиваться — упаси бог! Дело барское, дело холопское.

Максюта, еле надев кафтан, взял барина за запястье. Евмоли тотчас выпустил косу девушки, а сам от боли даже присел, заохал.

Освободившись от Максютовой хватки, он кинулся в светелку и выскочил оттуда со шпагой.

— Брось клинок, сержант, брось,— сказал ему Максюта.— Я не дворянин, на поединок не могу быть вызываем.

— Господин корпорал! — кипел Холявин.

— Господин лейб-гвардии унтер-офицер! — в тон ему отвечал Максюта.— Пользоваться шпагой имеют право только штаб- и обер-офицеры!

Холявин швырнул шпагу за печку и вернулся на свои антресоли, где он поддал хозяйского кота так, что кот завыл белугой. «Желторотик! — думал Максим.— У меня же не только пуля в ноге, но и две боевые медали. Впрочем, в твои годы я тоже был таким. Ничего, перемелется — мука будет!»

С той ночи, однако, барин Алену не трогал.

И вот она ожидала Максюту светлой ночью на родительском крылечке.

— Здравствуйте, доброго вечера вам, пожалуйста в дом! — поклонилась она так, что коса упала до самого пола.— Милости просим, Максим Петрович, не угодно ли вот на лавочке отдохнуть?

Но он не расположен был на крылечке сидеть, как это делает слободская молодежь. Максюта и себя за молодежь не считал — уже под тридцать. Да и голова гудела от прожитого дня!

Вежливо ответил на поклон Алены, прошел в сени. Она несла за ним свечу.

— Не угодно ли умыться? Я подам.

— Умыться — это пожалуй,— сказал Максим, снимая кафтан и засучивая рукава рубахи.

Лилась ласковая вода, трепыхался домашний свет свечи — давным-давно у Максюты не было родного дома. И девушка милая тянулась к нему. И он это чувствовал — не чурбан же! Но сознательно старался быть с нею только вежлив — не боле. Не время, не время Тузову заводить семью, к тому же она холопка, крепостная, и он — солдат подневольный. К чему плодить рабов!

А она все заглядывала ему в лицо.

— Я знаю вашу беду, Максим Петрович. Не отвер-

гайте помощи моей! Я девчонка совсем еще малая, но я знаю, как вам помочь.

Максим опять от нее отодвинулся. А она, оглянувшись на дверь, по которой ходили тени от пламени свечи, приблизилась.

— Хотите знать, кто взял тот диковинный камень?

Максюта молча смотрел в ее преданные глаза. Минуты летели как вечность.

— Ну кто же, кто? Если знаешь, говори.

— Сонька взяла. Золотая Ручка.

Максюта чуть не выронил полотенце. А она кивала, блестя глазами,— да, да, я знаю, как вам помочь.

За рекой на Охте пели петухи.

## Глава вторая ГОГ И МАГОГ

### 1

— Эй, Константиныч!— Бурмистр Данилов перегнулся через перила строящегося трехпалубного линейного корабля «Сорок мучеников».— Чтой-то ты к нам на верфь пожаловал? Не хотят ли тебя адмиралтейским начальником сделать?

Тот, кому он кричал, остановился, всматриваясь в ослепительный блеск взошедшего солнца. На нем был партикулярный кафтан и круглая добротная шляпа.

Ударила пушка с раската Адмиралтейства, обозначая восход солнца. Будто без нее не видно, что пунцовый шар всплывает над купами деревьев, обещаая жаркий день и безветрие.

Пушка ударила, и работные люди потянулись из землянок и шалашей, зевая и потягиваясь, крестясь на причудливый голландский купол Исаакиевской церкви. Подневольные шли вереницей, стараясь локтями оборониться от докучливых надсмотрщиков.

— Не туда смотришь, Константиныч! — смеялся с палубы бурмистр.— Гляди, шляпу свою боярскую потеряешь.

— Ты, что ли, это, Данилов? — спросил тот, и вправду теряя шляпу и подхватывая ее.— Ты-то что из канатчиков в адмиралтейцы залетел?

— Вызвали за недопоставку,— развел руками Данилов.— Шпицрутены для нас заготовили— ивовые, свежие, да еще в уксусе вымочены.

Тут раздался звук боцманской дудки и лихая команда. Прибыло адмиралтейское начальство. Бурмистр Данилов успел прокричать удаляющемуся приятелю:

--- Нартов! Андрей Константинович! Ты на обратном пути сюда загляни. Мне с тобой ой как надо покалечить!

Вице-адмирал граф Головин с утра, видимо, куда-то к царице нацелился. Был одет не в форменный, а в придворный, расшитый пальметтами кафтан. Вице-адмирал восседал на стульчике, обмахиваясь голландской газеткой. Вокруг переминалась свита в великолепных и столь утомительных для лета париках. Порхал немецкий говорок с глубокими «О, я!» и поминутным «экселенц, экселенц!», что значит—ваше превосходительство. Вызванные подрядчики и поставщики стояли напротив, ждали.

Мимо демонстрационно пронесли корыто с вымоченными розгами.

— А нам на это наплевать,— сказал сквозь зубы подрядчик Чиркин бурмистру Данилову.— Нас царь Петр Алексеевич, случалось, и за уши драл, зато после виктории полтавской в губы целовал.

Граф, не вставая, начал с того, что изъявил всем свой гнев.

Указал на рею, где покачивались веревочные петли. Велел хорошенечко все это обдумать, а сам встал и спустился в кают-компанию. За ним направились вся свита. Вызванные стояли на солнцепеке, ровно перед плахой. Конопатчики в люльках сверху смотрели— что будет.

Вдруг подрядчик Чиркин, кожевенных заводов владелец, ударил картузом об пол и вышел из строя.

— Я полагал, по делу приглашали,— заявил он.— У нас времени нету, подвоз стоит... Нам государыня самолично тысячу рублев...

И направился к наружному трапу.

— Црюк!— закричал на него дежурный.— Куда лезешь, скотина?

Низенький Чиркин даже не взглянул на верзилу. Поставил ногу на ступеньку веревочного трапа и стал спускаться. Трость дежурного так и повисла в воздухе. Купеческая челядь приняла хозяина с бережением, усадила в карету.

Тогда сорвалась с места и вся масса поставщиков и подрядчиков. Кинулись к трапам, зло кричали на вахтенных, пытавшихся задержать. На крик, кудахтая по иноземному, выбежала и свита, а палуба была уже пуста. Конопатчики в люльках, на верху мачт, смеялись не скрывая.

— Вот так-то, Константиныч,— сказал бурмистр Данилов, отыскав в адмиралтейской роще своего знакомого.— И не знаем, что теперь с нами будет за ту ретираду. В железа посадят.

— У!— ответил Нартов, раскуривая трубочку-носогрейку.— Бог не выдаст, свинья не съест.

Они уселись на бревно в тени, возле главной башни Адмиралтейства. Мимо катились тележки с гравием, шагал взвод матросов, торговки волокли жбаны со щами.

— Ему и не до вас, Головину-то,— продолжал Нартов, посасывая трубочку.— У него все мозги в царицыной прихожей, где куется Россия иная, чем при Петре Алексеевиче.

При упоминании покойного императора Нартов достал большой клетчатый платок и вытер им краешки глаз.

— Ты-то зачем сюда приходил?— спросил после некоторого молчания бурмистр Данилов.

— Место новое ищу. Токарню мою надо переносить. Да разве здесь работа? Точат по шаблону балясины для корабельных перил ни уму ни сердцу. Я тебе как-нибудь покажу паникадило для Петропавловского собора, которое я сделал в память о государстве. Вот там выточка— у каждого усика по двенадцать перемен резца.

— А зачем тебе токарню переносить? Тебе еще покойный император сарай пристроил у самого Летнего дворца.

— В том-то и дело, брат, в том-то и дело! Шумно теперь от моих станков при дворце, хлопотно. Сама-то государыня ничего не говорит. Она со мной приветлива: «Как живешь, Нартов?» да «Не болеешь ли, Нартов?» А вот лифляндец треклятый, Левенвольд, красавчик, то и дело гонцов ко мне присылает: «Нельзя ли без скрипа, цесаревна книжку изволят читать...» Без скрипа, с ума сошли! А то раз его высочество, герцог голштинский...

Он не договорил, шумно засосал свою трубку, похлопал по карману, ища кошель с табаком.

— И вообще, скажу я тебе,— нагнулся он к уху бурмистра.— Все кругом пошло в расстройство. Со стороны,

все как и было при покойнике царе. Ан нет, словно опустевший улей, пчелы-то гудят, да все без толку. Матка улетела, и каюк!

— Ну, это ты перехватил, Константиныч! — сказал бурмистр, не любивший опасных разговоров.

— А погляди сам! — Нартов указал на Адмиралтейство.

Там, внутри огромного четырехугольника зданий, располагалась верфь. На каменных эллингах и в деревянных доках высились строящиеся корабли. Пузатые их бока и свисающие снасти, квадратные люки для пушек виднелись везде, куда хватал глаз. Множество людей сновали везде действительно как пчелы или, вернее, как муравьи. Казалось, корабли эти вот-вот покинут верфь и выйдут в море.

— Ан нет! — заговорщически продолжал Нартов. — При Петре Алексеевиче стопушечный корабль строился полтора года, истинный крест! Сорокапушечный фрегат строился год. А все то, что ты сейчас видишь, было заложено еще при нем. И стоят те корабли уже по три, по четыре года, и конца этому никакого не видать!

— Ого-го-о! — вдруг закричал над ними артельщик, вышедший с ватагой крючников. — Отцы, позвольте вас побеспокоить, бревно забрать. Поскольку это и не бревно, а салинг с корабля «Стремительный».

Приятельи поднялись, разминая ноги.

— Дел, брат, у нас, я вижу, срочных нет, — сказал Нартов. — Пойдем-ка лучше ко мне домой, я рядом живу, а ты у меня еще не бывал.

## 2

Молоденькие клены просунули лапчатые листья в раскрытое окно. Зеленый полумрак царил в низенькой горнице.

— Что ж ты, Константиныч, в мазанке такой тесной живешь? — сказал бурмистр, хрустя чесночком. — Тебе же покойный государь вон какую домину отгрохал, в три жилья!

Действительно, перед окошком возвышался дом в три этажа, фасадом на малую улицу Морской слободки.

— Один я, как перст, брат Данилов, — отвечал Нартов. — Судьбы своей не устроил. При Полтаве я при особе государя... Да и потом, все походы и походы... За грани-

цей мы учились, вместе же с тобой в Амстердаме состояли: ты при канатном деле, я при токарном. Вернулся — вновь при государе, а у него ведь был порядок какой? Хоть день, хоть ночь — будь готов предстать по царскому вызову. Куда уж тут семья!

Нартов снова взялся за клетчатый платок и воскликнул:

— Но я не жалею, брат Данилов, не жалею! О, какой это был человек! Точим мы с ним, бывало, на станках, одновременно ему секретарь бумаги докладывает. Тут и война, и посольство, и торговля, и суд, и расправа... И он незамедлительно сии вопросы все решает, не отрываясь от станка. Да как решает!

Прятели покачали головами и выпили за упокой души благодетеля.

— В молодые годы, — продолжал Нартов, набивая трубку, — государь любил сам кузнечить, плотничать. Сила в нем была, сноровка! С годами он все оставил ради токарного дела, но уж какой искусный был токарь! Частенько я думаю об этом, Данилов, а?

Угрюмый слуга, он же кучер, прислуживал, ставя тарелки, будто знаки препинания.

— Смотри-ка! — оживился бурмистр Данилов. — Провизия-то у тебя царская. И балычок, и икорочка!

— Да, да... — сделал приглашающий жест Нартов. — Пока еще при дворе на кошт зачислен. А вот та вдова Грачева и ее дочка, которых ты ко мне прислал...

— Они тебе помогают?

— Погоди, погоди... Помогают, конечно, я просто хотел сказать, что тоже провизии ради... Но об этом потом. Дай мне досказать ту мою мысль.

Он подлил питья, приговаривая, — это, мол, зельице собственноручного настоя. На траве приготовлено, на камчужнице, которая, однако, не по глухomanям собиралась, а здесь, в блистательной столице, по берегам речки Мьи.

Данилов вежливо похваливал, а его приятель, отослав слугу, понизил голос:

— Знаешь, когда я все это понял? На следующий же день после погребения императора нашего. Прихожу я, как обычно, чуть свет в токарную комнату в Зимнем дворце. Смотрю: в прихожей кабинет-секретарь толчется, Макаров, с папкой дел наиважнейших, еще кое-кто... Никого, говорят, в покои не пускают, только по заблаговременно-

му докладу. И Левенвольда смазливая рожа торчит поперец дверей.

Он выпил и горестно махнул рукой.

— А прежде-то, бывало, кто только не шел — и генерал, и подрядчик, и сенатор, и инженер. И всякому свободный доступ был, лишь бы дело с собою нес.

— А дом-то свой чего же все-таки не заселяешь? — опять перебил его бурмистр Данилов.

— Дом! — Нартов поднял обе ладони, как бы желая показать, какова эта обуза. — Дом! Я его пока внайм отдал. Тут по всей Морской слободке, что на большой улице, что на малой, даже на луговине, которая выходит к речке Мойке, везде понаоткрывались вольные дома. Где вином торгуют, где пляшут, где играют в зернь. Иноземцев понаехало — нашествие языков! Прямо как в писании — Гог и Магог! Да и русские, которые живут в Санктпетербурге, все теперь старую московскую чинность за нуднейшую скуку почитают. Подавай им Венецию или Амстердам.

— Так ты отдал свой дом под вертеп какой-нибудь? — изумился Данилов.

— Ну, зачем таково — вертеп! Просто вертоград полнощный. В среднем жилье у них вроде кабака нашего, только зело чище да приятней — музыка играет. В верхних же покоях собираются господа важные — козыри и тузы.

— Эх, брат Константиныч! — опечалился бурмистр. — Я ведь, можно сказать, в одинаковой с тобою юдоли. Правда, я не холостой, а вдовый, зато я и старше тебя. Однако я ни за что не сдал бы своего дома басурманам для устройства подобной мерзости!

— Да там хозяйка-то не простая, — оправдывался Нартов. — Как ей не сдать? Этакая иностранная пава, глазищи словно у жар-птицы. И звание — не то она маркиза, не то даже герцогиня.

И он указал в окошко, где за стеною кленов проглядывал «вертоград», в котором нельзя было заметить ни малейшего движенья. В полуденное пекло небось предпочитают отсыпаться, зато уж вечером — как зажгутся плошки, как застучат поварешки!

— У тебя тут чистоенько, уютно, — вновь вернулся бурмистр к начатому разговору. — Стало быть, хорошо тебе та вдова помогает?

— О! — выразил восторг Нартов. — И дочка с нею приходит. Оглянуться не успеешь, все у них в руках горит.



И посуду вымоют, и снеду приготовят, и половики выбьют. Законная супруга так бы не управилась ретиво.

— А как тебе ее дочка? — спросил бурмистр.

— Аленка-то? — насторожился Нартов.

— Да, Алена. Как она, на твое разуменье?

— Девка кровь с молоком, на все спора, в любом деле за пояс заткнет. Да что она тебе?

Замолкли, занявшись закусками и питьем. На улице солнце перевалило зенит, и в доме напротив загремели посудой.

— Скажу тебе как на исповеди, Андрей Константинович, — признался бурмистр Данилов. — Хочу засватать ее, эту Аленку. Она, правда, кабальная, так я ее выкуплю, у меня кое-что есть.

— Что? — поперхнулся Нартов и стал пить квас. — Что ты сказал?

— Да вот, хотел просить тебя быть мне сватом. К тому же и протекцию ты бы мне оказал при выкупе. У тебя небось знакомство в любой коллегии есть.

Нартов вскочил, бросил рушник на стол.

— Ты что, обалдел, что ли? Повредился на старости лет?

— Ну уж я не такой старый, — миролюбиво возразил бурмистр, чувствуя, что допустил какую-то оплошность. — Другие женятся старше меня. Вон канцлер, граф Головкин, тот совсем уж развалина...

— Ты мне зубы канцлером не заговаривай! — вскричал Нартов.

Тогда бурмистр Данилов понял, что его гостеприимный хозяин сам имеет виды на прачкину дочку. Бурмистр горестно нахлобучил свой капелюш и вышел, не попрощавшись.

### 3

Адмиралтейская пушка не слышна в Канатной слободке, там время меряют по пенью кочетов да по мычанью стада. Звонят еще часы на лютеранской кирке, но там время немецкое, не православное, черт его разберет.

Поэтому граф Рафалович, щелкнув крышкой часов в виде луковицы и взглянув на пустые скамьи аудитории, подумал, что эти студенты опять время перепутали и не явились.

Но тут перед ним предстал похожий на взъерошенного

воробья студент Миллер и объявил, что он явился слушать лекцию.

— А где остальные?

— Другой студент тотчас прибудет. А более никого нету.

— Поразительно! — сказал граф. — Неужели я, признанный авторитет европейской науки, вынужден буду читать лекцию двоим?

Миллер заученно разъяснил — видимо, приходилось разъяснять уже не в первый раз. Еще покойным государем было предложено иметь при вновь основанной Академии студентов, сиречь элевов. И каждый академик обязан был читать сим элевам лекции в меру своего разумения. И некоторое число элевов уже были приписаны к Академии и получали денежное вознаграждение и приличный кошт. Однако за пьянство и предрозостное их поведение...

— Позвольте, сударь, — остановил его Рафалович. — Мне недосуг выслушивать пространные выдержки из казенных реляций. Но вы-то, вы-то! Вы же европеец и должны понимать, что этому названья нет!

— Как угодно, — поклонился Миллер и направился к скамьям.

— А вы, сударь, каким образом студент? Ведь у вас же, я слышал, есть уже диплом Тюбингенского университета?

Миллер вновь казенным голосом разъяснил, что за неимением подготовленных элевов русского происхождения решено было нанять студентов за границей, как и профессоров для преподавания им. Однако было поручено это библиотекарису Шумахеру...

— Не говорите дурного о моем высокоученном друге! — воскликнул граф, хотя Миллер не успел сказать о нем вообще ничего.

— Как угодно, — вновь повернулся, чтоб уйти, Миллер.

— Стойте, стойте! — удержал его граф. — Каждый день здесь, в России, я узнаю о ней столько поразительно-го, о чем наша бедная Европа и не подозревает. Говорите!

— Контракты с нами в Европе были заключены как со студентами, но дело тянулось многие годы, и мы успели закончить свои университеты. Прибыв в Санктпетербург, господа Эйлер, Гмелин, Гросс и некоторые другие, предъявив свои дипломы, были переведены в профессора...

— А вы, вы, бедный мой Миллер?



— А я маленький ростом, мне велено подрасти.

— Шутите! Скажите лучше, как ваше студенческое звание согласуется с понятием академической чести? Не могу вас, приехавших в Россию, понять, не могу!

— Оклады даются приличные,— замылся Миллер.— К тому же здесь и выдвинуться можно быстрее, чем в Германии, где последний герцогский капрал значит больше, чем самый именитый академик. В России же, несмотря ни на что, уважают людей науки.

— Значит, вы студент, господин Миллер?

— Да, я студент.

— Тогда чему вы учитесь, студент с дипломом магистра, в этой неграмотной, страшной России?

— Я учусь России,— ответил Миллер.

— М-да...— не нашелся что сказать граф Рафалович.

Из прихожей послышался шум шагов. Вошел молодой человек, смуглый, с черными внимательными глазами, пластичностью манер напоминавший переодетую девушку в своем унтер-офицерском преображенском мундире. Слуги несли за ним портфель, глобус и подушечку, чтобы класть на жесткую скамью.

— Князь Антиох Кантемир,— представил его Миллер.— Это студент добровольный, по милостивому соизволению государыни.

Рафалович тотчас залезбил перед князем, заохал. Неужели сын того великого Кантемира, который был господарем молдавским в несчастные дни Прутского похода?

— Господа!— восклицал он, ударяя в ладоши.— Господа! Это поразительно! Два студента— один магистр, другой— принц византийского происхождения. Действительно, такое может случиться только в России! Но читать лекцию— почту за честь!

Но тут выяснилось присутствие в аудитории еще третьего слушателя, и граф спрыгнул с дубовой кафедры, куда он успел уже взгромоздиться со своими конспектами.

Третий слушатель был также военный, но в васьильковом мундире полицейского ведомства и, судя по галунам, унтер-офицер.

— Максим Тузов!— вскочил он перед подходящим к нему графом.— Корпорал градского баталиона. В академическом уставе вечнодостоянная памяти императора Петра Великого указано, что лекции волен слушать

всякий желающий. Я свободен от службы и прошу позволения присутствовать.

Рафалович выслушал его чистую немецкую речь и заволновался.

— О, нет, нет, ни в коем случае. Я буду читать по латыни. К тому же студенты приравняются к офицерам, а вы всего лишь нижний чин. Прошу вас выйти вон.

— Кто это такой, кто это такой? — спрашивал Кантемир у Миллера. — Этот из полиции, он шпион?

— Да нет, — болезненно морщился Миллер. — Он хороший, он наш. Это я сдуру предложил ему на лекции ходить... Он тогда мне ничего не ответил, а теперь пришел...

Тогда Кантемир крикнул графу:

— Оставьте его в покое! Пусть слушает. Действительно, по уставу все лекции общедоступны!

А Миллер обещал сесть с ним рядом и все переводить, что будет непонятно.

Но Рафалович молчал, сопя длинным носом и укладывая конспекты за обшлаг своего кафтана.

Максюта спустился меж рядами пустых скамей и вышел не обернувшись.

Рафалович вновь взобрался на кафедру и услышал, что Миллер что-то вполголоса сказал Кантемиру, а тот засмеялся. Рассерженный граф потребовал повторить вслух.

— Скажи ему, скажи, — подбодрил Кантемир коллегу. — Пора перестать быть трусом.

— Вот вам и ответ, — сказал звонко Миллер и уронил очки. — Вот и ответ, почему среди нас нет русских студентов.

— О! — махнул рукою граф. — Вы его не знаете! Он вор, присвоил мой — увы! — философский камень.

— Читайте лекцию, — потребовал Кантемир.

Рафалович на это ничуть не обиделся, раскрыл потрепаные конспекты и уткнул в них свой аристократический нос.

— Антиквитас рутениорум индестината эст, — начал он высокопарно и гнусаво. — Ин скрипторум сциенцие нон конклюдис... Древность России непостижима, в ученых трудах не описана, источников достоверных не имеет...

Далее граф распространялся о диких скифах, о разбойных роксоланах, о свирепых грабителях гуннах и иных таинственных народах, кои были предками нынешнего российского племени, кои передали ему по наследству все свои черты. Граф усиленно доказывал, что и истории-то,

по существу, у этого скопища нет, а есть нагромождение злодейства. Он тыкал пальцем вниз, как бы пригвождая варваров-русских.

— Не кажется ли тебе,—спросил Кантемир, наклонясь к уху коллеги,—что он так и чешет по той гнусной статейке из «Гамбургских курантов», помнишь, в позапрошлом году?

— Так и чешет, так и чешет!—сокрушенно ответил Миллер.

— Встань и скажи ему,—посоветовал Кантемир.

— Ой, что ты! Он же граф... А моя бедная матушка...

— Ну, тогда гляди, как я этого ретивого скакуна укорочу.

Юный Кантемир встал без позволения и стал поправлять кружевные брыжи под обшлагами форменного кафтана.

— Что такое? —остановил чтение Рафалович.

— Как подданный и слуга ея величества императрицы российской, я не могу здесь слушать такое... Венерабилис доциссима, экстракта коммуниците, то есть ученейший преподаватель, сообщите нам источники всего, что вы тут наговорили.

Рафалович на дубовой кафедре пришел в настоящее неистовство, стукнул кулаком, отчего его модный парик сполз на сторону. Как! Он имеет дипломы двадцати семи ученых корпораций Европы, и нигде еще у него не смели требовать источников!

— Вы затронули честь России! —сказал Кантемир.

— И русского народа!—выкрикнул Миллер, захлебнувшись от собственной храбрости.—Который пока не в состоянии ответить вам достойно на языке науки!

— Да вам то что,—вдруг совершенно спокойно сказал Рафалович, собирая свои конспекты.—Что вам эта Россия, что вам ее народ? Вы же оба для нее чужеземцы!

Он сердито хлопал бумажками, а из-за окна доносились звуки слободского лета — бабы галдели у пруда, били вальками, полоскали белье.

— Мы поможем этому великому народу,—сказал князь Кантемир, сверкнув угольными глазами.—Поможем вырваться из мрака невежества. У него великое сердце; освободившись, он поможет нам.

Солнце еще светило, а царский токарь Нартов, перебравший камчужной настоек, спал сном праведным. Тихо отомкнулась дверь, и в его мазанку вошла Алена Грачева. Прислушавшись к хозяйскому храпу в опочивальне, перекрестилась на огонек лампадки.

Повернулась и позвала кого-то из сеней:

— Заходите, не сомневайтесь. Его теперь и пушкой не разбудишь.

В горницу вступил Максим Тузов, одетый, однако, не в форму, а в какой-то кургузый кафтанчик с чужого плеча.

— Не желаете ли откусать? — предложила Алена.

— Лучше приступим безотлагательно, — ответил Максим.

Но Алена никак не могла уgomониться — да отпейте кваску, да присядьте, передохните.

— К делу! — повторил Максютa. — Мне, милая, семь дней жизни только отпущено, из них, считай, два уже позади.

Тогда Алена подвела его к раскрытому окошку, откуда из-за резной листвы клена был хорошо виден полнощный вертоград.

— Значит, хозяйка его и есть та самая Сонька? — недоверчиво спросил Максютa.

— Не сомневайтесь! Весь Сытный рынок так говорит. А какие у нее на службе монстры! Что ваша Кунсткамера!

Максютa усмехнулся.

— А почему ты думаешь, что философский камень взяла именно она?

— Я уж вам сказывала, что знакома кое с кем из Сонькиных монстров. Они меня все расспрашивали про Кикины палаты. Какая там стража да что там есть...

Максим приподнял треуголку и почесал в затылке.

— Максим Петрович! — Алена засматривала в лицо Максюты. — Послушайте меня! Может быть, мне переговорить для начала с Сонькиной оравой? Там один есть, по прозвищу Весельчак, в гайдуках стоит. Он, конечно, тать татем...

Максютa сделал движение, будто хотел ее остановить, а она схватила его за руку.

— Только вы не сомневайтесь во мне, Максим Петрович! Только не сомневайтесь!

В это мгновение что-то тяжелое упало и покатилося.  
— Хозяин! — встрепенулся Максютя.

Алена тоже вздрогнула, но, заглянув к хозяину, убедилась, что тот по-прежнему во власти сна. Тогда она распахнула дверь в сени. Там повалился и заскулил карлик Нулишка.

— Ах ты, чертенок! — вскричала Алена, хватая его за ухо. — Так это ты роняешь кадушки?

— Отпусти, Аленушка! — выворачивался карлик.

— Поглядите, Максим Петрович! — подтолкнула его Алена. — Ведь он мой жених. Суженый-ряженный! Так и ходит везде за мной, да еще твердит, что он-де не из простого рода, отец его был царем шутов!

— Истинный крест! — божился карлик. — О-ой, больно! Отпусти же!

— Говори, будешь еще за мной таскаться?

— Не буду! — заверил Нулишка.

— Врешь, конечно! Ну, иди!

Почувствовав свободу, карлик исчез. Алена же, поднявшись на цыпочках к самому уху Максима Петровича, принялась ему толковать, как поступить с Сонькиными молодцами.

А Нулишка, таясь за кустами, пересек двор и проник в вертоград, где полным ходом шла подготовка к вечернему действу.

— Ой, Весельчак, беда! — охнул карлик, утыкаясь в живот ливрейному гайдуку огромного роста, который заправлял фонари у подъезда. На спине гайдука был вышит огромный геральдический лев в короне с бубенчиками.

— Что за беда?

— Он здесь, он здесь! — нервничал карлик. — Он идет сюда! Сей минут он будет здесь!

— Да кто он-то? — спросил Весельчак.

Тут начали подъезжать кареты, высаживая господ посетителей. Гости оглядывались на плаксивый писк Нулишки. Весельчак сперва пытался зажать ему рот, потом отпустил подзатыльник и велел спуститься в Ад, там подождать.

На жаргоне вертограда полнощного самое верхнее помещение называлось Рай. Туда допускали самых счастливых. Среднее жилье занимала столовая палата с камином и буфетом резного дуба. Это называлось Чистилище.



Но уж нижний этаж был Ад — сводчатые закоулки и тупички, где пировали те, кто желал уединения.

Там Нулишка и поведал свои страхи собравшимся вокруг него слугам.

— О! Так это тот самый копорале! — сказал с итальянским акцентом слуга по имени Кика. — Тот полицейский унтер-офицер? Отлично, ты его покажешь. Он не уйдет от нас.

Кика играл здесь на клавесине. Это был старый замо-рыш с непомерно длинными руками и пальцами, похожий на птенца летучей мыши. Настоящее имя его было Ламармора, что в Санктпетербурге превратилось в Кикимору, откуда уж и Кика.

— Чего рассуждать? — заявил слоноподобный Весельчак. — В петлю его да в воду.

— Пьяно, пьянissimo! — Кика показал ему нос. — Потише, дорогой! Синьора наказывала тебе, чтоб ты не портил дела пер суо темпераменте... Умерил бы свой пыл!

Слуги заспорили, а карлик повизгивал, предвкушая развлечение. Вдруг из Чистилища прибежал буфетчик.

— Цыцурин идет, Цыцурин!

Спустился господин суровый, будто невыспавшийся навек. Одет он был модно — в кафтанец с завернутыми назад фалдочками, с бриллиантовой брошью. Цыцурин был банкومت, и вся роскошь вертограда зависела от его искусства возбуждать иллюзии игроков.

— По местам! — объявил он.

Все стали расходиться, потому что знали: если Цыцу-рин сложил рот в куриную гузку, шутить с ним нельзя. Весельчак мял в руках треуголку, докладывая ему о сообщении Нулишки.

— И что? — раздраженно спросил Цыцурин. — Полицейский чин к нам жалует на ужин? Так накормите его посытнее, платы не берите, а кланяйтесь пониже.

— Он шпион! — убежденно сказали слуги.

— Э, бросьте! Мне иное нынче спать не дает.

Он поманил пальцем, и слуги стеснились вокруг него.

— Помните, кто был у нас атаманом с самого перво-началу?

— Нетопырь! — вскричали все, переглядываясь.

— Да, да. Нетопырь.

— Разве он жив?

— Жив еще! И вспомнить страшно! — воскликнул Цы-цу-рин. — Сколько я во время оно сребра-злата перевел,

чтобы ноздрички бы его пощадили, вырвали самую малость!

Он даже всхлипнул от прилива чувств.

— Ну и что же Нетопырь?— спросили слуги.

— Был он на каторге в Рогервике, теперь же со всею той каторгой сюда переведен, на Васильевский остров. Кунсткамеру какую-то строят для царицы.

Сверху послушались голоса гостей, требовались услуги.

— По местам!— вновь скомандовал Цыцурин.

— Опять пойдут сборы да поборы,— уходя сказал Весельчак буфетчику.— Ради передач любезному атаману опять последнюю копейку выкладывай!

— Да уж она у тебя последняя!— ответил буфетчик.— С каждого дела львиную долю получаешь!

— Не велит Цыцурин полицейского брать,— с досадой покривился Весельчак.— А с того корпорала хорошенький бы выкуп получил!

Уходивший Цыцурин не расслышал, о чем перешептывались два его клеветы. Однако у него было безошибочное чутье жоака, и он поманил Весельчака в сторону.

— Ты любишь разные самовольства. Так вот, предупреждаю тебя насчет того полицианта. Забыл что ли, как барыня тебя за самоуправство велела в колодец на веревке на всю ночь опустить?

Весельчак состроил обиженную мину, взял жезл мажордома и отправился на свой пост.

## 5

Там они увидели предмет своих переживаний. Максюта был одет в узенький академический кафтанчик, который одолжил ему Миллер. Руки торчали из обшлагов. Все ему здесь было непривычно, и сидел он на краешке стула, озираясь по сторонам.

В пасти огромного камина пылало целое бревно. Поваренок в колпаке поворачивал висящую на цепях тушку барана. На буфетной стойке позванивал хрусталь. Шум голосов создавал ощущение приятной тревоги.

Над буфетом высилась грубая деревянная фигура в зубчатой короне. Это был король Фарабуш, покровитель мореходов. Фигура эта некогда украшала бугшприт португальского купеческого барка. Лет пять тому назад, в одну из осенних ночей, португалец, везя груз соболей

и мамонтова зуба, в Финском заливе налетел на песчаную банку. Пока собирались его снимать, груз оказался растащенным, а судно развалилось под ударами балтийской волны. Так король Фарабуш переселился в буфетный угол Чистилища.

Максюта с изумлением смотрел на желтые бока, отполированные морем и ветрами.

— Сударь! — раздался над его ухом вежливый голос буфетчика. — У нашего подъезда застряла карета. Не можете ли ее вытащить?

С воспитанной в армии готовностью исполнить приказание или просьбу Максюта вышел на крыльцо. Неправдоподобный свет небес без теней равномерно освещал все в природе. И застрявшая карета возле крыльца смотрелась так, будто ее вырезали из бумаги.

Он наклонился, чтобы плечом приподнять облучок кареты, как чьи-то вонючие ладони грубо закрыли его рот. Шею захлестнула петля, и вот уж он понял, что ни дышать, ни кричать больше не может.

Но это с ним уже случалось в урочищах старой Москвы в его далекой юности. Он сжался в пружину, готовую развернуться, стараясь, однако, показаться размякшим, покорившимся. И вдруг выпрямился, отбросив врагов, скинув проклятую петлю. Но тут же десяток рук с удвоенной яростью вцепились в его тело.

Вертоград полнощный сиял огнями в три жилья. Из верхних окон слышалось неторопливое: «Пас!», «Прикупаю!», «Козыри трефы!» Двигались тени, звучала странная музыка, а у крыльца ожесточенно дрались люди, сыпались удары кулаков, слышались ругательства, всхлипы.

Максюте удалось раскидать нападающих — сколько их было? Он побежал огородами, между грядок с укропом стремился к Мойке.

Река Мья, или в просторечии Мойка, в те годы не была проточной. Начинаясь среди болот Царицына луга, она лениво петляла, образуя заводи. Царь Петр повелел прорыть каналы, спустить ржавую воду, а берега укрепить бревнами. Всюду валялись эти бревна.

Максюта бежал по тропинке и слышал за собой настигающий топот: видимо, враги решили с ним покончить. Раненая нога не давала ему бежать скорее. Соображал на бегу, что попадает меж канав и ничего ему не остается, как броситься в вонючую воду.

У берега он круто повернул и побежал вдоль речки, ра-

спугивая диких уток, которые там гнездились. Добежав до старой ивы, склонившейся к воде, он увидел совсем невдалеке мостик, и по этому мостику шли, разговаривая, какие-то прохожие.

Но поворачивать было поздно. Он схватился за корявый ствол ивы, а преследователи вцепились в него. Академический кафтанчик затрещал. «Бедный Миллер!» — подумал Максютя.

Между тем люди, проходившие по мостику, услышали шум схватки.

— Смотрите! — крикнул шедший впереди. — Тут кого-то избивают!

— Брось, Антиох, — отвечали ему товарищи. — В Санктпетербурге вечно кого-нибудь избивают. Лучше досказывай про Остермана!

— Ой, братцы, — не унимался тот. — Здесь пятеро нападают на одного!

— Экий ты рыцарь! — засмеялся один из его спутников, самый высокий, и крикнул нападавшим на Максютю: — Остановитесь! Всем немедленно подойти сюда!

— Ишь командир! — с досадой сказали держащие Максютю. — Ты что, тоже из полиции?

— А вы что, ослепли! Не так темно, чтобы мундиров не видать. Мы преображенцы!

— А нам наплевать! — нагло отвечали ему. — Преображенцы, так и ступайте своей дорогой!

Накинув петлю, они спешили покончить с Максютюй.

— Ах, наплевать? — в один голос вскричали на мостике. — А ну, преображенцы, затронута наша честь!

Вжикнули шпаги, выдираемые из ножен, раздался топот ног. Максютя почувствовал освобождение, жадно глотал воздух.

— Евмолп, не кипятись! — кричали где-то за спиной. — У них ножи!

Но преследователи Максюты боя не приняли, ринулись наутек.

— О-го-го! — смеялись преображенцы. — От тебя, Евмолп, от одного все пятеро разбежались.

— Да это лакеи, — презрительно отвечал тот. — Нет ли лучше кусочка тряпки, руку перевязать?

— Ты ранен?

— Пустяки, царапина. Я вырвал нож у одного татя, который хотел его в жертву свою засадить.

Преображенцы подозвали слуг, следовавших в почти-

тельном отдалении. У них в сумках были все лекарства, необходимые на случай дуэли или потасовки.

— Вас ограбили? — участливо спрашивали освободители.

Максюта все еще обнимал ствол ивы, уткнувшись в шершавую кору. Дрожь его была, хоть он и в боях бывал, и видывал всякое.

— Дайте ему в себя прийти, — говорил самый высокий из преображенцев, горбоносый и с турецкими усами. Он рассматривал кривой нож, вырванный у противника. — А ты, Евмолп, герой настоящий. Прямо Дон Кихот гишпанский, хотя в своей сельской простоте, наверное, ты и не знаешь, кто он есть.

— Лекарство ему! — указал тот на Максюту. — Да побыстрее. Лакрицу или что-нибудь мятное. А насчет Дон Кихота мы тоже кое-что знаем, как он с ветряными мельницами сражался. И все же, господа Кантемиры, скажу по-прежнему: плевал я на все ваши книжки! Не будь я мценский дворянин Евмолп Холявин!

Услышав это имя, Максюту поднял лицо. Перед ним действительно стоял его сосед по домику вдовы Грачевой.

## 6

— Ба, что за встреча! — вскричал Холявин, тоже разглядев, кого он выручил. — Это же не кто иной, как brave корпорал градского баталиона, предмет воздыханий моей служанки!

— Господин Тузов! — воскликнул и Антиох Кантемир, узнав унтер-офицера, которого накануне граф Рафалович выставил с лекции.

Третий преображенец, черноусый как янычар, подумал, что его товарищи встретили доброго приятеля, и поспешил представиться:

— Сербан Кантемир, бездарный старший брат гениального младшего. — Он толкнул Антиоха локтем и захохотал.

— Вот бы знал, кого спасаю, — сказал Евмолп, — вовек бы клинка не вынимал.

— И одет как-то странно... — размышлял Антиох, глядя на порванный миллеровский кафтан. — Неужели правда он шпион и его за это били?

— Хо-хо! — сказал Холявин. — Скорее всего, он с девицей здесь гуляет, оттого чуть вилы в бок и не заработал!

— Оставьте! — провозгласил Сербан, который вдруг почувствовал симпатию к удрученному Максюту.— Шпион! Девицы! Этого не может быть, потому что... потому что... Как это по-русски? Роба у него честная.

— Так не желаете? — предложил Антиох.— Мы дадим вам своих людей, и они проведут вас домой.

— Благодарствуйте,— вымолвил наконец Максюта, отрываясь от дерева.— Но я должен тотчас вернуться в тот вертеп.

— Куда, куда? — воскликнули князя Кантемиры.

— Туда же, куда идем мы,— усмехнулся Холявин.— И я знаю, что ему там надо. Философский камень он там ищет.

— Философский камень!

— Ну да! У нас вся слободка только и говорит, что украденный тот камень надо искать в одном из вольных домов.

— Чушь!

— Для чистой науки, может быть, и чушь. Но для него-то это служба. Шумахер его в Сибирь упечет.

Все принялись обсуждать горестное положение Максюты.

— Ну, любезный Тузов,— сказал Евмолп,— я знал, что ты, братец, хамоват, господского сословия не чтишь. Но что ты еще и глуп, этого, прости, я не знал.

Оба Кантемира схватили его за рукава, прося быть терпимей.

— А что? — продолжал Холявин.— Ну как же не глуп? Идти в логово татей одному, без плана, без страховки? Да и зачем? Надеется увидеть камень тот где-нибудь на буфете, схватить его и бежать? Ха-ха-ха!

Максюта молчал, щупая разорванный шов на боку.

— А ты бы что сделал на его месте? — защищал его Сербан.

Холявин захохотал и отошел в сторону.

— Вот что,— предложил Антиох.— Он же унтер-офицер градского батальона, у них с полицией даже кафтаны одного цвета. Пусть обратится прямо к генерал-полицеймейстеру Девиеру.

— И правда! — поддержал Сербан.

— Никак нельзя! — ответил Максюта.

— Почему?

— Да он же первый ворюга!

Преображенцы усмехнулись.

— Ну,— сказал тогда Антиох,— кому, как не вам, знать особенности вашего прямого шефа? Действительно, что же сам господин Шумахер не обратится в полицейскую канцелярию? Значит, это ему почему-то невыгодно?

Они молчали, не зная, что и предпринять. В Мойке захлебывались лягушки, невский ветер шумел в кронах деревьев, а из вольных домов в Морской слободке доносились музыка и крики.

— Что стоим-то?— подошел Холявин.— Философский этот камень всем головы затмил. Пошли, там уж, наверное, Цыцурин седьмую колоду распечатал!

— Но вам возвращаться туда не стоит.— Антиох положил руку на плечо корпорала.— Теперь они вас просто убьют.

— Да не могут они меня знать!— в отчаянии ответил Максютя.— Не знают они меня! Это какая-нибудь ошибка.

Ему представилось, что колесо судьбы сорвалось с места и мчится невесть куда.

— Пойду, пойду!— упрямо повторял он.

— Ну раз уж так, хочешь пойти под видом моего слуги?— предложил Холявин.— Мы тебя в обиду не дадим.

— Слуги?— насторожился Максютя.— Слуги— никогда.

— Слугой не хочешь?— Холявин смеялся, показывая свои щучьи зубы.— У тебя, как наша бабуса говорила, губа, братец, толста!

— Постой, погоди...— остановил его Антиох.— Тут дело щепетильное. А правда,— обратился он к Максютяе,— в порванном кафтане вам все равно неудобно идти туда... Наденьте-ка ливрею одного из наших слуг, там в ихнем Аду даже комнатка есть для прислуги посетителей.

— Вы поступаете под защиту герба Кантемиров!— пылко вскричал Сербан, распушив свой черный ус.

— Так будет вам лучше,— заключил Антиох.— Эй, Камараш!— подозвал он слугу.— Отдай-ка свой армяк господину, а его одежду прими. Да смотри там за ним, не давай в обиду!

А Сербан предложил маску. Теперь маски были в большой моде, венецианские, черные, с птичьим клювом. Их носили даже в семье. Но от маски решили пока отказаться.

— Хорош, хорош!— хлопнул по спине Максютю Хо-

лявин, когда тот надел княжескую ливрею.— А может, в камердинеры ко мне пойдешь за сходную плату? Здесь в Санктпетербурге наемные слуги дороги, а денщик мне пока еще не положен. Не прачкину же дочь брать в камердинеры, ха-ха-ха!

И они двинулись к вольным домам беспечной гурьбою, за ними двигались слуги, обремененные фляжками, шпагами, масками господ. Позади всех брел Максим Тузов.

— Ну и что Остерман? — теребили товарищи Антиоха.— Продолжай! Что он там еще вытворил при дворе?

Антиох отстал, пошел рядом с задумчивым Максютотой.

— Вы правда не боитесь вновь идти в этот дом?

Максюта шел, ничего не отвечая. Низко пролетела птица, ждала наступления ночи. А ночь так и не приходила, вместо нее в просторах бледного неба выплыл двурогий полумесяц.

## 7

Сэр Клэдьюс Рондо, секретарь английского посольства, ничего так не любил, как аристократический выезд. За годы службы в России ему удалось через бухарских купцов не просто купить, а буквально из-под земли выкопать чистокровных рысаков, стройных, словно спутники Аполлона.

А коляску, легкий фэтон с колесами, огромными и прозрачными, послал ему всесильный случай. Светлейший князь Меншиков заказывал эту коляску в Версале, что недоступно даже для самых могущественных заказчиков, но для светлейшего князя все доступно.

Он готовил этот фэтон для свадьбы старшей дочери с польским князем Сапегой, но, пока фэтон в разобранном виде плыл в Санктпетербург, политическая конъюнктура переменилась. Колесо Фортуны вознесло светлейшего князя на такую высоту (хотя, казалось бы, выше уж и некуда!), что князь замахнулся на другого жениха. И жених тот был великий князь Петр Алексеевич, внук государыни.

Какой уж тут фэтон! Тут подавай выездную карету с императорскими гербами. И сэру Рондо удалось попасть под счастливое настроение светлейшего князя,



хотя светлейший и тут ухитрился извлечь выгоду, продав фазтон дороже, чем он обошелся ему самому.

И теперь, казалось бы, ничто не мешало сэру Клэдьюсу Рондо запрягать в дивную коляску шестерых красавцев, да не так, как делают глупцы русские бояре — цугом, то есть гуськом. Нет, запрягать именно так, как это принято в старой доброй Англии — в три пары, и ездовой чтоб сидел отнюдь не на каждой лошади, как у русских. Чтоб лишь на переднем выносной сидел мальчик-форейтор с мелодичным рожком.

И зашуршали бы колесами по мелкому гравию, а стройные ноги рысаков перемежались бы в размеренном беге.

Однако для полного торжества ему недостает двух обстоятельств, которые иному, незнакомому с аристократической ездой, могут показаться несущественными, но он, гордый Клэдьюс Рондо, отпрыск обедневшей, но знаменитой рыцарской фамилии, не может без них себя счастливым почитать.

И первое то, что он, увы, не посол. И даже не посланник и не полномочный министр. Посол покинул Санктпетербург шесть лет тому назад, в знак протеста против принятия царем Петром императорского титула. С тех пор пустующим сим учреждением, английским посольством, управлял он, Клэдьюс Рондо, эсквайр. С тех пор он сумел понатореть в лабиринтах высокой политики и превратиться из полунущего клерка в преуспевающего дельца.

Но знает отлично сэр Клэдьюс Рондо, резидент, что стоит перемениться политической обстановке, а она теперь меняется весьма своенравно, старая Англия признает русскую монархию императрицей и пришлет в Санктпетербург посла, но это будет, конечно, не он, сэр Рондо, а какой-нибудь одряхлевший потомок герцогских фамилий, успевший надоесть при сент-джеймском дворе.

Второе же обстоятельство вообще невероятно. Оно заключается в том, что в Санктпетербурге негде и некому показывать классическую езду.

Царь Петр основывал столицу свою наподобие любимой им Голландии, Амстердама, где в коляске шестериком тоже не накатаешься — всюду каналы и каналы. То же и в Санктпетербурге — либо уже каналы прорыты, либо, что еще хуже, роются. Везде беспорядочные кучи песка да кирпича. А где не роются — там лес стеной стоит. Едешь,

а угрюмые мужики с лопатами шапки хоть и снимают, но глядят как волки.

Но он, сэр Рондо, который чтит себя старым санктпетербуржцем, отыскал себе и здесь хоть небольшое, но славное место для езды.

Когда солнце клонится к закату и смола на бортах кораблей перестает пузыриться от пекла, распахиваются створки ворот посольского двора и кони английского резидента выкатывают несравненную коляску. Промчавшись мимо публики, которая в масках и с тросточками гуляет возле Исаакия Далматского, вышколенный кучер направляет бег коней вдоль Адмиралтейства. Скорость нарастает, лошади выгибают лебединые шеи, форейтор дует в рожок, будя предвечернюю тишину.

Сэр Рондо удовлетворенно откидывается на подушки, видя, с какой завистью смотрит ему вслед какое-то боярское семейство, которое на пристани усаживается в свою фамильную лодку с гербами.

Прокатив мимо дворцов, коляска возносится на горбик моста через канавку, и сэр Рондо здесь почтительно снимает шляпу. Здесь высокие окна покоев, в которых скончался царь Петр. Бр-р! Сэр Рондо и сейчас содрогается от ужаса, вспоминая, как кричал умирающий император в ту кошмарную зиму, как слышен был в окрестных переулках его отчаянный крик.

Он был, конечно, враг того королевства, которое представлял сэр Рондо. Но это был лев, не чета всем нынешним лисицам, и даже иметь такого врага было почетно.

Сверкая спицами, фазтон катится мимо аккуратных домиков Немецкой слободы, где чинные бюргеры с трубками в зубах спешат встать и поклониться. Вот и огромное поле — Царицын луг, именуемый иногда Марсовым, поскольку там производятся экзерциции и прочие военные ристания.

По краям Царицына луга виднеются хилые домики русских слобод, а посреди высится нелепый мрачный куб, черный амбар, в коем сокрыт Голштинский глобус, одно из чудес новооснованной столицы. Глобус тот, высотой в два человеческих роста, может вращаться, показывать ход небесных светил и прочие трюки, для простодушных русских удивительные.

Подумав так, сэр Рондо улыбается и переводит взгляд в другую сторону, где у слияния Мойки и Фонтанки виден Охотничий павильон, весь в завитушках, похожий не то на

пасхальный кулич с кремом, не то на шкатулочку, в которой дамы прячут свои интимные тайности.

Если вы, однако, полагаете, что сэр Рондо, и его шесть рысаков, и его уважаемый кучер, и его форейтор с рожком, и его негр на запятках,— все это движется, подчиненное только идее себя показать и людей посмотреть, вы заблуждаетесь жестоко. У сверхвеликолепного выезда есть и сверхважная цель. И цель эта — Охотничий домик в самом конце аллея Итальянского сада.

## 8

«Э! Так вот это кто!» — воскликнул про себя сэр Рондо, различив в полутьме павильона джентльмена, который его ожидал. Это был низенький, живенький, учтивый южанин с любопытствующими черными глазками.

Уже давно сэр Рондо получил уведомление по тайным каналам, что к нему прибудет совершенно полномочный, хотя и конфиденциальный представитель короны для дачи особых указаний. А сегодня утром этот уже прибывший конфиденциальный представитель прислал к нему человека с приглашением прибыть для встречи сюда, в Охотничий павильон.

«Вот это кто!» — мысленно улыбался сэр Рондо. Уж этот-то джентльмен был хорошо известен за кулисами политики европейской.

Национальность бы его никто не определил, на всех языках он говорил с одинаковым акцентом. Знали, что у корсиканских контрабандистов он слыл под кличкой Брутти или Бруччи, а при высадке претендента на английский престол был известен как Джонни Раф. В переводе с итальянского «Бруччи» значит жженный, жареный. Везде, где только пахло жареным, объявлялся этот Джонни Раф. Нечего сказать, представителей выбирает себе корона!

После взаимных кратких приветствий осведомились о соблюдении правил конспирации. Граф Рафалович — так он отрекомендовался резиденту — сообщил, что у него паспорт цесарского двора в Вене. Слуг для предосторожности не нанимает, квартирует в Кикиных палатах, сюда пришел пешком.

— Насколько твердо положение правительства в Санктпетербурге? — принялся он ставить вопросы. — Долго ли продержится лифляндская портомоя? Правда

ли, как уверяют шведы, русские готовы Санктпетербург забросить, уйти назад в свою Московию?

«Эк ты горяч! — подумал сэр Рондо. — У тебя приемы, как у записного фехтофальщика или карточного шулера, — поразить, заинтриговать, подчинить...»

Чернокожий слуга сэра Рондо сервировал стол для кофе. Граф Рафалович с важностью принял у него чашечку с дымящимся напитком.

— У нас в Санктпетербурге, — сказал сэр Рондо, специально подчеркивая это «у нас», — амстердамские или гамбургские газеты получают на сороковой день. Пишешь здесь одному государю, а он уж, оказывается, умер, и вместо него другой... Скажите, любезный граф, правда ли, наметилось сближение заклятых врагов — сент-джеймского и версальского дворов? Я понял это по поведению французского посла, который теперь только и твердит, что у Лондона и Парижа общий враг...

Однако эмоциональный Рафалович, по-видимому, не привык, чтобы в разговоре инициативой владел кто-то, а не он. Кивнул в сторону чернокожего камерди-нера.

— Насколько надежен этот третий наш, с позволения сказать, собеседник? Я, знаете ли, в Ганновере троих черномазых перевешал за шпионаж.

Сэр Рондо поставил чашечку на стол. Этого не хватало! Джонни Раф вмешивается в его домашнее хозяйство! Он приказал слуге выйти.

Рафалович тотчас принялся за дело.

Лорд-регент наслышан из наших и иных сообщений, что в России положение вступило, как бы это точнее выразиться... в весьма критическую фазу! Податей будто бы собрать не могут, армию в поле будто бы вывести не решаются. Подметные письма будто бы, мятежи... Особенно нас интересует особа светлейшего князя.

Глазки графа как буравчики впились в лицо сэра Рондо.

Тот даже поежился, поправил огонек свечи.

— Этот Меншиков чувствует свою непрочность, так ли это? — продолжал Рафалович. — Сам стать царем не смеет, рабское прошлое тянет. Кого же он предпочтет себе в покровители, на случай смерти Екатерины? Внука государыни великого князя Петра Алексеевича? Или одну из дочерей Петра? Положение его очень рискованное, ведь

великий князь — сын царевича Алексея, которого казнил царь не без участия Меншикова. Так я говорю?

Но отвечать сэру Рондо не дал, схватил его за плечо. Тень длинноносого лица графа металась по стене, как профиль некоей хищной птицы.

— А допустить на престол одну из дочерей Петра ему еще опаснее, — возвысил он голос. — За их спиною новое дворянство, так называемые «потешные», у них есть тоже много причин быть недовольными светлейшим.

«Что он меня все поучает? — раздраженно думал сэр Рондо. — Лекцию, что ли, читает в своих Кикиных палатах?»

— Меншиков сейчас в Курляндии... — заметил он. — Вы должны знать, что...

Но Рафалович опять не дал ему вставить слово.

— Меншиков надеется занять курляндский престол! — вскричал он, делая такой жест, будто отмахивался от нечистой силы. — Не бывать этому, не бывать! Там живая герцогиня, племянница царя Петра, Анна Иоанновна. По-русски, я слышал, ее зовут «ду-ре-ха». Но как рассчитывает ее спихнуть без нашей помощи?

— Теперь есть личность более сильная, чем Меншиков, — сказал сэр Рондо.

Рафалович тут же прервал словоизвержение и приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать:

— Кто это? Говорите.

— Девиер, санктпетербургский генерал-полицеймейстер.

— Кто он? Откуда? Почему в ваших сообщениях о нем не было ничего?

Но сэру Рондо до смерти претила бесцеремонность и крикливость графа. «Наши лондонские одры окончательно выжили из ума, — думал он с досадой. — Для столь серьезной миссии прислали этакого лошака?» И он вместо ответа задал вопрос сам:

— А скажите, любезный граф, зачем вам надо было придумывать историю с этим философским камнем?

Рафалович ничуть не удивился этому вопросу и ничуть не обиделся. Он перестал метаться по павильону и уселся напротив.

— У меня уж, извините, такая манера, — спокойно сказал он. — Намутить воды, всех сбить с толку... Да и дипломы академические, признаюсь вам как коллеге, у меня не

очень-то... А ведь я ехал под личиной завербованного академика, вы не можете не знать.

Сэр Рондо не переставал удивляться — теперь перед ним сидел совершенно другой человек, без малейшей экзальтации, дельный, рассудительный. Нет, пожалуй, его суждение насчет лондонских одров и их выбора было скоропоспешным... Надо быть осторожным!

— Признаюсь вам также,— продолжал Рафалович, принимая с поклоном новую чашечку кофе.— Любитель просто я. Знаете, это так привлекательно — оккультные знания, кабаластика... Верите ли вы, сэр, в трансцендентность?

Сэр Рондо еле удержал в себе тяжкий вздох.

— Какие же вы все-таки, граф, привезли мне инструкции?

— Во-первых, попытаться подкупить светлейшего князя. Говорят, он очень податлив.

Резидент ничего не отвечал, барабанил пальцами по ручке кресла. Меншиков таков — у всех берет, но никому ничего не делает. И английская корона ему уже платила...

— Тогда устранить, убрать, что угодно! — хрипел Рафалович в самое ухо сэра Рондо.— Есть ли у вас при дворе на кого можно положиться?

Граф снова вскочил, замахал кружевами, и тень его от волнующейся свечи теперь напоминала летящего дракона.

— Я привез подробные разработки... Вы должны знать, что Англия и Франция теперь действительно союзники. У нас общий враг — Россия, которая мешает нам на всех дорогах мира. С нами Голландия, Дания, Швеция, Ганновер...

У Рафаловича не хватило пальцев, чтобы перечислить всех врагов России.

— Представьте, сэр, в один прекрасный день в Европе вспыхивает конфликт. Скажем, Дания захватывает Голштинию, вотчину зятя теперешней русской царицы. Соединенный флот всех европейских держав — всем эти выскочки русские смертельно надоели — входит в Финский залив и высаживает десант — где бы вы думали? Прямо в Санктпетербурге!

Он в экстазе порхал посреди павильона, словно некий волосатый Купидон, а затем набросился на сидящего в задумчивости резидента:

— А здесь у вас в Санктпетербурге — ай, вай, вай!

Флот не может собрать экипажей, гвардия не в состоянии выйти из казарм... Ну как? Блестящий ли план? — Он пальцами снял нагар со свечи и закончил:— Альзо! Так!

Сэр Рондо сидел, уставясь в пустую чашечку. План-то блестящий, но уж больно напоминает высадку претендента в 1718 году, когда впервые стал известен Джонни Раф. В каком теперь парижском кабаке доживает тот незадачливый претендент?

Рафалович бросился в кресло и снова превратился в делового чиновника.

— Вы не подумайте, однако, дорогой сэр, что все будет так, э-э, фигурально. Это я только для общей картины, от полноты чувств, так сказать. Я привез с собой подробнейшую диспозицию, кому что делать и как делать...

Внезапно снаружи донеслись истошные крики. Предчувствуя недоброе, сэр Рондо подбежал к окну. За цветными стеклышками павильона нельзя было разобрать ничего. Он кинулся вон, за ним Рафалович.

Мальчик-форейтор, размазывая слезы, доложил, что некий принц Гендриков, царицын родственник, подкрался из-за кустов с приятелями. Они вытолкнули кучера и помчались кататься на лошадях милорда.

Сэр Рондо в отчаянии потерял всю свою английскую степенность. Уж он-то знает этих временщиков, вечно пьяных, с вечно дикими забавами! Прощайте теперь, длинноногие кони, прощай, версальский фаэтон!

Он побежал по аллее, где еще слышалось отдаленное ржание и пьяный хохот. За ним трусил кучер, похожий на обезумевшего Лира, за кучером чернокожий слуга с кофейником, за ними мальчик-форейтор.

Рафалович остался, похотывая и весело потирая ручки. Он уже собирался отбыть втихомолку, как вдруг насторожился. Словно кот, охотящийся на мышей, кинулся в ближний куст и вытащил оттуда человека.

Это был брыкающийся и готовый зареветь карлик Нулишка.

— Черт побери! — закричал граф, встряхивая его за шиворот. — Ежели я тебе даю поручения, это не значит, что ты должен за мной шпионить!

## 9

— Мати пречестная, заступница! А его все нет!

Алена, как говорится, глаза проглядела на дворик

перед нартовской мазанкой. Там всюду сиял огнями вольный дом, обитель короля Фарабуша. Слышался звон посуды, речь на незнакомых языках, музыка, чужая для русского уха. Наигрывал клавесин, Алене нравились его резкие звуки, чем-то похожие на весеннюю капель.

Подкатывали кареты, а по ближнему Адмиралтейскому каналу подплывали лодки, высаживая гостей. Гости были в венецианских масках с клювами и напоминали страшных птиц из какого-то бредового сна. Смотреть на них было ужасно, но она превозмогала себя, потому что Максим Петрович сказал, уходя в тот адский вертеп:

— Жди, я вернусь.

Однако прошло уж много часов, она успела и посуду перемыть, и постирать, и хозяина уgomонить, который не вовремя проснулся. А Максима Петровича все нет, даже голоса его не слышно, и тень его там в окнах не мелькает.

Вот в игорном Раю разгорелась ссора.

— Пардон, мсье, верните карту. У вас должна идти шестерка, а вы кладете девятку бубен.

— Доннерветтер! — ревел простуженный бас. — Ты что в моих картах ночуешь?

Затем следовала брань на осьмнадцать языках, грохот опрокидываемой мебели, душераздирающий визг:

— Держите меня, я проткну этого мерзавца!

А Алена все смотрит, все ждет, облокотясь на жесткий подоконник.

Там в подъезде с двумя вычурными фонарями прохаживается Весельчак. Иногда он открывает стекло фонаря, поправляет плошку и на спине его блестит золотой лев с хищными лапами и в короне. Когда же он поворачивается лицом, виден его узенький лоб и треуголочка, надвинутая на уши.

Сверху выволакивают скандалиста. Весельчак принимает его в свои гайдуцкие объятия, и тот покорно затихает. Весельчак ставит его на ноги.

— Стаканчик! — молит на прощание изгоняемый.

И Весельчак собственноручно подносит ему посошок, благодарит за посещение, потом удаляет с крыльца мощным движением ладони.

И невольно Алена больше ждать — это хуже смерти! Она решительно пересекла двор и встала рядом с могучим гайдуком.

— Ого! — сказал радостно Весельчак, поигрывая булавой. — Это ты?



— Как видишь, я. Слушай, Весельчак...

— Давай поцелуемся для начала!

— Как-нибудь в другой раз,— отстранилась девушка.— Лучше ты пустил бы меня внутрь, смерть как поглядеть хочется.

— Тс-с! — со страхом поднял палец Весельчак.— У нас женщинам воспрещено... Только наша синьора да ее горничная. Но та черна, как дьяволица.

— Весельчак, голубчик! — стала подлизываться Алена.— Я тебе что-нибудь подарю. Хочешь вот, шнурочек витой? Будешь на нем крестик носить.

— На что мне твой шнурочек? Повеситься на нем разве, га-га-га! Давай лучше поцелуемся.

И поскольку Алена пыталась за его спиной проникнуть в дверь, он загородил вход мажордомским жезлом.

— Весельчак, миленький... А как тебя, кстати, зовут?

— Весельчак зовут, как еще.

— Нет, как тебя звали при крещении?

— Что ты, господь с тобой! Иваном я наречен.

— Ванечка, ну пропусти! Мне очень надо!

Но гайдук только крутил своею маленькой головкой.

В это время в Раю случился перерыв, гости спустились подышать свежим воздухом, обсуждали перипетии карточных баталий.

— У меня оставались тройка и валет! — объяснил высокий преображенец, из-под маски которого торчали черные усы.— А он все подваливает и подваливает.

Алена узнала его. Это был князь Кантемир, и его братец, томный и похожий на цыганку, был тут же. Они частенько привозили домой ее подвыпившего барина.

А вот и сам Евмолп Холявин. Снял носатую маску и курит модную коротенькую трубку. Похохатывает, сплевывает, цыкает зубом и вообще являет собой пример самой изысканной публики Санктпетербурга. Алена проворно спряталась за широкую спину гайдука, который спешил выколачивать и снова набивать трубки господам, получая за это грошики и полушки.

— А как наши слуги? — осведомился старший Кантемир.

— Не извольте беспокоиться,— заверил Весельчак.— Они внизу. Им пиво подано и соленые галеты.

Вышел банкомет Цыцурин, оправляя модное жабо. Рядом с князьями почел стоять неудобным, отошел в угол, где обнаружил Алену.

— Ого, девочка! — удивился он. — Что за глазки, что за щечки! Э, Весельчак, амуры тут крутишь? Не знаешь, что ли, запрета? А ну-ка, гони ее отсюда в три шеи!

Но тут на верхнем этаже раздался колокольчик, призывавший к игре, и Цыцурин спешно удалился.

— Что, дождалась? — спросил сумрачно Весельчак.

Алена испуганно притихла.

Выбежал музыкант Кика, вихляя ручками-ножками. Завидев Алену, затараторил по-итальянски. Взял ее за подбородок, прикосновение его показалось ей противным, будто это лапа паука.

Она оттолкнула его так, что с криком: «Ке квеста донна!» (то есть «Что за женщина!») — он врезался в Холявина, а тот отправил его в куст крапивы.

## 10

Лошади цугом подвезли казенную карету с гербами, и на крыльце все стихло — разговоры, смех, итальянская протестующая речь.

С запяток соскочили офицеры, откинули подножку, распахнули дверь. Вышел сухощавый старик в партикулярном сюртуке и венецианской полумаске. За ним два полковника при трехцветных перевязях и при шпагах.

— Батюшки! — вздохнул Весельчак. — Да это же князь Репнин, главнокомандующий гвардией! Разгон учинять игрокам!

— А почему он сам в маске — спросила Алена.

— И точно, — удивился Весельчак. — И не в мундире!

Курившие на крыльце тоже узнали генерал-фельдмаршала, бросили трубки, подтянулись.

Репнин стремительно взошел на крыльцо, сказал, подавляя одышку:

— Преображенские мундиры и здесь играют в открытую. Будто нет законов покойного государя, нет воинских уставов, да и вообще нет ни чести, ни совести.

— А почему бы, ваше высокопревосходительство, — дерзко вставил Евмопп Холявин, — российскому офицеру в свободное от службы время и не поразвлечься? Разве от этого пострадает его воинская честь?

— Эх, — ответил князь Репнин, — молодой человек! Меня самого сюда беда моя привела... Я бы тебе рассказал, как, будучи разжалован государем, я три раза в штыковую рядовым ходил и заслужил прощение собственной

кровью. Мы-то думали о пользе отечества, а от вас только и слышишь — развлечься да развлечься. Э, тебе этого не понять!

— Почему не понять? — продолжал дерзить Холявин, хотя Кантемиры вовсю щипали его за локти. — Разве мы виноваты, что по молодости в боях не бывали? Сегодня в картишки, а завтра, может быть, и в поход пойдем!

— Видел я ваши походы! — махнул рукой князь Репнин. — Как при кончине государя нашего Петра Алексеевича вы, преображенцы, Сенат окружили и заставили возвести на престол царицу, в обход законнейшего наследника, внука государева!

И поскольку адъютанты также щипали его за локти, он к ним обернулся.

— Я правду говорю! Я и при дворе говорю то же самое!

Он овладел собой и, отвернувшись от преображенцев, приказал вызвать хозяйку.

— Синьора в отъезде, — залепетал обомлевший Вельсчак. — Не угодно ли домоправителя?

Спешно вышел Цыцурин. Все, кто был в вертограде, высунулись в окошки.

Генерал-фельдмаршал громко потребовал, чтобы ему тотчас представили его внука, который долг и честь свою забыл за карточным столом. Преображенцы заулыбались и стали подталкивать друг друга.

Цыцурин доложил, что вольные дома и карточные игрища дозволены указом ее императорского величества...

— Знаю! — перебил генерал-фельдмаршал. — Что же касается их сиятельства, молодого князя Николая Репнина, Цыцурин их знать не знает, потому что все высокопоставленные особы — и это отнюдь законом не запрещено — бывают здесь инкогнито и в масках.

Тут Евмоп Холявин опять вмешался не в свое дело:

— Его Сонька взяла с собою кататься на острова.

— Какая Сонька? — спросил князь, а среди публики пошло движение и смехок.

— Какая, какая... — Евмоп нарочито трепал своей маской по ладони, чтобы показать, что он не боится и лицо показывать. — Обыкновенная Сонька!

— Они возвращаются! — закричал из верхнего окна музыкант Кика. — Они с пристани идут!

Взметнулся ветер, шелестя листвою, и все увидели в желтой мгле начинающегося утра идущую по аллее ве-



реницу. Впереди шла дама в кружевной полумаске, ее вел об руку стройный офицер. Оба смеялись, и все им было нипочем. Следом двигалась молодежь, все веселые и возбужденные прогулкой.

Завидев их, Весельчак приосанился и, стукнув булавой об пол, возгласил как протодьякон:

— Их сиятельство маркиза Лена-Зофия Каstellла-франка да Сервейра!

Гости на крыльце задвигались в поклонах, зашаркали. неподвижным оставался только старый Репнин и его адъютанты. Генерал-фельдмаршал позвал драматически:

— Николенька, внук мой, подойди ко мне!

Офицер, шедший с дамой, повернулся, в недоумении смотря на генерал-фельдмаршала под маской. А тот в ярости топнул:

— Оставь эту особу!

Маркиза поспешила разрядить кризисную ситуацию.

— Прощайте, мой верный чичисбей! — Она протянула молодому князю руку, обнаженную до плеча. — Сегодня пора расстаться, но завтра — милости просим!

— Николенька! — с болью выкрикнул старый князь и пошатнулся, полковники спешили его поддержать.

А маркиза, шурша необъятными юбками, поднялась по ступеням, каждого одаряя улыбкой из-за кружевной маски. Она направлялась прямо к генерал-фельдмаршалу так решительно, что адъютанты забеспокоились снова, но старик их отстранил. Подойдя близко, она вдруг улыбнулась ему милой, извинительной улыбкой и проследовала мимо. Достался ее взгляд и Алене, притаившейся за Весельчаком. Будто две черные птицы трепетали в клетках из ресниц. «Вот это да!» — подумала Алена.

Старый князь подхватил внука и отбыл в карете. Маркиза прошла в дом, слышны были ее распоряжения по хозяйству. Вновь бряцал клавесин, заря разливалась по розовеющему небу. «А Максим Петрович, где же Максим Петрович?» — изнывала Алена на опустевшем крыльце.

— Ванечка, — молила она Весельчака. — Ну, Ванечка же...

И когда она пыталась хитростью проскочить в дверь, гайдук взял ее в охапку и отнес в домик Нартова, через двор.

— Сиди, дурочка! — сказал он, запуская ее в горницу. — Как бы не было хуже!

Алена в отчаянии повалилась на лежак. От старого ко-

вра пахло пылью неведомых стран, за стеной похрапывал хозяин. Голова распухла, все тело охватывала дремота.

Она проснулась, когда солнце заливало горницу светом. Нестерпимо сиял золотой обрез киота. Алена кинулась к окну — вертоград был безлюден, в полуденной жаре бродили по двору сонные куры.

Максим Петрович так и сгинул.

И, предчувствуя недоброе, Алена заломила руки, закричала в голос, не стыдясь ни хозяина, ни икон.

## Глава третья

### ГОЛЕНЬКИЙ — ОХ, А ЗА ГОЛЕНЬКИМ — БОГ!

#### 1

Всесильный бог полиции обитает на поросших крапивой берегах речки Мьи, сиречь Мойки, возле мостика, выкрашенного ядовито-зеленой краской, который оттого прозывается Зеленым.

Каждое утро, когда солнце еще сокрыто в туманной мгле, генерал-полицеймейстер Антон Мануйлович Девиер в легкой одноколке пересекает Зеленый мост и останавливается у вычурного фасада полицейского дома.

Каждый раз, выбираясь из коляски, он не может не вспомнить одну и ту же сцену, как с покойным государем в такой же вот коляске они вдвоем подъезжают к этому дому. А мостик, как назло, оказался разломанным. И гневный Петр Алексеевич принялся хлестать вожжами сидящего рядом генерал-полицеймейстера, выбил его из коляски и довершил расправу тростью. А полицейские с трепетом смотрели, как царь за их же недосмотр наказывает их начальника. Затем Петр отбросил палку, взобрался в экипаж и говорит Девиеру: «Садись же, чего стоишь? Едем к тебе домой завтракать!»

Улыбнувшись воспоминаниям, Девиер взошел на крыльцо. Он сам этот полицейский дом строил, сам проверял точность кладки, добротность раствора. Зато в городе и говорят теперь: «Все дома разваливаются, один полицейский дом стоит».

Прежде чем войти в двери, услужливо распахнутые

перед ним, Девиер обернулся на Большую Невскую перспективу, которая стрелой протянулась за Фонтанку. По обочине, поросшей одуванчиками, брели вереницами какие-то люди в рваных сермягах, разглядывали мрачно архитектурные красоты, позванивали кандалами.

— Каторжников ведут,— установил Девиер и вошел в чинную тишину полицейского присутствия. В тишине сей, если прислушаться, слышны голоса из-под спуда — кто-то каночит хлебushка, кто-то упражняется в богохульствах.

— Рыкунов! — крикнул помощника генерал-полицеймейстер, садясь за присутственный стол. Но вместо Рыкунова явился дежурный сотский с опухшей физиономией.

— Изволили захворать давеча их высокоблагородие,— доложил он,— престогокая болезнь пароксизмус! Нонеча же они, господип майор Рыкунов, едва изволил поправиться, выехали из квартиры к Нарвской заставе, готовить дорогу к возвращению ея императорского величества в свой стольный град Санктпетербург! — пристукнул он каблуком.

— Давеча-нонеча! — проворчал Девиер. — Знаю я вашу престогокую болезнь пароксизмус. Отвечай, каторжников что? Переводят со строительства проспекта? Кто разрешил?

— Ночью прибыл фельдъегерь от царицы, привез повеление, чтобы везде, где есть каторжные люди, подневольных сих людей слали бы предостаточно на завершение новых палаг для Кунсткамеры, что на Васильевском на острове, ибо сие для науки весьма потребно!

— Для науки! — проворчал Девиер. — Кикины палаты там кое-кому спать не дают, уж больно хорошо помещение для дворца!

Он положил ладонь на стол, давая понять, что разговор окончен. Дежурный вышел, придерживаясь за притолоку.

Генерал-полицеймейстер отлично понимает, что для новых принцев нужны новые дворцы. И не только для принцев — для новых князей, графов, баронов. Сам может вскоре графом заделаться Российской империи. Патент ему давно заготовлен, да застрял где-то в лабиринтах канцелярий, или просто государыня медлит с подписью. Все-го-то она опасается, всюду она временит — самодержица!

Но, забываясь о принцах, надо и о пользе государствен-

ной думать. Сказать, почему царь покойный Девиера заметил и ввысь над прочими поднял? Потому что для него, Девиера, важнее всего государственный интерес. Петр Алексеевич, бывало, уезжая куда-нибудь из Санктпетербурга, семью, детей поручал именно Девиеру, не кому-нибудь.

Взять крепость во имя Петра и Павла, там ни один бастион не достроен, в Адмиралтействе из семи доков пущены только четыре. При дворе отлично известно, какую паутину ткут послы некоторых держав, а за кромкой ближнего моря маячат паруса иностранных эскадр — то ли высматривают чего-то, то ли чего-то ждут...

Многие ли теперь думают о пользе государственной? Тот же светлейший князь Александр Данилович, как был торгашом-хапугой, так им и остался, при всех чинах и именах. Кстати, он свойственник ближайший Девиера — генерал-полицеймейстер женат на его сестрице. Но Девиер относится к нему трезво — он, светлейший князь, ныне, после кончины царя, действительно первый столп империи, главная опора. Но он же и первый себялюбец: лишь только удалось вопреки боярству на престол посадить вдову, Екатерину Алексеевну, он, Меншиков, отправился в казначейство и там себе в карман нагло положил сто тысяч рублей. Да не медью какой-нибудь, чистейшим золотом! Скажите на милость, с кого теперь остальным-то пример брать?

Или взять генерал-прокурора Пашку Ягужинского, который пуще всех рыдал на гробе государевом. Поглядишь — мудрый как ворон, а на самом деле...

Течение мыслей генерал-полицеймейстера прервал аудитор Курицын, который явился с папкой к докладу.

— Читай! — приказал Девиер.

— Из Ижорской волости сообщают, — начал Курицын, преданно пуча глаза. — Тати совершенно обнаглели, среди дня разбойничают. На одну барыню напали с зажженными лучинами для острастки, барыня от них еле в конопле укрылась. А тати, захватив экипаж, нашли там две банки помады губной и съели, полагая это барским лакомством.

— Команда послана? — спросил Девиер. Впрочем, что команда! При приближении воинских людей тати разбегаются по своим деревням. Сеют себе, пашут, до следующей татьбы.

— А вот из Москвы реляция, — достал бумагу Кури-



цын.— Разбойник князь Лихутьев там на площади казнен, голова взоткнута на кол. Он посылал губернатору дерзостные письма, требуя денег.

— Что нам московские князья! — усмехнулся Девиер. — От своих уgomону не знаем. Про Соньку там есть что-нибудь новенькое?

— Никак нет, — ответил аудитор. — Может, к вечеру придет с рынков что-нибудь.

Сколько себя помнит Антон Мануйлович, генерал-полицеймейстер, а ему уж порядочно за сорок, вечно он в делах, заботах непрестанных. В душевных болячках, как выражается его дражайшая супружница Анна Даниловна.

Это-то и подметил в нем покойный царь Петр Алексеевич, который каждого на три аршина вглубь видел. Различил в нем эту способность вертеться юлой. А произошло это впервые еще в голландских штатах, в Амстердаме, где Антон Девиер, голодный юнга, забавлял шкиперов тем, что за полпфеннига проплывал под днищем корабля. Великий Петр его увидел, отличил среди других, взял в Россию и сделал тем, что он сейчас есть.

Он усмехнулся в тонкий ус, сняв парик, пригладил сидящие курчавые волосы. Бывший юнга, сирота, из тех, которые бежали от португальской инквизиции, теперь одно из первых лиц империи!

Он и силен тем, что среди множества полусонных и коснеющих в лени, он вечно бдит, вечно мыслит и действует.

Пиши! — толкнул он аудитора. — Спишь на ходу, канцелярская крыса? Записывай. Каждому жителю противу своего двора чтоб мостить гладко и устраивать водостоки — таков указ. Еще пиши: на улицах чистота чтоб была. Никакого скаредства и мертвечины отнюдь чтоб не валялось. Далее пиши. Указано, чтоб все торгующие в белых были мундирах, а ночью чтоб повивальные бабки с фонарями ходили наготове, ежели кому нужно родить. Караульщикам теперь платить будем дороже, по пять алтын, но чтоб при крике «Караул!» вспоможение чтоб оказывалось неукоснительно. Поющие же и шумящие на улицах чтоб захватывались и наказывались батогами.

Тут вошел дежурный сотский, желая что-то объявить.

— Сказывай, — позволил Девиер.

— От такусенький... — сотский наклонился, едва не упав, и показал два вершка от пола. — От малюсенький...

- Что так усенький-малюсенький?  
— К вам желают-с... Уединенцию просят-с.  
— Зови.

## 2

Вбежав в присутствие, карлик Нулишка с рыданием повалился на половики. Он обиженно вытягивал губы, щеки были залиты слезами. Курицын и дежурный сотский хотели его поднять, но взглянули на грозного шефа и заторопились выйти вон.

Генерал-полицеймейстер встал, не глядя на рыдающего карлика, достал черепаховую табакерочку, подарок государыни. Табачок был приятный — а ля виолетт, то есть с фиалками. Сделал понюшку, с наслаждением чихнул.

В этом-то и был некий секрет! Чтобы угодить при столь дамском дворе, каким был двор Екатерины Первой, лучше было вообще не пахнуть ничем. Грубиян фельд-маршал князь Голицын — тот вечно припахивал трактиром. Генерал-прокурор Ягужинский, сын дьячка, хотя и граф, пованивал лампадой. Хитрец вице-канцлер Остерман, с его склонностью изображать из себя страдальца, смердил лекарствами.

А красавчик Левенвольд как раз и брал верх при дворе тем, что не имел запахов. Не пил, не курил, табачу не нюхал, жасмином не душился и не пах ничем! Его же, Девьера, один проезжий француз научил — в нюхательный табачок прибавлять мелко тертые фиалки, что и называется — а ля виолетт. И тем самым Девьер самого Левенвольда переплюнул!

— Ну, наревелся? — сказал он карлику строго. — Ты чего сюда пришел? Не помнишь запрета?

— Нулишку обидели, Нулишку побили! — хныкал карлик, одним глазом поглядывая, не смилоствивился ли всесильный полицейский.

Через пень-колоду он сообщил, что кто-то с кем-то встречался давеча в Итальянском саду. Генерал-полицеймейстер его и за шиворот тряс, и квасом поливал из графина, но подробностей не добился. Вот имей такого клеветы!

Утомившись, Девьер вернулся в свое кресло и вновь взялся за табачок а ля виолетт. Карлик продолжал расписывать свои ночные злоключения. Ах, какие там были кони, шестернею попарно!

Генерал-полицеймейстер захлопнул черепаховую та-

бакерочку. Вот это уже факт. Кто же в Санктпетербурге не знает, у кого такой аристократический выезд? Нулишка, шмыгая носом, сбивчиво поведал, что конфидентом в том Охотничьем домике был какой-то академик.

— Морра фуэнтес! — в сердцах произнес Девиер, что в очень приблизительном смысле означало «клянусь мертвецами», и это было единственное выражение, которое он вынес из общества флибустьеров и каперов в той далекой его жизни. — Морра фуэнтес! За что я тебе, лоботрясу, полтину в месяц плачу!

Карлик, утерев нос, поднялся на цыпочки, чтобы быть наравне с ухом генерал-полицеймейстера.

— Дай мне сто пятьдесят рублей, и я тебе такое расскажу!

— Нулишка, ты что? — вымолвил удивленный Девиер.

— Без прозвищ, дядя, — заявил Нулишка. — Я крещен по православному чину.

— М-да!.. — Девиер полез в кармашек за спасительной табакеркой. — Правда, правда... Я же присутствовал при бракосочетании твоего батюшки, царского карлы Иакова. Как же, как же! Тридцать два карла и карлицы, даже поп был подобран карличок. Стало быть, ты Яковлич, а имя как твое?

— А у нас в слободке, — распалялся карлик, — супостат один есть, издеватель. Евмолпий Холявин, гвардии сержант. Так он меня именует знаешь как? Никтон Ничтожевич Пустоместов, вот! Требую его немедленно исказнить!

— Ладно, ладно, — успокаивал Девиер. — Мы до него еще доберемся. Так как же тебя именуют? Вонифатий? Вот и чудненько, Вонифатий Яковлич, вот тебе моя рука.

Многоопытнейший генерал-полицеймейстер знал, что лишнее уважение ничего не стоит, зато сторицей окупается. Взять того же Нулишку, хоть он и числится за Кунсткамерой, но постоянно к царице бегаёт, подачки просит — ведь он ее крестник.

— А ну-ка, уважаемый Вонифатий Яковлич, сядем-ка рядом да поговорим ладком. Так на что тебе нужны те сто пятьдесят рублей?

Через полчаса генерал-полицеймейстер обладал такими сведениями, что еле мог усидеть на месте. Но приходилось изображать из себя барина, разомлевшего от жары и скуки.

— Куриозно ты говоришь, братец,— зевнул он, потягиваясь.— Заходи на будущей неделе, мы все это в тетрадочку запишем и государыне представим, развлечения ради. Что же касается ста пятидесяти рублей, кои ты просишь на выкуп невесты... Почему бы и нет? Я велю казначейскому писчику, чтобы он тебе выдал из сумм, отобранных у разбойников. Только ты впредь веди себя разумно, сюда открыто не суйся, а мне все своевременно передавай, как было у нас условлено. На, лови!

И он, в виде задатка, кинул ему серебряную монету, блеснувшую, будто рыбка.

— Ой, гривенник! — в восторге закричал Нулишка, ловя ее на лету.

И как только он, пробуя монетку на зуб, выскочил за дверь, генерал-полицеймейстер стал скликать своих помощников. Кибитку, коляску, фуру? Нет, шлюпку, и обязательно под тентом! Аудитор Курицын, захватить епанчи и черные полумаски!

Но тут генерал-полицеймейстер заметил, что дежурный сотский, еще покачиваясь от давешнего пароксизмуса, желает что-то доложить.

— Говори, морра фуэнтес!

— От красава... Коса досюда, ух!

— Что красава, коса ух?

— К нам желают-с... Уединенции просят.

Чутье сыщика подсказывало Девиеру, что и эта визитация неспроста.

— Веди!

### 3

Но это была посетительница совсем иного склада. Рослая, действительно с косою ниже пояса, она тщательно вытирала о половик босые ноги.

В присутствии набилось множество чинов — земские старосты, угодные люди, тайные подсылщики. Они подтрунивали над девушкой, спрашивали, из какой кожи у нее подошвы — из яловой или из сафьяна.

Наконец генерал-полицеймейстер, на ходу решив самые срочные дела, велел всем выйти вон.

— Сказывай-ка, красавица,— сказал он, когда дверь захлопнулась за последним из чинов,— ведь это ты невеста академического карлы, которую он хочет выкупить за сто пятьдесят рублей?

— Он все врет! — закричала Алена.

— Вот как? — притворно удивился Девиер. — А я думал, что угадал.

В крайнем возмущении, которое придало ясность ее доводам, она рассказала о внезапном исчезновении господина Тузова, корпорала градского баталиона.

— Не так скоро, не так скоро... — удержал ее Девиер. — Сядь-ка на этот стульчик. Садись, не бойся, это еще не пыточный станок. Да зови меня просто — Антон Мануйлович...

И под его умелым управлением она стала рассказывать обстоятельно — кто есть кто в Кунсткамере, о чем судачат на завалинке, какой-таков вольный дом, где царствует деревянный король Фарабуш.

«А ведь надул меня паршивец карлик, — думал Девиер, поигрывая табакеркой. — Получается, что английского резидента к академику пригласил не кто иной, как сам этот Нулишка. Тот же карлик шпионил за Тузовым и за Аленой, а с какой целью? Только ли из ревности?»

Особенно заинтересовал его рассказ Алены о вольном доме. Подлец карлик, и там он свой человек!

Ниспровергай притоны! Таков был указ царя Петра генерал-полицеймейстеру, и Девиер исполнял его неукоснительно, и не было страшнее ниспровергателя в Санктпетербурге.

Но при новом царствовании и веянии иные. И чуткое ухо Антона Мануйловича их уловило.

Новая столица строилась по образцу и подобию таких мировых скопищ, как Амстердам, Лондон, Лиссабон. Там, где кораблям тесно и они ждуг своей очереди швартоваться, там разноязыкие матросы ватагами шляются по улицам, и что для них главное? Трактиры, ночлежки, кофейни, вертепы разные, игорные дома... Как тут цыкнешь на человека, если он бренчит в кармане вестиндским золотом, которое он желает оставить здесь? И просто желает рассеяться, размягчить свои нервы, задубевшие в нечеловеческом переходе через океан.

Здесь, однако, проявлялись, по крайней мере, три неясных момента, которые смазывали всю картину.

Во-первых, почему Тузов не доложил сразу ему, генерал-полицеймейстеру, как он был обязан к этому присягой? Девиер знал Тузова как офицера точного и исполнительного.

Во-вторых, кто же сей академикус, владелец злополучного камня, и зачем он тайно встречался с английским ми-

лордом? Девиер имел списки всех новопривывших академиком, но кто из них именно утратил камень? И почему не заявил в полицию?

В-третьих, что такое сам философский камень, предмет распри мудрецов? Девиеру по его нелегкой полицейской службе знакомы всяческие ворожеи с гаданьями, кликуши с пророчествами, колдуны с превращениями, но такой диковины он еще не знал.

Тревожило обстоятельство, что академикус тот собирался его государыне преподнести. Ежели так, двор вскоре узнает о его существовании, подлинном или мнимом. И тогда Антон Девиер, сенатор и кавалер ордена Андрея Первозванного, должен знать о нем раньше и больше всех.

А тут и Сонька Золотая Ручка!

Об ней где только не судачат, но даже тайные подсыльщики плечами пожимают. И при дворе о ней заходит речь, а он, он — всесильный бог полиции — отделяется милым анекдотцем!

Но сыщицкое чутье ему подсказывает: здесь не простая татьба, тут поднимай выше! Здесь в один узел может быть завязана и пропажа философского камня, и загадочный академикус, и даже такая, казалось бы, далекая вещь, как внезапное появление британско-датского союзного флота у берегов Эстляндии, о чем сообщали морские дозоры.

Тут большая политика! И политику эту вершить теперь Антону Девиеру, больше некому. Государыня слаба, и век ее недолог. Ромодановский, старый кровосос, волею божьей помре, и преображенный его приказ заплочных дел захирел совершенно. Ушаков, гениальный фискал, после кончины Петра сажает капусту у себя в огороде. Не могут ему простить вельможи его ретивости в искоренении казнокрадства.

Кто же теперь? Только Антон Девиер.

Правда, есть еще светлейший князь, генерал-фельдмаршал, санктпетербургский генерал-губернатор Александр Данилович, его, Девиера, свояк и первое лицо в империи. Но и он на чем-нибудь да споткнется: если не на курляндском герцогстве, то на ста тысячах ефимков, позаимствованных из казны; если не на жителях города Батурина, которых он раздел и по миру пустил, то на великом князе Петре Алексеевиче. Царевич этот — мальчик;

мальчик, а на всеобщего благодетеля косенько так поглядывает!

А что же делать с этой босоногой нимфой в крашенинном платке, повязанном на самые брови, которая только и талдычит свое: «Максим Петрович, Максим Петрович...» Кнудом, что ли, пройтись или так пугануть?

Девиер заправился понюшкой а ля виолетт и, комически сдвинув брови, спросил:

— А может быть, та Сонька полюбила его?

— Кого?

— Да Максима Петровича твоего!

Алена вся обмерла. Эта простая мысль не приходила ей в голову.

— Этого не может быть... Господин полицеймейстер, Антон Мануйлович!..— еле промолвила она.

Девиер усмехнулся и закивал головой.

— Да, да, почему же нет? Сидит себе, наверное, Максим Петрович на своей квартире и пьет остуженный узвар.

— Правда?— Алена с надеждой так и устремилась к генерал-полицеймейстеру.

Эк она обрадовалась тому, что он, может быть, жив! Даже на Соньку рукой махнула. Никто никогда Антона Девиера не любил так, как любит эта русская девушка своего простого парня, который, может быть, и не заслуживает того... И Антону Мануйловичу захотелось улыбнуться ее доверчивому взгляду.

— Ладно, ладно, ступай... Там он, в своей каморке, дома. Я, может быть, и не всеильный полицейский, но уж главный угадчик, это точно!

— Курицын! — крикнул он как можно более зверским тоном, чтобы сбить лирическое настроение.— Чтоб тебя паралик!

Старый служака явился немедленно.

— Кто такая маркиза Лена-Зофия Кастеллафранка да Сервейра?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

— Ой ли? — прищурился Девиер.— К вечеру приготовишь о ней выписку из реестра проживающих. А сейчас свистать всех наверх — едем!

В полдень трое в черных масках постучались в домик Нартова. Царский токарь встретил их в галстук, собрался куда-то ехать.

— Андрей Константинович,— вкрадчиво начал Девиер, когда гости сняли плащи и расселись вокруг подноса с камчужной настойкой.— Кому ты сдаешь свой каменный дом в три жилья?

— Как кому?— удивился Нартов.— Чужестранка одна... Но она сказывала, что полиция... Вот и господин аудитор Курицын...

Девиер мрачно обернулся на Курицына, и у того сделалось лицо шафранового цвета.

— Да я не об этом,— сказал Девиер.— Куриозно знать, почему та маркиза не спешит представиться ко двору? Или кто ей разрешил противу указа вино в своем доме продавать? Тебе твоя квартирантка не сказывала?

Нартов окончательно растерялся. Прижав руки к кружевной груди, стал говорить о новом поручении государыни. У Шумахера вот никак не клеится с обучением российского юношества. По указу блаженный и вечнодостоинная памяти государя Петра Алексеевича...

При упоминании покойного императора чины полиции встали и благоговейно перекрестились.

— Но я же другое...— вежливо перебил хозяина Девиер.

Нартов продолжал твердить, что с квартиранткой своей он и не видится, что и сдавал-то дом не он сам — при этом он с недоумением смотрел на аудитора Курицына,— что станок новый они с академиком Бильфингером придумали.

Генерал-полицеймейстер отпустил Нартова, тем более что его коляска стояла уже готовой во дворе. А сам испросил позволения остаться в его домике с одной чрезвычайно важной целью.

— Понаблюдаем,— сказал он своим спутникам, подходя к окну. После вчерашних событий сегодня что-нибудь да стряется.

За его спиной аудитор Курицын встал на колени, гулко ударил себя в грудь.

— Ваше превосходительство, смилуйтесь!

— Морра фуэнтес!— прорычал Девиер, не оборачи-



ваясь от окна.— Вот этого я не прощаю... Сколько от Со-  
ньки берешь интересу?

А во дворе и вправду начали разворачиваться новые  
события. Пугая разомлевших от жары кур, въехали весь-  
ма расхлябанные дроги.

— Цо-о! Цом-цобара!— покрикивал на лошадей  
возница, похожий на цыгана.

— Ба!— удивился генерал-полицеймейстер.— Весь  
фамильный выезд князей Кантемиров прибыл в Морскую  
слободку. А это кто с ними в белой рубаше, зубастый?

— Евмолпий Холявин,— ответил из-за его спины  
аудитор Курицын.— Преображенского полка сержант.

— Персона!— усмехнулся Девиер. В народе говорят:  
преображенца и в рогоже узнаешь.

— А еще говорят,— доложил Курицын,— самохвалы  
и железные носы.

— Курицын!— строго сказал Девиер.— Не подлизы-  
вайся, прощенья тебе не будет!

— Да ваше превосходительство!— оправдывался Ку-  
рицын.— Это же такие крохи! Даже стыдно было вам до-  
кладывать... Тут все вольные дома на откупе у светлейше-  
го князя, владельцы суть подставные лица.

— Ладно на светлейшего ссылаться,— остановил его  
Девиер.— Знаете, что мне он не по плечу. Преображенцы,  
а за ними слуги, вскочили на крыльцо, стали стучать  
в дверь. В доме— ни движения, занавеска не дрогнула  
на окне.

— Э, брат Сербан!— сказал Холявин.— Что искать  
в полдень потерянное в полночь!

— Но это же долг чести!— с отчаянием в голосе отве-  
тил тот.

— Долг чести?— усмехнулся Евмолп.— Долг чести  
может быть по отношению к человеку благородного про-  
исхождения. К тому же он сам во всем виноват. Небось  
и камень-то себе присвоил!

Темпераментный Сербан даже застонал от несогласия.

— А все карты...— сказал младший Кантемир, кото-  
рый в дверь дубасить с ними не пошел, остался в дрогах,  
раскрыв от солнца зонтик.— Хотите, лучше я вирши про-  
чту, сочинил по сему поводу. «Вся в картах состоит его  
крайняя радость, в тех все жития своего время теряет. Ни-  
же о ином иногда лучшем помышляет, нежели как бы и но-  
чи сделать днем, играя...»

— Молчи, пита несчастный! — погрозил ему Ев-молп.— Не язвы наши раны!

— Боярышня под зонтиком! — рассердился Сербан и вырвал у него зонтик.— А я простить себе не могу, как я мог забыть об этом Тузове!

Он задергал дверь так, что петли ходуном заходили. Эхо разнеслось в полуденной дреме слободки.

Генерал-полицеймейстер в окне нартовского домика, скрытый резной листвою клена, при этом сказал:

— Дело становится интересным,— и устроился по-удобнее.

— Они принимают нас за татей,— предположил Холявин.

Сербан приложил ладони ко рту и объявил отдельно:

— Мы ищем здесь слугу! Кто видел со вчерашнего вечера человека в ливрее Кантемиров?

Вольный дом продолжал безмолвствовать. Окрестные жители, которые сначала вышли на шум, поспешили схорониться, чтоб в свидетели не попасть. Преображенцы сели на ступеньки, задумались.

— Что ж ты, Камараш,— сказал Антиох кучеру,— не берег господина Тузова, как тебе приказали?

Тот вместо ответа покаянно постучал себя кнутовищем по лбу. Сербан снял треуголку, взъерошил мокрые от пота волосы.

— А все проклятый граф Рафалович! — воскликнул он.— Глядь, у него туз пик неизвестно откуда взялся! Я бы ему показал, я бы сорвал у него куш, сотни три! Цесарец окаянный!

— Это вдвойне становится интересным,— сказал себе Девиер.

— Эхма, была не была! — вскричал Холявин, засучив рукава.— А ну, ребята, преображенцы не отступают!

Они нашли слегу, валяющуюся в лопухах, и, подтащив к двери, стали орудовать ею как рычагом.

— Не пора ли вмешаться? — предложил за спиной генерал-полицеймейстера Курицын.

— За Соньку свою боишься? — усмехнулся Девиер.— Погоди!

Не сумев вывернуть дубовую дверь из петель, Холявин и Сербан перехватили слегу как таран. «Ать-два-три!» — ударили.

Тогда дверь распахнулась сама. Там стоял вооруженный шпагой Весельчак, за его спиной теснились слуги.

— Барыня почивать изволят,— объявил Весельчак и даже перевел на неведомый язык: — Дормире, грандире, волонтире. Вечером, судари, приходите и без дреколья-с!

— Прочь с дороги!— заявил распалившийся Холявин.

— Потише, господин,— миролюбиво ответил Весельчак, выдвигая ладонь, огромную, как печная заслонка.

— Не смей прикасаться!— закричал Холявин.— Ты знаешь, кто я?

— Да, да, ты знаешь, кто он?— поддержал его Антиох, который успел забраться вновь на дроги и раскрыть свой зонтик.

И поскольку ладонь Весельчака, словно некий пограничный столб, была отодвинута продвигавшимся Холявиным, лягнула сталь клинков. Рядом с Холявиным встал Сербан. Антиох, как только дело дошло до драки, оставил свой зонтик и кинулся к товарищам, на ходу обнажая шпагу.

— Сейчас станут звать полицию,— сказал встревоженный Курицын.— А что сделаем мы?

— Эти не станут звать полицию,— ответил Девиер, смеясь.— А полиция у них кто? Купленный-перекупленный Курицын?

В сенях полнощного вертепа вовсю звенела сталь.

— Сии противники нам ведомы!— вскричал Холявин, отражая выпад.— Не давеча ли у канала?..

— Оп-па!— Сербан серией ловких маневров загнал в глубь дома громадину гайдука.

— И дерутся по-воровски!— вторил ему Холявин, гоня шпагой сразу двух слуг.

— Сражение переместилось внутрь,— сказал генерал-полицеймейстер, опуская отогнутую ветку клена.— Но мы подождем.

Там, за распахнутыми дверями вольного дома, убыстрялся топот ног. Звякал металл о металл, время от времени кто-нибудь охал. Вдруг заскрипела старая древесина, завизжала, заскрежетала. Это обломилась перила внутренней лестницы под тяжестью дерущихся, рухнули вниз. Послышался взрыв грубой брани, нарастающий визг.

— Остановитесь! — раздался повелительный женский голос.

Евмолп Холявин опомнился. Он был уже на верхней ступеньке, острие шпаги наставив в грудь музыканта Кики. Рубашка на груди самого Евмолпа была порвана и замарана кровью.

Внизу на обрушившихся перилах лежал, охая, толстый буфетчик. Гайдук Весельчак, бросив свой мажордомский жезл, прятался от воинственных Кантемиров. Растрепанная чернокожая женщина металась и отчаянно визжала.

— Положите оружие! — требовал женский голос.

Холявин поднял глаза и увидел хозяйку дома. В восточном наряде — шаровары и тюрбан с перышком — она целилась сразу из двух отличных пистолетов марки «Ферингер». Курки были взведены, и не было ни малейшего сомнения, что она выстрелит.

— Мы хотели только узнать, — сказал запыхавшийся Антиох, — мы хотели только спросить...

— Прежде всего положите шпагу, — возразила хозяйка.

И Антиох Кантемир, положив на ступеньку свой клинок, раскланялся и стал объяснять, что они ищут слугу, вернее, товарища...

— И для этого нужно врываться в дом! — негодуяще воскликнула она и перевела дула своих ферингеров на черноусого Сербана. — Клинок в ножны, князь!

И тогда Евмолп ощутил, что слепая сила в нем вдруг поднимается изнутри, мускулы напряглись, и он уж не управляет собой.

— Он бешеный! — закричал, заметив это, Антиох. — Берегитесь!

Отбросив шпагу, Холявин одним прыжком очутился на площадке и схватил восточную красавицу за запястья. Не выдержав, она упала, увлекая его за собой.

Ударил двойной выстрел, задребезжали цветные стекла. Когда рассеялся дым, стало ясно, что обе пули ушли в короля Фарабуша, в его потемневшее от старости дубовое тело.

В нартовском домике полицейские чины насторожились.

— Стреляют! — сказал аудитор Курицын.

— Терпение! — ответил генерал-полицеймейстер. — И все же терпение! Терпение есть главная добродетель сыщика.

А в вертограде полном Холявин крепко прижал к полу раскинутые руки маркизы Каstellафранка, ожидая, когда смирится ее порыв. Тюрбан ее развязался, волосы черной волной рассыпались по груди. «А глаза-то, глаза какие! — думал Евмолп почти что с ужасом. — Душу выворачивают!»

— Отпусти! — сказала она низким голосом, словно какая-нибудь нюшка на скотном дворе. Он отпустил ее запястья, она села и ткнула его кулаком. — И правда, что бешеный!

Она поднялась, опираясь на плечо Евмолпа. Подошли братья Кантемиры, галантно извиняясь.

В нартовском домике Девиер и его помощники сначала были озадачены наступившей тишиной. Потом увидели, как гайдук Весельчак, с синяком на лбу, вынес изрядно порванный кафтан, тот самый, на спине которого был золотой лев, и развесил его на солнцепеке. Затем он вывел шатающегося буфетчика и стал лить ему воду на голову. Слуга принес из сарая инструмент, и в доме резво застучали молотки, ликвидируя следы побоища.

А в верхних покоях раскрылись настежь окошки, и слышался звон фарфора и серебра — приготовлялся кофе.

— Эй, Камараш, чертяка, ты где? — закричал Сербан, напившись кофе и выходя на крыльцо. — Ты и господ своих проспишь!

Оба Кантемира и с ними Холявин взобрались на дроги. Камараш хлестнул, и застоявшиеся лошадки покатали через пыль.

— Ну и ну! — сказал Девиер, отходя от окошка. — То ломаются словно тати, то кофеи распивают! Однако очевидно — Тузова здесь нет. Не сидит ли он и правда, как я напророчествовал, в своей слободке? А Сонькой этой придется заняться мне самому.

## 6

Ах, если б Алена, словно невская чайка, могла бы взлететь и опуститься в Канатной слободке, где он, Максим Петрович, — о, дай боже, чтоб это было так! — попивает свой утренний взвар. Или чистит конька своего. Или —

она ясно представила себе это — покоится на гостеприимной грачевской перинке, на наволочке с красными петухами.

Выбежав из полицейского дома, она первым делом кинулась на Неву. На пристани лодок было много, яличники галдели наперебой:

— А вот с ветерком по каналу прокачу!

— Кому за полунку на Васильевский остров, на березовый?

— Эй, красасвица пшенишная, тебе на Смоляной буян? Всего полторы копейки, садись!

Озадаченная Алена остановилась, уже занеся ногу на борт лодки.

— А у меня только копеечка...

— Э, нет! — яличник даже веслом отгородился. — За копейку не пойдет, себе дороже. Овес подорожал!

— Ну при чем здесь овес? — чуть не плакала Алена.

Яличники разразились хохотом, но цены никто не сбавлял. И Алена вернулась на набережную, пустилась со всех ног мимо дворцов, а речная команда улюлюкала ей вслед.

На Царицыном лугу она сделала большой круг, чтобы обежать подалее мрачный куб Голштинского глобуса, который всегда ее пугал. Пересекла Прачешный мостик, где служанки белье мыли-колотили, господ языком перебивали.

И тут у задов Шпалерного ряда на тропе, вившейся по пустырям близ Невы-реки, ее разморило. Ночь ведь всю не спала, ни крошки не съела. Жара ее допекла, битый кирпич колот босые ноги.

Коленки сами собой подкосились, и она села под огромные лопухи, украшавшие угол какой-то казенной ограды.

Очнулась от удара в спину и резкого крика:

— Вставай, разлеглась! Скрыться, убежать хочешь?

Над нею краснорожий полицейский занес трость, готовится ударить снова. Поодаль стояли еще несколько полицейских в васильковых кафтанах.

Алена вскочила, торопясь оправить сарафан, ничего не понимая. От реки вереницей поднимались женщины в серых балахонах, в одинаковых белых платках. Полицейские подбадривали: живее, живее! Еще и купаться их водят.

— Эй, Митька! — заорал ударивший Алену стра-

жник.— Канай сюда, живенько! Тут девка нашлась в лопухах. Это не та ли, которая у тебя из крутильни сбежала?

— Не-е,— сказал, подходя, Митька с тыквенным семечком на губе.— Эта прям боярышня какая-то... Та была корабельная торговка!

— Ну и дурак,— оценил Митькино поведение стражник.— Сказал бы, что та самая, какая разница, лишь бы для счета. Теперь за тот побег еще и на гауптвахте сидишься.

Они нагло рассматривали Алену, решая, как с ней обойтись,— отпустить или взять под конвой: пусть до утра побудет в караулке. Женщины проходили мимо угрюмой чередой, отвернув равнодушные серые лица.

— Да ты кто такая будешь?— спросил сердобольный Митька, весь обсыпанный тыквенной шелухой. И даже ласково по плечу потрепал.

И тогда Алену всю пронизала опасность потерять свободу, а с ней саму жизнь. Она отбросила Митькину руку и сказала, подражая слободским сердцеедкам:

— Ну ты, рук-то не распускай! Наш барин — князь Холявин, Евмолпий Александрович, усадьба вон за водокачкой, не знаешь, что ли?

— Хо-хо!— развеселился краснорожий стражник.— Ежели ты княжеская, то почему у тебя голые пятки?

— Господин унтер-офицер,— сказал пожилой полицейский,— ну ее, помните, что давесь было за графскую служанку?

И они, потеряв интерес к Алене, стали покрикивать на бредущих с купанья женщин, пока последняя из них не скрылась в пасти ворот Шпалерной мануфактуры.

А Алена еще некоторое время сидела под лопухами, испуг парализовал ей руки-ноги. Но солнце уже явно катилось на запад, и она собралась с силами, вскочила и опять побежала по буграм вдоль реки, пока не показались кирпичные трубы Литейного двора.

Остановилась перевести дух, вынула из-за пазухи поцарапанное зеркальце, поправила платок. В животе урчало, и она подумала: тут поблизости рынок, называемый Пустым, а у нее копейка за щеккой, так что ее бе-речь?

Чтобы попасть на Пустой рынок, надо обогнуть палаты графа Брюса, начальника Литейного двора. Алена знала из рассказов на завалинке, что у того графа Брюса есть своя личная кунсткамера, которую он перевез из Москвы.

А в той кунсткамере будто есть скелет, да не просто скелет, как привычные скелеты в Кикиных палатах, а особенный, с которым граф Брюс, чернокнижник и чародей, по ночам будто бы разговаривает.

Вот и узкие стрельчатые окна графских покоев. Алена оглянулась — никого вокруг не было, жара да безлюдье. Она взобралась на кирпичный приступок и пыталась что-нибудь разглядеть. Но стекло заросло пылью, будто не мыли его сто лет.

Пустой рынок он и есть пустой. Толчется посредине толпа сосредоточенных мужиков, а прилавки пусты. Повалены бочки, в которых обычно продают капусту, грибы, раков живых.

Неурожай, что ли, плохой привоз или чиновничье рукоусйство, но снеди на рынке нет.

— Пирожка не хочешь? — оценил ее голодный взгляд мужичонка в картузе. Под полой зипуна мужичонка держал березовый туес.

— Хочу, а почему?

— А сколько у тебя есть?

— Копеечка.

— Давай сюда копеечку, — сказал мужичонка и пирожок в туеске показал.

Алена вынула из-за щеки копеечку, а мужичонка выхватил у нее монетку и отошел, похохатывая.

Алену вновь охватило — доколе же можно терпеть? — отчаяние и гнев. Да и копейки было жаль, своя ведь копеечка, заработанная.

И она вцепилась в мужичонку так, что у того туес выпал, и пирожок вдруг раскололся, стало видно, что он вылеплен из воска и раскрашен. А Алена все трясла торговца и кричала:

— От-дай мо-ю ко-пе-ечку!

Тут рыночные люди за нее вступились, а проходивший мимо поп на того мужичонку посохом замахнулся. Зажав в кулаке возвращенную копеечку, она села на травяной холмик у какого-то казенного здания. Ноги от волнения и голода опять подкосились.

Но видать, не все перипетии дня, которые ей суждено было пережить, она испытала. Подняв глаза на запертую дверь, возле которой она сидела, она увидела там вычурную надпись: «Губернская контора по кабальным и долговым записям. Продажа людей».



Сердце зашлось, чуть не задохнулась. Батюшки-светы, да разве есть на свете такие адские учреждения?

Есть, конечно, как им не быть, люди-то продаются. Ее же высокородный барин, лейб-гвардии сержант Холявин, взял же на нее крепостную запись... В какой конторе? Наверное, в этой же конторе и взял.

Она вскочила и тут увидела вдали за зелеными купами рощи знакомый шпиль немецкой кирки и даже звон часов услышала. Там, за рощей, Канатная слободка! Там светелка, в которой, может быть, сидит себе, посиживает корпорал Максим Петрович, ее надежда, ее беда.

## 7

Встав на завалинку, сквозь бутылочное стекло в переплете окна Алена словно увидела целительный сон. Там Максим Петрович, живой и невредимый, обсуждал что-то с очкастым студентом Миллером и стелил себе койку.

Алена соскочила с завалинки, взялась за виски. Ведь живой, ведь невредимый! Голуби слетелись, ожидая подачки, но сейчас было не до них.

И до смерти захотелось увидеть еще раз живого-невредимого Максима-свет Петровича! Вскочила на завалинку, вновь увидела, как Максим-свет Петрович, что-то провозглашая, поднял руку, а немец от волнения даже снял очки. В светлице у них на неприбранном столе стоял солдатский котелок, валялись корки. Алена бы тотчас вымыла все начисто, да и вообще прислуживала бы как последняя раба.

Но тут ее обнаружила вдова Грачева:

— А, Алена-гулена, сказывай, где была? — стащила за подол и погнала домой.

Вдова даже всплакнула от переживаний.

— Так ты, говоришь, у Нартова была, квартиру его прибирала? Да ведь я ж тебе толковала сто раз, чтобы ты к нему без меня не ходила. Он мужик-то одинокий, что люди скажут! Копеечку получила? Вот тебе будет однажды копейка, если еще по завалинкам лазить станешь, к молодцам в окна подглядывать!

«Ну, разгуделась! — досадовала Алена. — У самой-то небось и любви не было никакой. Высватали да обженили».

Когда первый восторг по поводу того, что Максим-свет Петрович жив-невредим улегся, одна мысль Алену

уколола. Ведь он же обещал вернуться к ней после вольного дома. «Жди!» — так и сказал...

— Вон и другой наш гуляльщик катит! — выглянула мать в окошко. И кинулась встречать, приговаривая: — Пожалуйте, батюшка наш Евмолпий Александрович, в светличке у вас все прибрано...

На кантемировских дрожках с флегматичным Камарашем прибыл лейб-гвардии сержант Холявин, пальцами придерживая прорехи на своей великолепной рубахе голландского полотна. Напевая нечто модное про Купидона и его стрелы, лейб-гвардии сержант отдавал распоряжения:

— Воды для бритья... Постель не раскладывать, я вернусь утром... Кафтан почистить партикулярный, да побыстрей!

Кантемировы дроги его ожидали, пока он священнодействовал перед зеркальцем, не переставая напевать:

— «Но сердцем утомленны, любовию плененны...»

Перебирая свой гардероб, долго ругался, потом вызвал вдову Грачеву:

— Возьми-ка, мать, мою рубаху, видишь, как один вышибала ее располосовал! Но и ему досталось, будь спокойна, кровь я ему пустил.

Вдова горестно качала головой, разглядывая боевые прорехи.

— Вот что... — сказал просительно Холявин. — Ты не дашь ли мне на сегодня какую-нибудь рубаху из обывательских, что ты берешь в стирку? Никола свидетель, ей-ей, верну в полном бережении!

Грачиха стала божиться, что как раз ни одной мужской рубахи в стирке у нее нет.

— Или продай! — упрасивал Холявин. — Отдам из родительской присылки.

«Зачем вы, матушка, обманываете? — хотелось сказать Алене. — Вчера же закупили дюжину отменных рубах, на случай, кто из господ пожелает!» Хоть барин ее был ирод, ритагуй безудальный, но тут она ему сочувствовала: как быть ему без рубахи, ежели он едет, скажем, на танцы?

Чтобы не слышать фальшивых причитаний матери, она ушла к себе в дом, за печку. Устала ведь хуже последней жницы!

Там, за печкой, имелся у нее выбеленный известкой уголок — завесь с цветочками, постель с шестью думочка-

ми. Над постелью раскрашенная картинка — едет молодец в треуголочке, усы закручены, в руке сабелька, а кафтанчик васильковый, точно как у Максима-свет Петровича!

А на господской половине лейб-гвардии сержант скреб себя в затылке — Грачиха его убедила, что рубахи нет и достать неоткуда.

Тогда распахнулась дверь, и в сени вышел корпорал Тузов, неся за плечики отменную рубаху тонкого тканья и с пышным жабо.

— Берите, господин кавалер, пользуйтесь. Это, правда, не голландская, а бранденбургская, немочка одна шила, когда мы возвращались в Санктпетербург. Думалось, на балы едем да на машкерады! Не побрезгуйте, господин кавалер.

Холявин рубаху принял с некоторым недоумением. Быстро экипировался и укатил в город.

Алена же за печкой никак не могла смежить глаз среди своих картинок и думочек.

— На что я ему, слободская простушка?.. У него вон, оказывается, и заграничные дамы в знакомствах бывали!

А тут еще ей вспомнилось, как сказал жестоко генерал-полицеймейстер: «А может, та Сонька полюбила его?»

Лежать стало неважно, как в раскаленной топке. Вспомнились глаза этой дьяволицы — страх смертный, выразить нельзя!

Встала, вышла в подклеть, что вела на конюшню. Там звякала цепь у бадьи с водой, пахло конским потом. Максим Петрович чистил своего конька, разговаривал с ним ласково, будто это и не скотина. С Аленой, например, он говорил отрывисто, строго.

Она не выдержала, спустилась, встала в круг света от подвешенной караульной лампы.

— Здравствуйте, милостивый государь Максим Петрович! — По своему обычаю она поклонилась, достав рукой до пола, и коса ее упала со спины. — Нашелся ли ваш этот самый заморский камень?

Сказала, а сама сердцем зашлась от дерзости. Но Максютя и не смотрел в ее сторону. Охаживал щеткой хребет Савраски, приговаривал: «Балуй, балуй!» Наконец шлепнул по мокрому крупу лошади и повернулся к Алене.

— Ты что же, юница беспорочная, меня туда что посылала?

— А что? — вздохнула Алена, вся подавшись к Максюте.

— А то! — он вновь принялся обрабатывать конский бок. — Еле ушел, одному богу известно как...

— Как? — прошептала Алена.

— Сошел вниз Цыцурин, их главный коновод, велел отпустить. Они его больше своей атаманши боятся. Даже ругал их за меня.

— Да я же вам совсем по-иному предлагала... Да я бы сама к ним пошла... Да вы не сомневайтесь, Максим Петрович!

— «Не сомневайтесь, не сомневайтесь!»! — Он взял лохань с мыльной водой и опустил туда щетку. — Вот тебе и не сомневайтесь! Да и господа меня обманули. Наобещали всего, а как в картишки завелись, все на свете позабыли.

— Кто? — встрепенулась Алена. — И мой барин?

— Неважно теперь кто. Важно, что диковинки этой, этого камешка, в их вертепе нет.

— Как нет? Почему вы так думаете?

— А послушай, если только поймешь. Я там разговоры многие слышал, выводы свои делал. Сонькины молодцы, они, конечно, тати явные, дело не в том. Но им суммы нужны, понимаешь, суммы! В гульденах, в ефимках, в рублях, в чем угодно, но суммы! А эта трансцендентальная субстанция, как выражается наш Федя Миллер, эта приманка мудрецов, для них-то она ничуть не приманка.

— Но он же, камень тот, золото наделает сколько хошь!

Максим усмехнулся и ничего не ответил. Шипел фитиль в караульной лампе, Савраска постукивал копытом.

— Дело, однако, не в том...

Максим наклонился, обмывая щетку. Алена молитвенно на него смотрела.

— Знаешь, кого я там неожиданно встретил?

— Кого, кого?

— Да нет, пожалуй... Стоит ли тебе это знать?

— Миленький Максим Петрович! — трепетала Алена.

— Ну, слушай. Дело в том, что эта, как ты ее называешь, Сонька...

— Сонька! — У Алены все померкло в глазах.

— Да, Сонька, а по паспорту она заморская маркиза...

— Мать пречестная; заступница!



— Да что с тобою? Выпей, вон в ковшике ключевая вода.

— Ничего, ничего... Сказывайте!

— Эта маркиза... Да я ж ее знаю давным-давно!

В это время с улицы послышался голос рассыльного из Кунсткамеры:

— Господин унтер-офицер тута! Максим Петрович?

И ответ вдовы Грачевой:

— Тута, тута. Коника-с обихаживают своего. А ты, горластый, потише не можешь? Ишь, иерихонская труба! Доченька моя только-только прикорнула...

Несмотря на такое предупреждение, рассыльный набрал воздуха и повторил:

— Гос-по-дина унтер-офицера кор-по-рала! К его превосходительству господину библиотекариусу требуют! Там полицейский генерал прибыл — уй-уй-уй!

## 8

— О нет, экселенц! Осмелюсь быть с вами несогласным.

Шумахер особой изысканностью оборотов хотел показать свою полнейшую независимость от всеильного бога полиции.

— Токарь, хотя бы и царский токарь, есть всего-навсего токарь. А потому, господин генерал-полицеймейстер, ваше высокопревосходительство, и ведать ему надлежит делами токарными, а отнюдь не наукой.

Девьер рассматривал баночки с какими-то существами в перламутровом спирту. Услышав слова Шумахера, он сдвинул эти баночки на другой конец стола.

— Надо ли вас понимать иносказательно, господин библиотекариус, то есть и полиция не должна совать свой нос в дела науки?

— О-о! — всполошился Шумахер. — Не так, не так! Полиция и наука — о-о!

— Государыня опечалена вашими распрями с господином Нартовым, который хотя и токарь, но доверенное лицо при императорской фамилии.

— Вот, извольте взглянуть, экселенц! — Шумахер проворно достал и развернул какой-то свиток. — Списочек, который составил сей лейб-токарь... Государыня ему

изволила поручить. Это все элевы, сиречь ученики будущей гимназии санктпетербургской.

Сняв очки, он прошелся по списку и нашел необходимое.

— Вот, пожалуйста... «Сын адмиралтейского плотника». Далее читаем, под номером четырнадцатым,— «сын дворцового кузнеца». Здесь еще хуже — «сын господского человека», а вот — «крестьянин князя Меншикова». Крестьянин!

— Вы забываете, господин Шумахер,— улыбнулся Девиер и полез за неизменной табакерочкой.— Я, например, бывший юнга, сирота, беженец, а сами вы? А вдруг сын плотника или крестьянин окажется способнее, чем все российское дворянство?

— Вы шутите! — вскричал Шумахер.— А вот взгляните, экселенц, что он пишет в проекте устава? «Учеников школы той отнюдь чтоб не драли и за уши не таскали, а токмо по постановлению педагогического совета за исключительные бы поступки розгою...» Да он же в педагогике прямой неук, этот ваш Нартов!

— Однако покойный император сего токаря неуком не признавал и многие дела наиважнейшие доверял. И ныне царствующая императрица...

— Покойный император, царство ему небесное, с сим токарем каждый день точил и привык к нему, как к своему человеку. Привыкаем же мы к своим лакеям, кучерам, но это не должно означать, что мы им дела государственные поручать станем. Он же сам, Нартов, рассказывал, что и горшки подавать малолетним принцессам ему доводилось!

— Ну-ну, господин библиотекариус, вы забываетесь! — Девиер захлопнул крышку черепаховой табакерки.

Шумахер понял, что зарвался, и в расстройстве чувств принялся пальцем накручивать локоны своего парика.

— А правда ли,— спросил Девиер,— вы заставляли иноземцев, выписанных сюда в качестве студентов, дрова пилить на вашей собственной усадьбе?

— Ложь, ложь! — поперхнулся Шумахер.— О, все это клевета!

— Ладно! — Девиер положил на стол тяжелую ладонь.— Я пришел не для того, чтобы разбираться в ваших распрах с господином Нартовым и иными. И о русских тоже советуую поосторожнее, вы едите русский хлеб и рус-

ское золото получаете за службу, и немалое. Скажите лучше, что есть философский камень?

— Философский камень? — задумчиво отозвался Шумахер, а сам лихорадочно думал: кто донес, что донес?

— Не буду затруднять вас догадками, — сказал Девиер. — Меня интересует тот философский камень, который пропал у вас в Кунсткамере.

— Это все Тузов! — вскричал Шумахер, очки его блестятели. — Это такой ворюга! Скажу вам, экселенц, вино, которое по царскому указу выдается посетителям, угощения ради, он его расхитил! На прошлой неделе пропала большая морская звезда...

— Пойдите, разберемся, — прервал его Девиер. — Я только что допрашивал Тузова. Он весьма логично отвечает: первым о пропаже камня должен был заявить в полицию владелец, следующим — вы как куратор Кунсткамеры. А его, Тузова, будто бы вы честным словом обязали в течение семи дней о пропаже молчать... Как это понимать?

Шумахер говорил непрерывно, но речь его состояла из потока латинских, немецких и русских цитат и выражений. Девиер, умевший объясняться на языке всех игорных домов Старого и Нового Света, ничего понять не мог.

— Давайте по порядку, — вновь остановил его Девиер. — Да вы садитесь, Иван Данилович, что вы на ногах да на ногах! Я же не расследовать дела Кунсткамеры пришел, меня заботит другое.

Генерал-полицеймейстер, когда хотел, мог расположить к себе любого человека.

— Скажите, ученейший Иван Данилович, скажите мне без утайки, что есть сей философский камень, каковы его таинственные свойства?

Шумахер принялся рассказывать на сей раз весьма внятно, а Девиер, занявшийся вновь своей табакерочкой, отмечал при упоминании каждого из трансцендентных достоинств камня:

— Возвращает молодость старикам? Так-так! Власть земную возвышает? Преотлично!

Но Шумахер закончил рассказ сообщением, что он не полномочен всех тайн сего камня раскрывать, и поклонился в сторону Девиера.

— А кто же полномочен?



— Академический капитул! Сиречь ученое собрание академикусов!

— Так-так. А в прошлом году, когда вы, преученейший библиотекариус, привозили из Европы пресловутый перпетуй-мобиль, то бишь вечный двигатель, вы, помнит-ся, капитул не собирали?

Шумахер склонил голову в гнедом своем пышном парике.

— Хорошо. Тогда такой вопрос: кто же владелец сего таинственного камня?

Шумахер приободрился, потому что из раскрытого окна стали доноситься соблазнительные запахи кухни. Он рассказал, что не далее как вчера в Кунсткамеру был доставлен чудеснейший монстр — диковинка природы, рыба-сазан куриознейший, а длиною в осьмнадцать вершков!

Он распростер руки елико возможно.

— Как раз сегодня сазан сей зажарен, и академический капитул просит господина генерал-полицеймейстера оказать честь. Присутствовать и принять участие в дегустации, в ученом апробировании физиологической плоти рыбы сей...

— Так кто же, скажите мне, владелец того философского камня? — терпеливо повторил вопрос Девиер.

Шумахер достал с верхней полки лейденскую банку и стал живописно повествовать о совершенно необычных свойствах недавно открытого электричества, которые удивительно напоминают...

— Морра фуэнтес! — прорычал Девиер. — Кто у вас такой есть Рафалович?

Библиотекариус будто споткнулся на всем скаку.

— Да, да, — подтвердил Девиер, потряхивая табакерочкой. — Кто у вас такой Рафалович?

И сладкое лицо библиотекариуса озарилось новым приступом вдохновения. О, Рафалович! Это ученейший муж, вир эрудиссимум! Это исключительный знаток черной и белой магии! Вся Сорбонна не хотела его отпускать в Россию. Одних взяток пришлось раздать сорок тысяч червонцев.

— Про взятки бы молчали в присутствии чина полиции! — мрачно сказал Девиер. — Граф Бруччи де Рафалович? Чей у него графский титул? Цесарского двора? Многовато в Санктпетербурге развелось графов и маркиз различных, придется полиции ими заняться.

— Вот видите? — смеялся генерал-полицеймейстер. — Ни на один мой вопрос вы, господин библиотекариус, по существу не смогли ответить... А еще ученейший муж, говорят, вы тут только и занимаетесь, что друг другу экзамены устраиваете.

Девьер обратился к табачку а ля виолетт, а несчастный Шумахер страдал, словно куриознейший сазан на сковороде, потому что никак не мог в конце концов понять, что от него нужно всесильному богу полиции.

— А вот я задам вам еще один вопрос, — сказал генерал-полицеймейстер, насладившись понюшкой. — Уж если вы и на него не ответите, значит, экзамен не выдержан. Итак...

Он многозначительно покосился на вытянувшегося в струнку господина библиотекариуса.

— Кто у вас тут карлик есть такой? Что он у вас тут делает?

Вот те на! Если б Шумахер умел чесать себя в затылке, он бы немедленно сделал это. Да ведь Девьер чуть не каждый праздник встречает этого карлика при дворе, куда тот бегаёт к царице за подачками. Тут что-то неспроста!

И он поведал, как покойный Петр Алексеевич закупил за границей всяческие редкости — инструмент математический и навигацкий, сосуды химические, медицинские препараты, картины, книги, медали и прочая и прочая. Возвратясь в державу свою, государь указал, что где родятся уроды всякие, человеческие или скотские, отнюдь не выбрасывать их, а помещать в банки со спиртом и с бережением доставлять в Санктпетербург, надеясь на вознаграждение немалое. Поскольку же невежественные люди боялись уродств, полагая их кознями дьявольскими, царский указ разъяснял, что сии козни противу естества и им быть невозможно, ибо у дьявола ни над каким созданием власти нет...

— Видите, — прервал его Девьер, — указ царский вам объявляет, что ничего противу естества в природе нет, а вы носитесь со своей магией, белой и черной! Однако вы опять далеко хватили, герр Шумахер. Отвечайте, чем занимается у вас карлик и кто за его поведение отвечает?

Шумахер прижал руки к груди, как бы умоляя не прерывать, и продолжал:

— В указах тех предписывалось также, чтобы какие уроды и люди монструозные явятся, живыми их ко государевому двору доставлять. И многие монстры живьем проживали в Кунсткамере на казенном счету. Теперь живет карла Осипов, прозываемый Нулишкой. Рожден он от придворного шута, а науке пожалован покойной царевной Наталией Алексеевной, которая разных уродцев всячески оберегала...

Девиер окончательно убедился, что Шумахер, подобно его высоким покровителям — лейб-медику Блументросту и вице-канцлеру Остерману, — владеет искусством наводить тень на плетень, и встал.

— К вопросам сиим советую вам приготовляться получше. А то, говорят, на придворной цирюльне есть вакантное место. Там тоже наука — что кровь пускать, что пиявки ставить или шею намыливать. А общество какое? И графы, и герцоги, один даже светлейший князь имеется. А вопросы? Только самые простые задаются: «Не беспокоит ли?» Или: «Не угодно ли водицей sprysнуть?»

И ушел, оставив Шумахера в полном расстройстве, — весь Санктпетербург знал, что генерал-полицеймейстер человек двусмысленный и к государыне без доклада входит. Да к тому же, надевая свою черную епанчу, он объявить соизволил:

— Ея императорское величество сего дня поутру изволила путь воспрять из Стрельны в свой богохранимый град Санктпетербург.

Как тут его понимать?

А выйдя из Кикиных палат, с высокого крыльца генерал-полицеймейстер увидел напротив, на слободке, завалинку Грачихино дома, которая дружно грызла тыквенное семя. А перед завалинкой ходуном ходил карлик Нулишка, у которого все шнурки были расшнурованы, отчего он чуть не падал в дорожную канаву.

— Н-на тебе, кавалер вонючий! — грозил он кулачком в окно холявинских антресолей. — Я тебя уже давно заложил со всеми твоими лейб-гвардейскими потрохами!

И икал умопомрачительно.

— Кто его успел напоить? — ужасался бурмистр Данилов.

— Кто-то утром ему пожаловал гривенник, — отвечала вдова. — Много ли такой козьявке надо?

— Всех полиции продам! — хорохорился Нулишка. —

Я там свой человек. А Аленку выкуплю, мне сам генерал сто пятьдесят рублей обещал.

Генерал-полицеймейстер счел эту сцену недопустимой и сделал знак своим клевретам.

И жители слободки с ужасом увидели, как от Кикиных палат пошли люди в епанчах и в страшных носатых масках. Завалинка кинулась наутек. Тем временем подгулявший монстр обратился в сторону Кунсткамеры.

— И вас заложу, академики безмозглые! — неистовствовал он. — Вот царице расскажу, как один из вас секреты продавал английскому милорду!

— Точнее не выразишь, — сказал Девиер.

Люди в масках скрутили карлика и под полами плащей унесли его с собой.

## 10

Юный князь Репнин капризничал:

— Маркиза Лена, а маркиза Лена... Давайте не поедем сегодня кататься, останемся лучше вдвоем!

— Ну почему же? — Маркиза за ширмой переодевалась. — Мне без общества скучно.

Ефиопка подала ей шпичи для завивки, маркиза дула на них и обжигала пальцы.

— Что вам эти молдаванские князья... — тянул Николенька. — И этот недоросль Холявин! Разве это общество?

— Но это славные молодые люди! Ах, они всего лишь унтер-офицеры, а вы поручик? А не вы ли, князь, любили повторять, что в обществе женщины любой чин — не чин?

— А если в лодке не хватит места? Придется за шлюпкой посылать, а это долго...

— Зачем посылать? Мы гребцов не возьмем, слуг тоже, кроме моей Зизаньи. Любезные кавалеры — господин Холявин, князь Сербан, — они сами предложили сесть на весла.

И маркиза, подхватив юбки, спустилась в вестибюль. Гайдук Весельчак с поклоном распахнул дверь и сделал на караул булавой. В дверях маркиза обернулась к Николеньке:

— Забыла предупредить... Еще один для вас ожидается сюрприз, милый князь.

И в толпе масок, ожидавших на крыльце, Николенька узнал своего деда, который — прямой и сумрачный — стоял поодаль.

— Это-то зачем? — с болью воскликнул Николенька, но маркиза только обдала его смеющимся взглядом из-под черного кружева маски. Старый генерал-фельдмаршал, как заправский кавалер, склонился к ее руке, целуя.

Через полчаса лодка маркизы Лены, украшенная коврами и роскошными опахалами, выплыла на середину Невы. Сербан Кантемир и Евмоп Холявин, оба в белых рубашках, добросовестно гребли.

— Какой простор! — воскликнула маркиза Лена. — Каждый раз, когда я переплываю Неву, я ощущаю величие неба, огромность мира и тщету смертного человека!

Никто не отвечал. Хотя все были в масках, но каждый знал, кто есть кто. И молодые военные были, конечно, стеснены присутствием генерал-фельдмаршала. Закат пылал в многочисленных окнах дворцов вдоль набережной реки.

— Как быстро все это выросло! — сказал старый Репнин. — Подумать только, а ведь еще вчера здесь были топь и чащоба!

— Деда-то, деда зачем вы взяли? — продолжал расстраиваться Николенька, дыша в ухо маркизы. Но та только смеялась, обмахиваясь опахалом.

— Эй! — вдруг закричал Антиох. Он сидел на корме и держал в обнимку ларец с посудой, потому что был произведен маркизой в ранг буфетчика. — Эй, раззявы! Сразу видно, что князя на веслах, — судно у нас на носу, правьте левее!

Действительно, прямо по носу на их лодку надвигалась обширная черная посудина. Сербан вскочил с веслом, готовый начать перебранку.

Но черное судно пронеслось мимо, обдавая брызгами своих весел, ни словом, ни сигналом не отозвавшись на протесты Сербана.

— Это и есть каторга, — сказала маркиза. Привычная веселость сбежала у ней с лица, оно вдруг, под полумаской, стало резким и даже злым. — Это каторга, господа. Видите, гребут каторжники в цепях, а лица их загорожены бортиком?

Все присмирели, даже старый генерал-фельдмаршал. Всем пришла на ум пословица: от сумы да от тюрьмы не отказывайся.

— А кто там на этой каторге наверху сидит? — спросил граф Рафалович, который тоже оказался в числе

приглашенных и которому как иноземцу русские пословицы на ум не приходили.

— Это Полторы Хари.

— Кто, кто? — вскричали ее спутники.

— Полторы Хари. Это прозвище такое. Он их конвойный начальник. Видите, на васильковом кафтане галун золотой, широкий — офицер.

— Все-то вы знаете, — залебезил Рафалович, поймал на ветру подол широченной юбки маркизы и поцеловал кружева.

— Еще бы мне не знать! — весело воскликнула маркиза и отобрала край платья у любезного графа. — Может, я сама той каторжницей была.

— Шутите! — воскликнули спутники и принялись обмениваться притчами про каторгу, про татей и татейниц. А маркиза сидела задумчивая, в их беседу не вмешиваясь.

И вдруг она вскочила, протягивая руку вслед удаляющейся каторге.

— Смотрите, смотрите! Кто это там у них? Боже, какое страшилище!

Последний с краю на каторге отбивал такт молотком, чтобы взмахи гребцов были равномерны. На его руке, поднимавшей молоток, поблескивала цепь.

— Наверное, у него ноздри вырваны, — сказал князь Репнин, по-старчески прищуриваясь. — Нет, ноздри, пожалуй, целы. Зато на щеке у него клеймо — «тринадцать». Цифрами в Рогервике клеймят за военные мятежи. Вор, видать, первейший!

Настроение было подпорчено. Лодка вошла в протоку, там уже царил фиолетовая тень. Молодой лес в полном безветрии стоял по берегам протоки, и даже плывущая лодка не возмущала спокойствия зеркальной воды.

— «Ун энфейта флореста... — пропела низким голосом маркиза Лена и поправила замысловатую прическу. — Эспельяда до агуас...»

— Что, что? — закричали ее спутники. — Спойте же, спойте!

Лодка ткнулась в песок, и, поскольку гребцы были все-таки неумелые, пассажиры со смехом повалились друг на друга. Антиох еле удерживал рассыпающиеся стопки тарелок.

Там в отдалении от берега виднелся домик с террасой, впрочем, и в других местах укромной протоки стояли те-

ремки, то тут, то там поднимался дымок от гостеприимного очага.

Через малое время на террасе уже кипела итальянская новинка — медный сосуд с трубой, куда старательный Антиох закладывал тлеющие угли, а выливать кипяток нужно было через особый кран.

Маркиза предложила снять маски. Она представила и гостя, который пока был тут незнаком.

— Граф Рафалович из Парижа. Государыней приглашен в академики к нам. Он был друг моего покойного мужа, прошу любить и жаловать, синьоры.

Завидев на графе моднейший парик седого цвета, преобразенцы приуныли.

Николенька Репнин помогал Антиоху разносить чай и вдруг обнаружил, что его обычное место справа от маркизы Лены занято. Там расположился лейб-гвардии сержант Холявин, и синьора благосклонно на него посмотривала. Слева же от хозяйки сосредоточенно пил чай его собственный дед.

— Не мнится ли вам, сударь, — Николенька коснулся плеча Евмолпа Холявина, — что вы не свое заняли место?

Холявин отхлебнул из чашки и посмотрел на маркизу, а та спокойно ему ответствовала взмахом серповидных ресниц.

Тогда Николенька не выдержал.

— А у вас штиблет разбитый! — крикнул он Евмолпу. — Постыдились бы, сударь, в такой одежде в гости ходить!

Холявин вскочил:

— Сударь!

Побежали к лодкам за шпагами. Сербан смеялся, а Антиох, болезненно морщась, пытался отговорить соперников:

— Евмолп, Николенька, вы же первые фехтовальщики в полку, не миновать крови!

Но это только раззадоривало драчунов. Пока дуэлянты легкими прыжками маневрировали по террасе и сталь лязгала в пробных выпадах, старый князь Репнин кивал головой и постукивал костяшкой пальца в такт их движениям. Маркиза подозвала Зизанью и приказала перекрутить локон в ее прическе.

Но темп убыстрялся, и начались опасные эскапады. Боковые выпады и обманные уколы следовали один за другим. Концы шпаг рискованно касались кружевных жа-

бо на груди. Один раз молодой Репнин оступился, пошатнулся. Холявин не растерялся, нанес дегаже — прямой удар. Оказалось, что это особо хитрый обман Николеньки, Евмолпу еле удалось сдержать его ответный удар возле самого эфеса.

— Ух ты! — вскричали братья Кантемиры, а маркиза смеялась, хотя глаза ее поблескивали тревогой.

И вдруг Холявин решительно схватил шпагу Николеньки за клинок левой рукой, а своей шпагой проколол его сорочку прямо напротив сердца и поднял оружие как победитель.

— Оставь клинок, Николенька! — крикнул старый Репнин внуку. — Здесь дерутся не по правилам. Так и зарезать можно.

Поднялся ожесточенный спор, допускается ли прием захвата шпаги противника голой рукой. Маркиза Лена встала, отобрала шпаги у дуэлянтов и отдала их Зизанье.

— Лучше я вам спою, — предложила она.

Зизанья вынесла диковинный инструмент, похожий на балалайку или домру, но суженный посредине, будто в талии. Весь в лентах и инкрустациях, называемый «гитара», то есть «цыганка», а еще — «кифара», инструмент Венус, богини любви.

— Я спою вам то, что хотела спеть, когда мы только подплывали сюда, — маркиза трогала мелодичные струны. — Это песня из страны моего покойного мужа, есть такой суровый край у самого океана. Там жители все либо нищие философы, либо мудрые пастухи. А наречие их похоже на многие языки — на испанский, на латынь, даже на молдавский. Послушайте, и вы поймете.

Зачарованный лес отражается в зеркале вод.

Отражаются звезды в изгибах пространства,

Здесь не слава, не деньги, не ученое глупое

чванство,

Божество в этих копиях странных живет.

Все повернули головы к реке и увидели, как действительно на бледном небе над лесом появились слабые звезды, и зеркальная вода отразила их четче, чем они были на высоте. А песня продолжалась.

Чередою распахнута вдаль галерея веков,

Те же люди, и страсти, и слез человеческих отрада,

От зеркал до зеркал, от блестящих зрачков до зрачков

В бесконечных повторах проходит миров анфилада.



Налетел ночной ветерок, принес свежесть моря, пахло хвоей, дымом костра. Младший Кантемир, вытащив записную книжку, что-то в ней черкал. А гитара звенела.

Обнимая любимую, помни, что случай твой не уникальный,  
Как бы ни были вы сумасбродны, любя.  
В перспективе времен, в бесконечных повторях зеркальных  
Та же женщина тысячу раз обнимает такого ж тебя!

Все молчали, вдумываясь в смысл диковинной песни, а старый князь Репнин сказал, покачав головою:

— Наша-то молодость, все в боях, да в походах... Разве было хоть малость времени просто так спеть да подумать? Но мы такие же были, такие же, ничуть не хуже вас.

— Слава богу, хоть не хуже,— тихо сказал Холявин, а маркиза укоризненно хлопнула его по руке.

— Господин генерал-фельдмаршал завтра нас покидает,— сказала она, оборотясь к князю.— Не знаю уж, сеньоры, как он решился, но пришел ко мне... Вы не против, князь, что я рассказываю это?

— А что ж против?— сказал Репнин, ставя чашку на блюдце.— Правда есть правда. Внук мой юный, вот он вам всем известен, есть сумасброд первейший. Одно ему оправдание— в его годы все были сумасброды...

— Virшами заговорил,— опять заметил Холявин и опять удостоился хлопка маркизы.

— Вот я и хотел узнать, не в сумасбродные ли руки я его вручаю,— закончил Репнин.

— А я просто пригласила князя поехать с нами,— весело подхватила маркиза,— чтобы он узрел, что мы не вельзевулы и не крокодилы.

— Юного того князька, значит,— сказал Холявин на сей раз во всеуслышание,— нам на воспитание оставляют?

Все укоризненно на него посмотрели, но тут вступил в разговор граф Рафалович:

— И куда же, куда же едете, экселенц?

— В Ригу поеду,— отвечал князь.— Мое сумасбродство в свое время заключалось в том, что я со знаменем в руках и с обнаженной шпагой первым взошел на стену этой Риги...

— Это как же,— заинтересованно расспрашивал граф,— значит, и лейб-гвардия переходит в Ригу?

— Нет, — сухо сказал генерал-фельдмаршал, жуя стебелек травы, и добавил: — Я выхожу в отставку.

Никто не знал, как реагировать на заявление князя. А он вдруг повернулся в сторону невидимого за лесом Санктпетербурга:

— Не в силах более, не в силах. Все сии пирожники, портомои, токари, пекари, обер-красавчики, наглые пришельцы... Разве это та Россия, за которую я шел со шпагой в руке?

И тут вновь звякнули клинки. Оказывается, пока внимание всех было отвлечено словами старого князя, Евмолп и Николенька подобрались к лодке и схватили свои шпаги.

Теперь уж трудно было уследить за соблюдением приемов и правил фехтования. Ожесточение противников было крайним. Топот сапог становился все лихорадочнее, уже и маркиза Лена призвала остановиться.

И вдруг над лесом взлетел необыкновенный огненный петух во все небо. Закрутился, теряя искры, а рядом с ним на блеклом фоне заката поднялись, шипя и распадаясь, еще множество огненных птиц. Гром далекого салюта ударил словно из-под земли.

Евмолп на мгновение отвлекся: как провинциал, он никак не мог привыкнуть к санктпетербургским салютам. И безжалостная шпага Николеньки Репнина густо окрасила кровью бранденбургскую рубашку Максюты.

Все кинулись к упавшему Евмолпу. А ракетные петухи все взлетали один за другим, крутилась огневая потеха! За островом над столицей на небосводе простерся огромный красно-зеленый огненный вензель императрицы.

Государыня Екатерина Алексеевна изволила возвратиться в свой верный Санктпетербург.

## Глава четвертая МАТЬ ЧЕСТНАЯ

### 1

У государыни была бессонница. И весь дворец не спал, огоньки свечей блуждали из окон в окна, которые и без того не темнели по причине белой ночи.

— Готт лосс! — втихомолку чертыхался герцог гол-

штинский, царицын зять. Голенастый и золотушный, с вечно недовольной миной на лице, он вышагивал по дворцовому вестибюлю. За ним вприпрыжку попевал Бассевич — его премьер-министр.

— Потерпите, ваше высочество, скоро утро.

— Утро! Ох уж мне эти санктпетербургские вечера да утра. Зачем я вас послушался, милейший, сидел бы себе дома в уютном добром Киле!

— Но вы потеряли бы все шансы на престол! Боже, какая редчайшая возможность!

— Между прочим,— герцог взял за обшлаг своего премьер-министра и притянул к окну, за которым, словно бледные декорации, были истуканы Летнего сада.— Вы еще не слышали? А еще слывете человеком, который все узнает раньше всех. Прибыл фельдъегерь из Митавы. У Меншикова все лопнуло с Курляндией, на престол его там не избрали...

— Это еще ровно ничего не значит,— возразил Бассевич.

— Как это не значит?— Герцог вынул носовой платок и завязал его в узел.— Вернется обозленный Меншиков, он нас с вами вот так же завяжет. Граф Толстой давно утверждает, что Меншиков склонился в пользу принца, сына покойного царевича Алексея. Тогда дочерям государыниным полный абшид, то есть отставка, а нас с вами обратно в Голштинию, без пенсии, хе-хе-хе...

Он нервно завязал второй узел, третий. Бассевич отобрал у своего питомца платок и послал его на второй этаж, послушать у покоев государыни.

— Все то же!—махнул рукою герцог, возвратившись.— Ноет старушка, жалуется на судьбу.

Бассевич вернул герцогу развязанный платок и наклонил его к себе.

— Доверяете ли вы моему политическому такту?

Еще бы не доверять! Ведь не кто иной, как щупленький и писклявенький Бассевич сумел попасть в фавор к великому Петру, исполнял его поручения в Европе. И в ту роковую январскую ночь, когда царь испустил дух, а все ближние растерялись, именно он сумел повернуть дело так, что бояре были посрамлены, а на престол взошла Екатерина Алексеевна. Еще бы не доверять!

— Тогда слушайте, ваше высочество. Не пора ли Меншикова самого в абшид? Как говорится, мавр сделал свое дело. Государыня, ваша теща, она вас любит, сделала

первоприсутствующим в Верховном тайном совете. Вас, а не пирожника, заметьте это!

— Тс-с! — герцог даже присел, озираясь. Еще бы, в Летнем дворце в каждом углу по меншиковскому шпиону торчит.

— А мы для конспирации будем именовать его анаграммой, — предложил Бассевич, — то есть перестановкой букв. Так, например, при Версальском дворе принято. Будем звать его «дюк Кушимен». Итак, сей дюк Кушимен, как у русских говорится, в зубах у всех завяз. Наглеет с каждым днем. Престол курляндский у него не удался, так он генералиссимуса себе ищет!

— Вон старый князь Репнин, напротив, от всего отказался. В Ригу уезжает частным лицом.

— Этого ни в коем случае нельзя допускать, отговорить его, употребить все доводы, хоть он наш бывший противник... Репнин, пожалуй, был при дворе единственным, кто в меншиковских махинациях не замешан. Надо всех поднять, всех соединить... Но крайне осторожно!

Через вестибюль проследовала Анна Петровна, герцогиня голштинская, синеглазая и чернокудрая «дочь Петрова». За ней клубками катились карлики Утешка и Мопсик и множество комнатных собачек. Завидев жену, герцог устремился к ней, тараща белесые глаза, спрашивая:

— Как матушка?

Анна Петровна замуж была выдана не по своей воле, поэтому с мужем разговаривала с некоторым оттенком грусти:

— Ах, мой дорогой... Не угодно ли самому пройти к государыне, она так тебя любит.

Анна Петровна, за нею карлы, собачки, герцог и его верный министр направились в опочивальню императрицы. Там у самой двери младшая царевна Елисавет, не выдержав ночного бдения, спала на кушетке, даже не расшнуровав корсета. Роскошные светлые волосы рассыпались по подушке, и герцог уставился на нее, потому что белокурая свояченица ему больше нравилась, чем жена, вечно целеустремленная, как покойный отец.

Красавчик Левенвольд с поднощиком в руках склонился над государыней, которую трудно было сразу заметить в глубоких креслах.

— Ночь как призрак, — вздохнула императрица. — Не спится мне и не спится. А бывало, с Петрушей при ко-

страх спали, в степи спали под звездами, и только барабанным можно было разбудить...

— Много забот, матушка, много забот,— подобострастно сказал зять-герцог, и у него получилось: «Нохо сапот, нохо сапот...»

Лейб-медик Блументрост приблизился, неся пузырь со льдом — переменить на темени царицы.

— Ой, да отстаньте ж! — Слезы жалости к самой себе текли по припухшим щекам государыни.

Тут раскрылись двери, и в покой вплыла торопливо принцесса Гендрикова, ведя за собой своих отпрысков, разодетых в шелковые кафтаны. Виляя фижмами, растолкала фрейлин и бросилась к креслам императрицы.

— Благая ты наша! — запричитала она. — Что же это с тобой подеялось? Я как услышала, к тебе собралася. И сыночков взяла, племянников твоих, вот они, оба... Вынь, разбойник, палец из носа!

— Что это они меня оплакивают? — смутилась императрица. — Рейнгольд, а Рейнгольд...

Чуткий обер-гофмейстер услышал, наклонился:

— Рейнгольд, удали всех...

## 2

И привиделась ей такая же светлая июньская ночь на болотах Лифляндии. Кругом пылают пожары, идет война. А ей семнадцать лет, и она сирота — кому не лень, каждый обидит. И ей безумно нравится бравый шведский трубач, и, хотя хозяин — добродетельный пастор Глюк — не одобряет ее страсти, выбор сделан. И ночь при кошмарах, и танцы до рассвета, и надвигающийся гром русских пушек. А наутро разлука, разлука на всю остальную жизнь...

Бывало, с Петром Алексеевичем, с царем, с Петрушей возлюбленным, ежели заговорят о жизни, она беспечно махнет прекрасной своей ручкой. А мужу очень нравился этот ее жест, и он смеялся:

— Ну-ка, Катя, повтори!

Там, в Стрельне, в загородном дворце близ моря, где не любил жить покойный Петруша и потому, наверное, привольно живет теперь ей, там чайки мешали. А теперь нет его — императора-самодержца, а для нее — Петруши.

А и здесь не лучше, в уединении Летнего сада, куда ка-

раульные преображенцы лишней мухи не пропустят. Вот чудится страшное лицо мужа, перекошенное гневом,—на кого? Как часто это случалось—его гнев, его судороги; как смертельно боялась она сама, до спазм в груди боялась. А ближние молили: иди, государыня, иди, ляг ему на душу облегчительной росой, спаси нас! И она шла, боялась трепетно и шла... А сколько раз таким образом Александра Данилыча от гнева царского спасала!

В сердце закололо, неудобно, наверное, лежала—спина затекла. Императрица очнулась и увидела, что Левенвольд перед большим зеркалом разучивает придворные позы. То ножку подогнет, то поклонится величаво.

И она засмеялась беззвучно и подумала, что раньше смех у нее был как серебряный колокольчик, а теперь, наверное, словно в железку—бух, бух. Что ж поделать, бабьей век—сорок лет.

Может быть, она произнесла это вслух, потому что Левенвольд оторвался от зеркала и сказал со своим ужаснейшим акцентом:

— Ничь-его, ваше вель-ичество, ви еще зов-сем рыбалка!

Это он, вероятно, хотел сказать «русалка», глупенький лифляндец! Однажды так вместо «гусыня» он сказал—гусыница. Государыня очень смеялась.

Опять заснула, и снился ей теперь красавчик Левенвольд с медальным профилем, с мужественным подбородком, хотя подбородок этот по науке физиогномистике был ему дан совершенно зря. Он был сущий трус и врунишка мелкий к тому же.

И сквозь четкий профиль Левенвольда виделся ей другой лик, похожий и совсем не похожий... И от воспоминанья этого ее дрожь прохватила, и она во сне думала: «Боже, какой ужасный сон!» Но очнуться никак не могла.

Привиделась ей огромная стеклянная банка, а в ней, в мутноватом спирту, красивая мужская голова. Как давно все это было! Как жесток мог быть ее ненаглядный Петруша, какой зверь! Камер-юнкера Виллима Монса только за то, что он был красавчик и нравился императрице, он велел обезглавить и голову ту ей показывал до тех пор, пока она не лишилась чувств. Вот и утверждают, что лично сам он никого не казнил. А это не казнь?

А голос невнятный в душе говорил ей—побойся бога. Екатерина, то бишь урожденная Марта, не осуждай его, ведь он был тебе венчанный муж, отец твоих детей...

И она вскрикнула и проснулась, а солнце за полукругиями окон стояло уже высоко, и по дворцовым покоям плыл ароматный запах кофе. В опочивальню входил свежий, любезный, чернобровый генерал-полицеймейстер Антон Мануилович Девиер и заявлял с порога:

— Ваше величество! В прославленной сей столице объявилось чудо, однако совершенно научное и достоверное, и прозывается чудо то — философский камень. Не изволите ли приказать, дабы господа академики, загодя собравшиеся здесь, поспешили бы вашему величеству все об этом чуде изъяснить?

### 3

Капитул академиков собрался в картинном зале дворца. Входя, все поневоле думали: вот император Петр, этакая махина и ростом, и по размаху своих деяний, однако любил потолки низкие, и покои уютные, и картины голландские, где отнюдь не огромные боги и их триумфы, а пастухи да коровницы на небольших полотнах.

Императрица разместилась на помосте, устланном коврами. Ей приготовили золоченый стул, а цесаревнам, зятю-герцогу и мальчику, великому князю Петру Алексеевичу, — бархатные табуреты. Пришел и владыка Санктпетербургский и Новгородский преосвященный Феофан, шурша шелковыми одеяниями. Ему подали резную скамью. Для академиков также были приготовлены приличные стулья, прочая же челядь должна была размещаться стоя.

— О! — произнесла государыня, увидев двоих студентов, которые несли толстенную книгу. — Одного из них я знаю, это мой сержантик из Преображенского полка.

Шумахер тотчас доложил, что сей сержант есть князь Кантемир, он же и студент, по все милостивейшему соизволению государыни.

— Помню, помню, — улыbnулась императрица. — Он у меня однажды заснул на часах. Я хотела наказать его примерно, но мне сообщили, что он по ночам вирши сочиняет.

Академики входили, облаченные в мантии и шапочки разных иностранных корпораций. Иные, не постигая всей торжественности минуты, ворчали: «И кто это придумал, в такую рань собираться!» Другие усмехались: «Кто же? Ясно — генерал-полицеймейстер господин Девиер». — «И

зачем же это ему надо?» — «А разве вы не знаете? У него в каждом деле главное — поднять шум!» Однако хоть и ворчали, но шли, яко послушные овцы.

Тут Шумахеру настали другие заботы — усмотреть, чтобы все сели по ранжиру, чтобы ретивый Бильфингер, любитель беспорядков, не уселся бы впереди старенького Германа, которому еще царь Петр приказал именоваться первым российским профессором. Другой его заботой было следить, чтобы амбиций своих не проявляли, держались точки зрения, согласованной с начальством.

— Эй, Шумахер, подь сюда! — подозвала императрица. — Чтобы не забыть, а то сейчас начнутся речи... Не боркотись ты с Андрюшкой Нартовым, что он тебе? Его государь покойный зело уважал, хотя он и токарь. Поручено ему гимназиум устроить, пусть делает!

Шумахер поклонился, а сам обежал взглядом ряды присутствующих. Так и есть. Этого проклятого Нартова здесь нет, не счел нужным явиться. Что ему диспут о философском камне, когда у него на уме станки да механизмы!

Перед началом государыня сказала несколько одобрительных слов в честь российской науки. Президент Академии, он же лейб-медик Лаврентий Лаврентьевич Блументрост с видом возвышенным, который он любил на себя напускать, держал заготовленный свиток с речью императрицы о науке. Но свиток не понадобился. Екатерина Алексеевна с милой улыбкой, чуть повода обнаженными полными плечами — она умела обворожать, когда этого хотела, — просила ученых не стесняться, говорить, кто что думает, лишь бы на пользу.

Тут вышел граф Рафалович, который на сей раз был в совершенно лиловом парике и в панталонах с разрезами. Придворные обольстительницы тут же начали не без значения кивать своим кавалерам.

А Рафалович, принимая позы, словно танцмейстер, заговорил о своем желании привезти в Санктпетербург такое диво — философский камень и вручить его российской императрице, которая яко Минерва прославилась покровительством науки. Но увы! Благодаря какому-то роковому стечению обстоятельств камень тот чудный утрачен!

Дамы заахали, кавалеры зашептались. Академик же Бильфингер могуче прокашлялся и, несмотря на отчаянные знаки Шумахера, спросил:



— Уж не тот ли это камушек, за который на пасху прусский король троих шарлатанов вздернул?

На него зашикали, особенно дамы, которые все сочувствовали обворожительному Рафаловичу.

Тогда Анна Петровна, герцогиня Голштинская, вопросительно взглянув на мать и получив согласие, задала вопрос:

— А что он может, этот камень?

И тут по знаку Рафаловича студенты положили принесенную ими книгу на пюпитр и раскрыли ее. И студент Миллер, поправив очки, принялся читать высоким от волнения голосом. И переводил он в уме латинский текст, вслух говоря по-немецки:

— «Чтобы приготовить эликсир мудрецов, сиречь философский камень, возьми ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. Прокаливай сильнее, и она превратится в красного льва. Свари красного льва на песчаной бане с виноградным спиртом, выпари жидкость, и ты получишь камедообразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в реторту и не спеша дистиллируй. Мистические тени покроют реторту радужным покрывалом, и ты найдешь там, внутри, дракона истинного, потому что он пожирает собственный хвост. Возьми того дракона и прикоснись к нему раскаленным углем, пока он не загорится, приняв великолепный лимонный цвет. Наконец тщательно отцеди то, что получилось, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови. Три девы со звездой во лбу восплачут на лилейной груди владычицы. И сбудется все то, что только пожелаешь!»

— Да это же рецепт получения красной ртутной амальгамы! — воскликнул химик Бюргер.

— Нет, трижды нет! — защищался Рафалович. — Тысячу лет уже известно, что так получается золото из железа.

— Рецепт, рецепт, — сказал математик Эйлер, нервно моргая и потирая подбородок. — А где же тут, уважаемый, философский камень? Его-то в этой формуле и нет.

Граф Рафалович заметно смешался, не зная, что ответить. Академики заговорили, закачали париками. И вдруг на помощь Рафаловичу встал старший Бернулли.

— Вопрос поставлен некомпетентно. Приступая к опыту, коллега Эйлер, вы априорно должны знать, что ртуть дает философский камень, который сам по себе не

изменяется, способствует лишь трансмутации элементов...

Приободрившийся Рафалович сделал очередное па с поклонами и, подняв два пальца, будто для заклинания, объявил:

— Черный дракон и есть образ философского камня, а красный лев символизирует амальгаму ртути.

Никто ничего не понял, и все зашумели. Присутствие особ императорской фамилии уже не сдерживало.

— Вы хотите знать,—напрягал голос старший Бернулли,—вы хотите знать, каким образом влияет философский камень на сам процесс трансмутации? Это могут знать лишь посвященные в таинства алхимии. Повидимому, их эликсир есть тинктура, близкая к субстанции божьего творения, она всеильна и всепроникающа, а ее материя столь же тонка и субтильна.

Только мрачный Бильфингер не принимал участия в споре. Он то и дело ударял себя ладонями по коленям, кашлял и поворачивался на стуле с миной глубокого возмущения.

И снова раздался голос синеглазой Анны Петровны, герцогини Голштинской:

— Но объясните же тогда, если рецепт приготовления философского камня так прост, почему его не изготавливает каждый?

#### 4

Бильфингер не выдержал, поднялся.

— А потому, милая царевна, что все это есть профанация, обман честных людей!

К нему кинулись Шумахер и Рафалович, но он решительно протянул руки к помосту, и императрица жестом повелела оставить его в покое.

— Россия в крайнем напряжении изыскивает средства на науки,—говорил Бильфингер. Парика он не носил, волосы его развевались, а усы топорщились, придавая ему сходство с покойным императором.— Я знаю, русский народ частенько клянет немцев за то, что они понаехали на нуждах российских себе длинную деньгу делать. Но есть и честные немцы, и они скажут: долой шарлатанов, стрекулистов от науки, с их философскими камнями, эликсирами, гороскопами и прочей фанаберией, долой!

— Bravo!

Это воскликнул стоявший за стулом императрицы генерал-прокурор сената Ягужинский. В вороном парике, одетый во все черное, он напоминал вещего ворона. Сам покойный Петр называл его первым правдолюбом в государстве.

— Bravo! — воскликнул Ягужинский и захлопал в ладоши, не ожидая, пока выразят мнение особы царствующего дома.

— Погодите! — Бильфингер поднял ладонь. — А если взять тот вечный двигатель, который господину Шумахеру пришла такая блажь закупить...

— Ну, — сказали академики, — сел Бильфингер на своего конька, на перепетуй мобиля!

— Да, — не унимался Бильфингер. — На конька, то есть ауф рессель. Тот прохвост, который надул Шумахера, знаете, чем он аргументировал научную ценность аппарата? Ценой! Це-но-ой! Десять тысяч золотых ефимков!

Завороженные блеском такой горы денег, все присутствующие вздохнули.

— Но Лейбниц, Лейбниц, — сказал Даниил Бернулли, — сам великий Лейбниц говорил, что, если б секрет вечного двигателя перешел в руки разумных математиков, его бы можно было реализовать.

— В чем там секрет, расскажите, расскажите! — требовала царица Анна Петровна, постукивая кулачком по пюпитру. — Мы желаем знать любой секрет.

— Ваше герцогское высочество, — поклонился ей Бильфингер, — заверяю вас, там никакого секрета нет, кроме чистого надувательства. Часть роликов там скатывается с призмы, а другая часть тем же движением поднимается. Да не может ничего рождаться из ничего! Чтобы получить силу, надо применить другую силу, а там ещё потери от трения, от неточных расчетов.

— А как же мельницы? — возражали ему. — Откуда там берется сила?

— Там сила ветра и воды.

— А сила ветра, сила воды?

— Солнце всемогущее поднимает воду в небеса и низвергает в виде дождя. Оно же приводит в движение борей и зефиры.

Некоторые в пылу спора сорвали с себя парики, обнажив академические лысины, пудра поднялась облаком. Гвалт был как на рынке, императорская семья смеялась,

а Блументрост, президент Академии, похожий на благостного овна, стоял молча, скрестив руки.

Императрица кивнула Ягужинскому, и генерал-прокурор, привыкший проводить прения в сенате, голосом твердым остановил всех:

— Силе сциенция — тихо, наука!

И все опомнились, рассмеялись.

А Ягужинский развел руки и стал еще больше похож на огромного мудрого ворона.

— Так, может быть, — начал он, — закажем господину Рафаловичу, пусть наготовит нам философских камней на каждую губернию? Ведь тяжкий крест несет селянин российский, одних воевод да приказных кормит неисчислимое множество. А тут и армия, и флот, и помещику дай на лопотину. Мир тебе, труженик, с честным оралом, переведи-ка ты дух! Нароботаем мы золота способом графа Рафаловича, всем хватит — и воеводам, и генералам, никто боле с тебя семь шкур драть не станет!

Все просто не знали, что это? Шутка, серьез? И проносил это не кто иной, как высший сановник империи! И без единой тени улыбки!

Так бы и оставались се в недоумении, если б не Христина Гендрикова. К началу она опоздала, потому что была у куафера, делала прическу фонтанж, чтобы окончательно сразить завистниц-фрейлин. Войдя в портретный зал, она обнаружила, что места для нее не заготовлено и вообще в пылу ученых споров никто не обращает на нее внимания. Тогда, растолкав придворных, она пробилась к самой императрице. Поймала пухлую ручку, облобызала со слезой умиления, потом кинулась к царевнам.

— Здравствуй, на множество лет, душечка Анна Петровна! Здравствуй, золотце наше, Лизочка Петровна!

Она расслышала только конец драматической речи генерал-прокурора сената и высказалась так:

— И-и, золота наработать! Видали мы в псковской нашей волости таких ловкачей. Они в цессарский талер добрую четверть фальшивого золота клали. И перечекаивали заново, да ведь как искусно! Рыло королевское, двоеглавая кура — все честь по чести. У нас половина шинкарей от их художества разорилась.

Левенвольд поспешил принести стульчик и ей, а первый российский профессор Герман, похожий на седенького мышонка, раздумчиво сказал:

— Нет, что ни говорите, господа, тут что-то другое...

Тут проблема возможности и невозможности чуда, вот в чем дело. Если взять Лейбница...

И опять при имени Лейбница все академики приумолкли.

— Если взять Лейбница, то по смыслу выходит, что мир знает шесть ступеней познания или шесть градаций разума. Первая, самая низшая ступень, которой довольствуются ныне лишь самые тупые или малообразованные люди, равнозначна математическим действиям сложения и вычитания. Вторая ступень — это уже, соответственно, умножение и деление. Поднимаемся выше — это извлечение корня и возведение в степень, что достаточно для нашей школьной науки. В таком случае, университет для нас — это четвертая ступень: интегральное и дифференциальное исчисление...

— Э! — заявили академики. — Все это не ново.

— Пойдите, постоите! — молил Герман и его терпеливо слушали. — Пятая, значит, ступень — это художественное творчество, создание образов... Я полагаю, вири глориози — мужи славнейшие, никто из вас не откажется признать связь в генезисе между рациональным познанием и эмоциональным восприятием...

Академики покачивали париками, стараясь вникнуть в смысл речей первого профессора.

— Но уж высшая — шестая ступень познания — это экстаз, молитва! Сие есть чудо, являющееся по вере. Так почему же тогда не быть философскому камню, раз в него верят?

Вновь поднялся спор, и граф Рафалович решил брать инициативу в свои руки. Он заговорил о метаморфозах, о реальности чудесных превращений, сводя речь к тому, что мало эликсир приготовить, надо верить в его сверхъестественные способности, и только тогда чудо себя сможет проявить...

Тут Гендрикова Христина перекрыла все голоса хорошо вышколенным басом кабатчицы:

— Ты скажи-ка лучше, голубок... Может ли этот твой эликсир мне молодость возвернуть? А то ведь как оно получается. Я принцесса сейчас; сестра наша, благодетельница, обещает, что и графиней вскоре буду, а годы-то мои ушли!

Долго продолжался бы этот диспут, если б императрица не обмякла, не уронила бы веер. Обер-гофмейстер был, конечно, тут как тут и услышал из уст повелительницы:

— Рейнгольд... Утомилась я...

Тогда по его знаку все двинулись из портретного зала. Придворные галантно уступали друг другу путь, а академики доругивались шепотом.

Уже ведомая в опочивальню, Екатерина Алексеевна обернулась и поманила Левенвольда.

— Кого? — угадывал обер-гофмейстер ее желание. — Блументроста? Рафаловича?

Императрица отрицательно покачала головой, лоб ее мучительно напрягался, стараясь преодолеть склероз.

— Генерал-полицейместера? — предположил Левенвольд и на сей раз попал в точку.

Девьер спешно приблизился, склонился.

— Возвращает молодость? — улыбнулась императрица. — Это славно! Мы желаем, чтобы его непременно нашли.

## 5

В большом амбаре бурмистра Данилова слободские бабы и девки спешно доделывали заказ Адмиралтейства, а то ведь и правда можно было бы под батоги угодить.

— Эгей, Аленка! — позвал мастер Ерофеич, стараясь перекричать визг веретен. — Чего без дела бродишь? Иди-ка, вот пук конопли, давай его вместе прочешем.

Он орудовал лубяным гребнем, а сам говорил без умолку:

— От всякой, дочка, от печали дело — лучшее снадобье. Что, девуля, не тороватит тебя твой унтер? Да на что ты ему сдалась, кабальница, он сам еле из подлого сословия вылез. Ему бы теперь купецкую дочку или, на худой конец, поповну.

Соседние крутильщицы не без ехидства прокричали:

— Хоть и сопатую, лишь бы богатую!

Ерофеич хотел их побранить за несочувствие, но вдруг, заохав, кинулся в другой конец амбара, где немец Федя попал рукавом в шестеренку. Добровольный помощник этот только мешал, но его терпели, знали: Миллер здесь русский язык изучает.

— Весьма ты, братец, нерасторопен, — укорил его Ерофеич.

— Как, как? — обрадовался студент. — Ви-ес-ма? Что такое есть «весьма»? — и полез за записной книжечкой.

Ерофеич в затруднении сдвинул на лоб замасленную



треуголку. А правда, как объяснить слово «весьма»? Очень? Да нет, не «очень», совсем иной смысл. Сильно? Тоже не так... В общем, черт раздери, пусть этим академику занимается.

Алена вышла к распахнутым воротам амбара. Там сиял ослепительный день, и за высокими крупными ромашками, за кустами ивняка видно было окно горницы, а за окном тем спал-почивал после ночного караула господин корпорал Максим Петрович Тузов.

Они вновь принялись с Ерофеичем за пук конопли.

— Максим Петрович мне сказывал,— делилась Алена,— ему бы только выбиться в обер-офицеры. А там и дворянство, и поместье может заслужить...

Ерофеич сделал безнадежный жест чесальным гребнем.

— Э, милая! Теперь не как при царе Петре Алексеевиче. Тогда и вправду, ежели способен и рвение прикладываешь, можно было и в графы проскочить, а то и в генералы. Теперь одно лишь и осталось — в случай выйти.

— Как это «в случай»?

— Кому-нибудь из вельмож на побегушки попасть.

— Ну,— убежденно сказала Алена,— Максим Петрович не такой. Он гордый, Максим Петрович.

А Ерофеича охватил зуд ораторства:

— Теперь вот отменили баллотировку в полках... Ты знаешь, что такое баллотировка? Ежели кого из офицеров надо в полк принять или в высший чин произвести, прочие офицеры закрытым образом баллотировывают, выбирают что ни на есть достойного. Теперь же просто назначать будут сами генералы, а у этих, давно известно, кто кум, тот и сват.

— Говорят, что Меншиков баллотировку в полках отменил,— сказал Миллер, не отходивший ни на шаг от полюбившегося ему Ерофеича.

— Меншиков! Все князьям хочет угодить да боярам! Сам забыл, из кого вышел. Проугождается!

Тут явился бурмистр Данилов, видя, что Ерофеич разглагольствует, погрозил ему пальцем. А сам пошел по рядам крутильщиц, отыскивая неродивых, отпускал щедро пощечины да тумачи.

— А скажи, Федя,— обратилась Алена к студенту,— ты давеча государыню видел, какая она? Говорят — добрая?

— Го-го! — Ерофеич не дал студенту и слова вста-



вить.— Ты что же, с челобитной, что ли, к государыне хочешь? Оставь эти финтифлюшки. Вот послушай, что раз было. Выходит государыня из дворца, а там царская пристань. Гребцы дежурные день и ночь наготове под веслом стоят. Спрашивает одного молодца: ты кто таков? Он отвечает: вашего императорского величества гребец Силюян. Ах, если ты гребец, то гребь, указывает ему царица. И поехали они на острова и гуляли там до рассвета. А когда вернулись, откуда ни возьмись, к нему красавчик Левенвольд с молодцами. Да того Силюяна полотенцем удушают и в воду, с камнем на шее. Га-га-га! Вот тебе и добрая государыня.

— Пшел вон! — в отчаянии закричал на него бурмистр Данилов.— Пшел отсюда вон!

Ерофеич, нимало не смутясь, пристукнул босыми пятками и вышел из амбара на волю, табачку понюхать. Знал, что ведь обратно призовут, еще и поклонятся. Где теперь канатные мастера?

А бурмистр подошел к грустной Алене.

— Чего ты здесь? Пыль, гляди, кострица едкая летает. Соглашалась бы, давно бы у меня барыней жила в чистых покоях...

Алена молчала, а бурмистр с состраданием смотрел ей в лицо. Руку свою он держал за спиной, потому что в руке той была крупная ромашка, которую он сорвал по дороге, но не смел преподнести.

В это время Миллер, вышедший с Ерофеичем, вбежал в амбар с криком:

— Герр Шумахер идет! Герр Шумахер, зельбст унд алляйн! Сам идет и весьма один!

Действительно, через мостик переходил озабоченный Шумахер в расстегнутом кафтане и метя пыль снятым париком. Случай небывалый, чтобы господин библиотекаряус самолично жаловал в слободку.

Шумахер поднялся в тень на крыльце домика Грачевой и оттуда послышался его начальнический голос:

— Герр унтер-офицер Тузофф! Где ви есть здесь проживайт? Быстро-быстро, нам указано ехать, новую Кунсткамеру смотреть!

Максюта вышел сосредоточенный, пристегивая кортик. Шумахер пустился обратно через мостик, наклонив лобастую голову.

Алена ничего не могла поделать с собой, выбежала из

амбара на виду у всех, старалась попасть в ногу рядом с корпоралом, говорила:

— Позвольте мне идти за вами, хотя бы в отдалении... Да вы не сомневайтесь во мне, Максим Петрович... А с тем вертепом что вышло, так я ж хотела вам помочь... А Соньку ту, иноземку проклятую, вы не слушайте ничуть...

Он остановился, повернулся к ней. Кругом цвели ромашки, звенели кузнечики, буйствовал ослепительный летний день. А он стоял, загородив тропинку, туча тучей.

— Вот что,— сказал он твердо.— Не ходила бы ты за мной!

## 6

Кончив подносить кирпич, каторжане перенесли подмости. Охрана также переместилась, а каторжан пока усадили в канаву, поросшую травой. Ожидалась барка с щебнем под разгрузку.

Каторжане блаженствовали на солнышке, ловя миг ничегонеделанья.

— А щавель туточка гарный,— сказал, жуя листочек, молодецкий каторжанин, у которого на смуглом лбу был выжжен грубый номер 8, словно двойной струп.

Говорили, что это антихрист генерал-полицеймейстер Девиер съездил в Европу и привез оттуда, чтобы людей, вместо привычного рванья ноздрей, клеймить номерами, словно скот.

— У матушки-то в Черкассах,— продолжал Восьмой,— теперь, чай, и шти щавелевые, и плотвица ловится!

— Забудь про плотвицу!— ругнулся на него артельщик, такой же клейменный, как и все.— Третьего дня опять загарнуть пытался, сбежать? А артельному за тебя что— своей спиной отвечать?

— Ладно, Провыч,— сказал примирительно номер 13, широкоплечий атлет, у которого струпья в форме единицы и тройки украшали левую щеку.— Каторга, известно, что толокном не доест, то травой допитается.

— Тебе хорошо,— вздохнул артельщик.— Ты хоть и бывший, а все же офицер. Тебя здесь за три года никто не ударил. А на мне уже места живого не осталось!

— И тут недоля,— заметил юноша Восьмой.— Нетопыря вон, со всеми его татями, пальцем не тронут. Наоборот, почитай, каждую ночь на улицу выпускают,

якобы милостыньку собирать. А утром награбленное с охранниками делят.

— Тс! — перепугался артельщик. — Ну, Восьмерка! Не хватало, чтоб сам Нетопырь тебя услышал.

Тринадцатый и Восьмой уселись на травке рядышком, расстегнули зипуны. Снимать одежду, даже в самую жару, каторжанам не разрешалось. Артельщик же стал поправлять ножную цепь и нечаянно задел старика, лежащего рядом.

— Эй, Чертова Дюжина, — сказал он Тринадцатому. — Батя-то ваш загибается, как бы к утру не тово... Придет коновал, запишет — пухлость чрева, и в яму!

— Типун тебе на язык! — вскочил Тринадцатый и вместе с Восьмеркой склонился над стариком.

Тот был действительно плох.

— От духоты, от грязи, от воды гнилой, — качал головой Тринадцатый, перебирая лохмотья на его воспаленной коже. — Голова — сплошные расчесы, вошь. Есть такая примета: на кого вша нападет, тому не быть в живых. Батя, — шептал он старику. — Батя, очнись! Хочешь сухарика? Размочим, у Провыча вода осталась во фляжке.

— О-ох! — только и мог простонать бедняга.

Требовать врача каторжане боялись. Заберут старика в госпиталь, там его кромсать начнут иноземцы. Ходили слухи, что божедомы, которые неопознанных покойников погребают, мертвечиной стали на рынке торговать. Пусть уж старикан помрет на руках у товарищей, коль его такая судьба. Сколько вместе бедовали!

— Батя! — тормошил его Тринадцатый. — Не спи, не спи. Подними-ка чуть головушку, я тебе вошек поищу.

— Сколько ж ему годов? — размышлял Восьмерка. — Шестьдесят? Семьдесят? Каторга всех равняет. А имя хоть известно, ежели придется помянуть?

Старик вдруг шевельнулся и сказал отчетливо:

— Канунников Авдей Лукич, московской большой суконной сотни бывший купец, по делу царевича Алексея...

Артельщик ахнул и на всякий случай отодвинулся подальше. Другие каторжане чуть звякнули цепями, свидетельствуя этим свой интерес.

— Ладно, батя, ладно, — успокаивал старика Тринадцатый. — Что об этом?

— Пусть скажет, — настаивал Восьмерка, — остался ль у него кто-нибудь на воле? Кому что передать?

У него, как у самого молодого, была еще сильна духовная связь с вольным миром.

— Никого нет,— ответил бывший купец, не отрывая глаз.

— У нас в Рогервике,— сказал артельщик,— на второй верфи, был один такой же. Все талдычил: одинокий, одинокий, а как преставился, за его телом аж князя приезжали!

— «У нас в Рогервике»! — передразнил его Тринадцатый.— Лучше скажи, что делать? Когда баржа придет и всех на разгрузку погонят, как мы его прикроем?

— Тю! — придумал Восьмерка.— Давай его подложим под бок пьяному Нетопырю, тот все равно не проснется. А охрана Нетопыря не поднимает.

— Гляньте, начальство привалило! — забеспокоился артельщик, всматриваясь из-под ладони на строительные леса.— Вот этого, в вольном кафтане, я знаю, это господин Шумахер, куратор Кунсткамеры, которую мы строим. А рядом кто же это в васильковом мундире? Какой-нибудь большой воевода?

— Может, ради приезда начальства, нам мясца на ужин положат? — размечтался Восьмерка.

— А я, кажется, воеводу того знаю, который в васильковом мундире,— сказал Тринадцатый, глядя также на верх кладки.— Я даже с ним служил на флоте...

— На «Святом Иакове»? — заинтересовался Восьмерка.— Ой, дядько, расскажи, будь ласков!

Тринадцатый нашел в траве сухой листик, перетер его в пальцах и стал нюхать, словно табак.

— Да нет,— ответил он.— Это было раньше, и были мы в десанте под самый под Стокгольм, королеве швейской в печенки. А вот после, ежели б они нас поддержали, «Святой Иаков» бы победил.

— И ты, дядько, не был бы тогда на каторге? — Хлопец блеснул восторженными глазами.

— Да, тогда бы, может быть, и не был.

— И меня б тогда, яко разбойника и татя, не признал?

— Нет уж, брат. Уж если б наш «Святой Иаков» победил, не стало б навеки в русской земле ни каторги, ни каторжан. Что же до того воеводы в васильковом мундире, то ведь с нашим Полторы Хари я тоже вместе служил. Оттого он лиходей для нас не меньший.

Артельщик тем временем внимательно прислушивался к разговорам начальства наверху.

— Братцы! — сообщил он. — Выгрузки сегодня не будет, баржа села на мель.

— Ура! — шепотом ликовал Восьмой.

А Тринадцатый был и этим озабочен. Что, если батя не сможет встать, чтобы перейти на каторжную барку? Охрана, лишь бы не канителиться, просто не прикончит. Или, чтоб рук не марать, поручит это Нетопыревой шайке — так уж бывало! Имелись бы хоть деньги, охранников задобрить...

## 7

— Ой, друже! — восклицал начальник охраны и тыкал кулаком Максюту в грудь, украшенную боевыми медалями. — Вот где бог привел свидеться!

Шумахер неодобрительно поглядел на этих русских, которые по всякому пустяку галдят и размахивают руками, и устремился навстречу архитектору Трезини. Он только что прибыл в адмиралтейской шлюпке.

Трезини, или как русские называли его для простоты — Дрезинов, поднялся с Шумахером на самую высокую точку строящейся Кунсткамеры — среднюю башню, где должен был разместиться Готторпский глобус, диковина с Царицына луга.

Направо и налево по песчаным берегам Васильевского острова, среди недорубленных тонких берез, возвышались строительные леса. Воздвигалось здание Двенадцати коллегий, строились таможня, торговая биржа, множество особняков знати. Дворец же светлейшего князя, полностью готовый, горделиво высился среди этой всеобщей стройки, сияя позолоченными кровлями.

Куда хватал глаз, люди, словно муравьи, копошились, передавали по цепочкам кирпич, волокли носилки с раствором.

— О, я-а! — сказал Шумахер, придерживая треуголку, которую вместе с париком грозил сорвать свежий ветер. — Дело кипит!

— Кипит-то кипит, — ответил Дрезинов по-русски. Он недолюбливал немецкий язык, да и сам считал себя русским. — Но от этого кипенья одно сплошное пенье.

— Что, что? — не понял Шумахер.

— А то, что от каторжных людей работы особенно ждать не приходится. Видите ли, сударь, при Петре Алексеевиче в основном строили крестьяне либо посадские. Те

хоть тоже подневольные, но это был их хлеб, их труд. При государыне же Екатерине Алексеевне для ускорения нагнали каторжных, а каторжным главное не труд—им время провести. Вот и выходит, что работа кипит, а результатов нету.

— Майн либер готт!— расстроился Шумахер.

— Да! И к тому же то недовоз, то недогруз, то недостаток. Механизм разладился, милейший Иван Данилович, я об этом и вице-канцлеру Остерману в глаза говорил. А воровство? А смертность среди работающих?

— Должен ли я понимать, что этим объясняется задержка с окончанием Кунсткамеры на целый год?

Дрезинов стал приводить еще многочисленные доводы, а Шумахер принялся объяснять, сколько всего нужно уместить в будущее здание— и ту Кунсткамеру, что в Кикиных палатах, и академическую библиотеку, и предметы курioзные, собранные в Зимнем, Летнем и других императорских дворцах, и токарную мастерскую его величества, и малые кунсткамеры, пожалованные вельможами. Теперь и генерал-фельдмаршал князь Репнин, выходя в отставку, пожаловал российской науке фамильные сокровища, в том числе дары монархов прошлых времен...

Ему приходилось подниматься на цыпочки к самому уху рослого Дрезинова, и все равно ветер ревел и не давал ничего услышать. А архитектор все разводил руками— нет, мол, возможностей, и баста.

Тем временем начальник охраны никак не мог успокоиться от неожиданной встречи, хлопал боевого товарища то по груди, то по плечу.

— А помнишь, в Ревеле, на пристани, гренадер задирался и как мы его? Ох-ха-ха! А помнишь, Ядвига, плутовка черноглазая, тебе записочки посылала, а ты неграмотный, ха-ха-ха!

Максюта отвечал рассеянно, смотрел вниз, где охранники палками поднимали каторжан, и те переваливаясь, как медведи, проходили по мосткам на каторжную барку.

— А вот это кто такой?— показал Максюту на высокого каторжанина, загорелого до черноты и с клеймом 13 на щеке.— Знаком больно, а откуда, не помню.

— Ну как же, как же!— засмеялся начальник охраны, вытирая ладонью упитанное лицо. Жарко, страсть!— А помнишь, десант был в Стокгольм? И этого неужто не помнишь? Отчаянный был мужчина!

— Тот самый!— изумился Максюту.— За что ж его?

Начальник охраны оглянулся, хотя рядом никого не было.

— «Святой Иаков»!

— Он был на фрегате «Святой Иаков»?

— Да, да... Но прошу тебя, тише. Мы не имеем права знать, кто и за что...

— Значит, на том самом, что выбросил за борт императорский штандарт?

— Да, да!

— Но ведь «Святой Иаков» был в упор расстрелян всей эскадрой, и было приказано с воды никого не подбирать?

— Но как видишь...

Максюта и начальник охраны молча смотрели, как поднимается с травы великан Тринадцатый, как прочие каторжане жмутся к нему.

— А знаешь?— вдруг сказал Максюта.— Он еще там, на Аландских островах, ко мне подбирался. Но я ответил, что присягу давал на святом Евангелии.

— Вот и меня также бог миловал,— вздохнул начальник охраны и перекрестился.

## 8

Между тем спор Шумахера с Дрезиновым не стихал.

— Я сам к государыне вхож!— кричал библиотекариус.— А вы, майн герр, получаете как иностранец двести золотых в год и радения никакого! Были бы русским, получали бы в двадцать раз меньше!

Это было не интересно, и начальник охраны продолжал расспрашивать бывшего однополчанина:

— Значит, еще не женился? А приварок у тебя хорош?

— Какой приварок?

— Ну там, кроме кормленья да экипировки, то да се, да такое, разэтакое...

— Какой же приварок от моих монстров да скелетов?

— Не скажи! Говорят, у вас посетителям вино отпускают. Угощения ради.

Максюта засмеялся. Вино-то вино, да посетителей нет. Хотел спросить товарища, а есть ли приварок у него, да смекнул, что сукно его мундира, по цвету такое же васильковое, как и у Максюты, однако не в пример и тоньше и добротнее,— не из казенной швальни, а из гостиного

двора. Максим Тузов, сам бывший приказчик, в сукнах толк понимал.

В этот момент снизу, от причаленного каторжного судна, раздался взрыв брани, отчаянный звон цепей. Клубок тел в бурых лохмотьях катался возле трапа, а охрана старалась разбить этот клубок ударами плетей.

Наконец один из дерущихся выпрямился—это был Тринадцатый. Лицо его было в багровых полосах от плетей, но он твердо сжимал руку другого каторжанина, державшую нож.

— И-эй, бояре, воеводы!—верещал тот, в чьей руке был нож.— И-их, спасите Нетопыря, Нетопыря убивают!

Охранники вцепились в Тринадцатого, но тот успел все-таки выкрутить руку Нетопыря, и нож выпал в воду.

Тринадцатый поднатужился, видно было, как напряглись его плечи. Он разбросал охранников, как котят, и стоял не нагибаясь над их кнутами.

— Господин полицейский офицер!—крикнул он, протягивая руки к Максюту. Тот даже обернулся, чтобы посмотреть, не стоит ли кто за его спиной. Сомнения не было—Тринадцатый обращался именно к нему, Максюту, приняв его за полицейского чина по сходству цвета кафтанов.— Господин офицер, не дайте свершиться несправедливости! Вы независимый здесь человек, не допустите беззакония!

— А!—поморщился начальник охраны.— Не обращай внимания. Видишь, какая у нас служба собачья!

Но Тринадцатый требовал не умолкая, и другие каторжные тоже стали кричать. Привлеченные скандалом, спустились с башни Шумахер и архитектор Дрезинов. Начальник охраны дал знак своим клеветам, чтоб они перестали махать плетьюми, а сам приблизился к месту драки, с ним и заинтересовавшийся Максюту.

Оказалось, что каторжные просили не отделять от них заболевшего их товарища, старика. Из-за этого у них весь сыр-бор загорелся. Хмуру взглянув на Максюту, начальник охраны приказал забрать больного на борт.

— Но, может быть, ему нужна помощь?—спросил Максюту.

— Ах, мать честная!—раздраженно сплюнул начальник охраны.— Если б ты знал, какие они все притворялы, бездельники!

Однако приказал открыть лицо лежащему уже на по-



силках старику. Бедняга тяжело дышал, зловещие тени гнездились на сомкнутых веках.

И Максюта не удержался, чтоб не ахнуть. Перед ним лежал его бывший хозяин, московский купец с Красной площади, Авдей Лукич Канунников, правда постаревший на сорок сороков лет и зим, но он, он!

— Унесите! — распорядился начальник охраны. Каторжане наклонились, чтобы поднять носилки, но Максюта упросил — еще чуток.

И в ту самую минуту вся его юность прошумела вновь, как мимолетная птица. И лавка в рядах, и безродная жизнь, и лицо девушки, похожее до боли на лицо старого каторжанина...

Старика унесли, а Максюта все еще был как в обмороке. Что-то указывал ему Шумахер, какой-то чертеж демонстрировал Дрезинов, все это проносилось сквозь его сознание, а мысль была все об одном: да как же он, Канунников, оказался на каторге, среди воров и убийц? Ведь был он всегда справедливый и богобоязненный и не раскольник никакой. А он-то, Максюта, в эти годы частенько его поминал. Думал — живет тот себе тихо-мирно, а он, оказывается, вот как!

— Кто он тебе, старик-то? — спрашивал начальник охраны. Несколько подобострастный тон его, с которым он сначала обращался к Максюте, как своего рода академическому начальству, теперь сменился на откровенно презрительный: меня, мол, не проманешь, я тут всякое видывал. — Так кто ж он тебе? Отец, дядя? Хо-зя-ин? Ну, брат, был хозяин, стал холоп, так и нечего его чтить!

А Максюта напряженно думал свое: эх, ударить бы одним махом по тому, кто жизни загубил и этого старика, и его, Максютину, невесть где сгинувшего отца, и той несчастной Аленки Грачевой... Эх, ударить бы, да как его, виновного, различишь? А и ударишь, лишь кулак отшибешь...

За рекой, в сгустившихся сумерках, зажглись адмиралтейские фонари, далеко разносился басовитый звон Исаакия.

«Нет! — встrepенулся Максюта. — Нужно выбрать время, найти свой час, собрать в единый кулак все силы — и тогда...»

И тут до него дошло, что начальник охраны теревит его за рукав.

— Да ты что, онемел, что ли? Я тебе говорю, гово-

рю... За тобой ялик прибыл из полицейского дома. Сам генерал-полицеймейстер тебя зачем-то вызывает... Ты, брат, все-таки важная птица, я посмотрю!

9

Апраксин дворец, у Невы, рядом с Адмиралтейством, самое большое здание тогдашнего Санктпетербурга, был пожалован старшей дочери государыни и любезному зятю герцогу Голштинскому. Императрица с раннего утра изволила гостить у них.

Жизнь шла своим чередом. Придворный садовник преподнес свежие плоды клубники, за что был пожалован шестью рублями. Белошвейки принесли расшитый нитью льняной корсаж и приняли из рук благотельницы червонец. Сочинитель из иностранной коллегии явил перевод изданной в Лондоне книги некоего дворянина Де Фоз «Похождения Робинзона» и получил полтинник с вычеканенным профилем Екатерины Первой.

Были и огорчения. Младшая царевна Елисавет укатила на охоту с отпрысками Гендриковыми. Эти ни в чем удержу не знают, то и дело жалобы на них? Водку хлещут как извозчики, того и гляди царевну приучат... Как ей, неразумной, ни толкуй, что покойный государь-батюшка охоты развлекательной терпеть не мог, тако же карт, бильярда и других пустых затей,— не действует!

Затем представлялся по случаю ухода в отставку генерал-фельдмаршал князь Аникита Репнин. Сия церемония была обставлена торжественно. Присутствовали высшие чины империи — генерал-прокурор сената Ягужинский, изрядно надоевший своим правдолюбием, канцлер граф Головкин, рыхлый до того, что где сядет, тут же и засыпает. Герцог Голштинский по сему случаю надел мундирный кафтан фишашкового цвета неизвестно какой армии. Были и военные — Иван Бутурлин, командир Преображенского полка, петровский потешный номер один, а также Мишка Голицын, записной грубиян, который должен был заменить Репнина на всех постах.

Государыня приободрилась, приняла ласковое и слегка грустное выражение лица. То и дело косила в боковое зеркало — удастся ли такая мина?

Знала ведь отлично, что старый Репнин был первый ее недруг. При восшествии на престол, если бы его не перехватили Бассевич да Иван Бутурлин с преображенцами, не

дал бы он царствовать Екатерине Первой. Но, поняв свое поражение, Аникита не ерепенился, служил верно, интриг не заводил, не то что эти Долгорукие или Голицыны, которые только и смотрят, как бы своей монархине занозу вставить.

И вот пришел Аникита Репнин прощаться — голубая кавалерия Андрея Первозванного через плечо, еще какие-то иностранные ордена. Сух, подтянут, служить бы ему да служить... Хоть и Рюрикович от самого корня, хоть и сын любимца царя Алексея Михайловича, а был он в числе тех «первозванных», которые обок с молодым Петром свершили преобразование России.

Она встала ему навстречу и расцеловала в шелушащиеся от старости щеки, и прослезилась по-бабьи, а старый князь был невозмутим и прям.

— Ах,— сказала Екатерина Алексеевна, комкая платочек,— Аникита Иванович! А помнишь ты Лесную, помнишь Сороки? Помнишь, как с Петрушею и с тобою ездили в Карлсбад? Все пролетело, промелькнуло, ровно единый миг!

Наконец генерал-фальдмаршал был отпущен, и все перешли в верхний этаж, где в покоях герцогини устраивался малый астанблей. Рыдающий оркестр из итальянских виолончелей сотрясал штофные стены. Было светло, но во всех канделябрах и паникадилах щедро горели восковые свечи.

— Как все переменилось!— сказал князь Репнин, выйдя на верхнюю площадку вестибюля и встретив там любимца внука в преображенной форме.— Гляди! Два года назад на астанблеи валом валил и шкипер, подрядчик, и даже мастеровой из тех, кто лично царю известен. Теперь не всякий и родовитый-то пройдет, ишь по лестнице камергеров наставлено!

Николенька схватил его за руку.

— Дед! Не ездил бы ты в свою Ригу! Завтра светлейший приезжает, как при дворе-то будут без тебя?

— Как при мне, так и без меня,— хмыкнул князь.— Теперь Девиер пойдет в ход, флибустьер заморский, страсть командовать ему охота! Однако послушай, отрок, что я тебе скажу...

Он увлек внука на боковую галерею, где, вспугнутые их появлением, выбежали вон какая-то фрейлина и кавалер.

— Послушай,— сказал старый князь, приобщаясь

к табакерке.— По всему видно, теперь пойдет заваруха! Против светлейшего многие восстанут. И восстанут только за то, что он один еще старается всех будоражить, держит войско, держит флот, как при Петре. А дворянчикам нашим страсть как надоело беспокоить себя службой. Все от тормозного царя устали, а тут теперь мешается этот калашник!

Князь с иронической улыбкой глянул на внука, готовый разъяснить, что слова эти — только шутка, но... Он увидел, что любимец его повернул голову к Белому залу, где гремит церемонный менуэт и слышится шарканье подошв по паркету.

Дед захлопнул табакерку и взял внука за локоть.

— Иди, отроче, танцуй. И вот тебе мой наказ: ни в какие шашни против светлейшего не мешайся. Множество лет был ему я недругом, хотя и соратничали вместе. А теперь скажу: только на нем одном держится новая Россия.— И добавил, уходя:— Ты слышал, что английско-датская эскадра появилась у наших берегов? Говорят, к ней и шведская присоединилась. Что им надо — пока не скажет никто... А мы тут единственного дееспособного администратора станем выковыривать.

Менуэт окончился громким пассажем, пары рассыпались. Кавалеры перешли в курительную, а раздурмянившиеся дамы, обмахиваясь веерами, поспешили на балкон.

## 10

Позднее всех появился генерал-полицеймейстер Девьер, бледный, чернобровый, похожий на лесного соболя. Долго стоял у стенного зеркала, оглядывая на себе новый партикулярный кафтан гамбургского покроя. При царе Петре не смели и появляться без форменной одежды, теперь, слава богу, никто сего не соблюдает.

— Ну как, надумал или нет? — спросил, появившись за плечами, Иван Бутурлин. Танцы не прельщали этого славного преображенца, и он курил с ожесточением, то занимался разговорами.— *Думай, думай, а то, глядишь, опоздаем.* Вот и герцог Голштинский с нами согласен... Пока светлейший, то бишь дюк Кушимен, в столицу не доехал, надо перехватить его по дороге!

— А в Тайную канцелярию нас с герцогом не потащат? — Девьер наклонился к зеркалу, выщипывая седой волосок из бровей.— Уж больно много стало разговоров!

И он отправился в Белый зал, где выстраивались пары для англеза. А Иван Бутурлин ковылял за ним и хрипло заверял:

— Сам Ушаков за нас, а с ним и тайная канцелярия не страшна!

Как только грянули игривые такты англеза, на Девьера наскочила Аниська Головкина, испытанная прелестница, которую еще покойный император сек за легкомыслие. Схватив генерал-полицеймейстера, она потащила его в круг. И серьгами блистала из самоцветов, и плечами поводила белыми, несмотря на солнечное лето. И щебетала без умолку, а что именно — Девьер не слушал. Музыка гремела, а собственные мысли одолевали.

Итак, приходилось выбирать: либо с Меншиковым, либо против него. Много лет прослужил Девьер у этого человека, чего не натерпелся, чего не навиделся. И не дал бы ему в жизни хода светлейшей, если б Девьер не учинил ему один финт.

Была у Александра Даниловича сестрица, в меру глупая, в меру безобразная — Анна Даниловна. Подружкой числилась у будущей императрицы, когда та была еще только привезена из Лифляндии. Светлейший князь, от избытка гордости, женихам начисто отказывал, надеялся, видимо, за европейского принца ее выдать. И доотказывал до того, что стала его сестрица по русским меркам перестарок. А тут, откуда ни возьмись, Девьер, бывший тогда еще придворным скороходом, собою хорош, и чернобров, и ухватист.

Узнав об этом, Меншиков будущего генерал-полицеймейстера лично плетью до крови истязал. Но Девьер как-то у него из рук выскользнул — прямо во дворец, в токарную мастерскую, под ту ногу царскую бросился, которая жала педаль станка. И Петр Алексеевич призвал Меншикова, нотацию ему не читал, а повелел обвенчать их в тот же день.

С той поры все у генерал-полицеймейстера с Меншиковым было политично: «вашей высококняжеской светлости всеприятное для меня слово, премилостивого моего отца и патрона...»

— Кавалер, кавалер! — донесся до Девьера смеющийся голос Аниськи. — О чем вы думаете, кавалер, когда танцуете со столь прелестной дамой? Сейчас перемена фигур будет, извольте считать такт!

Девьер считал такт и смотрел на мелькающие ноги —

узконосые маленькие ножки Головкиной, равномерно появляющиеся из-под пышной ее юбки, и свои округлые икры в атласных оранжевых чулках.

Но когда Меншикову придется вести борьбу за власть, он ведь не посчитается, кто ему родственник, кто друг. Так уж бывало множество раз! А теперь яснее ясного: светлейший выбрал сторону великого князя — внука Петра Алексеевича. А за внуком тем — Долгорукие, а за ними — старое боярство. А безродным, вроде Девиера, каюк!

Музыка умолкла, танцы остановились. Аниська убежала, показав Девиеру язык.

Бутурлин только и ждал этого, подхватил Девиера и утащил в шпалерную гостиную, украшенную похождениями древних богов. Там уж были Ушаков, граф Толстой, другие, бледные от серьезности момента. Колебавшиеся огоньки канделябр делали их лица особо решительными.

— Левенвольд обещал подписать у государыни указ об аресте дюка Кушимена, — сообщил граф Толстой. — Надо решить, кто реализует этот указ?

— На преображенцев не могу рассчитывать! — развел руками Бутурлин. — Все что угодно, только не это.

Старый дипломат Толстой, который в свое время царевича сумел выманить из-за границы, предложил:

— Найдите офицера или унтер-офицера смелого, но из подлых. Обещайте ему дворянство, хоть баронство, что угодно... Такие люди в Санктпетербурге могут быть только у вас, Антон Мануилович.

Девиер, усмехаясь в тонкий ус, рассматривал фигуры толстоватых богинь на гобелене. Опять, значит, все упирается в Девиера?

Чья-то женоподобная рука просунулась в дверь и сделала знак. Граф Толстой вскочил, выбежал. Через минуту вернулся к напряженно молчавшим собеседникам.

— Государыня отказала Левенвольду. Говорит: арестовать Данилыча — тогда уж умертвить и меня...

## 11

Горели факелы на набережной, хотя ночь была светла. Герцог Голштинский и его юная жена провожали государыню-матушку до кареты. Придворные раскланивались, слышалась иностранная речь.

Императрица подозвала генерал-полицеймейстера, и он сел с ней в карету, напротив безликого Левенвольда.

— Антон Мануилович,— промолвила императрица, когда карета тронулась, дребезжа по булыжной мостовой.— Что, та фигура еще там?

— Какая фигура, ваше величество?

— Ну, та... что граф Растрелли делал, литейщик.

— Восковая персона,— подсказал Левенвольд.

Девьер примолк, соображая, что могло вдруг в голову прийти этой сумасбродной даме. Но Левенвольд, лучше знавший свою повелительницу, понял это быстрее и застучал в переднее оконце, приказывая остановиться. Пришлось Девьеру вылезать из кареты, размахивая руками, командовать, чтобы весь остальной поезд, объезжая императорскую карету, следовал своим путем.

Зимний дворец был пуст. В темных помещениях от близко текущих каналов было сыро. Вспокоившиеся слуги бегали со свечами. Караульные преображенцы стояли безмолвно, как живые статуи.

— А, студентик!— остановилась императрица возле юного часового, который спешил спрятать в обшлаг какую-то бумажку.

«Уж не подметное ли письмо?»— встревожился Девьер, а государыня приказала часовому бумажку ту про честь вслух.

Это оказались вирши:

Хочу, хочу я любить.  
Амур к тому побуждал мя,  
Но я тогда, безрассуден,  
Совет его не послушал...

Императрица улыбнулась:

— Неужели это ты сам сочинял?

Преображенец кивнул и продолжал чтение, близко поднеся бумажку к тусклому свету караульного фонаря:

И, пронзив меня средь сердца,  
Учинил меня бессильна.  
Щит убо мне уж негоден:  
К чему бо извне щититься,  
Когда войну внутри ся чую?

«Как неуклюже!— подумал Девьер.— Не то молитва, не то заклинание какое-то... Способны ли вообще русские писать стихи?»

А императрица продолжала расспрашивать юного часового, любил ли он уже кого-нибудь?

— Никак нет, ваше императорское величество! — звонко ответил преобразенец. — Кроме вас — никого.

Девиер и Левенвольд не могли удержаться от улыбки, а Девиер даже сказал:

— Хороший из тебя придворный выйдет, князь Кантемир!

— Никак нет! — вновь четко ответил он. — Не придворный, а пиита российский.

— Оставьте мальчика в покое, — с лицемерной улыбкой повелела императрица. — И не мерьте всех по своей мерке...

Они пошли в глубь здания. Прежняя, давно окончившаяся жизнь таилась здесь во всех углах. Хотелось ступать неслышно, шепотом говорить, эхо шагов отдавалось в самых дальних покоях.

Старую токарную обошли кругом — именно там умирал Петр Алексеевич. Слуга долго возился с кольцом ключей у дверей в Тронную залу.

## 12

Подняли светильники и увидели Его. На троне Он сидел, раздвинув локти и топорща усы. Глаза от свеч блистали. Сидел до того похожий на себя, что вошедшие вздрогнули и застыли.

— М-ма-а... — непроизвольно прошептала императрица.

А ведь знали и забыть не могли, что тотчас по кончине государя итальянский умелец граф Растрелли снял с лица его гипсовую маску. И, не рассучивая рукавов, сей мастеровой граф принялся лепить образ из лучшего воска телесного цвета. А тем временем куаферы неутомимо трудились над париком из собственных волос императора, кои были когда-то сострижены во время болезни. А краснодеревщики спешно вытачивали из ясеня руки его и ноги — точно в натуральную величину. А механик Нартов, лейб-токарь государев, готовил хитрый механизм...

И пока она, Екатерина, выла в пустоте огромного храма у гроба Петра, светлейший князь готовил Его — воскового императора — к новому восшествию на трон.

И были им приглашены и вошли в Тронную сию палату бояре, и воеводы, и генералы, и архиереи — морды на-



глые от сознания своей безнаказанности. Нате-ко, мол, умер ваш чертушка! А светлейший князь, прочитав вслух приличествующее наставление, вдруг занавесь перед тронном отдернул.

Те так и ахнули — на троне вновь сидел Он! В том же лазоревом кафтане, что был на коронации жены, такой же прямой и непреклонный. Не успели бояре прийти в себя от первого впечатления, как заскрипели невидимые блоки и Он — восстал! Восстал и протянул длань ко двору своему.

И двор Его кинулся наутек. Высокородные бояре и генералы в поспешном страхе в дверях застряли, друг друга чуть не раздавили. А Он был неподвижен и величествен, так же как был невозмутим и тот, кто казус сей затеял, — светлейший князь.

Екатерина Алексеевна вздрогнула, отгоняя воспоминания, слабо шевельнула ручкой и пошла себе вспять, опустив голову.

А зачем все это Меншикову было нужно — монументальная статуя, боярский испуг? Так ему, видать, было удобнее. Пишут же в подметных письмах (она даже содрогнулась, вспомнив) — де светлейший князь, будучи полностью изобличен в воровстве, ничего другого не видел, как благодетеля своего, Петра Алексеевича, ядом извести... В других же подметных письмах (казнят за них, увечат, а их, подметных писем, все больше и больше!) говорится и про нее, что поллюбовница она его, бывшая прачка бывшего пирожника.

Неправда, неправда! А все так думают, потому-то, мол, теперь и держится за него...

Когда наконец вернулись в опочивальню, в Летнем дворце государыня решительно разогнала всех комнатных старушек, даже любимцев карликов Утешку и Мопсика. Хотелось остаться одной.

Стал откланиваться и генерал-полицеймейстер, но императрица его остановила.

— Ну, а что скажешь про камень тот философский?

Девьер собрал в себе всю свою отчаянность, весь риск. Чуть помедлил, потом сказал твердо, стараясь прямо глядеть в заплывшие глаза императрицы:

— Ваше величество... Светлейший князь камень тот к себе прибрал... Уже имеются непреложные доказатель-

ства. Как он узнал, что граф Рафалович его в подарок вам везет...

Екатерина Алексеевна сбросила шаль, и бросив на генерал-полицеймейстера понимающий взгляд, сказала, удаляясь к себе:

— Врешь ты все...

Расположившись на ночь в мягком чепце, в халате с бантиками, почувствовала себя по-привычному мирно, особенно когда Левенвольд доложил: прибыл посыльный из Смольного дворца. Оттуда сообщали — их высочество царевна вернулись с охоты благополучно.

Пошарила на столике леденцов, которые привыкла сосать на сон грядущий, хотя зубов уж мало осталось. Рука наткнулась на какой-то обширный свиток. Поднесла свиток к глазам. Светало, и уже можно было разглядеть строчки.

Ба! Это был все тот же заготовленный указ об аресте светлейшего князя.

— Рейнгольд!

Обер-гофмейстер незамедлительно появился, когда он только спит?

— Да ежели б я и захотела подписать этот твой дурацкий указ, ни Анны Петровны нету, ни Лизочки. Ты же знаешь, что они все бумаги за меня подписывают...

Отшвырнула свиток, прилегла в подушки, положив руку на воспалившийся лоб.

А Антон Мануилович Девиер так и остался сидеть в прихожей в креслах. Ждал невесть чего — как говорится, у моря ждал погоды. Но когда он порывался уйти, Левенвольд его останавливал — подожди да подожди...

Хотя чего — подожди? Сам-то он, Левенвольд, красавчик, только и шмыгал из одной двери в другую.

И привиделась Девиеру на троне старшая «дщерь Петрова», чернокудрая, решительная, как отец, сверкающая синевой глаз. Та, другая, Лизочка Петровна, та попроще...

Антон Мануилович очнулся от толчка в плечо. Левенвольд его будил, держа в руке свиток.

— На, бери, генерал... Подписала она указ.

## Глава пятая

# СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА

### 1

Ранним утром на последней ямской заставе перед Санктпетербургом собралось множество народа. Солнце, обещая жару, ярко светило сквозь макушки деревьев. Свежесть исходила от травы и от леса, хор птиц вопиял к небесам.

Встречали светлейшего князя Александра Даниловича, который, как было сообщено фельдъегерской службой, изволит прибывать из своей государственной поездки в герцогство Курляндское.

Близ ямской избы собрались все, кто, согласно правилам, должен сопровождать светлейшего при въезде в столицу. Шесть лошадей в бархатной сбруе, скороходы с бунчуками, ровно турецкие паши, музыканты в личных лифвах Меншикова, то есть в синих кафтанах с золотым шитьем. Наконец, шесть важных камер-юнкеров, один из которых должен был следовать рядом с каретой, держась за дверцу.

Кони, звеня трензелями, стригли молоденькую травку. Отряд ингерманландских драгун личного Меншикова княжеского полка спешил. Курили трубки, пересмеивались, все сытые, молодые.

— Соловьи-то, соловьи! — сказал, выходя на крыльцо, генерал-майор Волков, секретарь светлейшего. — Вон тот, на березе, так и выкручивает...

— А что, ваше превосходительство, — спросил ямской смотритель, — министры-то придут встречать светлейшего?

— Спрашиваешь! — ухмыльнулся молодой генерал-майор. — Пусть попробуют не прибыть!

— А что же их тогда все нету? Поезд светлейшего ожидается вот-вот.

— Ну, у Нарвской заставы его могут встретить или на Загородном... Вишь, вчера фельдъегери поздно сообщили, государыня была у дочери...

Вдруг раздалась резкая команда. Драгуны загасили трубки, вскочили на коней и, выезжая попарно, резво поскакали по дороге к Санктпетербургу.

— Ординарцы, где мои ординарцы?— забеспокоился генерал-майор.— Узнайте-ка, в чем дело.

К крыльцу подскакал всадник в черной епанче и полумаске. Спрыгнул прямо на верхнюю ступеньку, за ним стали подъезжать еще верховые, одетые в различную форму.

— Господин генерал, пройдите в избу,— предложил он Волкову.

В избе он скинул полумаску и оказался преображенским командиром Иваном Бутурлиным. Седые волосы на лбу у него торчали воинственно.

— Вы арестованы,— заявил он.— Пожалуйте шпагу.

— Не имеете права!— что было сил закричал Волков, наклоняясь к окошку разглядеть, что там творится.— Полковник не может арестовать генерала!

— Надо знать табель о рангах! Преображенский полковник равен генерал-лейтенанту!— Бутурлин грубо схватил его за шиворот. Вошедшие вслед за ним отобрали у Волкова оружие.

— Поди скажи музыкантам, чтоб играли побойчей,— велел Бутурлин ямскому смотрителю.— Да гляди ты у меня!

Меншиков в своем возке издалека услышал звуки Преображенского марша. В последнее время какая-то апатия, непонятное безразличие все чаще охватывали его. Казалось бы, с чего? Кто в огромной империи, которую бедная наивная царица именует своим герцогством, кто осмелился бы перечить светлейшему князю? Как говорил льстивый владыко Феофан: «В сем Александре мы видим величие Петра!» Он, Меншиков, действительно второе лицо во всех деяниях Петра.

Да в том-то и дело, что всего только второе! Любой царедворец, будь он трижды слабоумен, царедворец только потому, что он так рожден. А светлейший, хоть звезды с небес хватай, остается Алексашкой Меншиковым, который сегодня есть, а завтра — фу, и нет его!

И светлейший откинулся на кожаную спинку, пощипывал короткие усики. Предвкушал и баньку, и обед с настоечкой, и приятные разговоры среди друзей или хотя бы среди льстецов. А губы подпевали давно знакомому маршу, пальцы сами собой отстукивали такт.

Вдруг карета остановилась, будто попала в ухаб. Лошади храпели, звенели поводья, кто-то кричал:

— Что случилось?

Меншиков приоткрыл дверцу, и в тот же миг в ней появился человек в странном партикулярном кафтане, но снаряженный по-военному.

— Светлейший князь Меншиков?— спросил он, хотя какое могло быть сомнение, что это светлейший князь.

— Я...— ответил Меншиков, соображая, что могло произойти.

— Повелением ее императорского величества,— сказал тот, поперхнулся, прокашлялся и закончил:— Вы арестованы. Вот указ.

Меншиков смотрел на его лицо и видел, что он молод, что губы его от волнения дрожат. Еще бы! Ведь не каждый же день доведется арестовывать генерал-фельдмаршала российской армии, герцога Ижорского, владетеля Почепского и Батурицкого и прочая и прочая... Один титул его занимает полторы печатных страницы. Но и у Меншикова дрожали руки, когда он принимал и разворачивал свиток с указом.

Нет, это подпись подлинная.

Ему хорошо знакомы эти каракули — не то Екатерина, не то просто Катя.

А с улицы нетерпеливо кричали:

— Ну, что ты там медлишь? Предъявил указ?

И тогда Меншиков почувствовал, что прежняя нечеловеческая сила вулканом поднимается в нем изнутри. Он вырвал указ из рук арестующего и стал хлестать его свитком по щекам. И видел безумные от страха глаза молодого человека, и повторял:

— Подлецы, подлецы, ах, мерзавцы!

Затем, вытолкнув его из кареты, высунулся сам. Конный конвой в синих меншиковских мундирах, держа руки при эфесах, стоял строем в отдалении, наблюдая, что происходит.

— Братцы!— заорал во всю мочь Меншиков с подножки. Ветер трепал его седеющие волосы, он размахивал пистолетом.— Братцы! Не со мной ли вы ходили на шведов и на турок?

— Ура!— одним духом выкрикнул княжеский конвой. Лязгнули сабли, рассыпалась дробь копыт. Полковник Бутурлин, еле успев накинуть епанчу, с крыльца сиганул на коня и первым кинулся наутек.

— Ванька Бутурлин!— опознал его светлейший.— Ну, погоди!

И он выстрелил ему вдогонку. И это был единственный за всю эту глупую историю выстрел. Но в Бутурлина он не попал, а угораздил прямо в бок стоявшему напротив саврасому коньку, и тот шархнул обземею, отчаянно болтая копытами.

А музыканты, зажмурившись от страха, продолжали играть. И Преображенский марш гремел немного грустно, старомодно и очень торжественно. Он гремел, а в лесу ему вторили соловьи.

Светлейший спустился из кареты, скинул дорожный кунтуш, вытер лоб платком. Подбежал, радостно поздравляя, освободившийся из заточения генерал-майор Волков. Меншиков сосредоточенно разглядывал подпись императрицы на указе.

Подвели единственного пленного. Это оказался тот самый, который явился в карету к светлейшему с указом. Да и то попался он только потому, что именно его Савраску убили и он, вместо того чтобы бежать или обороняться, склонился над умирающим конем.

— Ишь каков! — сказал Меншиков, увидев на груди пленного медали, и провел по ним рукой.

— Максим Тузов, сирота! — четко отрапортовал пленный. Страх в его светлых глазах уже не было никакого, зато накапливалось отчаяние. — Я один все сие устроил, и арест и указ, никто меня не подбивал! — Поспешно добавил, облизывая пересохшие губы: — И больше вам от меня ничего не узнать, хоть пытайте!

— Ну, это мы еще посмотрим, — усмехнулся светлейший, топорща усы. — Эй, Волков, прикажи скрутить его покрепче да ко мне в багажник, потом разберемся!

## 2

Обер-полицеймейстер майор Рыкунов докладывал Девиеру наиболее сложные дела. Обыденщину — кражи, уличные безобразия — это решал сам. Цены такому помощнику не было.

— Вот из канцелярии прошений переслали жалобу... — майор разгладил замусоленную от долгих мытарств бумажку с бледной орленой печатью. — Пишет некий посадский из Вологды. Прибыл в стольный град на святки, следовательно, в январе. У Царицына луга, где гулянье, с него сняли полушубок дубленый. Крикнул «ка-



раул», полицейские сотские, заместо помощи, сняли с него же и порты и зипун...

Ударила пушка, и полицейский дом задрожал до самого основания. В подземельях заворочались наловленные тати.

«Полдень! — подумал генерал-полицеймейстер. — А Тузов так и не появился. Что-нибудь у них там на заставе сорвалось. Этот Ванька Бутурлин, как был при царе Петре архидиаконом всешутнейшего собора, так дураком и остался... На черта я с ними связался, морра фуэнтес!»

И чтобы не показать помощнику, что он чем-то расстроен, переспросил:

— Так в чем, говоришь, он был одет, тот посадский?

— Как писано в челобитье, дубленый полушубок белой кожи, а то, что в полиции сняли, — порты бархатные, також зипун суровской, щелковою басмою расшит.

— Ишь, посадский, а разодет был ровно боярин.

— Торговал, вероятно, ваше превосходительство.

— Ну, ладно, а дело-то было зимой. Чего ж он летом жалобу подает?

— А в челобитье это також указано. Пишет, как принялся он тем сотским судом грозить, они подговорили лекарей гофшпитальных, его и посадили с сумасшедшими в яму. Еле вырвался, пишет и то обманом.

— Чудеса! — сказал генерал-полицеймейстер, а сам думал про другое. Что фейерверка не было обычного, по случаю прибытия светлейшего, это, конечно, граф Толстой расстарался...

Полицейские посты пока ничего не сообщают. Но и Тузова с реляцией почему-то нет.

Девьер приказал узнать, не прибывал ли кто со срочным донесением? Никто не прибывал.

— По розыску установлено, — продолжал майор, — что из дежуривших тогда на святки сотский Плевулин утонул по пьяному делу, а сотский Горобец за ту же вину разжалован. Кого прикажете виноватить?

— Ну и выбросил бы эту бумагу! — с досадой сказал Девьер.

— Никак невозможно, ваше превосходительство, на ней резолюция — глядите чья...

«Черт побери! — еще раз выругался про себя Девьер. — Наверняка Кушимен теперь кинется к императрице... Чего же теперь ждать? Ареста, ссылки, дыбы? Все было за-



теяно легкомысленно, преждевременно, воистину, как на всешутейшем соборе! Черт меня к ним присовокупил...»

— Вот что,— предложил он Рыкунову.— А ты не пробовал этого челобитчика в полицию на службу пригласить? Вот и жалоба закроется, и чин появится, обремененный полезнейшим опытом.

У майора на лице появилось радостное выражение, которое всегда у него бывало, когда шеф высказывал гениальные мысли.

— Что там у тебя еще?— спросил генерал-полицеймейстер, а сам думал: «Теперь если моя дуреха (так про себя он называл свою законную, Анну Даниловну), теперь ежели она не вмешается, быть конфузу!»

Майор доложил еще дело, чрезвычайно непонятное. Вчера ночной обход чуть не задержал каких-то татей, которые отнимали суму с деньгами у прохожего человека.

— И что же не задержали?— спросил Девиер, вытаскивая свою черепаховую табакерочку. И все думал: «Ах, если бы не этот вчерашний дурацкий мой шаг, как было бы теперь чудесно! Утро свежее, птички поют, вечером бы во дворец, там танцы, милое общество... Морра фуэнтес! Впрочем, а если арест удался? Он, Антон Девиер, бывший амстердамский юнга, завтра же станет графом и генерал-фельдмаршалом, а то и поднимай выше! Царевна Елисавет, этакая белокурая красавица, честное слово, и на него, Девиера, заглядывается... А жена что ж? Жену в монастырь...»

— А не задержали,— подобие улыбки посетило суровый лик Рыкунова.— Не задержали потому, что тот ограбленный отказался кричать караул.

— Да ты что?— Генерал-полицеймейстер даже просыпал табак.— Отказался кричать карул?

— Ей-ей!— Рыкунов готов был перекреститься.

— Тогда что ж не задержали ограбленного?

— В том-то и дело, что задержали, да он невесть как ушел. «Задержали— не задержали. Кричал караул— не кричал караул,— с тоскою думал генерал-полицеймейстер.— А там в Летнем дворце судьба моя, может быть, решается...»

— Ты мне, господин Рыкунов, не крути,— сказал он строго.— Я тебя ведь двадцать лет уже знаю. Докладывай, в чем у тебя тут сомнение.

И майор Рыкунов сообщил, что, во-первых, тати были

несомненно из того вольного дома, который находится в арендованном строении господина лейб-токаря и советника Нартова, а арендаторша его — иноземная персона, маркиза Кастеллафранка...

— Ах, маркиза! — поморщился генерал-полицеймейстер. — До графов и маркизов все руки не доходят. Ведь и карлик показывал...

— Кстати, ваше превосходительство, о карлике, Варсонофии Осипове, именуемом Нулишкой. Как прикажете — выпускать?

Еще не хватало — карлик! Нет, Антону Мануиловичу в последнее время убийственно не везло. Заказать, что ли, у академиков новый гороскоп? Ведь ежели теперь этого окаянного Нулишку выпустить, он же прямиком к царице! А что, собственно, у того у карлика узнали? Он же, карлик, иностранных языков не знает и если б даже хотел, не смог бы рассказать, о чем беседовали резидент и граф, академик... Господи помилуй!

— Значит, это во-первых, а во-вторых что?

— А во-вторых, тот, кого грабили, был из дворца.

— Что-о?

— Так точно, ваше превосходительство. Другой патруль обнаружил его на Царицыном лугу и провожал до Летнего дворца незаметно. Истинный бог, ваше превосходительство.

— Ты понимаешь, что говоришь, Рыкунов?

— Понимаю, ваше превосходительство.

— Хорошо. А кто ж все-таки захватил, а потом упустил того ограбленного?

— Аудитор Курицын, — ответил майор, и вновь двусмысленная улыбка полезла на его тонкие губы.

— Где он?

— Он ждет вызова вашего превосходительства.

«Тут действительно отдает чем-то неординарным, — подумал Девиер. — А в моем аховом положении сейчас бы что-нибудь царице загнуть такое, чтоб заставить ее ночку-другую провести с цирюльниками, кои кровь пускают... Или найти ей этот философский камень, морра фуэнтес!»

Раскрылись двери, и аудитор Курицын, как и всегда при исполнении служебного рвения, явился.

Генерал-полицеймейстер расспрашивал его тихо, полускрыв глаза, почесывая бровь кончиком гусяного пера.

Майор Рыкунов, который тоже изрядно изучил своего шефа, чувствовал, что генерал-полицеймейстер готовит себя к решительному рывку.

И миг рывка наступил. Девиер вскочил и заорал во все присутствие:

— Сколько с него взял, чтоб его отпустить?

И поскольку Курицын молчал, генерал-полицеймейстер крикнул помощнику:

— Рыкунов! Принеси кочергу, я его лупить буду!

Подскочил к аудитору и принялся его трясти, пока тот не протянул потную ладонь, на которой лежал новенький золотой русский дублон — двухрублевик.

— Ого! — вскричали оба руководителя санктпетербургской полиции, кидаясь рассматривать монету. Курицын встал на колени, хлюпал, размазывая слезы, но понимал, что основная гроза прошла.

— Истинный крест! — забожился майор Рыкунов. — Вам ведомо, ваше превосходительство, все монеты нового чекана идут через меня, но такого орлеца я еще не видел.

Поднесли монету к раскрытому окну. Отчетливо вырисовался одутловатый профиль Екатерины Первой — бровь дугой, вздернутый носик. На пышной прическе красовалась коронка, а на ней — бриллиант Меншикова, который, сказывают, был в палец толщиной.

— А ну, все за мной! — скомандовал Девиер.

### 3

— День да ночь, вот и сутки прочь...

Маркиза Лена зажмурила глаза, тут же их открыла и запечатлела картинку: яркое утро, солнечную листву, синюю гладь воды. За лесом слышался голосистый крик петуха, полуденный ленивый скрип деревенского колодца.

Она обернулась в темную глубь домика, где на ковровых подушках Евмопп Холявин потягивался и зевал, показывая зубы, словно некий мускулистый зверь.

— Не вставай, кровь опять сочиться будет. Табачку тебе? А хочешь, я сама набью тебе трубочку? А может быть, желаешь квасу?

Выглянула в окно, обзрев заросли кувшинок, и кликнула служанку:

— Зизанья! Что ж лодка наша не идет? Не запил ли там Весельчак?

Ефиопка доложила, что уж и к реке выходила смо-

треть, — ничего! Усадила госпожу на пуфик, стала крутить ей локоны в фантанже.

— Осмотри мне бок-то, — попросил маркизу Холявин. — Будешь ли снова перевязывать?

— Лежи, куда тебе торопиться!

— Как куда? Развод во дворце. У нас полковник Бутурлин, даром что старый, а знаешь — ого-го! Я из-за него уж четыре раза на гауптвахту попадал.

— Тебе скучно со мною, со старухой.

— Да какая ж ты старуха? Вот тебя бы ко двору, все бы фрейлины от зависти полопались. Экая ты царь-девица!

— Я уж, милый, дважды замужем была. И оба раза за стариками.

— Между прочим, — сказал Холявин, устраиваясь на подушках — никакая ты не иностранка. Ты акальщица московская — «в Маскве, на даске, в аващном туяске». Вместо «хватит» говоришь «фатит», вместо «квас» — «фас». И губки ставишь плосечкой.

— Ну, уж ты меня всю по косточкам разобрал. И точно, признаюсь — я московская. Да неохота сего и вспоминать! Первый муж мой знатный купец был, у него дочь от первого брака еще постарше моего. Оговорили его дружки застольные, тараканы запечные, под дело царевича Алексея подвели. Я сама его видала мертвым, как он на бревне висел... Тот князь Ромодановский, палач...

Ее трясло, она закрыла лицо руками. Евмолп, испуганный, вскочил, не зная, что предпринять. Ефиопка спешила дать питье, засматривала ей в лицо.

— Не надо, не надо об этом, госпожа...

Но маркиза совладала с собой, собрала рассыпавшиеся черные кольца волос.

— Не надо? Ай нет, уж доскажу, только ты, Евмолп, ложись обратно, как бы рана не вскрылась... Главный-то палач — сам царь. Верь мне, Евмолп, я видела все своими глазами! Как указал он Кикина, четвертованного уже, на колесе сутки живым держать... Тот только и молил: «Братцы, родненькие, главу мне скорее срубите, нет более сил терпеть, все едино ж помираю!» А палач тот, котобрыс адов, на коне — как монумент врос и страданиями людскими упивался. Ох, Евмолп!

Зубы ее мелко стучали о края чаши, поданной Зизаньей.

— Слушай далее... Один только был из всей верхушки правительственной человечный, меня пожалел. Из ада то-

го вывел, на корабль посадил, в самый подпол, где крысы. Я семь суток в подполе том скрытно пролежала...

Холявин, забыв о своей ране и о трубочке с табаком, смотрел на эту черноволосую, всю в кольцах и драгоценностях женщину, которая говорила как московская акальщица и во всем была такою нерусской!

— Ты о государе поосторожней, — сказал Холявин, вспомнил о трубочке и принялся ее сосать. — Мы все же присягу давали...

— Ладно, не буду, — обещала маркиза. — Там, в Европиях, мне господь за мои страдания другого старика послал, гишпанца, или латынца, как у вас называют. Сей тоже был обходительный да простой, титул мне оставил, герб — льва золотого. Да вот нет его тоже в живых, царство ему небесное, хоть он был и басурман.

— Хо-хо-хо, — реагировал Евмолп на ее рассказы. — Страсти несказанные. Ты поглядела б все же бок-то у меня. Сильно задето?

— Да нет, только разрежало кожу. На два пальца бы левее — уложил бы тебя мальчишка Репнин в домовину вечную. Можешь теперь хоть в развод, хоть в караул, хоть в загул. Да жаль мне тебя отпускать.

Она распахнула гардероб, и он увидел там, что душе угодно. И рубахи тонкие, расшитые, и манишки с пышными жабо, и манжеты надставные с кружевом в ладонь шириной.

— Ого! — заухмылялся Холявин.

— А что я придумала! — Маркиза прищурилась, отчего ее ресницы стали окончательно похожи на нацеленные вдаль остря. — Давай бросим все и бежим! Куда хочешь, хоть в твой Мценск...

Холявин не отвечал, мотая головой. Он занят был рассматриванием гардероба. А ее смуглое лицо озарилось вдохновением:

— Что за страна у вас такая, Мценск?

— Страна как страна... Обыкновенная. Дворцы из щепы, сады из крапивы, уголья из лебеды. Да я и не в самом Мценске живу. У нас поместье на оврагах, одна глина, хотя кругом чернозем и чернозем.

— На сей случай у меня кое-что прикоплено. — Маркиза встала, поскольку эфиопка окончила прическу. — Смерть как надоела мне эта праздничная жизнь! Купим поместье на черноземе. Я детишек тебе нарожу

белобрысенных, как ты сам. Хозяйничать стану в огороде, ну ничего более не хочу!

— И! — возразил Евмолл. — Здравствуйте! Я еле из той дыры вырвался, а ты меня опять туда хочешь законопатить?

— А что тебе делать в Санктпетербурге? Учиться станешь?

— Пускай попы учатся да князя Кантемиры! Мне эго ученье поперек горла сидит. Матушка на книги да на учителей последние деньжонки убила, ненавижу их всех, перестрелять готов!

— Вот ты, оказывается, какой! Но не век же тебе в унтерах сидеть, хотя бы и гвардейских. Жениться, стало быть, выгодно ищешь?

— Ха! Жениться не умыться. Вон у князей Черкасских семеро невест, только кивни... Да не хочу я хомутов никаких, поняла? Мне и полковая-то жизнь до смерти надоела, все дисциплина да устав. Ты за двумя мужьями хоть мир повидала, а я ничего. Воли хочу-у, волюшки, у-ух!

Он покидал обратно в гардероб все манишки, и сорочки, и кружевные жабо. Задвигал локтями, пробуя, ощутился ли боль. Сделал пробный выпад левой рукою, потом обеими руками размахнулся, будто хотел снести забор. Довольный тем, что собой владеет, он стал вышагивать, делая приемы сдачи караула.

— Петушок ты, петушок! — улыбнулась маркиза.

А с реки кричали:

— Э-ге-гей, синьора!

Это была лодка, двое сумрачных слуг сидели на веслах. У Весельчака голова была забинтована и покрыта вязаным колпаком.

— Что случилось? — грозно спросила маркиза, усаживаясь на скамью. — Опять похождения ночные?

Весельчак отвернулся, сплюнув в воду. Направил лодку к выходу из протоки в сияющую полноводьем Неву. Плоскодонки, ялики, шлюпки сновали во всех направлениях, как на многолюдном проспекте.

#### 4

Когда Девиер и чины полиции вошли в мазанку Нартова, они обнаружили там громоздкую машину со множеством медных колес, рычагов, зубчатых передач. Генерал-

полицеймейстер сморщил нос. Пахло уж очень по-простонародному — постным маслом, рогожей.

В зеленой полутьме горницы не сразу обнаружили хлопотавшие вокруг машины люди.

— Чудо техники! — воскликнул Нартов, указывая Девиеру на аппарат. Рука его была вымазана в дегте. — Семишпиндельный станок!

В горнице оказался и академик Бильфингер, в таком же кожаном фартуке, как у Нартова, со штангенциркулем в руке. На столе были разложены чертежи, какие-то детали. Из кухни доносился плеск воды: это Алена, дочь старой Грачихи, мыла посуду.

Пока Нартов объяснял что-то про машину, мешая немецкие и русские слова, а академик Бильфингер вставлял свои дополнения и демонстрировал чертежи, Девиер думал все то же: «Проклятый Бутурлин! Не зря уверяют, будто именно он задушил царевича Алексея. Душил будто бы, а сам молился: упокой душу его, господь, в селении праведных...»

Дисциплинированный Бильфингер сообразил, что он здесь лишний. Раскланялся и отбыл. Прекратилось и плесканье воды на кухне.

Тогда генерал-полицеймейстер предъявил Нартову золотую монету достоинством в два рубля.

— Охти! — по-старушечьи всплеснул руками Нартов. — Ведь это из тех семи экземпляров, которые я привез из Москвы. Дайте-ка я у ней ободок посмотрю.

И рассказал, что по неизреченной своей милости государыня посылает его, Нартова, с ревизией по монетному делу, перечежанке, проверке содержания серебра и прочее. А в сем году государыня и министры поручили ему поехать на московский монетный двор, выяснить, можем ли мы технически чеканить монету с полновесным содержанием золота, не уступающую европейским. Ведомо, судари мои, что при Петре Алексеевиче из-за великих нужд государственных монета российская вельми порчена была...

— Ладно, — прервал его Девиер. — Про то мы знаем. Сия-то откуда взялась?

А, будучи в Москве, он, Нартов, чтобы доказать, что российское денежное мастерство не уступит заграничному, собственноручно вычеканил семь двухрублевиков полной мерой золота и чекан тот велел при себе уничтожить. А семь монет этих взял с собою в Санктпетербург, чтобы вручить высочайшим особам...

— Кому же, можете перечислить?

— Могу.— Нартов полез в карман, вынул клетчатый платок и вытер им испарину.— Первая монета была вручена государыне императрице...

— Раз,— загнул палец генерал-полицеймейстер.

— Две монеты были преподнесены государыням царевнам — Анне Петровне и Елисавет Петровне. Это, значит, вторая и третья. Четвертая... четвертая, конечно, была вручена августейшему зятю, герцогу Голштинскому, а пятая — отсутствующему ныне светлейшему князю. Шестая находится у меня...

Он развязал угол носового платка и достал оттуда точно такой же двухрублевик с профилем царицы, что был в руке у Девиера.

— А седьмая, седьмая? — в один голос воскликнули полицейские чины.

Нартов помялся, но затем нагнул голову, будто хотел сказать: а, была не была! — и заявил, мрачней:

— Виноват. Седьмую монету я отдал не кому-нибудь из высочайших особ... Седьмую монету я презентовал обергофмейстеру Рейнгольду фон Левенвольде.

Полицейские молчали, сосредоточенно глядя на Нартова, а тот ударил себя в лоб ладонью:

— Я подумал тогда: ведь пригодится мне Красавчик сей для дел неотложных, хотя бы к государыне вне очереди пройти.

И тогда аудитор Курицын воздел руки и сокрушенно сказал:

— Да, да, как же я сразу не догадался... Это он, конечно, был, который караул кричать отказался,— Левенвольд.

Генерал-полицеймейстер на него цыкнул, а Нартову сказал:

— Сей минут мы вас освободим. Монету свою вы можете забрать, по этой части у нас к вам претензий нет. Скажите, однако, вы не уточняли законность грамот, по которым у вас проживает ваша арендаторша?

— Как же, я обращался в герольдмейстерскую контору. Тамошний управитель, граф Францышкус Санти, мне объявил, что покойного мужа этой дамы он знал персонально. И знаете, как он его куриозно аттестовал?

Нартов без лишней амбиции прошелся по комнате, кривобочась и прихрамывая.

На мрачных лицах полицейских чинов изобразилась



весьма вымученная улыбка. Они раскланялись и вышли во двор.

«Час от часу не легче,—подумал генерал-полицеймейстер.—Тут и не скажешь, кто тебе опаснее, Левенвольд или Кушимен?»

Он остановился в тени кленов и сказал майору Рыкову:

— Несомненно, кто-то дал взятку Левенвольду, а тати ее отобрали.

— Осталось узнать, кто именно дал взятку.

— А так как это пока невозможно, займемся розыском, кто были сии тати.

И Девиер указал на вольный дом маркизы Лены.

Тут он увидел, что возле колодца Алена Грачева вытаскивает бадью с водой и переливает ее в ведра. Девиер прекрасно помнил и девушку эту, и ее визит в полицейский дом.

Он поманил ее пальцем.

— Не кажется ли тебе,—спросил он, глядя в ее напряженное лицо,— что ежели, как тогда, ты вернешься в Канатную слободку, ты застанешь своего бравого корпорала на месте проживания?

— Нет, не кажется,—ответила она дерзко, не прибавляя никакого титула.

— А почему?—как можно более ласково спросил Девиер.

— А потому, что он убит.

Внутри генерал-полицеймейстера забилась-задрепетала какая-то жилка. «Ну, вот и все,—подумал он.—Вот мне и каюк».

— Откуда же ты знаешь, что он убит?—уже машинально спросил он.

Алена взяла его за расшитый галуном обшлаг генеральского кафтана и вывела из-под клена так, чтобы был виден вольный дом. Указала на веревку, протянутую от угла. На той веревке сушилась единственная вещь—мужская сорочка немецкого полотна с кружевной грудью. Бок рубашки был сильно разрезан.

— Это его рубашка,—сказала она глухо.—Там еще пятна крови. Я видела, как их замывали.

И она отчаянно заплакала, уткнув лицо в передник. И, не обращая внимания на полицейских чинов, забыв про свое коромысло, побрела в домик Нартова.

— Аленушка!—сказал ей Нартов. Сам готов был на

колени встать, хоть пластаться, чтобы облегчить ей горе. Он догадывался обо всем.— Ну, нет его и не вернешь, чего же убиваться? Аленушка! Выходи за меня! Ну что ж, что я старый человек, хотя какой же я и старый? Мне ж еще и сорока нет.

Алена вытирала передником лицо и глаза, и вновь слеза катилась, и непонятно было, слушает она или нет.

— Выселю я эту иноземку, это гнездо антихристово, а сам там поселюсь. Ох, заживем! Каждый вечер буду астанблей созывать, чтобы тебе, мое сердечко, не было скучно. Государыня даст мне патент на дворянство, она уж обещала. А бурмистру Данилову,—неожиданно распалился он,—мозгляку этому... Шиш ему, шиш!

— Вы хороший человек, барин Андрей Константинович,—тихо сказала Алена, поклонилась ему и вышла, притворив за собой дверь.

Нартов же упал на лежанку, некоторое время лихорадочно тер руки, тер лоб, потом успокоился, всхлипнул, как ребенок, и неожиданно сам для себя заснул.

Возвратилась Алена, посмотрела на спящего барина и подошла к окну. В вертограде полнощном начинался заезд гостей, наигрывал клавесин. Одно из самых верхних окон растворилось, там, смеясь, появилась маркиза Лена. Черные кудри вились по смуглой шее и покатым плечам, чувствовалось, что каждый их виток старательно рассчитан. В ушах раскачивались золотые кольца — не просто серьги, а кольца, обсыпанные гроздью вспыхивающих огоньков-алмазов.

— Коза! — с ненавистью глядела Алена на ее слегка раскосый вырез глаз, на красиво изогнутый рот.— Как есть губастая коза!

Ей вспомнилось, как в детстве отец, который был церковный староста, а потому знаток книжного благочестия, брал с поставца старинную рукописную книгу и читал вслух обо всяких диковинах. Особенно запомнилось ей о Горгоне, и не думалось, что Горгона та когда-нибудь ей к случаю попадетя.

Молоточки клавесина все звончее наигрывали менуэт, горбатый Кика в игорном зале старался вовсю.

«Да что же это! — запало в голову Алене.— Горгоны смеются, музыка играет, но человека-то нет!»

Как только распахнулись для посетителей двери и гайдук Весельчак встал возле них, в двери те вошел щегольски одетый господин. Был он в изящной полумаске, но густые брови над этой полумаской были настолько известны всему Санктпетербургу, что гайдук возгласил:

— Милости просим, господин генерал-поли...

Вошедший закрыл ему рот перчаткой, перебив выразительно:

— Господин матрос!

— Здравия желаем, господин матрос! — поспешил поправиться Весельчак, сам думая и роба на нем серая, форменная, хоть из лучшего амстердамского сукна. Шляпа тоже серая и с лентой. Но ежели его превосходительству угодно предстать матросом, мы что ж...

Солнце стояло еще высоко, и послеобеденный зной не прошел, а в пустынной зале Чистилища преображенские унтера пропускали по кружечке: сегодня им было идти в ночной наряд. Мысли же их витали этажом выше, где угрюмый Цыцурин готовил зеленый стол к игорному действию.

Из всех молодых преображенцев только князь Антиох шампаней здесь не пил, картами не занимался, а рассуждал о серьезном, рассеянно крутя снятой с лица маской.

— Русский народ, судари мои, лет через сто... Да нет, почему через сто? Через пятьдесят, через двадцать — русский народ сотворит такую словесность, иже есть литература, коей не было у классических народов древности!

Его собеседником был граф Рафалович, который тоже не держал в руке кружки с шампанеей. На нем был умопомрачительный кафтан черного атласа с серебряным шитьем.

— Хе-хе! — посмеивался Рафалович. — Князя Кантемиры, что вам все Россия да Россия. А бывали ли вы, например, в Лондоне?

— Он у меня спросил, — Сербан указал кружкой в атласную грудь Рафаловича, — стану ли я, молдаванин, сражаться против Англии или Франции, ежели они воевать начнут с Россией...

— Ну да, ну да, — засуетился Рафалович. — Вы знаете, сколько доброго желает Англия вашей молдавской отчизне!

— Добра-то желает,— воскликнул Сербан.— А султану нас постоянно продает! Отец покойный рассказывал...

— Ну и что ты на это ответил?— перебил его Антиох.

— Я в политике не разбираюсь, но за такие вопросы обещал ему голову проломить!

— О-ох!— так и присел граф Рафалович, а Холявин захохотал, показывая все свои великолепные зубы.

В это время Цыцурин вышел на площадку лестницы, приглашая гостей пожаловать. Преображенцы загомонили, двинулись фалангой.

— Эй, пиита российский — Евмоп подхватил Антиоха.— Неужели и сегодня не сыграешь?

— Оставь его,— сказал Сербан.— Он карты называет «пестрыми пучками», а за мною ходит только для того, что надо мною висеть, как бремя совести. Эй, пиита, раз сам не играешь — раскошеливайся! Дай хоть полтинничек, так хочется пару ставок сорвать.

— Берите у меня,— предложил Рафалович.— Могу одолжить кому угодно и на какой угодно срок.

Они выстроились вокруг стола, покрытого зеленым сукном, на котором были разбросаны цветные фишки и не распечатанные колоды карт. Никто не начинал: денег ни у кого не было.

Антиох, стоя за спинами игроков, говорил Рафаловичу:

— С тех пор как отец увез нас сюда, мы стали сыновьями России. Я говорю вам это, граф, как есть твердо и прошу мне более вопросов об этом не задавать. Мы такие же русские, как, например, вот Евмоп Холявин, уроженец славного города Мценска...

— Гляньте,— сказал Сербан,— какие карты промыслил наш великий Цыцурин! Короли похожи на взломщиков, а валеты на карманных воришек.

— Слушай все-таки, Сербан...— не отставал от него брат.— Не играл бы ты... Нянюшка наша про тебя дурной сон видела.

— А у меня,— закричал Сербан, подкручивая ус,— есть предчувствие, что именно на эту колоду мне повезет!

— Что тебе все карты и карты...— с досадой сказал Антиох.— В Кунсткамере, был я вчера, такие привезли книги...

Преображенцы оглушительно захохотали и затянули на церковный лад:

— «Умен, как поп Семен, книги продал, карты купил, сел в овин и играет один!»

— А ну,— накинулся на брата Сербан,— давай деньги или проваливай отсюда!

— Осмелюсь вновь предложить...— робко вступил Рафалович, позванивая мошной.

— Эй, была не была!— воскликнул Холявин.— Возьму кредит у чужеземного графа! Это вам, сударь, не философский ли камень помогает?

На бедного Антиоха никто внимания не обращал, хотя он и вирши обличительные читал, сиречь сатиры:

— «Из рук ты пестрые пучки бумаг не выпускаешь. И мечешь горстью мозолями и потом предков твоих добытое добро...»

— Валет, валет!— завопили преображенцы, видя, что у Сербана пошла не та карта.— Обмануло тебя твое предчувствие!

Проигравший Сербан смущенно теребил ус. Брат подал ему фляжку с ромом, но Сербан молча пошел к Рафаловичу за ссудой.

## 6

Господин в матросской одежде некоторое время наблюдал за игрой, потом, видя, что внимание всех отвлечено проигрышем Сербана, приподнял портьеру и проник во внутренние покои.

В старой Москве да и в Санктпетербурге в голову не пришло бы без спроса проникать в домашние покои. Но здесь вольный дом, потому-то он и называется вольным, что каждый волен в нем делать что угодно.

— Что угодно?— спросила Зизанья, встретив «господину матроса» под аркой, которая вела внутрь.

Через ее курчавую голову он обратился прямо к маркизе, сидевшей на кушетке. Показал ей новенький двухрублевик: можно ли разменять на серебро и сколько берут за размен?

В руках маркизы Лены был все тот же таинственный инструмент— кифара, или гитара. Она пощипывала струны, и получалась мелодия странная, словно жалоба на неведомом языке.

— Нет,— сказала она, даже не взглянув на вошедшего.— Деньги меняют не у нас. По царскому указу деньги меняют только на гостином дворе.

И продолжала наигрывать, а гость достал брелок с алмазом и попросил принять в залог.

— Деньги, знаете ли, очень нужны.

Маркиза наконец подняла лицо от струн и взглянула на него исподлобья.

— Сударь мой, кто же поверит, что вы, хозяин Санкт-Петербурга, вы нуждаетесь в деньгах?

Девиер кинул матросскую шляпу с лентой на стол и без приглашения уселся рядом на кушетку. До сих пор они изъяснялись по-французски, теперь он сказал ей по-русски:

— Твои бумаги подложны, девка, берегись!

Маркиза отвернулась, черная волна ее волос рассыпалась по плечам. Она выслала Зизанью и отвечала по-французски:

— Вы невежливы, сударь. Мои документы удостоверены миссией его величества короля португальского. Скоро ожидается прибытие посла, и я тщусь надеждой быть представленной к российскому императорскому двору.

Девиер вскочил. И не закричал, нет,—сказал с той страшной выразительностью, которая — он знал по многолетнему опыту — при допросах действует сильнее всякого крика:

— Ты врешь! Ты не знаешь и единого слова по-португальски!

А она грустно этак улыбнулась, вновь принялась за гитару, взяла аккорд. Мелодия ударила Девиера прямо в сердце. Это же песня его детства! Ее играла на такой же гитаре нищая цыганка с Лоскутного причала, ее пели по вечерам девушка-рыбачки под аккомпанемент океанского прибой: «Зачем, цветок, зачем, лилейнолепестковый, расцвел ты у двorca, у самых у ворот...»

И она наигрывала на чаровнице-гитаре и смотрела на Девиера снизу вверх, а в черных зрачках ее билось пульсировало — что? Страх? Презрение? Насмешка?

Девиер взял со столика колоду карт гамбургской печати, где короли действительно были похожи на грабителей, а дамы на торговки, тасовал ее, рассматривал, чтобы дать себе время принять решение.

Прежде чем войти сюда в матросском обличье, он окружил дом своими клеветами. Они ждут только сигнала, чтобы ворваться и учинить то, что учиняется в подобных случаях.

Но неудачен сегодняшний день, отменно неудачен!

Как бывший юнга и как нынешний гроза санктпетербургских воров, Девиер был суеверен. Началось с краха бутурлинской затеи, кончится черт знает чем... Генерал-полицеймейстер медлил с сигналом, хотя каждая жилочка его сыщицкой души молила: сигнал!

А эта поддельная маркиза с глазами как пламень ада — есть такое, действительно португальское выражение: «о фейо negro да инферно» — черное пламя ада! Видывал женщин Девиер, видывал — поверьте... Не говоря о бедной толстухе Анне Даниловне, даже блондинка Елисавет со всем ее обаянием юности, — все они уступают этой неведомой жар-птице, на которую и глаз поднять невозможно!

Эй, ее бы сейчас в застеночек, на подвесочку, да пройти хорошим кнутиком раз-другой... Да спросить с пристрастием: где ты, девица, хранишь деньжонки, похищенные твоими людьми у пугливого Красавчика? Или: а зачем ты, синьорита, крадешь философские камни, утеху ученых и царей?

Но нет, дыба не для ее изнеженного стана, и кожу ее не попортят кнутом. А ты, Антон Девиер, в давно минувшей категории времени — Тонио да Виейра, всамделишный матрос флота Соединенных Провинций, — что забыл свою былую ловкость, оцепенел как истукан?

Девиер наугад вытянул две карты. Это оказались шестерка бубен и шестерка трэф — пустые хлопоты! Генерал-полицеймейстер шлепнул себя по губам, чтобы не рассмеяться, и кинул колоду на стол.

Закатное солнце глядело прямо в окна, слепя глаза. Шум подъезжавших экипажей слышался все чаще, в игорном Раю назревала очередная драка. А маркиза Лена все наигрывала, баюкала виденьями далекой страны:

— «Зачем, цветок, зачем, лилейнолепестковый, расцвел ты у дворца, у самых у ворот? Вот мчится принц, прекрасный и суровый, и конь его тебя копытами сомнет!»

— Здравия желаем, ваша высококняжеская светлость! — вдруг не своим голосом закричал Весельчак у подъезда. Маркиза одним махом сорвалась с кушетки — к окну.

— Светлейший князь!

— Не может быть! — встрепенулся Девиер. — Дюк Кушимен? Этого еще не хватало, после всего, что произошло утром! И откуда он мог здесь появиться? Час только назад городские посты сообщали: в пределах Санктпетер-

бурга Кушимена нет; может быть, отправился к себе в Ораниенбаум?

Отстранив маркизу от окна, запах ее невероятных духов ударил в голову,—выглянул сам. Да, на крыльце стоял о чем-то расспрашивая Весельчака, именно он — светлейший князь, огромный, с непокрытой седеющей головой,—дюк Кушимен! Девьер кинулся к двери.

— Не туда! — Маркиза схватила его за рукав. — Там он вас встретит!

— Куда же?

— Сюда!

С обитого железом сундука-скрины маркиза сбросила ворох платьев и подняла крышку. Там было просторно, пахло табаком от моли, лежало мягкое тряпье. Что же делать?

Девьер забрался в скриню, усмехаясь, ежели веровал бы в бога, перекрестился бы. Железная крышка захлопнулась, наступила тьма. Слышался гомон игроков, отдаленный звон клавесина и смех маркизы Каstellафранка да Сервейра. На минутку умолкнет этот смех, словно подушкой закрытый, и опять она хохочет, не может удержаться.

## 7

Светлейший мерил шагами тесную горенку маркизы. Подходил к окну, шурился на закатное солнце, опять вышагивал к противоположной стене, где красовалась огромная китайская ваза. Меншиков щелкал ногтем по звонкому фарфору, разглядывая синих узкоглазых мандаринов и продавцов воды с коромыслами. Вазу эту ему удалось заполучить с китайского посла, он частенько прикидывал, сколько она может стоять — пять тысяч, десять?

— Сядь, Софья, сядь, — говорил он маркизе, порывавшейся что-то приготовить, чем-то угостить, и называл ее просто Софьей. — Сядь! — усаживал он ее, а сам продолжал ходить. — Мерзавцы! — грозил он кому-то. — Антихристова шваль! Арестовать — и кого? Я сперва не оценил ситуации, думал, Ваньки Бутурлина шутка в духе всепьянейшего собора. Потом господь меня надоумил, я, не въезжая в город, завернул к себе на мызу в Стрельну. Представляешь? Мои же рабы, ожидая, очевидно, что меня ухлопают либо в Курляндии, либо по дороге домой, уже мебель всю из имения растащили! Ты представляешь?



Сядь, Софьюшка,— снова уговаривал он ее, потом согласился— чашечку кофе по-турецки. И продолжал бушевать.— Да ведь не я ли,— стучал он себя в грудь,— не я ли облагодетельствовал их всех? Взять того же Бутурлина! При его природной глупости царь Петр десять раз собирался его выгнать. А мой-то Волков, Волков, секретарь? Я же его генерал-майором сделал. Думаешь, он не знал, что меня собираются арестовать?

Зизанья внесла подносик с крохотной чашечкой дымящегося напитка. Маркиза расставила сласти и печенья, зажгла курительную свечку с ароматом.

— Хорошо мне у тебя, Софьюшка,— сказал Меншиков, присаживаясь и берясь за кофе.— Словно у дочери родной... И твоя чернокожая мне приятна!— Он потрепал курчавые волосы ефиопки.— А кстати, так тебя никто и не опознал в Санктпетербурге? Не было никаких встреч, разговоров? Смотри, Софья, тотчас же мне докладывай!

Маркиза сидела на скрыне, так и прыскала смехом, ударяя по крышке скрыни ладонью.

— Кто там так кричит?— спросил светлейший, допив кофе. Подошел к арке и стал смотреть из-за портьеры в игорный Рай, где картежные страсти достигли апогея.— Это тот усатый так сильно кричит? Да это кто же? Это же сын господаря, князя Кантемира! Чего же он так кричит— проигрался?

Меншиков подошел к сидящей на сундуке маркизе, поправил ей локон.

— Покойный Петр Алексеевич не переносил карточной игры, и мы, его птенцы, не знали отравы сей. Походы были у нас непрестанные, марши. Даже в мирное время— то раскол искореняли, то подать собирали. Теперь от всяких дел пустота, в баталионах только и ждут, когда распущу я войско. Все тотчас, как тараканы, разбегутся в свои поместья.

Зизанья с поклоном поднесла ему зелена винца. Уж очень ефиопка любила сего властителя, который столь ласково с нею обращался. Светлейший выпил, закусил чесночком, погрозил кому-то за окно.

— А какво распускать ту армию, коли недругов хоть отбавляй? В Варшаве, доносил наш резидент, когда царь Петр умер, три дня подряд шло гулянье, все паны друг друга как на пасху поздравляли. Намеднишь был я в Курляндии, узнал, что на траверс Ревеля вышел флот соеди-

ненный трех держав. Чего им там нужно? Десантировать, что ли, нас собирается? Дудки — могуча новая Россия!

Он снова подошел к арке, приподнял портьеру, потому что в карточном Раю страсти продолжали кипеть.

— А это кто такой, среди преображенцев, носатый и в хитромудром парике? Да вон тот, в черном атласном кафтане, его я что-то не знаю. Цесарец, хм? Академикус? Граф? Велика персона? И он у тебя бывает? А что он говорит? Алхимик он? Кстати, что у вас тут за философский камень объявился, об этом говорит вся Рига...

Маркиза еле успевала отвечать на его вопросы. Тут от Меншикова не укрылось, что у ней на устах скользит какая-то, по его мнению, двусмысленная улыбка.

— Ну, сказывай. Кто тут у тебя без меня бывал? Что? Старый князь Репнин? Ну этот из ума выжил. Его внук? Молокосос безудальный. А генерал-полицеймейстер Девиер у тебя не бывал? Вот кого опасайся, это прохиндей первой руки, вот кто проведет и выведет.

И тогда некое вдохновение озарило лицо маркизы.

— А он и сейчас здесь у меня,— сказала она, постучав по скрыне.

— Кто — у тебя?

— Господин Девиер.

— Разве он тоже играет в карты?

— Да нет, не там он, он здесь!

— Не могу понять.

— Чего же не понять — он заперт вот здесь в скрыне, на которой я сижу.

— На которой висячий замок?

— Да, да, ваша светлость, на которой висячий замок.

— Ты с ума сошла, Софья, чего бы ему у тебя под замком сидеть!

— Не верите? Давайте пари!

— Ну, если так, я ему голову тотчас снесу! Это он, я знаю, это он с Ванькой Бутурлиным подстроил мой арест! Давай живет, Софья, ключ!

— Зизанья, подай ключ!

— Сударыня,— пролепетала ефиопка,— вы же сами приказали ключ кинуть в колодец во дворе...

— А-а, кликотницы! — зарычал Меншиков. — Вы что из меня горохового шута строите? Подайте немедленно ключ! Или принесите из моей повозки саблю, я и без ключа открою!

Маркиза взяла его за руку, продолжая смеяться. Дала платочек, чтобы утереть пот с генерал-фельдмаршальского лба.

— Вот видите, ваша светлость,— сказала она рассудительно.— Вы смеетесь над глупыми картежными страстями, а сами, оказывается, еще более пустым страстям подвержены. Ну какой Девиер, конечно, полезет ко мне в сундук? Да и замок, гляньте, покрыт ржавчиной, ключ от него затерялся еще зимой...

— Тьфу ты! — рассмеялся светлейший.— Славная ты, Софья, шутница... Ну вот что, сейчас мне шутить недосуг, позови-ка Цыцурина, пусть отчитается в хозяйстве. Теперь мне будут нужны деньги, много денег!

## 8

Меншиков закурил длинный чубук, который принес ему ординарец из повозки, сел в кресло у окна. Расспрашивал маркизу про историю с философским камнем, приговаривал:

— Чудеса, ну чудеса! Имей я тот камень, я бы всех недругов своих яко тлю передавил!

Цыцурин явился с папкой под мышкой. Перво-наперво хотел встать на колени, но Меншиков на него прикрикнул, Цыцурин раскрыл папку, стал докладывать: с карточного стола доход полторы тысячи рублей, с питейного зала — девятьсот.

— Откупные за вино в казну сдаешь? — строго спросил светлейший.

— Никак нет, все в вашу долю кладу.

— То-то! — Меншиков, довольный, стал выколачивать чубук о подоконник.— Мне эти денежки более надобны, чем казна. Да и вообще казна — это я!

— Убыточек имеется... — доложил Цыцурин.

— Какой такой убыточек?

— Полицейским чинам и иным проверяющим после каждой их визитации то рублевку, то семишник... Сто семьдесят шесть рублей восемь алтын на круг набежало!

— Никаких визитаций! — вскипел светлейший.— Дармоеды! Пусть сами себя проверяют! А ежели бы правда Девиер сидел бы в этом дурацком сундуке, я б ему тотчас кочергой внушил, что в мои вольные дома его полициантам рыла не совать!

Маркиза положила ладонь на руку разбушевашегося князя, предложила:

— Не угодно ли, клавесинист Кика сыграет вашу любимую пиесу «Полет сильфиды»?

— Сильфиду как-нибудь потом.— Светлейший снял руку Софьи.— Мне пора ехать. Ты же, Цыцурин, ступай в зал, на кого ты там банк покинул?

— Банк вызвался держать князь Кантемир-старший.

— Ого!— развеселился Меншиков.— У нас сколь угодно мошенников, которые так и лезут в князя. А тут первый случай князя, которому не терпится в мошенники! Иди!

Он не удержался от соблазна, присел к столу, развязал кису, врученную ему Цыцуриным. Звонкие европейские гульдены и ефимки с удовольствием взвешивал на ладони. Русскую же неполноценную монету, где в серебро подмешаны и олово и медь, отодвигал к сторонке. А сам продолжал говорить:

— Соскучился я о доме, Софьюшка, о семье... Сын такой балбес подрастает, только бы ногами в менюэтах вертеть. Разве мы такими, Софьюшка, росли? Жених моей Машеньки, польский пан Сапега, даром что красавец, так и косит на новых царицыных родственниц, что ему Меншикова дочь, в царскую семью захотел! Ах, подлецы, ах, мерзавцы!

— Тут он снова вспомнил своих недоброжелателей и стукнул кулаком по столику так, что монеты посыпались на пол.

— Я им всем покажу! Вот нарочно с Долгорукими в дружбу великую вступлю, пусть я тридцать лет с ними враждовал! А сии лизоблюды, притаились небось во дворце, как мыши, ждут, как я расправлюсь теперь с ними... А та венценосная дура, указ дура подписала, ой-ой-ой! Тяну лямку за всех за них — и армия, и флот, и финансы, все на мне, ровно я царь. А царского титула не имею!

Маркиза хлопнула в ладоши, и Зизанья вновь подала подносик — по русскому обычаю посошок. Меншиков рассмеялся, расправил шитые золотом обшлага кафтана. Опрокинул чарочку, а от осетринки пришел в восторг: ай да рыба, божья рыба, в каких только морях-океанах водится сия рыба!

Накидывая на себя епанчу, еще раз погрозил в окно:

— Погоди, мать-Россиюшка, мы еще повоюем!

Завизжали петли, и крышка скрыни отворилась. Замок, оказывается, был только для виду, в одном кольце висел. Некоторое время в горнице царили тишина и неподвижность, потом из скрыни возник «Господин матрос», бровастое лицо его было сливовым от гнева, дуло пистолета чернело в судорожно сжатой руке.

— Опустите пистолет,—лениво сказала маркиза.— Что вы все пугаете женщину, словно на абордаж идете? Кроме того, пока вы лежали в скрыне, у вас порох сыпался с полки. Получится осечка, обидная для такого стрелка, как вы.

— Вы играете с огнем,—прохрипел Девиер.— Держать меня в сундуке, угрожать любовником, кто бы он ни был!

— Позвольте, вы говорите напраслину. Я действительно два раза была замужем, но любовников у меня не было и не будет, даже из среды столь курioзных господ матросов...

Она раскинула карты, как это делают гадалки. Девиер из-за ее плеча видел, что некий король вокруг вальяжной дамы расставляет своих тузов и валетов, будто готовя их кинуться, хватать, терзать. Но другой король — пиковый, военный, властительный муж, на языке гадалок, господствует над всеми, и не смеют те тузы и валеты ни хватать, ни кидаться. И выпадают в итоге все те же карты — шестерка бубен и шестерка треф.

— Видите? — указала маркиза. — Пустые хлопоты!

Девиер стоял, скрестив руки, и впервые в его флибустьерской голове ворочалось смягенье. Надо было просто повернуться и уйти. Но и как просто уйти от этой женщины, от монстра красоты?

— Послушайте, сударь! — Маркиза встала напротив Девиера. — Клянусь вам, все это произошло непредвиденно. Вам самому было угодно рекомендоваться господином матросом, а к генералу-полицеймейстеру мы бы отнесли, конечно, по-иному. Кроме скрыни, девать вас было совершенно некуда. Я сама перепугалась сначала, думаю, ведь он услышит все, что станет говорить светлейший. А потом думаю — пусть... Пусть услышит!

И как ребенок, который выпрашивает сласти, она смотрела на него снизу вверх.

— Ну вы же разумный человек... Ну не сердитесь!

И тогда генерал-полицеймейстер, гроза ночного Санкт-Петербурга, резко повернулся и вышел, отбросив портьеру. Слышно было, как на крыльце его приветствовал гайдук:

— Счастливо повеселились, господин матрос!

Но чаемой полушки в ладонь Весельчак так и не получил.

Потом послышался шорох в кустах на совсем уже темной улице. Это снимались со своих постов и уходили клеверсты Девиера. Зизанья принесла свечи и ушла. Маркиза села перед зеркальцем.

Вдруг она почувствовала спиной, что в горнице еще кто-то есть.

Повернулась и увидела, что вновь светлейший. Громадный, головой под потолок, он прислушивался к тому, что делалось в доме.

— Ваша светлость!— вскочила маркиза, готовая ко всему.

— Отвори все-таки свою скриню,— попросил светлейший.

Маркиза безропотно откинула фальшивый замок, подняла тяжелую крышку. Меншиков молча смотрел в пропахшее рухлядью чрево сундука.

— Но кто же все-таки у тебя был... Кто был, сознавайся!

— Генерал-полицеймейстер господин Девиер,— честно ответила маркиза.

— Ох, Софья!— схватился Меншиков за виски.— Погубишь ты когда-нибудь свою забубенную голову!

Маркиза позвала Зизанью и стала предлагать светлейшему закусить, отдохнуть, развлечься. Но он отказался.

— Вот что. Ты не подумай взавправду, будто я возвратился, чтобы отлавливать твоих ухажеров. У меня есть важнейшее дело, забыл тебе тогда сказать.

Он огляделся, чтобы удостовериться, что их никто не слышит. Ефиопка была не в счет.

— Послушай, Софья... У тебя, кажется, есть кладовка или чулан с решеткой. Покойный государь строил этот дом любимцу токарю как образцовый, а во всех таких домах предусматривался карцер для слуг.

Маркиза подтвердила, что таковой чулан у нее имеется и дверь там обита железом. И время от времени она туда сажает из слуг, кто хватит лишку.

— Вот, вот! — обрадовался Меншиков. — Везу я с собой одного человека, пусть у тебя побудет под крепким затвором.

Маркиза последовала за ним вниз и видела, как княжеские кучера пронесли кого-то, обвязанного веревками, словно куль.

— Завтра я его заберу, — обещал Меншиков. — А ключ, не прогневайся, я тебе не оставлю. И вот что: ты философский тот камень никому не отдавай, слышишь?

Прижав руки к груди, она хотела поклясться, что никакого камня... Но светлейший уже взобрался в повозку и был таков.

## 10

— Бумаги мне, бумаги! — требовал Сербан, схватив у Цыцурина гусиное перо. — У кого есть хоть клочок гербовой бумаги, чтоб я мог написать вексель?

Он проиграл Евмолпу Холявину сто пятьдесят рублей и желал выдать по всей форме вексель. Схватил у брата фляжку, но она была пуста.

— Евмолп, голубчик, — умолял Антиох, — растолкуй этому безумцу, что вы играли в шутку!

— Почему это в шутку? — не соглашался Холявин. — Фортуна повернулась ко мне передом, какая тут шутка?

— Но откуда ему взять такие деньги?

— Не мое дело, — подбоченился Евмолп. — Пусть не садится за игру, коль он такой сосунок!

— Сосунок! — возмутился Сербан, распушая усы. — Эй, Камараш, Камараш! Где мой слуга? Камараш, принеси немедленно шпагу, она внизу в стойке стоит!

— Камараш, принеси и мою шпагу! — крикнул Холявин и от волнения сплюнул.

— Не плюй на паркет! — не удержался Сербан. — Свинья!

— Как ты сказал? Кто свинья?

Антиох метался от одного спорщика к другому, Рафалович хохотал, ударяя в ладоши. Цыцурин, клавесинист Кика, буфетчик — все сошлись посмотреть, как ссорятся преобразенцы.

Вмешалась маркиза, велела унести шпаги. Часы на большом камине пробили полночь.

Она увела Холявина к себе под арку, стала уговаривать отказаться от выигрыша. Ведь князь Сербан беднее,

чем церковная мышь. После кончины старого князя мачеха отсудила у его детей все наследство. И теперь юная княжна Кантемир вынуждена продать своих горничных, сама себе фантанж навивает.

— А у моей матушки вообще прислуги нету,— упрямылся Евмолп.— Сама стряпает, сама стирает, хоть и дворянка столбовая. Пусть тогда за этот долг Сербан мне княжеский титул отдаст!

Зрители за распахнутой портьерой ахнули от такого требования. Антиох же сказал:

— Дался вам этот княжеский титул! Все люди равны. Первый человек вон, Адам, тот князей не родил. Одно его чадо землю пахало, другое скотину пасло.

— Ты зубы не заговаривай, пиита российский! — крикнул Евмолп.— Пусть он вексель, как положено, намарает!

Обстановка накалялась.

И тут маркиза Лена заметила, что втихомолку ликующий граф Рафалович подозвал к себе горбатого Кику и что-то ему шепнул. Кика опрометью кинулся вниз и возвратился со шпагами преображенцев.

— Как вы смеете здесь распоряжаться! — напустилась она на Рафаловича. Но было уже поздно. Клинки звенели, зрители шарахались, освобождая пространство.

Холявин с яростью напал на своего прежнего друга, теснил его к лестничной площадке. Но тот, несмотря на свою янычарскую внешность, был более хладнокровен и рассудителен. Публика уже дважды вскрикивала по поводу того, что шпага старшего Кантемира коснулась груди Евмолпа.

Маркиза бесстрашно встала посреди петушащихся преображенцев. Руками схватила оба клинка, что вызвало новый крик ужаса среди собравшихся. Но маркиза, отобрав шпаги, кинула их на кушетку и, словно фокусник, продемонстрировала всем ладони, на которых не было ни пореза.

Антиох увел брата в игорную залу, а маркиза, велев ефиопке принести бинты и подорожник, чем раны заживляют, журила драчуна:

— Евмолп, проказник! У тебя и старая рана теперь кровоточит, которую оставил Репнин.

Холявин все не мог успокоиться.

— А почему они князя, а я нет?

— Хочешь? — предложила маркиза Лена.— Я тебе



выплату этот проигрыш, эти сто пятьдесят рублей. И купи твоя матушка и кучера и кухарку.

Евмолп хмыкнул и заулыбался во весь свой зубастый рот.

— А ты нынче в караул не ходи,— наставляла маркиза.— Скажешься в полку больным.

Услышав из-за портьеры эти слова, в горницу устремился Сербан, вырываясь из рук Антиоха:

— Вот и дело, оставайся тут, оставайся! Куриозно только нам знать, как она тебя ласкательно именовать станет — Лопик и Молпик, а может быть, Евочка?

Оба враз бросились к кушетке, схватили шпаги. Маркиза успела только вскрикнуть.

Двумя-тремя короткими выпадами темпераментный Холявин потеснил Сербана в угол, где возвышалась китайская фарфоровая ваза. Там Сербан обманным ударом заставил Евмолпа отскочить, но тот с удвоенной яростью налетел. Клинки мелькали как выстрелы.

— Ваза, ваза! — в волнении хрипел Цыурин.— Ваза!

Как бы послушавшись его панического хрипа, великолепная ваза со всеми ее узкоглазыми мандаринами и разносчиками воды пошатнулась, поколебалась и рухнула на пол, расколовшись на множество кусков. По полу рассыпались, покатались, зазвенели золотые лиссабонские пластины, стамбульские динары, венские талеры с лошадиным профилем императора.

— Боже! — воскликнула маркиза.— Откуда здесь эти деньги?

Тотчас Цыурин, Кика, за ними буфетчик и прибежавший снизу Весельчак, растолкав гостей, кинулись подбирать их с пола, кидая в мусорную лохань.

В тишине послышалось, как ефрейторский рожок в полку играл зорю. Близилось время развода, и преобразенцы гурьбою покинули царство Фарабуша, обсуждая происшествие.

Ушел и Холявин, даже не оглянувшись на маркизу, которая с грустной улыбкой смотрела ему вслед.

## 11

— Доброй ночи вам, граф,— сказала она Рафаловичу. Он один остался в ее покоях, классифицируя на столике осколки великолепной вазы.

— Но у меня, мадам, есть к вам вопросы...

— Уж за полночь, милый граф. Приходите днем!

— Нет, позвольте. Именно сейчас!

— Ах, боже мой, я так устала! Ну, говорите, коль это так срочно...

— Расскажите, почему светлейший прибыл в Санктпетербург инкогнито и был встречен без подобающих почестей?

— Ну почему я знаю! — с мольбой протянула она. — Спросите что-нибудь иное. У меня слипаются глаза!

— Неужели светлейший не рассказал вам, как его пытались арестовать и предъявили о сем указ императрицы? И он с вами не поделился своими намерениями? И еще скажите: почему, въехав в город, он прибыл не к кому-нибудь другому, а именно к вам?

И так как маркиза отрицательно потряхивала черными локонами, он бросил свое шутовское потиранье ручек и приступил к ней вплотную:

— Мадам, не лгите. Вы не можете этого не знать!

— Я знаю только то, — маркиза зевнула, прикрыв рот узкой ладошкой, — что я устала и хочу спать.

А он придвигался все ближе, дыша гнилыми зубами. Маркиза увидела, как его вислоносое аристократическое лицо превращается в маску зловещей совы.

— Сонь-ка! — выкрикнул он, и это было единственное русское слово в его изящной французской речи. — Сонь-ка! Тот, в Лондоне, кто прислал меня сюда — его-то вы должны хорошо знать! — тот, в Лондоне, приказал. Если вы, Сонь-ка, начнете глупить, напомните вам, на чьи деньги куплен ваш дряхлый муж и ваш пустой титул...

Маркиза глядела на него как пойманная лань. Сложила руки, словно монахиня, склонилась, и волосы закрыли ей лицо.

— Но Меншиков, право, ничего такого мне не говорил... — простила она и упала лицом в подушку.

— Ну, хорошо, хорошо! — Рафалович говорил ей в затылок. — Вы сердитесь? Напрасно! В отношении вас я вынужден был прибегнуть к крайним средствам, потому что сам нахожусь в затруднении...

Он нагнулся и, найдя на копне черных волос ее ухо, зашептал:

— Сегодня же узнайте от Меншикова все... Кроме того, разъясните, откуда у вас в вазе эти деньги — именно эти деньги? Черт побери, не я ли их, эти деньги... Но об этом потом!



Оглядываясь по сторонам, в призрачном свете занимающегося утра, он, как сова, скрипел и скрипел над ее ухом.

— И главное, вы должны обеспечить, чтобы преобразенские офицеры, на которых вы имеете такое влияние, чтобы они не явились в батальоны, когда будет подан сигнал боевой тревоги!

Маркиза лежала ничком, раскинув беспомощно руки. За аркой послышалось шарканье, это Зизанья спешила проведать свою госпожу. Граф Рафалович поторопился исчезнуть.

Зизанья вошла, поставив свечу на столик. Опустилась возле кушетки, видя, что маркиза не спит.

— Я вас раздену,—предложила она.— Утомитесь ведь! Ушел, дьявол черноносый!

Хлопотливо взбивала подушку, стелила постель. Помогая расшнуровать корсаж, шептала:

— Бойтесь его, бойтесь! Это очень злой человек — белая кожа и черная душа... У меня есть земляк один — черная кожа, но очень светлая душа! Он служит здесь английскому господину. Он говорит: скоро придет ихний флот, много кораблей, много солдат! Они город сожгут, а русских загонят обратно, в Московию...

Настала спасительная тишина, чуть заметное дуновение ветра колебало огонек свечи. Казалось, что горница, а вместе с нею большой несуразный этот дом, словно корабль, плывет в неведомом море и нет плаванию тому ни края, ни конца.

— Кто это там скулит?—спросила маркиза, засыпая.— Неужели какой-нибудь щенок?

— Нет, синьора, не щенок. Это тот бедняк в чулане, которого давеча привез вам светлейший князь.

## 12

Фиолетовая ночь быстро надвигалась с востока, словно колесница, влекомая облаками. Вот она охватила полнеба, крылья ее повисают над куполами, кажется, вот-вот наступит долгожданная тьма, окончится этот белесый бред. Но нет — обессилев, она истончается, бледнеет, облака превращаются в разноперые струи, и вновь торжествует свет утренней зари.

На обширном участке усадьбы Нартова, под темными

куполами кленов, две тени — долговязая и совсем уж коротышка — маячили, перебранивались.

— Уйди, Вонифатий Яковлич, господин Нулишка, дай мне побыть одному. У меня тут дело есть... Вот досада! И кто только в полиции надоумился тебя на волю выпустить!

— А-а, господин Весельчак! Знаю я, какие тут у тебя дела! К прачкиной дочери подбираешься, к Алене, которая тут у лейб-токаря батрачит. Шиш тебе, не отдам я Алену, она моя невеста!

— Тоже нашелся жених! Брысь отсюда!

— А вот и не пойду... Как начну кричать караул, чтобы полиция сбежалась!

Бравый гайдук уж и не знал, чем угомонить своего приятеля. Вдруг его осенило:

— Слушай, возьми мою булаву, мажордомский жезл, постой за меня на крыльце.

— Честное слово? — не поверил карлик. — Взаправду разрешишь подержать?

Выпроводив Нулишку к еле коптящим фонарям совсем заснувшего вольного дома, гайдук вернулся к заветным кленам.

И было пора, потому что скрипнула дверь нартовской мазанки, и прачкина дочь вышла, неся коромысло и два пустых ведра.

— Давай, Алена, я тебе из колодца воды накручу.

Налил ей оба ведра и, не зная, чем дальше занять девушку, вынул из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу.

— Вот, Аленка, хочу из гайдуков уходить, ну их!

— Куда же ты пойдешь?

— В циркус.

— Это в певчие, что ли, или в звонари?

— Да не в церковь — в циркус!

— А что это такое?

— По правде, я и сам не шибко знаю... Вчера был у нас актер, приносил уведомление, вот оно. Перечневый лист называется.

Весельчак бережно разгладил бумагу.

— Жаль, я грамоте не учен, а то бы тебе прочел. Там очень складно все описано.

— Давай уж, прочту, — предложила Алена. — Мой отец меня обучил.

Они вышли из-под деревьев, и в свете занимающейся,

хоть пока еще и хилой зари можно было различить каждую печатную букву.

— «Уведомление о чудном муже, его же иные вторым Сампсоном называют,— бодро прочла Алена самые крупные буквы. Но дальше пошло туго, потому что язык перечневой грамотки был весьма мало понятен.— Фама, хотя любезный читателю, довольное время в Германии летала и много старого и нового вострубила...»

— Кто это — Фама? — прервала она чтение.

Весельчак пожал плечами.

— По смыслу, какая-нибудь басурманская богиня, читай дальше.

— «Яко недавно в Лейпцике и Берлине видеть было еще некогда невидаемое...» Ну, тут ясно — немецкие города. Дальше: «...он же имеет прекуриозную компанию... С ним танцовальная мастерица, которой в Европе в прыганье по веревкам подобной еще не нашлось».

— Прыгать по веревкам? — дивилась Алена. — Мы однажды с матушкой видели на гулянье, на Царицыном лугу. Только там по веревке ходили мужики, а тут — женщина?

— Читай дальше, главное дальше!

— «Подымает он пушку от двух с половиной тысяч фунтов, тяжелую, одной рукой. Пушку сию, толь долго подняв, в одной руке держит, пока другою рукою за здравие всех господ смотрителей рюмку вина не выпьет...»

— Го! — обрадовался Весельчак. — Это я могу!

— «Поднимает он лошадь одною рукою, на которой человек или два сидели б... Наковальню отменной тяжести поставляет себе на грудь и двух кузнецов заставляет молотами бить...» Вот это да! — восхитилась Алена.

— Читай, читай дальше! Там указано, где тот циркус действие производит и какова там от каждого зрителя плата.

— Вот. «Ежели кто охотники похотят сего видеть, оные имеют платить за первое место полину, за другое десять алтын, за последующие — по пять алтын...» У! — разочаровалась Алена. — Где ж я возьму такие деньги?

— А тебе и не надо никуда ходить, — объявил Весельчак. — Я тебе сей же час все это тут покажу!

И он, схватив ее коромысло, принял ее ожесточенно крутить в воздухе так, что Алена еле увернулась. Причем из летящих вокруг него ведер не проливалось ни капли.

— Молодец! — похвалила Алена.

Польщенный Весельчак бросил коромысло, схватил Алену и начал ее крутить над своей головой. Алена старалась вырваться, но производить шум не решалась.

— Ванечка, голубчик,— молила,— отпусти!

И поскольку он никак не отпускал, она ударила его по голове жесткой своей пяткой. Весельчак охнул и опустил ее на землю.

— Ты что дерешься?

### 13

— Так его, так! — закричал вернувшийся карлик Нулишка. — Вот я ему добавлю его же булавой!

— Ой, Вонифатий Яковлич,— обернулся к нему Весельчак. — Нету на тебя угомону! Суди, Алена, в полицию его было запрятали, вот, думали, дух наконец переведем...

— А вот и опять врешь,— карлик показал ему язык. — Я в полиции теперь главным советником служу. Кого хочешь, того казню. Ну-ка, господин Весельчак, пожалуйста мне на водочку из ваших карманов копейки две.

— Болтун! — ответил Весельчак. — Вот если еще постоишь за меня на крыльце, пока адмиралтейская пушка не грянет, дам целый пятак.

— Пятачок! — изумился карлик. — За пятак постою.

И, взяв булаву на плечо, отправился к месту караула. Алена же отошла к колодцу, заплетая кончик косы. Гайдук похаживал около, не зная, как теперь к ней подступить.

— Что не спишь? — спросил он. — Нартов твой, я видел, отбыл на Сестрорецкий завод, его царица послала проверить, как там мушкеты делаются.

— А ты что не спишь? — ответила Алена.

— У меня сегодня пост особый.

— Какой же?

— Синьора не велела об этом сказывать.

— Фи, значит, никакого у тебя особого поста нет!

— Ладно, ладно, не заманивай. Все равно не расскажу.

— Ах, Ванечка,— изменила тактику Алена,— неужели мне да не расскажешь?

— А ты меня поцелуешь?

— Если пост твой окажется в самом деле важным, я подумаю, поцеловать или нет.

Весельчак еще некоторое время колебался, но свет загорился так могуче, так призывно щелкал в роще

соловей, что он не устоял. Наклонившись к самому уху девушки, поведал, что вчера светлейший князь привез в ящике своего экипажа какого-то человека. И тот сидит теперь у них в чулане, а синьора лично велела ему, Весельчаку...

— Э! — разочарованно сказала Алена. — Это и все твои секреты? За это не только не целуют, но и вообще не разговаривают.

И, закинув за спину косу, она приготовилась поднять коромысло с ведрами. Весельчак в отчаянии схватил ее за руку.

— Пстой! Не уходи... Я тебе все скажу. Это тот самый корпоал, из вашей из Кунсткамеры...

— Врешь! — вскричала Алена, вырывая у него руку.

— Ей-ей! Хочешь землю есть буду?

— Врешь! — она ударила его в грудь.

— Ей-ей! — божился гайдук. — Да перестань ты драться! Хочешь, я тебе покажу в решеточку, пока все спят?

— Покажи! — потребовала Алена.

— Он там скулит... — сказал Весельчак, видимо заколебавшись.

Тогда Алена, привстав на цыпочки, поцеловала его в подбородок. Охнув от неожиданности, Весельчак приложил ладонь к поцелованному месту и махнул рукой:

— А, чур-перечур! Пошли.

И вот Алена сквозь узкое зарешеченное окошко в двери пытается разглядеть что-нибудь, выразительно шепчет:

— Мак-сим Пет-ро-вич, это я!

А гайдук в великом страхе дергает ее за рукав — горница же хозяйки совсем рядом, под аркой! Но Алене теперь на все страхи наплевать, она пытается раскатать решетку в окошке:

— Мак-сим Пет-ро-вич, отзовитесь!

— Кто это?

— Это я, я, Алена... Грачевская дочь из слободки... Вы меня узнали?

— Это ты... Ой, веревки... Рук не чую...

Алена вцепилась в гайдука.

— Открой дверь! Открой тотчас дверь!

— Но у меня ключа нет... Ключ сам светлейший взял!

— Ломай! — приказала Алена. — При эдакой силе? Иначе кому она, хваленая, нужна?

Весельчак в панике хватался за маленькую свою голо-



ву, оборачивался к арке, заглядывал через перила, но отделаться от Алены было невозможно.

И, взявшись одной рукой за замочную скобу, а другой — за верхнюю петлю, он качнул, примерился и рванул так, что вынутая дверь осталась в его руках. На весь дом и прогремело и стихло.

Обернувшись к хозяйкиной горнице, Алена и Весельчак убедились, что там все спокойно. Тогда они принялись за Максюту. Нужно было распутать, разрезать, размотать веревки, поднять его, ослабевшего на ноги.

— Боже! — раздался вдруг голос маркизы, и их обоих бросило в жар. — Как такое могло случиться? Да это же Максюта, наш Максюта из московских рядов!

## 14

Нева, непривычно безлюдная, под худосочным светом утра, напоминала литое стекло. Трехэтажные пузатые дворцы, мачты в паутине снастей, недостроенные башни и колокольни с голландскими шпилями — все словно застыло в сумеречном молчании, отразившись в зеркале реки.

Только одна плоская барка скользила посередине, всплески весел не нарушали общей неподвижности и простора. Ее пассажиры сидели почти на самом дне, и издали можно было подумать, что плывет к морю лодка, сорвавшаяся с привязи.

— Быстрее! — упрашивала маркиза. Ее бил озноб, она куталась в шаль. — Быстрее, родимые... Что же ты, Цыцурин, выбрал ехать по реке, а по каналу, мимо Адмиралтейства, не проще?

— Не извольте беспокоиться, — заверил Цыцурин. — Раз доверились, терпите.

— Господи! — вздыхала маркиза. Чувствовалось, что она просто не может не говорить. — Разве я думала, разве я хоть чуточку знала, что он может быть здесь? Клянусь чем угодно, я сама видела его мертвым в застенке!

У ее ног Алена растирала ромом запястья Максюты, на которых зверские путы светлейшего князя оставили багровый след. Максюта был мрачен, с некоторым удивлением поглядывал на парижские мушки маркизы, на огромные золотые кольца, болтающиеся у ней в ушах.

А маркиза все спрашивала:

— Как же ты видел меня и не решился подойти? Ведь в Москве мы с тобой говаривали по-простому...

— Служба...

— А что ж ты, как только узнал, что Авдий Лукич жив, что ж ты ко мне тотчас не пришел?

— Был занят...— усмехнулся Максютя.

Несмотря на неожиданную перемену, не верил он этой великолепной барыне, которая и по-нашему лопотала, и похожа была на ту московскую хозяйку давних лет. И Алена разделяла его недоверие, она лишь поглядывала на маркизу, слушая ее бесконечные речи.

А там, в вольном доме, у разломанной двери чулана, она обернулась и увидела ее. И зашлась, закричала, словно полоумная: «Режь, убивай, Горгона ненавистная, вот она я вся перед тобой!» А Максютя только повторял: «Софья Пудовна Канунникова, Софья Пудовна, ваш муж жив...»

Но теперь это все позади. Маркиза перебудила всех в своем доме, добралась до Цыцурина — к кому он хаживает на каторгу? Кто у него там есть, что там можно сделать? И вот они плывут все вместе.

А маркиза все говорит:

— Когда меня взяли в Преображенский приказ, я глупенькая была. Думала: за невинным всегда господь... Пока везли в Санктпетербург, измывались всячески, сушили: это, мол, цветочки, а будут еще и ягодки. Я же, дура, все спрашивала: за что, за что?

Она протягивала бледную руку, и верная Зизанья из-за плеча вкладывала в нее то питье, то платочек. Тут же был и Нулишка (куда ему деться с поста гайдука!), он опахивал синьорю веером.

— Наконец привели в застенок, вижу: муж мой, Авдей Лукич, висит, на человека уж не похож... Князь-кесарь Ромодановский, кровавый старик... Лицо у него тряслось от старости и пьянства, а все лютовал! Тот князь-кесарь у меня требует: подтверди, что царевич Алексей Петрович у вас бывал, что вы против государя заговор с ним мастерили! А не то, говорит, видишь? Вторая дыба порожняя стоит, она, говорит, для тебя...

— И вы подтвердили?— дерзко спросила Алена.

— Да...

— А бывал у вас царевич?

— Нет...

На барке воцарилось молчание. Каждый думал свою,

одному ему известную думу. Слышались лишь мерные всплески весел, да в высоте крики невских чаек.

Барка уткнулась в причал, и все повалились друг на друга. Это была бревенчатая склизкая стена каторжной тюрьмы.

Весельчак с помощью Максюты подхватил Цыцурина и поднял его в качающейся лодке. Тот разыскал в стене оконце, или бойницу, и подтянулся к нему. Кому-то что-то сказал и сделал знак, чтобы его отпустили обратно. Некоторое время в лодке ждали. Наверху слышалось мерное топанье, слова команды. Шла смена караула.

Наконец в бревенчатой стене у них над головами открылась дверь, опустилась веревочная с перекладинами лестница. Впереди Цыцурина, за ним маркиза, ефиопка, вездесущий Нулишка, последним Максюта поднялись и исчезли в проеме двери. Оставшиеся ждали в лодке.

Внутри оказалась подклеть, тускло освещенная из единственного оконца. Полицейский унтер-офицер («Полторы Хари!» — вспомнила его прозвище маркиза) шепотом объяснялся с Цыцуриным. Завидев Максюту, он недоуменно покосился на его партикулярный армяк и полицейскую треуголку, но поздоровался с ним за руку. Однако на посулы Цыцурина не соглашался, мотал головой.

Маркиза вторглась в их разговор. «Муж мой... Не виделись много лет... Не пожалею ничего...» Выдернула, покривившись, кольцо с алмазами из уха и засунула его Полторы Хари за обшлаг.

И вот они перешли в другое помещение, обширное, низкое, бревенчатое. Плеск волны слышится откуда-то сверху, значит, само помещение ниже уровня реки. Здесь запах сырости и гнили, терпкая портяночная вонь, из-за чего воздух кажется густым и почему-то пахнет фиалками.

Здесь на низких настилах рядами лежат люди в лохмотьях. Головы, поблескивая глазами, поворачиваются, следя за невиданными людьми, которые проходят посередине. Впереди женщина словно шамаханская царица, за ней другая, черноликая, чистый чертенок! Некоторые даже улыбаются им вослед. Редко звякнет кандалная цепь — каторжане они бывалые, зря мелкозвонны не разбрасывают.

— Эй, Чертова Дюжина! — позвал начальник охраны, подведя маркизу и ее спутников к угловому настилу.

Широкоплечий каторжанин вскочил, вытянувшись

перед начальством. Маркиза сперва восхитилась его античным профилем, потом содрогнулась — другая половина его лица была изуродована клеймом 13. Это был тот, тот, кто как в страшном сне, привиделся ей тогда в лодке!

И тут она увидела, что и все лица каторжных здесь неестественные, не человеческие, скорее звериные — без ноздрей, без ушей, а многие со страшными клеймами на лице.

— Где у вас тут был старик? — спросил Полторы Хари. — Которого вы еще звали батей?

— Канунников? — ответил Тринадцатый. — Был, был! И не только был, но еще жив благодаря нашему попечению.

И маркиза, несмотря на напряженное ожидание встречи с Авдеем Лукичом, обратила внимание на его независимую манеру речи. «Какой молодец! И как изувечен!»

Тринадцатый говорил:

— Мы же просили, господин унтер-офицер, чтобы старика этого на урок не назначать. Мы за него все сделаем. А давеча утром его опять под козу поставили... Это рогулька такая, — обратился он к маркизе, — на которой носят кирпичи.

— Но, но! — прикрикнул на него толсторожий, видимо, за то, что он заговорил с посторонними. — Знай край, да не падай!

Другой каторжанин, с клеймом 8, молоденький, чернявый, откинул тряпье, закрывавшее голову лежавшего в углу человека. И маркиза увидела Авдея Лукича. Конечно, она ожидала, что он постарел на много лет, конечно, — седина, морщины, слезящиеся веки... Но самым для нее ужасным было увидеть печать страданий на этом, казалось бы спокойном, умиротворенном лице.

Тринадцатый вдруг быстро заговорил по-французски:

— Мадам, если только можете... Сделайте все, чтоб его отсюда забрать. Нам с трудом удастся его сохранить... Он же болен, стар, таких не щадят!

— Не смей! — заорал Полторы Хари. — Говорить только по-русски!

— Идите к императрице, к светлейшему князю, — продолжал Тринадцатый. — Выкупите его, черт возьми, и это здесь возможно!

Унтер-офицер сделал шаг к нему, заноса хлыст, но постеснялся неизвестной особы и Максюты, которого он продолжал считать за своеобразное начальство.

А эта офранцузенная маркиза, вся в модных кудряшках и затейливых юбках, вдруг заломила над головой прекрасные свои руки и повалилась на тряпье, закрывавшее Авдея Лукича.

— Ой, дура я, дура преступная, что ж я сделала с тобой!

И слезы горячие капали на его отчужденный желтый лик.

## Глава шестая

### ТЕНИ КОРАБЛЕЙ

#### 1

Завершив утреннее омовение, светлейший князь отдал рушник камер-лакеям. Покрасовался перед грюмо, расправляя воротник. Турецкий шлафрок с витым поясом по утрам—это он подсмотрел в божественных Версаях. Это мелочь, но мелочь существенная, из таких мелочей и составляется этикет, который он придумал и сам скрупулезно поддерживает в своем высококняжеском доме.

Светлейший двинулся через анфиладу, камердинеры с поклонами растворяли двери, а следом в строгом порядке двигалась свита—гофмейстеры, то есть устроители двора, герольды, то есть домашние объявители, шенки—буфетчики, а за ними егермейстеры, конюшие, садовники, два живописца и даже один делатель фигурный, то есть скульптор.

В такой процессии и нарочито не торопясь, ибо поспешность есть удел скрытых бездельников, светлейший вышел в угловой покой, откуда через просторные окна виделась солнечная Нева, до самого моря. А на той стороне—дворцы, мастерские, павильоны, верфи, целый лес мачт и флагштоков, на которых свежий ветер трепал разноцветные флаги.

И как всегда, он не мог не остановиться в этом покое своего великого дворца и не вспомнить слова Петра: «Кому из вас, братцы мои, хотя бы во сне снилось лет тридцать тому назад, что мы с вами будем здесь у Остзейского моря плотничать и воздвигнем город сей чрезвычайный?..»

И слова сии покойником были произнесены именно

в этом месте, когда блистательный Меншиков, генерал-губернатор Санктпетербургский, достроив свой дворец, показывал его царю, у которого как раз все царские жилища смахивали на казармы да на бараки. Но великий Петр не был ни ревнив, ни завистлив. Он восхищался строением Меншикова, как будто это был его собственный дворец!

Зато к другому был ревнив царь Петр. На этом же самом месте во дворце он спросил однажды своего любимца, шута Балакирева: «Что говорят о Санктпетербурге?»

А Балакирев отвечал: «Царь-государь! В народе говорят — с одной стороны море, с другой стороны горе. С третьей мох, а с четвертой — ох!»

За что и бит был тот Балакирев царскою тростью.

Меншиков усмехнулся и зашагал далее по штучным паркетам, мимо синих изразцовых печей и зеркальных каминов. А следом, стараясь не шаркать подошвами, устремилась вся свита.

Светлейший, устраивая частенько званые обеды на триста — четыреста персон, терпеть не мог, однако, чтобы кто-либо чужой присутствовал на его семейных трапезах. Поэтому, не входя на фриштык, иже есть завтрак, свита остановилась и раскланялась.

Меншиков вошел в малую столовую, приветливо здороваясь, целуя жену и дочерей. Обращение его в семье было свободное, и потому, как только он сел, начался шумный завтрак.

Будто и не минуло этого месяца разлуки, будто верная Фортуна по-прежнему простирает над Меншиковым свой благодетельный венец!

Расправляя салфетку, светлейший перво-наперво отметил, что рядом со старшей дочерью, красавицей Марией, место оставлено пустым. Торчит клином накрахмаленная салфетка.

Это, конечно, место Сапеги, ее жениха, оставлено пустым, как для покойника. Ну и пусть! Для Александра Даниловича он и есть теперь покойник, горделивый пан Сапега! Не успели слухи расползтись, что светлейшему в Курляндии не повезло, как пан сей мигом в другой лагерь перебежал!

Шут с ним, однако! Фортуна еще выше поднимет блистающий венец, и зятем светлейшего станет внук самого императора. Ежели, конечно, сбудется все, что думалось, что намечалось там, на унылых дорогах Курляндии.

А в остальном ничего не изменилось в дружном семействе Меншиковых. Хозяйка, Дарья Михайловна, разливает чай сама, лакеи только носят блюда. Женщина она болезненная, глаза вечно на мокром месте. Вот и сейчас платок вынимает — разжалобила ее рассказом приживалка, комнатная старушка, о своей сватье, у которой где-то в Симбирской провинции и лохмотишко зело убогой, и свеч не на что выменять, богу поставить... И вслед за носовым платком из ридикюля светлейшей княгини достается серебряный полтинник и жалуется на свечки той симбирской сватье.

Светлейший от возмущения еле ногой не топнул. Подобно царю Петру, он терпеть не мог нищих да убогих, но в семье он привык уважать интересы близких.

Рядом с хозяйшкой ее сестра, Варвара Михайловна, горбунья. Нос у нее ниже подбородка, как говорится в народе — в чужие горшки совать. А глаза быстрые, острые, так всех подряд и нанизывают. С нею также сидит приживалка, явилась благодарить за место фрейлины при великих княжнах. Расписывает полученные там блага: «Ежедневно, матушка, получаем мы кошт — полпива по шесть бутылок, а рейнвейну и красного можно брать по охоте...»

Лет двадцать тому назад сестры Арсеньевы — Дарья и Варвара — веселушки, выдумщицы, певуни, были взяты к царевне Наталье Алексеевне в терем. Царевна, любимая сестра царя Петра, сама была спора на всяческие забавы, а при ней тогда состояла и Марта Скавронская, соломенная вдова шведского трубача. Царь туда хаживал, было ему там и семейно и уютно, Алексашка Меншиков, конечно, был и там рядом с ним. Как только лифляндка Марта стала женой государя, а потом и императрицей Екатериной Алексеевной, так и нежная Дашенька Арсеньева сделалась женою царского любимца. Сестра же ее, горбунья, последовала за нею в дом Меншикова, и светлейший по-своему и ее полюбил — за разум министерский, за хитрость ума, коей иному сенатору не доставало.

Берясь за перемену блюд, светлейший приветливо взглянул на свояченицу, он обнаружил, что та на него и смотреть не желает — сердится. Делает вид, что по горло занята обеспечением вновь пожалованной фрейлины.

А сердится она явно за то, что деверь ее не послушался, поехал в Курляндию, а получилось так, как она предрекала, — пустые хлопоты. «Там ведь эта пешка, Ан-

на Иоанновна,— доказывал перед отъездом светлейший.— А все царевны Иоанновны мне еще при покойнике Петре руку целовали». «Погодите,— возражала Варвара Михайловна,— эти Иоанновны вам за сию руку голову оторвут!»

А вот с независимым видом явился старший сын — светлейший князь Александр Александрович. И не подумал извиниться за опоздание к семейному фриштыку. Знает, что ради встречи отец своему любимцу выговор не сделает.

Александр Данилович критически оглядел фигуру сына. Парик, последняя парижская новинка, причесан совсем необычно, на пробор, и коса есть с черною лентой. Мимо какого зеркала ни пройдет — поглядится. За стол уселся в головном уборе, в картузе голубого цвета, а порты у него замшевые, тоже из Парижа.

— Саша, Саша! — закричали ему сестры.— Нам перечни принесли театральные. Глянь: «Тюрьмовый заключенник, или Принц-нелюбодей», аглицкая пьеса. А вот другая — «Доктор принужденный», действие господина де Молиера. Что скажешь — посылать за местами?

## 2

Кабинет-секретарь, генерал-майор Волков, докладывал текущие бумаги. Амстердамские очки в серебряной оправе поблескивали у него на носу.

— Что копаешься? — подгонял его светлейший.— Давай сначала какие срочнее. Да сними ты эти окуляры, они тебе только мешают!

Убедившись, что секретарь еще не готов к докладу, светлейший выглянул в прихожую и увидел, что скороход, он же камер-герольд, любезничает с горничной. Завидев Меншикова, горничная скрылась, будто провалилась под пол.

— Мишка! — рассердился Меншиков.— Вечно тебя не дозовешься! Валяй-ка к госпоже Варваре Михайловне, пусть она ко мне пожаловать изволит.

Камер-герольд пустился во всю прыть, а Меншикова заинтересовало, куда могла так быстро исчезнуть девица. Он подошел и обнаружил возле конторки скорохода гобелен на стене.

«Так и знал,— установил светлейший,— тут потайной лаз. Уж в какой секретности архитектор мне эти сокровен-



ные ходы делал, а теперь каждая горничная в доме ими пользуется».

— Читай, горе-секретарь! — сказал он Волкову, вернувшись.

— «Зело запустело в той Сибири за многими причинами,— докладывал Волков какую-то нуднейшую челобитную.— А наипаче от великих расстояний, от малолюдства, от глупости прежде бывших владетелей...»

«При покойном императоре,— размышлял Меншиков,— многожды говорилось о необходимости изучать богатства Сибири. Однако за всем обилием военных и иных дел того в ход запустить не успели. Разумею запустить это дело днесь».

— Записывай! — приказал он Волкову, прервав чтение перечня неурядиц.— Президенту Академии Санктпетербургской господину Блументросту. Послать извольте в ту страну Сибирь экспедицию из многих академии вашей членов...

Явился камер-герольд, запыхавшийся от усердия, и сообщил, что госпожа свояченица его высококняжеской светлости ответствовали, якобы у господина губернатора и генерал-фельдмаршала к ней, свояченице, дел никаких нет и быть не может.

— Что-о? — сперва разгневался светлейший. Но потом подумал про свояченицу — злится! И послал скорохода с тем же приглашением еще раз.

Теперь Волков стал читать режим обучения малолетнего внука государева Петра Алексеевича.

— «Понеже часы к наукам и забавам перемежаться должны, до десяти часов утра читать им историю, особливо добродетели монархов древних времен; с десяти же часов забавляться игрою в волленшпиль, сиречь летающий мяч...»

«Чудак! — улыбнулся про себя Меншиков, глядя на лобастое, честное лицо генерал-майора.— Неужели он не понимает, что я почти отставлен? Мне ли заниматься регламентом обучения царевича?»

Однако тут ему представилась Фортуна с лавровым венцом, летящая все ввысь и ввысь. И он подумал: царевича того в свои руки крепко забрать. Пусть и живет здесь, в моем доме. Пусть привыкает к моей власти, к моей сестре, к моей дочери, а там, как бог даст...

— Чего у тебя еще? — спросил он.

— Юрнал, или Поденная записка лично вашей высо-

кокняжеской светлости,— ответил Волков.— Извольте за вчерашний день прочесть записи и заверить их собственноручно.

— Посмотрим; посмотрим,— сказал Меншиков, листая Юрнал. И вдруг закричал, как обжегшийся: — Да ты что, тварь? Ты нарочно это, скотина?

Перепугавшийся Волков пролепетал что-то, снял и уронил очки.

— Ты это пишешь или кто-нибудь из твоих борзописцев? Несправедливое арестование его великокняжеской светлости... Ты что, спятил?

Волков, согнувшись, искал на ковре очки, похоже было, что он просто встал на колени. Меншиков в сердцах запустил Юрнал в камин, который, к счастью, не топился.

— Напишешь так,— командовал Меншиков.— С самого утра прибытие генерал-фельдмаршала и прочая и прочая, обыватели стольного города встречают светлейшего князя огневой потехой и пушечным салютом. Затем светлейший князь прибыл в Летний дворец, резиденцию государыни, где оставался при них неотлучно даже до ужина... Словом, ординарнейший день, ты меня понял, умная башка?

Волков, водрузивший найденные очки, радостно кивал головой.

Снова явился ретивый камер-герольд. Госпожа свояченица ответствовала на сей раз, что у нее нет дел к господину губернатору и светлейшему князю... Но просит пожаловать к ней запросто на чашечку чая.

Меншиков чертыхнулся, отослал Волкова с бумагами, а сам прошел на «Варваринскую половину», где обитала его многомудрая свояченица, воспитывавшая его детей.

Горбунья подала ему для целования сразу обе тощие ручки. Не соболезнающе, нет,— твердо смотрела ему в глаза. Усадила за субтильный французский столик, и светлейший тотчас получил от нее ту информацию, которую тщетно ожидал от своих секретарей.

— Двор случившимся обескуражен. Двор не может понять, как это непостижимый дюк Кушимен (она применяла ту же версальскую анаграмму) после всего происшедшего может позволить себе разъезжать по своим частным делам, вместо того чтобы кинуться к императрице, грозить умолять, доказывать...

Меншиков удовлетворенно откинулся на спинку стульчика. Вынул из-за обшлага пресловутый указ об аресте.

Варвара Михайловна прищурилась, отставила чашечку, взяла свиток, поднесла к самым глазам, долго изучала подпись.

— Да, это она сама,— наконец сказала горбунья.— Сомнения нет.

— Но почему же, почему? Неужели она не понимает, что без меня...

— В том вся беда, милый Алексаша,— Варвара Михайловна погладила рукав светлейшего деверя,— она отлично понимает, что вы-то без нее вполне можете обойтись!

Пили чай, хрустели обсахаренным печеньем. Светлейший поднялся, ловя пальцы свояченицы, преданно их целуя.

— Не гневайтесь, голубушка, за Курляндию... Одно я там понял — давить их всех надо, давить! Ежели б не наказ царицы, я бы их всех там передавил во главе с этой надолбой Анной Иоанновной.

— Давить-то ее надо... Но, Алексаша, еще нужнее другое...

— Знаю, знаю, что вы скажете. Обворожить, обаять!

— Между прочим,— сказала горбунья, уже проводив светлейшего до двери,— в настоящий момент портомоя, а с ней и вся златотканая свора садятся в лодки у Летнего сада. И знаете зачем? Едут навестить драгоценнейшего светлейшего, узреть воочию, не болен ли он, не смертельно ли разгневан... Но не заноситесь, дюк Кушимен, не заноситесь!

В дверь кто-то поскребся, и горбунья крикнула с раздражением:

— Что там? Я же заказала меня беспокоить!

Однако вышла и вернулась, недоуменно пожимая плечами.

— Это вас, сударь. Какая-то, говорят, дама, якобы маркиза, с нею карлик и какой-то мужик в полицейской треуголке. Ждут вас внизу. Что-нибудь серьезное?

### 3

Государыня, обняв за плечи светлейшую княгиню, дорогую подругу юности, неторопливо продвигалась с нею в глубь меншиковских покоев. Говорили без умолку о здоровье (которого, увы, нет!), о погоде (которая не радует), о детях (которые не слушаются).

О чем угодно говорили, словно встретились после многолетней разлуки. Не говорили лишь, не касались того, что произошло давеча на ямской заставе. И сам светлейший этого не трогал, рассуждал только о плачевном положении, которое сложилось в Курляндии.

По знаку Меншикова генерал-майор Волков подал проект регламента обучения и воспитания великого князя Петра Алексеевича, и светлейший высказал свои соображения.

— Ах, Данилыч! — воскликнула государыня. Давненько она не называла его так! — Бери царевича к себе в семью, воспитывай, как своих детей... Меня другое беспокоит, Данилыч!

Она отвела его в сторону от толпы почтительных придворных и что-то взволнованно заговорила, поводя обнаженными полными плечами. Серьезность глубокая была на ее черномбровом лице.

Герольд зычно объявил, что прибыл вице-канцлер Остерман.

— Господа! — обратилась императрица к собравшимся. — Мы проведем заседание Верховного тайного совета в доме его высококняжеской светлости... Не так ли, Данилыч? Помнится, у тебя был такой уютненький ореховый кабинетик, покойный Петруша его очень любил...

В гондоле венецианского стиля прибыл насупленный герцог Голштинский, с ним юркий министр Бассевич. Прибывали и другие члены совета, поднимаясь с пристани, высокомерно раскланивались.

Когда двери Орехового кабинета закрылись за последним из вошедших, императрица повелела Остерману докладывать о причине созыва.

Вице-канцлер заныл, ссылаясь на ревматическую руку, просил, чтоб докладывал кто-нибудь другой. Но Екатерина Алексеевна была настроена воинственно.

— Что, забоялся? Неприятности чуешь? Читай!

Это было доставленное ночью письмо английского короля Георга, по существу — ультиматум. Его британское величество изъяснял, что посылает в Остзейское море эскадру для предупреждения опасности себе и своим союзникам от великих российских вооружений в мирное время.

— Эшквадру? — прошамкал престарелый граф Головкин, первый министр. — А что сие есть такое?

Никто ему не ответил. Остерман же сообщил дополни-

тельно, что утром его посетил датский резидент и от имени своего короля также вопрошал, для чего в России происходят военные приготовления.

Все молча думали: что же это, война?

— Как решите, господа Верховный тайный совет...— развела руками императрица.

— Какие уж у нас приготовления!— язвительно сказал правдолюб Ягужинский.— От самой от кончины Петра Алексеевича только и делаем, что в упадок приводим армию и флот!

— Неправда!— закричали все, кто был в военных мундирах.

Голштинский министр Бассевич ни к селу ни к городу выразил протест по поводу недоплаты приданого за молодой герцогиней Анной Петровной в сумме ста тысяч рублей.

Члены Верховного тайного совета чесали себя в затылках. Генералы же и адмиралы, наоборот, приосанились, заблестали глазами. Иные принялись перешептываться— согласовывали спешные меры, которые надо предлагать.

— А ты как скажешь, Данилыч?— спросила императрица, глядя на его посеребренную голову.— Можем мы с ними воевать?

— Нет,— ответил Меншиков.

И его ответ поразил всех более, чем сам королевский ультиматум.

Тогда вдруг Екатерина Алексеевна поднялась так резко, что парчовая оборка ее платья зацепилась за кресло и лопнула.

— Господа министры!— воскликнула она неожиданно звонко. И приближенным показалось, что они перенеслись на двадцать лет назад, что рядом с нею царь Петр. И тяжеленный фрегат, убыстряя ход, скользит по каткам во вспененные волны.— Господа министры! Война войной, но нельзя ведь и наглцам давать спуску! Сегодня у них бельмом на глазу сидит наш флот, завтра им Ригу отдай и Ревель! Господа министры, господа генералы! Мы повелеваем всем кораблям в Санктпетербурге и окрест него за сутки быть готовыми в поход. Подобно покойнику Петру, я принимаю на себя чин генерал-адмирала и лично поведу флот. Коль придется— повоюем, а нет— покажем хищникам иноземным, что и у нас есть зубы!

Министры молчали, но уже распахнулись двери Орехо-

вого кабинета, а за ними в залах и вестибюлях офицеры и придворные и чиновники. На улицах кричали:

— Виват! Виват российскому флоту, виват России!

А царица, вновь испеченный генерал-адмирал, уже теряя свой задор и опадая, словно хлебная опара, подвинула Меншикову лист бумаги.

— Ну что, Данилыч? Пиши о сем указ...

#### 4

Затем следовал шумный обед с тостами и возлияниями, фейерверк, который запустил прямо с крыши майор Корчмин, огненных дел мастер. И все разехались: во-первых, русский обед требует и русского сна, а во-вторых, назавтра был Петр и Павел, тезоименитство покойного императора, день основания Санктпетербурга. Надо было подготавливаться или по крайней мере не переутомлять себя в предвидении новых торжеств.

Меншиков никогда не отдыхал после обеда. В полной тишине заснувшего дома он проходил по комнатам, глядя в окна на блистающую солнцем Неву. Думал о том, как опять все кругом перевернулось и как теперь с кем себя держать.

Подходя к кабинету, он возле конторки дежурного различил фигуру женщины. Там не было окон, и светлейшему сначала показалось, что это гобелен какой-нибудь висит на стене, шпалера — пышные юбки, осиная талия, замысловатая прическа... Но, приблизившись, он увидел, что это не тканая картина, а живая женщина.

— Сегодня утром, — сказала женщина, — ваша высококняжеская светлость приказала меня не принимать. А я все же здесь.

За ее спиной Меншиков увидел действительный гобелен, за ним приоткрытую дверцу потайного хода. Он обругал себя за непредусмотрительность.

— Ладно, — сказал он, — утром мне было недосуг, надо понимать. Только пойдем отсюда, я сам в своем доме как пленник.

Он провел ее в угловую диванную с видом на три стороны. Открылось небо и теснота кораблей на реке, а с самого краю возвышался корпус Кунсткамеры в строительных лесах.

— Простите, я вынуждена быть назойливой, — вновь начала посетительница. — Во-первых, утром меня сопро-

вождал, по моей просьбе, корпоал Тузов. Мало того, что вы меня вытолкали невежливо, могли бы и объяснить, что недосуг. Вы приказали Тузова арестовать. Прежде чем приступить к делу, а у меня есть для вас сообщения куриознейшие, прошу его освободить.

Меншиков потемнел лицом. Стал рассуждать о молодежи и что есть долг присяги.

— Тузов вам не присягал,— сказала она.

— Софья!— воскликнул Меншиков.— Не суди, о чем не знаешь! В случай он хотел попасть, твой Тузов... Да сорвалось у них с Девиером.

Но маркиза продолжала настаивать, утверждала, что Тузов сам всего не знал, его обманули указом царицы.

— Пусть!— опять согласился светлейший.— Эх, Софьюшка, чего я не сделаю ради тебя! Прощаю я твоего Тузова, черт с ним.

Он взялся за шелковый шнур, чтобы позвонить адъютантам; маркиза его остановила — пусть поменьше людей знают, что она здесь. Тогда Меншиков поднялся: «Я сам схожу...», но опять она удержала.

— Нулишка!— позвала она, и из-под венского диванчика вылез готовый к услугам карлик. Как он ухитрился сюда попасть? Вероятно, за широкими юбками маркизы...

Светлейший послал Нулишку привести дежурного офицера, а сам закурил коротенькую трубочку-носогрейку и повернулся к маркизе:

— Ну?

Она рассказала ему о каторге, об Авдее Лукиче, об остальных, вычеркнутых из списка живых.

— Что ж, каторга...— Светлейший барабанил пальцами по ручке дивана.— Раз есть преступники, как не быть каторге!

Он посасывал трубочку, а маркиза рассказывала ему о нравах каторжного мира.

— Канунников!— сказал Меншиков, будто ставя точку.— Видит бог, я тоже не знал, что он остался жив... Все это скот Ромодановский да Толстой-хлюст подстроили, якобы он виноват. Им же потом его имя отписали. Что же делать теперь?

Оба смотрели за окно, где в блеске воды и неба строилась Кунсткамера и люди вокруг нее роились как мошки.

— Чего проще?— сказала маркиза.— Объявить, что невиновен, и отпустить.

— Что ты, что ты, ты просто неопытна в этих делах.

Старик-то Ромодановский умер, но живы внуки, которые бывшим именем Канунникова владеют... Опять же проныра Толстой!

— Ваша высококняжеская светлость! — вскричала маркиза. — Я не за бывшим именем мужа к вам пришла! Выпустите его, отдайте его мне...

— Тогда спрос будет уже с тебя. Ежели ты Канунникова, какая ты Каstellлафранка? Ага, двумужница, а это ведь — каторга!

Опять замолчали. Светлейший громко пососал трубочку, потом щелкнул крышкой карманных часов.

— Ладно, сделаем, — заверил он. — Я прямо к государыне, она теперь для меня все, что захочу... Что еще у тебя?

Маркиза с новым пылом принялась просить о других каторжанах. Взять номер тринадцатый, каково ему среди татей? Он же бывший офицер, но если бы все офицеры императорского флота были как он!

— Да ты что, девочка! — удивился Меншиков. — Ты потребуешь, чтобы я всю каторгу распустил? А потом и всю империю разогнал?

А она вскочила, умоляя, в шелковой волне юбок опустилась прямо на пол и уже на коленях молила, обжигала взглядом из-за неправдоподобных ресниц. «Что за баба! — подумал Меншиков. — Такая на все пойдет, и шилом приколет, и зубами загрызет».

— Ладно, ладно, Софьюшка... — обещал он. — Придумаем что-нибудь, изобретем какое-нибудь крючкотворство. Ты же пойми, я сам еще после давешних событий в себя не пришел...

— Нужна просто решительность! — воскликнула маркиза. — Ежели у вас, господин генерал-фельдмаршал, не достанет решительности, вас никогда не хватит более, чем для придворных интриг.

Вернулся Нулишка, а с ним дежурный офицер, с глазами вялыми от послеобеденного сна. Меншиков приказал Тузова освободить и доставить сюда.

— Что такое «Святой Иаков»? — спросила маркиза.

— Ах вон оно что! Значит, твой этот Тринадцатый со «Святого Иакова»? Да, был у нас такой фрегат.

— А за что по вашему личному приказу он был потоплен?

— Они хотели самодержавие отменить.

— А что такое самодержавие?





Меншиков рассмеялся и стал чинить свою треснувшую носогрейку, хотя рядом висела целая коллекция чубуков и трубок. Он смеялся и добрел, говорил совсем уж по-отечески, с оттенком воркотни:

— Самодержавие, милая, многие желали б отменить. Взять — твой князь Антиох с другими преображенцами, много они об этом рассуждают, тамошние подсылщички давно докладывали сие... На фрегате же «Святой Иаков» много оказалось шибко образованных, Квинта Курция читали, республику вознамерились учредить. А как без самодержавия? Это же станова жила порядка!

Набив починенную трубочку, он закурил. Часы в огромном доме стали бить — сначала в одних покоях, затем в других. Сунулся в дверь генерал-майор Волков, но светлейший показал — погоди!

Маркиза в тоске безысходной положила на мраморный столик локти, а на них подбородок, закрылась копной черных волос. Меншиков подошел, погладил по затылку, провел пальцем по белой шее. Вспомнилась другая, столь же прекрасная голова, в Кунсткамере, в банке, в мутном спирту. Усмехнулся, подумав, что царь покойный без колебаний приказал бы это чудо красоты отсечь да еще объяснил бы боярам анатомию сосудов на свежем срезе шеи...

— Софьюшка! — вкрадчиво сказал он. — Отдай ты мне этот философский камень. Что хочешь возьми у меня!

— Александр Данилович! — в тон ему отвечала маркиза. — Да нет у меня никакого философского камня, в этом вся закавыка. Да и на что вам философский камень? Вам все подвластно — и золото, и власть, и время, и люди. Философский камень — это вы!

Бодро топая, явились Максим Тузов и конвоиры. Светлейший тяжелым взглядом смерил Максюту, конвоирам велел быть свободными. Маркизе он сказал:

— Теперь ступай к себе в дом и ожидай моих решений. Сей корпорал Тузов пусть у меня еще побудет. Даю тебе слово, а мое слово что-нибудь да стоит. Ради тебя ни один волос с его головы не упадет. Но нынче он мне нужен для одного очень ответственного дела!

Выглянув в прихожую, он убедился, что никого нет. И вывел маркизу с карликом тем же путем, как и пришли.

— А насчет камня крепко подумай! — напутствовал он.

В народе говорят: Петр и Павел день на час убавил. Хочешь не хочешь, а к петрову дню укоротились северные белесые закаты. Огнями плошек украшались теперь вольные дома в Морской слободке, дым коромыслом!

— Прощай, Цыцури, владыка игорного счастья! — заявил Евмолп Холявин, нетвердой походочкой взойдя на верхний этаж полночного вертограда. — Ты не гляди, что я выпимши, покидаю сегодня вас, ухожу в далекие края! Прощай, Фарабуш, старина! Спасибо тебе, что в дубовое свое туловище принял пулю, которая предназначалась мне.

Сегодня, едва адмиралтейская пушка пробила полдень, они с Сербаном, уговорив Цыцурина, стали играть на реванш. Холявин и петушился, и хвастался, и высмеивал Сербана, но то ли Фортуна отвернулась от него, то ли старшему Кантемиру попалась наконец его счастливая колода, но Сербан быстро отыграл свой проигрыш, отобрал у Евмолпа вексель и разодрал его при кликах собравшихся игроков.

Случившийся тут же граф Рафалович за свой счет угостил всех шампанским, и Холявин не дал Антиоху увести счастливого брата домой. «Не-ет, теперь я желаю играть на реванш!» Но карточная Фортуна, видать, крепко осерчала на Холявина. Весь горя от нетерпения, он поставил безумные деньги — и проиграл! Сербан заставил его написать срочный вексель — такого еще в истории санктпетербургских вольных домов не было. Карточный долг должен быть возвращен в тот же день до полуночи!

— Прощайте, друзья! — кланялся Евмолп завсегда таям вертограда. — Я выплатил срочный долг Кантемиру, пусть никто не скажет, что Холявины хуже князей!

— Но ты же свое дежурство пропустил! — ужасались приятели. — Ты же на пост не явился!

— А наплевать! — хорохорился Холявин. — А мне наплевать!

«У него какие-то тетушки при государыне...» — передавали приятели.

— Прощай, маркиза Лена, волшебница, — явился он в горницу под аркой. — Возвращаю тебе сорочку, взамен той, которую ты мне дала на Островах. Пощупай —

настоящее голландское полотно, у контрабандистов покупал, в Сытном рынке.

— С каких пор это мы с вами на «ты»?—спросила маркиза. Она стояла перед распахнутой скрыней, увязывая какие-то пожитки.

— Как?—завопил Евмолп.— А кто меня уговаривал во Мценск ехать?

— Что было, то сплыло, сударь.

— Но не огорчайтесь, прекраснейшая! Я тоже от вас сплываю.

— Вы уходите в поход?

— Нет!—радостно сообщил Евмолп.— Лучше! Я ухожу в отставку!

— Он выходит в отставку!—сокрушенно сказали его друзья, которые ждали у распахнутой портьеры.

— Да, да! А что делать, братья? Я этому князьку знаете сколько продул? Сумма уму непостижимая!

— Ты уходишь в отставку?—маркиза оторвалась от своих узелков.— Как же без тебя Преображенский полк?

— Вот именно!—закричали преображенцы.— Как мы без тебя?

— Как я без вас!—с ударением сказал Евмолп.— Старый бурбон Бутурлин в меня уж чернильницу швырял и ботфортой топал. Да все же резолюцию наложил... Жизнь теперь будет разлюли малина: ни тебе разводов, ни тебе поклонов, ни тебе честь начальникам отдавать!

— И куда же ты теперь?

— А я себя купцу Чиркину запродаю, богатею. Он меня шкипером берет, на судно свое торговое... А то я за долг свой карточный все уже продал, что имел, а долга выплатить не хватило. Пойдемте, гораздо, братья любезные, я вам отвальную поставлю!

— Виват!—закричали приятели, и все в обнимку отправились под сень гостеприимного Фарабуша.

Зизанья зажгла каделябр, и маркиза села перебирать бумаги в шкатулке. На сердце было смутно—светлейший оставил ее без проблеска надежды. Жди, мол, а я приму решение!

Виделся ей несчастный Авдей Лукич, и душу сжимало состраданье. Ежели б знала, что он жив, разве такой была бы ее жизнь? Приходилось за годы скитаний и решения принимать, и на риск идти, и все это у нее делалось весело, с интересом, ничего не было жаль. А теперь просто не знает, как быть.

Потом виделся ей Тринадцатый, геркулес в облике мученика. Самодержавие хотел отменить! Прав или не прав он, не ей сейчас судить, но ведь не ради личной корысти, как другие воры... Скольких повидала Софья Канунникова за свою шатучую жизнь, но еще не встречала таких!

Зизанья дотронулась до ее локтя.

— Госпожа... Опять тот пришел.

— Как ты говоришь — белая кожа и черная душа, этот, что ли?

— Да, да... Только другой... Господин матрос.

— Вот как! Ну что ж, зови. Да побольше свечей, да гитару, да шоколадного вина!

Учтиво поведя матросской шляпой, он просил не смущаться его костюмом. Девиер не скрывает здесь ни имени своего, ни чина.

— Располагайтесь как дома, — улыбнулась маркиза. — Не угодно ли гитару?

Он принял инструмент, умело подладил струны, энергично прошелся по ним — и вот уже звучит мелодия сирвенты, народной песни с берегов далекого океана.

— Ведь я, можно сказать, ваш земляк... — говорил Девиер, не переставая наигрывать. — Хотя я не бывал в тех краях с той поры, как семья наша бежала от инквизиции... Земляк, но по покойному вашему мужу, — с улыбкой поправился он. — Кто, кроме нас, здесь есть? — вдруг он прекратил игру.

— Никого, — удивилась маркиза. — Горничная на кухне...

Девиер ловко нагнулся и вытащил из-под кушетки отчаянно барахтающегося карлика Нулишку. Маркиза привыкла, что карлик вечно оказывается там, где его не ждут, а Девиер отпустил ему пинка и выставил вон.

Он снова взял аккорд и продолжал рассказывать о своей жизни, давно ушедшей, затем перешел на жизнь маркизы Каstellафранка, выяснилось, что он знает ее прежнее имя Канунниковой Софьи, и про Авдея Лукича он также знает... А вот светлейший, светлейший, какое все-таки участие в судьбе той Канунниковой он принимал?

Маркиза как-то не удивилась его подробным знаниям, ей как-то уже это было безразлично. Жизнь, и раньше напоминавшая безумный карнавал, теперь стала похожей на неправдоподобный сон.

«А светлейший... — думала она, не прислушиваясь к ре-

чам генерал-полицеймейстера.— Что ж светлейший? У него свои заботы. Спросить бы его напрямик: зачем, скажи, меня, молодую, ты от гибели спас, да зачем снова в Россию выывал, в вертеп этот безрассудный зачем сажал? Какие-то, значит, есть у светлейшего расчеты на меня?»

До нее долетело, что вкрадчивый Девиер добрался до ее знакомства с графом Рафаловичем и хочет у нее кое-что об этом знать. И словно молния ее пронзила — она же не поведала светлейшему о речах и угрозах цесарского графа, а ведь и ехала к нему, чтобы рассказать! Каторга все вытеснила из головы...

Она словно проснулась в собственных покоях и с удивлением поняла, что Девиер уже не играет на гитаре, а стоит на одном колене перед ней. И лицо у него чернобровое, красивое и печальное... Может ли человек с черной душой быть подвластным печали?

— Но я говорю обо всем этом,— излагал он какие-то свои доводы,— не для того, чтобы вы мне раскрыли, что за связи имеются у Меншикова через Рафаловича с английским двором, отнюдь нет! Послушайте, маркиза Лена, то есть госпожа Софья,— ну что вам вся эта чепуха? Я поведу вас выше!

Он перешел на доверительный шепот, присунулся к самому лицу, а маркиза понимала, что перед нею самый опасный, самый хитрый враг... Но ведь и не слушать его нельзя!

Девиер говорил, что жена его законная, Анна Даниловна, нитками к нему не пришита. И сам Кушимен, слава богу, не вечен. И государыня — увы! Докторусы говорят, что у нее разлитие мокрот, а жесточайшая из мокрот та, которая мозговую жилу обтекает. Он, Девиер,— он не размазня, вроде некоторых светлейших. Когда придет его черед, он не поколеблется ни на миг. Был же в России Борис Годунов, Гришка был Отрепьев. Были и в его стране самозванцы!

— Девиер вскочил, подобрал гитару, сделал на ней чувствительный пассаж. Говорил еще что-то, но из-за шума в игорном зале и запахов кухни у маркизы кружилась голова.

— И рядом со мною и вы примете венец...— Он дотронулся до ее пышных волос.— И это будет даже справедливо. Самой великой империи в мире — самая красивая женщина на троне!

А ей все представлялось мрачное нутро каторги, осве-

ценное казенной свечой. И спертый воздух, и храп, и стоны каторжан, и тот, спокойный и трагический, с изуродованным лицом и изувеченной судьбой.

Но что же делать, господи? Как им всем помочь? Как избежать врагов тайных и явных? Как выпрямить и свою молодую жизнь, загнанную в тупик?

Маркиза взглянула в раскрасневшееся от переживаний лицо Девиера. Ах! Фарфоровый молочник выпал из ее прекрасной руки, белая струйка полилась на щегольские порты господина матроса.

И он понял все. Вскочил, отбросил гитару, струны жалобно загудели.

— Отдавай, дрянь, философский камень! Отдавай, я все равно тебя живой не оставлю!

Вбежала верная Зизанья, неся новый молочник. Из-под распахнутой портьеры слышалось, как Кика наигрывал на клавишине, а нестройные голоса пели венецианскую песню:

— «Пой, Лена, милая, о том, что не сошлись дороги наши, что жизни сладостную чашу нам не придется пить вдвоем...»

— Сожалительно сие...— сказал Девиер, натягивая перчатку. И усмехнулся, высоко подняв соболиную бровь.— Но мы еще повстречаемся с вами.

## 6

По царскому указу улицы градские запирались на ночь решетками и возле них становились караульщики — мещане местные по очереди своей. Ходить пешком можно было невозбранно, лишь бы был фонарь. Буде же пойдут кто из подлых по двое, по трое, хотя бы и с фонарем, было указано — брать под арест.

— Слава богу, проскочили,— сказал Андрей Константинович Нартов, когда двуконная фура завернула к нему во двор.— А то бы у каждой решетки выкладывали из кошелька пропускные.

Вокруг фуры суетились добровольные помощники — академик Бильфингер, студент Миллер. Князя же Кантемиры прислали вместо себя слуг.

— Раз-два — взяли! — раздавалось во дворе.

Это был совершенно необыкновенный аппарат «Махина магна генероза» — универсальный станок для многоцелевой обработки металла. Бильфингер утверждал, что

Европа еще не дошла до такого совершенства технической мысли.

Станок этот был задуман еще великим Петром, он хотел послать его в дар Парижской Академии, но не успел довершить начатого. Над станком этим все последние месяцы трудился Нартов, а теперь забрал его из дворца к себе, потому что красавчик Левенвольд шипел на сию удивительную махину как мартовский кот.

— Что это вы спозднились! — послышался насмешливый голос из темноты. Это Евмоп Холявин загулял дольше полуночи и теперь ожидал попутчиков на крыльце вольного дома.

— Дорога бугристая, везде колотко, — оправдывался Нартов. — А ты бы, сударь, сошел с крыльца да и помог бы российской науке!

— Чихал я на твою науку! — смеялся из темноты Холявин. — Вон даже Кантемиры ради той науки сами идти брезгают, холопов посылают.

Никто ему не отвечал, потому что все были заняты. Приподняли махину ломами, подложили катки и началось вековечное: «А ну, раз-два! Пошла-пошла-пошла!»

Когда «Махина генероза» была наконец водворена в каретный сарай, Нартов подошел к крыльцу табачку попросить.

— А что ж твоя Алена, прачкина дочь? — язвительно спросил Холявин. — Что ж она тебе не поможет?

— А правда, — удивился Нартов, — где Алена? Я уж ее дня три не вижу.

— Я ее продал! — заявил Холявин и стал от скуки отбивать чечетку.

— Как продал?

— Так и продал. Не знаешь, что ли, что я сегодня до полуночи повинен был карточный долг выплатить!

— Не может быть!

— Очень даже может. Эк я быстро, ловко управился. Контора до пяти присутствует, а я стражников там призвал — ярыжек, мы ее, страдалицу, прямо за печкой взяли. А там уж и покупательница, принцесса одна, мне денежки насчитывает...

— Как же ты мог Алену продать?

— Очень просто: запись-то есть кабельная. Отпела ваша Алена, как в роще соловей!

— Да что ж ты говоришь, мерзавец?

— Я мерзавец? Ты, дядя, поосторожнее, я теперь себе



сам, как дам по рогам! Сами вы мерзавцы, девке голову крутили, женихи! Что бурмистр толстопузый, что Максюта донкишот. Сложились бы да выкупили, всего-навсего сто пятьдесят целковеньких... Да отпустили бы горюху, а то ведь все об себе радели, как бы другому не досталась. Что? Молчишь? То-то, потому что правду говорю!

Подъехал наемный фурманщик с двумя фонарями. Евмолп сторговался за пятачок, уселся, цыкнул зубом и укатил.

## 7

Вольный дом затихал, гасли гирлянды свеч, меланхоличный Кика вытирал бока своего клавесина, будто боевого коня.

Цыцури́н стоял перед маркизой в почтительной позе, на ее просьбы сесть никак не соглашался, но говорил совсем не почтительные вещи:

— Помилуйте, сударыня, как атамана выкупать, так денег у вас не находилось. А как муженек свой там оказался, так денежку подай!

— Ну что ты заладил — атаман, атаман! Да и что твой атаман? Кровосос какой-то. Он и не пойдет оттуда, с каторги-то. Ему там самая сладкая жизнь.

— Пойдет-с, — поклонился Цыцури́н и даже шаркнул ножкой.

— А зачем он, твой Нетопырь, по указке охраны ножом пыряет своих собратьев каторжных?

— Сего нам не дано знать, кого им пырять угодно. На то они и атаман.

— Хорошо, — согласилась маркиза. — Значит, считаем: Нетопырь твой, затем Авдей Лукич, Тринадцатый... Но он и слышать не хочет идти на волю без Восьмого.

— Это кто еще — Восьмой? — со страданием в голосе спросил Цыцури́н. — На всю каторгу у меня денег нет.

— Как нет денег? — рассердилась она. Заколебались огоньки свеч, и брошь на груди Цыцурина засверкала искрами алмазов. — Да одна твоя брошь стоит полкаторги!

— Я же не считаю ваших драгоценностей, — поклонился Цыцури́н.

— Намедни ты светлейшему князю давал отчет о своем плутовстве — я ведь молчала. А те деньги, которые оказались в разбившейся вазе?

Цыурин ответил совсем уже невежливо:

— Вы, сударыня, с нами на большую дорогу не ходили, кистенем не махали, ноздричками своими не рисковали...

— Ах, так! — маркиза встала, отбросила веер. — На колени! — указала пальцем.

И сановитый Цыурин послушно встал на колени, уперся взглядом в пол, но возражать не перестал.

— Атамана, атамана надо выкупать. Вам-то они не известны, а они казак-то нашенский, с Кондратием еще с Булавиным ходили... А ваш тот Тринадцатый. Чертова Дюжина, дворянин, он нам ни к чему!

Маркиза, выведенная из себя, металась по горнице. Крикнула:

--- Забыл, как я тебя с рен сняла? В петле уж висел!

Цыурин с важностью встал, отряхнул колени и заявил, что ходит за деньгами. Маркиза тревожилась.

— Может быть, не то делаем с этим выкупом? Может быть, лишь время теряем? А светлейший, светлейший, — можно ли надеяться на него?

Зизанья готовила ей постель, взбивала перинки. Села рядом, положила на локоть дружескую руку:

— Не слушай никого, сама решай, госпожа. Вот расскажу тебе: взяли меня, твою Зизанью, еще ребенком, на гвинейском берегу. Как вы называете царь или король, а у нас был Большой Дед, пьяница был, ром пил из бочонка. Белые люди — я всех тогда делила по цвету души, — белые люди купили у него весь наш род, на берег погнали, на корабль посадили... Ой, что там было, госпожа, не так хорошо я знаю ваш язык, чтобы об ужасе том рассказать! Вот в середине моря один наш мужик, по имени Бесстрашный Гром, говорит всем или шепчет: «Чем в корабле этом медленно околевать, лучше нападем на белых, кто-то погибнет, а кто-то найдет свободу...» Но опасался тот Бесстрашный Гром, что мы судном управлять не сумеем. А один из кормщиков был там бывший раб, гвинец. Черное лицо, госпожа, но душа тоже черная! Ему доверились, а он всех выдал. И Бесстрашный Гром, словно Иисус, гвоздями был к рее приколотен. Как он кричал, о мать моя, как он кричал!

Маркиза на нее посматривала, думала свою думу.

Цыурин вошел без стука, виновато кланялся. За ним шли, нахмурясь, гайдук Весельчак, музыкант Кика, буфет-

чик, все остальные. Карлик Нулишка был тут как тут, вертелся между ног.

— Они вот,— шаркнул ножкой Цыцурин,— не жаляют-с.

— Да как они смеют не желать?

— Смеют, потому что у каждого в тех деньгах есть доля... Они требуют раздела.

— Мы требуем раздела,— басом подтвердил Весельчак, а Кика задергал ручками-ножками, завершал:

— Леста миа арджента! Верните мои деньги!

— Зизанья! — подозвала маркиза. Она села к трюмо, вынула шпильки из прически и переколола их, посмотрела справа-слева и осталась довольна.— Зизанья, подай мой ларец!

Перед молча стоящими слугами она рылась в ларце, достала изящный дамский пистолет, обдула его, проверила порох, кремь, прицелилась в себя в зеркале и, усмехнувшись, повернулась к слугам.

Выстрелила, и с обомлевшего Весельчака слетела треуголька.

— Вот так! — сказала маркиза.— В следующий раз я разнесу твою глупую голову. А теперь — марш за деньгами!

## 8

День хлопот заканчивался, темнота сгущалась в покоях Летнего дворца, за темнотою кралась тишина.

Обер-гофмейстер Левенвольд уложил свою повелительницу, впрочем, ранний сон мог означать и бессонницу к утру. Выпроводил целую толпу с вопросами по поводу завтрашних торжеств — где оркестру стоять, да какие букеты подавать, да Бутурлин взял да своевольно переменял порядок прохождения полков...

— К светлейшему, к светлейшему! — прогнал их обер-гофмейстер.

Сам же с наслаждением сел к окну в кресло. Он занимался модным занятием, прилетевшим этой весной из Версаля, — вязал. Совершенно серьезно перебирал спицами, подтягивал нить, мотал клубок, считал петли. Мог вязать и елочкой, и в стиле Помпадур. Обещал государыне к зиме связать душегрею.

Внизу, под окном, была толчея. Неудивительно, потому что завтра — праздник, все куда-то бегут, что-то несут!

В толпе Левенвольд заметил женщину в странном холщовом платье с красными петухами. По нелепости наряда и колченогой походке он сначала подумал, что это Христина Гендрикова, но странная особа вошла во дворец через кухонную дверь. «Шутиха какая-нибудь», — подумал обер-гофмейстер.

И он считал петли и думал о том, что вскоре станет графом. Сменится царствование, дай бог, чтоб только мирно сменилось. Он и его братья вернутся в Линфляндию, там у них мыза, коровы брауншвейгские, по полтора ведра надаивают.

Шорох за спиной заставил его вскочить. Так и есть. Это была та особа в странном балахоне. И куда смотрят эти преображенцы!

Особа в холщовом балахоне стащила с себя чепец, и оказалось, что это граф Рафалович в растрепанном парике.

— Спасите меня! — хватался он за сердце и бормотал на всех языках: — Их флеге, я умоляю! О, мон шер, мамма миа...

— Что произошло?

— О, я умоляю... Девиер, ферфлюхтер, меня окружил, куда деться, не знаю! Вот, на счастье, в Кунсткамере раздобыл костюм самоедской царицы.

— Уходите! — зашипел Левенвольд. — Вы разбудите государыню!

— Что же мне делать? Я окружен!

— Какое мне дело, что вы окружены? Уходите!

Рафалович подпрыгнул и понесся вокруг комнаты, метя углы подолами балахона.

— Нет ли здесь тайника? Во дворцах всегда бывают тайники!

Левенвольд поскакал за ним, на бегу схватил за воротник.

-- Уходите тотчас же! Знаете, что я с вами сделаю?

Рафалович остановился и отстранил его руку.

— Ничего вы со мною не сделаете, потому что вы мой сообщник. Кто по моему указанию поселил ночью прибывших Гендриковых, чтобы учинить распloch, в Кикины палаты? Кто добился указа об аресте светлейшего князя? Кто...

-- Ладно! — Левенвольд в отчаянии схватился за виски. — Что вы от меня хотите?

— Доставьте меня в английское посольство. Тогда просите от меня что угодно.

— Философский камень! — воспрянул духом Левенвольд.

— Милейший! — усмехнулся Рафалович. — Разве вам то не понятно, что никакого такого камня нет? Это я выдумал, чтобы воду здесь мутить... Философский камень — это вот! — он постучал пальцем по ясному лбу Левенвольда.

Затем хохотнул кратко и постучал пальцем по лбу себя.

— Нет, пожалуй, философский камень — это вот!

За дверью из вестибюля послышался скрип половиц.

— Они, они! — заметался Рафалович. — Что делать?

Левенвольд еле успел посадить его в свое кресло, нахлобучить холщовый чепец, сунуть в руки спицы. Со стороны поглядеть — мирная дворцовая бабушка вяжет себе и вяжет.

Открылись двери, и в гофмейстерскую вошел Девиер. За его спиной виднелись чины полиции и перепуганные камер-лакеи.

Обер-гофмейстер Левенвольд знал, что лучшая оборона — это наступление.

— Какое вы имеете право врываться в покои государыни? Я подам сигнал тревоги!

— Спокойно! — отвечивал Девиер. — Морра фуэнтес! У вас скрывается важный государственный преступник.

— Я вам покажу — преступник! — Левенвольд вытягивал шею, как рассерженный гусь. — Я вам не дюк Кушмен, чтобы меня брать на арапа! Сейчас государыню разбужу!

И он схватился за ручку двери государыниной опочивальни. Девиер переменял тактику.

Он приказал сопровождающим выйти. Когда двери закрылись, он улыбнулся:

— Разве я врываюсь? Мне только получить сведения по совершенно неотложному делу...

Девиер достал золотой дублон, двухрублевик нартовской чеканки, повертел им, чтобы сияние металла хорошо было видно обер-гофмейстеру. Хотел продолжать расспросы, как увидел, что Левенвольд странно дергает головой.

И понял: Левенвольд указывает ему головой на стару-

шку, мирно вяжущую в кресле у окна. Девиер понимающе кивнул, подкрался к старушке и за ухо поднял графа Рафаловича из кресла.

Вышколенные молодцы вбежали на цыпочках, проворно заткнули рот графу и выволокли его в вестибюль. Девиер ликовал—еще бы! Кто из полицеймейстеров Европы мог бы похвастаться, что им арестован Джонни Раф?

Когда в анфиладах затихли полицейские штиблеты, Левенвольд начал поправлять фитили в китайских фонариках. Вязать больше не хотелось, да и какое вязанье, если эти живоглоты тотчас Рафаловича на дыбу вздернут и черт знает что еще этот цесарец наговорит... Тяжела ты, придворная служба!

Он лег на гнутой кушеточке, поджав ноги в замшевых чулках. Туфли с бантиками аккуратно составил вблизи. Дежурному камер-лакею сказал: вздремну с полчаса.

И вдруг проснулся от яркого света и голосов. Вскочил, вбивая ноги в туфли. Это был светлейший, с ним какой-то парень в полицейской треуголке и много военных. Батюшки, уж не царичу ли они пришли арестовывать в сей поздний час?

Левенвольд кинулся, загородил руками дверь— сначала меня убейте!

Светлейший взял его за плечи и потряс, правда без злобы. Указал на него человеку в полицейской треуголке.

— Гляди, Тузов, вот, кстати, пример верности долгу... Да ты не бойся, Рейнгольд. Разбуди-ка нам государыню, у нас есть дело.

Он вошел в опочивальню и долго оттуда не появлялся. Свита его переминалась с ноги на ногу. Наконец вышел и задержал свисавшие над креслом обер-гофмейстера шелковые шнуры. Далекие звонки затренькали в девичьих и людских.

— Готовить государыню на малый частный выезд!

Сходились заспанные фрейлины, спешили кауферши и комнатные девы. Вплыла дежурная статс-дама с кислым лицом. Через полчаса несусветной толчеи императрица вышла, оперлась на локоть светлейшего.

— Ну что тебе, баламут? Ни сна тебе, ни покоя... Хуже покойного императора!

Огромная туча надвигалась из-за ладожских лесов, и казалось, ночь вот-вот наступит в Санктпетербурге. Кареты мчались вскачь по Шпалерной линии, подковы высекали искры, звенело оружие у конвоя.

— Ох, куда ты меня везешь, Данилыч... Ныне, почитай, первый раз нету бессонницы...

Качалась на скаку дорожная лампадка, и в ее меняющемся свете видны были щетинистые усы да злые глаза светлейшего.

За чредой пустынных дворцов и немых острогов Шпалерной стороны всюду тянулась Нева, тускло поблескивала меж строений. Там, на Неве, готовился к отплытию флот, погуживали боцманские дудки, визжали блоки в снастях, стучали молотки конопатчиков.

А царица, новоявленный генерал-адмирал российско-го флота, в чреве мчащейся кареты то крестилась на лампадку, то принимала питье из рук верного Левенвольда.

— Данилыч! Креста на тебе нет...

Повернули от Шпалерной к Смолянному полю, и тут на просторе Невы открылся красавец двадцатипушечный линейный корабль «Гангут», который темной массой величественно разворачивался. Мигали его бортовые огни.

— Тпру! — закричали форейторы. — Кикины палаты!

Кони храпели, слободские собаки захлебывались лаем.

Светлейший сошел, отстранив пажа, принял государыню самолично. В толпе вышедших из повозок свитских отыскал Тузова, поманил к себе.

— Что это? — всматривалась императрица в отсвечивавшие ряды окон Кикиных палат. — Я здесь уже бывала?

На балюстраде спешно выстраивался караул Градского батальона. Похаживал, смиряя волнение, их командир, грузный мужчина в майорском кафтане.

— А-ать! — скомандовал он. — Ыр-на! А-а-ул!

— Ваше императорское величество... — начал он рапорт. Повернулся к Меншикову: — Ваше высокобродь!

Светлейший усмехнулся.

— Что ж ты, аудитор Курицын, — видишь, я тебя узнал — меня не по чину титулуешь? И зачем ты здесь, а не в полицейской конторе? Вместо разжалованного Тузова? Когда ж его разжаловали, а? Да ты что, оглох?

Рапорта слушать Меншиков не стал.

— Вы с вашим генералом-полицеймейстером сильны

всех разжаловать и до меня готовы добратся. Да не получится.

Он поклонился императрице и пригласил ее войти в Кунсткамеру. Левенвольд в отчаянии просил подождать, пока вызовут библиотекариуса, но у того новый двор был на Васильевском острове, долго ждать.

Вошли в боковую дверь, и Меншиков повел царицу по ступеням в подвал.

— Ключ!— бросил он, и Максюту подал ему ключ, теплый, потому что висел на шнурке с нательным крестом. Сунулся Левенвольд, но светлейший отпихнул его грубо и сам взял под руку императрицу.

Некоторое время было слышно, как звякает ключ и поминает угодников царица.

— Тузов!— позвал Меншиков.— Сойди же вниз, помоги.

Максюта сбежал по кирпичным ступеням, поставил фонарь на пол. Визжа ржавыми петлями, железная дверь отворилась. Екатерина Алексеевна, прижавшись к Меншикову, разглядывала две огромные стеклянные банки на столе. Максюту поднял фонарь как можно выше, и сквозь белесое, словно бы запотевшее стекло можно было разглядеть человеческие головы.

— Заступница пречистая!— перекрестилась царица.— Это она?

— Она,— подтвердил Меншиков.

— А это он?— указала она на другую банку.

— Он.

И они смотрели на эту вторую банку так долго, что у Максюты рука, державшая фонарь, совершенно затекла, но он не смел пошевелиться.

— А это то самое?— спросила царица, указав на свинцовый ящик в углу.

— Да, то самое.

Тогда она заплакала беззвучно, шуршала платьем, искала свой платок. Максюту удалось переменить руку, но теперь свечка догорела, и расплавленный воск тек ему за рукав.

— Пойдем!— Светлейший увлек ее к выходу.— Вот, Катя... Не споткнись, тут порог... Вот, Катя, достаточно мы повеселились, не пора ли и в путь вечный? А мы указы берем и подписываем, не думая о душе.

— Я так и знала, так и знала...— плакала она.

— Взять тот философский камень,— не замолкал





светлейший, возводя наверх свою грузную повелительницу, — каждый в нем себе счастья ищет.

Царица не отвечала, знаком попросила света. Максютя и Левенвольд подняли свои фонари. Достав зеркальце, она привела в порядок заплаканное лицо.

— Зверь ты, Данилыч! — сказала она, выходя на воздух. — Такой же зверь, как был Петруша.

## 10

— Кто это воет тут все время, воет и воет? — спросил Меншиков, поеживаясь от налетевшего ветра.

— Баба тут одна на слободке, — доложил Курицын. — Дочку у нее вчера за долги свели в губернскую контору, вот она и воет.

Отправив карету с императрицей и посадив туда Левенвольда со статс-дамами, светлейший приготовился сесть в повозку. Конный конвой держал факелы, которые трещали и плевались искрами.

— Прощай, бывший аудитор, — сказал светлейший Курицыну, пощипывая ус. — Заходи как-нибудь запросто, потолкуем! Глядь, и снова аудитором станешь, Меншиков еще на что-нибудь да годится.

— А я? — невольно спросил Максютя.

— А ты? — Светлейший разжал ладонь, где лежал причудливый ключ от железной двери, и положил тот ключ в кармашек своего камзола. — Мне до тебя дела нет. Я обещал, ты помнишь, что пальцем тебя не трону? Ну и будь здоров!

Он встал на подножку, тяжелым телом накренив повозку, и забрался внутрь. Кучера цокнули, разбирая вожжи, послышалась кавалерийская команда.

Максютя остался один, слушая шум могучих вязов. На реке кричала ночная птица, корабль громыхал якорной цепью. Куда идти, с чего начинать?

От слободки донеслось: «О-ой, доченька моя болезная, о-ой!» Максютя вздрогнул. Все, что он с горечью передумал о себе, пока находился во узах светлейшего, все вдруг отлетело, как шелуха. Ему представилась Алена — босоногая, в крашеинном сарафане, и глаза ее, преданные, лучистые: «Максим Петрович, вы не сомневайтесь во мне!» Единственная, может быть, в целом свете... Бегом пустился к слободке и увидел на темной завалинке одино-

кую фигуру. Это был трепальщик Ерофеич, сегодня он сторожил. Понюхает табачку — покрутит трещоточку.

— Что, отставной козы барабанщик? — узнал он Максюту. — Просвистел свою зазнобушку?

Вдова в своей каморке опять завывала, заплакала, а Ерофеич принялся оглушительно трещать, пока она не затихла.

— Как это получилось? — спросил Максюта.

— Известно, как... Евмолпий-душегуб, прости господи, снес документ в губернскую контору...

— Значит, она там? — Максюта произвольно подался в сторону губернской конторы.

— Тише, человек военный, не рассыпь табак казенный... Там людей не держат. Мы со вдовицею уж бегали, дары писарям отдавали. Купила ее на вывоз помещица новая, принцесса Гендрикова, что у нас в палатах обреталась... Царица ей куш пожаловала, так она накупила народу видимо-невидимо, переженит всех на ком попало, вот тебе и деревня, ха-ха-ха!

— Да брось ты свои хохотульки! — в отчаянии сказал Максюта.

— А что нам еще делать-то? — Ерофеич покрутил трещоткой. — Философских камней мы не теряли, завтра нам их господину библиотекариусу не представлять.

Максюте невыносимо стало его слушать, он побрел в сторону реки.

Там под вязами была партикулярная пристань купца Чиркина, он кое-какой товар на Смолянском дворе закупал. У причала стояла двухмачтовая шхуна, пахло свежей рогожей, на корме горел фонарь.

— Эй, господин корпорал! — кто-то окликнул с кормы шхуны. — Поздненько прогуливаться изволишь!

Это был Евмолп Холявин. В круглой шкиперской шляпе, он покуривал трубочку, скалил зубы и сплевывал за борт.

О чем было говорить Максюте с этим человеком?

— Хочешь ко мне вестовым? — веселился на корме Холявин. — Слугой не предлагаю, знаю: ты гордый. Купец Чиркин мне полную волю дал — кого хочу, найму!

Максюта ускорил шаг, чтобы побыстрее пройти мимо чиркинского судна.

Евмолп кричал, все более изгаляясь:

— Хо-хо-хо, поборник равенства! Хо-хо-хо, кунсткамерский жа-аних! Вот тебе на добрую память!

По реке разнесся мелодичный звон, постепенно замирая. Слышалась неразличимая команда, затем такой же звон с другой уже стороны. На кораблях российского флота били склянки.

## Глава седьмая и последняя ПРЕКРАСНАЯ ГОЛОВА ГОРГОНЫ

### 1

Маркиза Лена распахнула окно и, шурясь на утреннее солнце, прислушалась к странному шуму. Словно бы сотни ног шелестели по траве и тысячи уст гудели подобно пчелиному рою. Вдруг из-под земли раздался глухой удар, стекла в рамах задребезжали. За крышами Морской слободки, где угадывалась Нева, взлетели клубки белого дыма, стаи галок понеслись с гомоном.

Она вспомнила: ведь это флот уходил сегодня в поход в Остзейское море! Корабли, разворачиваясь, проходили мимо Петропавловской крепости — там, на специально сделанном помосте, толпилось все адмиралтейство. Каждый корабль салютовал холостыми из всех орудий и уходил к морю. А топот ног и шум голосов означал, что все жители Санктпетербурга, какой бы нации и сословия они ни были, спешили на набережную провожать корабли.

— Что же мы сидим-то? — тревожилась маркиза. — Сидим и сидим, а от светлейшего ничего!

Как женщина бывалая, она, надеясь на светлейшего, и сама не плошала. Ночью Цыцурин отбыл с деньгами, вернувшись, доложил: охрана приняла мзду и обещала рискнуть — на один только час оставить каторгу без присмотра. Цыцурин отправился вновь, условившись, если до начала морского парада от светлейшего ничего не поступит, начинать запасной вариант...

Собственно говоря, было ясно: светлейший или не пожелал, или не смог помочь. Но маркиза все еще надеялась, медлила, хваталась за то, за другое, а верная Зизанья не отходила ни на шаг.

Прибирая столик, наткнулась на давешнюю колоду, где мужиковатые короли и манерные дамы вызывали улыбку игроков. Машинально раскинула древо судьбы — в центре выпала дама червей. — «Это я, — подумала мар-

киза.— Много лет тому назад мне надо было бросать на даму бубен, теперь для этого стара». А вокруг сплошные короли — бравый пиковый («Светлейший князь», — определила маркиза), злобный трефовый (генерал-полицеймейстер!), червовый... Червовый? Неужели несчастный Авдей Лукич? Нет, скорее граф Рафалович с его парижским подходцем. А вот и бубновый король — герой, но весь под спудом десятков — в цепях, в узах казенного дома...

А у сердца дамы легли три туза — редкость, дар судьбы! Три туза подряд — бубновый, червовый, трефовый. «Философский камень, которого у меня нет, — улыбнулась маркиза. — Но пока каждый из королей верит, что он у меня, они мне не опасны...»

И вдруг похолодела от ужаса. Лоб покрылся испариной. В ноги даме пал туз пик, острием вниз. Смерть, внезапная смерть!

Она потрянула головой, чтобы сбросить наваждение. Вгляделась внимательнее — нет, никакого наваждения не было. Сатанинский туз пик лежал острием вниз.

Решительно встала, смешала карты. Гром салютов между тем затихал. Основные силы флота уже вышли из Невы и держат курс в море. Пропадает самое удобное время! Они рассчитывали с Тринадцатым действовать, пока все отвлечены прохождением флота...

— Лодка наша где? — спросила Зизанью. Ефиопка ответила:

— Там, где давеча уславливались.

Окинула взглядом нарядные покои, высокие окна, мебель, отражающуюся в зеркально натертых полах. Будто вчера только хлопотала, устраивала все это... Где найдется теперь пристанище неприкаянной голове?

Кликнув Зизанью, спустилась к Весельчаку, который тоже нервничал, расхаживал, поигрывал булавой. Начала говорить:

— Ежели от светлейшего придут люди...

Весельчак, не слушая, жезлом перегородил дверь.

— Не велено выпускать.

— Как не велено? — изумилась маркиза. — Кем не велено?

— Велено оставаться дома, — набычился Весельчак.

— Ты что? — вскричала маркиза, схватившись за его булаву. Искала кругом поддержки, но увидела только карлика Нулишку, который забрался под стул, посверки-

вая оттуда мышинными глазками. Гайдук вежливо освободил свою булаву от пальцев хозяйки.

Велено вам дома сидеть.

— Ты знаешь!..— вскипела маркиза.— Я тебя в порошок сотру! Да ты забыл...

— Не смеете кричать,— сказал с достоинством Весельчак.— Финита ваша комедия!

И изобразил скрещенными пальцами решетку.

Вихрь гнева подхватил маркизу, она вырвала булаву и ударила Весельчака. Тот был обескуражен, а карлик кричал из-под золоченых ножек стула:

— Так ему, госпожа, так! Разбейте ему горшок дырявый, что на плечах!

Маркиза шарила пистолет в дорожной сумке. Но тут и Весельчак опомнился, выхватил у нее сумку, отбросил прочь. И поскольку маркиза вцепилась в воротник его кафтана, он одной рукой ее отстранил, а другой достал из-за кушака двуствольный тяжелый пистолет.

Зизанья как молния бросилась, загородила собой госпожу. Пистолет изрыгнул пламя, ударил выстрел. Зизанья сползла к ногам маркизы, шепча невнятное о светлой душе...

«Второй ствол, второй ствол...— билось в висках у маркизы.— Сейчас выстрелит...»

Ждать? Кинулась к лицу гайдука, будто полосовать ногтями, но тут же согнулась до колен. Ее реакция оказалась более быстрой— выстрел прогремел над головой. Пуля разнесла мраморный столик, брызги камня расколотили окно.

Вскочила и, совсем уж не помня себя, схватила гайдука за шею, а он напрягался ее оторвать. Чувствуя, что постепенно уступает силачу, она зубами впиалась ему в горло. А он старался вырваться, хрипел, опускался на пол вместе со своей противницей.

Когда Весельчак повалился на пол, она разжала зубы. Встала, озираясь как припадочная. Возле двери лежала мертвая Зизанья. Огромный гайдук содрогался, закинув толстогубое лицо. А из-под золоченого стульчика протягивал ей пистолет ручкой вперед ликующий карлик Нулишка.

Маркиза взяла пистолет, проверила порох, кремень. Нервная дрожь утихала, но и колебаний больше не было. Спокойно подняла ствол к уху Весельчака и нажала спуск.

Оглянувшись, она увидела, что по углам притаились

в страхе прочие обитатели вольного дома. Кика залез на свой клавишин и сидел на нем, словно огромная летучая мышь. Маркиза пошатнулась, чувствуя, что сил у ней немного, двинулась к выходу. По пути, однако, пнула каблуком в золотого льва в короне с бубенцами на спине поверженного гайдука.

И тут над нею тень промелькнула, словно от хищной птицы. Это Кика прыгнул с клавишины, и она успела увидеть в его руке стилет — трехгранное острие. Невыносимая боль пронзила грудь, она почувствовала, что проваливается в бездонную пропасть.

## 2

Знаменательный день Петра и Павла начался с богослужения в соборе. Различные ранги придворных стояли тесно, косились вбок, где на временном постаменте под парчовым покровом стояло в свинцовом гробу тело императора.

Санктпетербургский владыко, митрополит Феофан произнес одну из самых велеречивых своих проповедей. Она, правда, уступала той знаменитой его речи, когда он сказал, обращаясь к умершему Петру: «Какой ты хотел сделать Россию — такой она и будет! Хотел сделать просвещенною — будет просвещенною, хотел сделать могучею — будет и могучею...» Но и на сей раз, по окончании проповеди, множество народа прослезилось.

Ударил большой колокол, и придворные устремились к выходу, а там к пристани, чтобы плыть в Летний сад, где под парусиновыми весями был накрыт для всех щедрый завтрак. А после самое грандиозное — военный парад, бал, огненные потехи!

Светлейший стоял впереди своего семейства, орлиным оком наблюдая, чтобы нигде не нарушался этикет. Адьютанты и скороходы, словно муравьи, приносили ему сведения и вопросы, тут же отбегали, разнося указания.

— Глянь, любезная жена, — нагнулся он к Дарье Михайловне. — Глянь и ты, свояченица. Свойственник наш, Антон Мануилович Девиер, приближается к нам вкупе с супругою, с нашей дражайшей сестрицею Анной Даниловной. — Медведь, что ли, где-нибудь сдох?

Под малиновый звон колоколов Девиеры действительно приблизилась — поздравить семью светлейших с престольным праздником. Генерал-полицеймейстер облобы-

зал ручки Дарье Михайловне и ее горбатой министерше. Анна Даниловна, привстав на цыпочки, белотелая, рыхлая, безмерно счастливая от того, что на свет вышла с любимым супругом, целовала брата и повторяла:

— Ну полно же вам, Сашура, живите в мире!

Пришлое пригласит Девиеров в семейную гондолу светлейшего, которая шла прямо за императорской баркой. Суда были задрапированы коврами, реяли разноцветные вымпела, гребцы были в ливреях. За лодками двора двигалась целая флотилия шлюпок и плоскодонок, принадлежавших санктпетербургскому боярству.

Дамы разместились на корме княжеской гондолы, и им подали шоколад. Оба же властительные шурья встали на носу, не теряя из виду императорской скампаеви.

— Так как же это, любезнейший генерал-полицеймейстер, — начал Меншиков, — ваши резвые унтера арестовывают генерал-фельдмаршалов российской армии?

Стоявший за его спиной генерал-майор Волков подал чубу, и светлейший стал его раскуривать.

— А как же, ваша высококняжеская светлость, — поинтересовался Девиер, — иные знатные персоны на принадлежащей им земле устраивают вольные дома, где и вино, и картеж, и беглые скрываются?

Из-за его спины расторопный майор Рыкунов подал ему черепаховую табакерочку.

Родственный разговор принимал характер острой политической конференции, да еще в присутствии свидетелей.

Светлейший первый понял это и, фыркнув в сивый ус, отослал генерал-майора Волкова к дамам на корму с коробочкой конфет. Девиер прямо сказал своему Рыкунову — отступи шагов на пять. И, как можно более дружелюбно, обратился к светлейшему шурину:

— А философский камень, что нам с ним делать? Ведь она, — кивок в сторону впереди идущей скампаеви, — сегодня его потребует, морра фуэнтес!

— Допросить бы ласковенько этого чужестранца, якобы графа, может, и с угольками... Да он же с известным вам часателем пяток компанию водит, а тот — ваш дружок по добыванию подписей на указах.

— А не лучше ль, ваша светлость, допросить ту иноземку, якобы маркизу, хоть и без угольков? Многое бы открылось, и не только о философском камне!



— Это ты что, подслушал, что ли, когда у ней в скрыне сидел?

Разговор вновь вступил на рискованную стезю. Светлейший расколошматил свою фарфоровую трубку и кинул ее за борт. Девиер, сжав кулаки, считал — раз, два, три... восемь, девять, десять, — лишь бы не натворить глупостей. Эх, объявить бы, что тот граф уже взят... Но спокойствие и только спокойствие!

— Ваша светлость, благодетель и покровитель мой! — прижал он руку к сердцу. — Прошу всенижайше простить мне, ежели я противу вас по незнанию или недоразумению жестокому что-либо умыслил!

«Ого-го, какой поворот! — подумал Меншиков, нащарывая в кармане запасную трубку.

Под гром рожечного оркестра императорская флотилия медленно плыла по блистающей реке, а оба влиятельнейших сановника империи на носу гондолы баловались табачком, и каждый из них зримо представил себе, как якобы граф и якобы маркиза рядом висят на дыбе и из уст их льются смерть какие откровения...

— Оба должны исчезнуть, — изрек светлейший, выпуская кольца дыма.

— Туда? — спросил Девиер, указывая табакеркой назад, где за течением Невы угадывалось море и Европа.

Светлейший повел трубкой в сторону волны, кипевшей под ударами весел:

— Туда!

— Неужели и... — начал Девиер, но светлейший понял его без продолжения:

— Тебе своя жизнь не дороже?

Сановники вновь занялись табачком, глядя на приближающуюся пристань Летнего сада, где искорками вспыхивали алмазы на орденах и шляпах встречающих.

— А философский камень? — угрюмо спросил Меншиков.

— Ваша светлость! — Девиер постарался взять самый искренний тон. — Это, по всем видам, не что иное, как санктпетербургская байка, как и Сонька Золотая Ручка. У меня уже есть непреложные доказательства, и скоро я их вам предьявлю...

— Врешь ты все, Антошка! — Светлейший и вторую трубку швырнул в пенящиеся волны.

— Александр Данилович! — с упреком воскликнул Девиер.

— Если б господь не связал нас одною веревочкой...

Светлейший тяжело вздохнул и кивнул в сторону генерал-фельдмаршалыши и генерал-полицеймейстерши, которые на корме уютно щебетали, попивая шоколад.

И к моменту, когда вышколенные гребцы императорской барки, разом подняв весла, подвели ее к причалу, конкордат между двумя высшими правителями государства был заключен. «Что же до событий, происходивших третьего дня на ямской заставе, оные, яко злохитростные, из бумаг изъять и никогда не бывшими полагать».

Стоглоточный хор встречающих грянул «ура», полетели вверх шляпы и треуголки, а к светлейшему пробился фельд-курьер, протянул пакет, вытянулся, ожидая приказаний.

Меншиков разорвал пакет, пробежал глазами и удержал за перевязь успевшего отдалиться генерал-полицеймейстера.

— На каторге мятеж, слышишь, Антон Мануилович? Ступай займись, да помни, о чем мы здесь балакали...— И еще раз удержал уходившего генерал-полицеймейстера:— Ты погоди допрашивать графа-то, которого ты в клоповник забрал...— Он повеселел и подмигнул Девиеру, который опешил от такой осведомленности светлейшего князя.— Мы его ночью, после машке-рада, вместе допросим!

### 3

Когда эскадра походным строем миновала Екатерингофский маяк и, блистая парусами, вышла на просторы Остзейского моря, на опустевших волнах реки осталось одно только судно. Это была низкая, вычерненная смолой каторжная барка, которую медленно сносило течением в сторону залива.

Далекая пушка Адмиралтейства пробила полдень, и двухвесельная лодочка, ялик, на которой надрывался гребец очень маленького роста, достигла черной каторги и стукнулась ей о борт.

На безлюдной барке все же кто-то был, потому что голос окликнул прибывших на лодочке:

— Маркиза, это вы? Зачем вы сюда?

Над черным бортом появился каторжанин с клеймом Тринадцатый, размотал и спустил веревочный трап, подхватил маркизу, которая еле взобралась по ступенькам.

У нее было забинтовано плечо, а лицо бледное, как у статуи.

На веслах лодочки сидел карлик. Избавившись от пассажирки, он оттолкнулся веслом и стал поворачивать обратно, усиленно работая веслами.

— Ты куда? — закричал Тринадцатый ему вслед. — А ну назад причаливай, убью!

Он замахнулся, готовый кинуть топором, но маркиза в полном упадке сил присела прямо на палубу.

— Ах, оставьте его... Я с ним намучилась, он все время порывался сбежать... Еле заставила меня перевязать, пока плыли в лодке, щипала, чтоб быстрее.

— Но лодка, лодка, нам же нужна лодка!

— Чему быть — того не миновать...

— Вы ранены? — склонился к ней Тринадцатый.

— Ранена, и хотелось бы сказать, что пустяки. Но это не пустяки. При каждом вздохе сочится кровь. Но вы скажите, как вы?

— Тоже плохо! — Тринадцатый вытер лицо тыльной стороной руки, на которой болтался браслет от сбитой цепи. — Утром, как условились, прибыл Цыцурин, сказал — можно начинать. Кинулись к амбару, где весла, а он заперт — пудовый замок не собьешь! А уж все кандалы сбросили, отступить некуда, за одно это — смерть. Оружейный ящик в караулке тоже пуст — кто-то успел распорядиться. Все наше оружие вот этот топор! — Тринадцатый помахал им в воздухе и продолжал: — Наглец Цыцурин и его воровской атаман хотели тут же сбежать. Пришлось их всех повязать, но Цыцурина я отпустил, чтобы он привел нам буксир. Тот действительно привел нам шестивесельный ботик, который подцепил нашу сударыню-барыню и довольно быстро повлек на екатерингофскую стрелку. Я воспрял духом, говорю: «Еще не все потеряно, братцы, за флотом, среди провиантских судов, как-нибудь пророскочим».

Снизу из-под палубы донеслись протестующие крики.

— Это они, повязанные, — пояснил Тринадцатый. — Цыцурина я все-таки вновь поймал. Он от меня не уйдет!

— Ну и как же вы очутились здесь?

— Потом глядим, а ботик нас тащит напрямиком к маяку, а там полным-полно кафтанов василькового цвета. Пришлось буксир собственными руками отрубить.

— Ну а он-то что? — спросила она, в страхе ожидая, что уже пришел конец Авдею Лукичу.

Тринадцатый поднял ее на могучие руки и по утлону трапу снес вниз, где каторжане, накрывшись тряпьем, лежали и думали свои думы.

Авдей Лукич лежал на куче рогож под старым образком. Горела лучинка, а руки у него были сложены как у покойника.

— Простите, госпожа маркиза,— сказал Тринадцатый, переглянувшись с артельщиком и Восьмеркой, которые сидели возле старика.— Но вы должны знать. Он, как говорится, не жилец...

— Ах, не зовите меня маркизой!— ответила она.— Я Софья Канунникова, если хотите— Сонька, русская, глупая, злосчастная баба, и к прошлому хода мне нет. Боже,— нагнулась она к старику.— Отчего же на лице у него синие пятна, кровоподтеки?

— Мы не хотели вас расстраивать... Но вы тогда, оказывается, не сказав нам ничего, оставили ему, Авдею Лукичу, вторую вашу серьгу с алмазами. Этого не следовало делать, Нетопырь подсмотрел, и мы старика вашего еле у татей отбили. Вон у него (Тринадцатый кивнул на Восьмерку) тоже все в синяках.

— Боже, боже!— Софья опустилась на рогожную подстилку рядом со стариком.

— Ваше благородие!— вдруг раздался гулкий голос из трюма.— Ваше благородие, смилуйтесь!

— Кто это?— приподнялась Софья.

— Не извольте бояться,— сказал Тринадцатый.— Это кричит Полторы Хари, конвойный наш начальник, я его тоже повязал. Теперь я ему «ваше благородие», а бывало воды лишней испить не позволит. Сейчас напоминать начнет, как вместе мы в десанте были во время войны. У, сволочь, вместе, да не вместе!

Тут послышался сладкий голос Нетопыря, обещавший большие деньги.

— Они все там в трюме сидят,— объяснил Тринадцатый,— чтобы раньше времени весть о нас не разносили. В заложники, к сожалению, не годятся— мелкая сошка.

— Синьора!— донесся из трюма голос Цыцурина.— Не вяжитесь вы с этими господами. Вы же наша...

— Теперь за вас принялись,— сказал Тринадцатый. Он сел на рангоутную балку, взялся рукой за лохматую половину головы, другая же у него была безобразно выбрита. И стал похож на большеголового мальчишку, который набедокурил и не знает, как выбраться из беды.

— Одна надежда, что течение нас вынесет к Сестро-рецу, а там лес — что тайга.

Восьмерка вздохнул, а Провыч стал творить молитву.

— Вам бы, мадам, — сказал Тринадцатый, дотрагиваясь до ее плеча, — вам бы как-нибудь от нас отделиться... Ну зачем вы приплыли к нам?

— Ах, мон шер!.. — немеющим языком ответила Софья. Она чувствовала, как холодеют ее ноги. — Я прожила такую жизнь и впервые встретила такого человека!

#### 4

И ей приснилась бедная слободка на окраине городка. Горит, трещит одинокая лучина, искры падают, шипя, в лубяную лохань. И шумит, воеет вьюга, метет за окном. И под неумолчный рев природы слышится человеческий плач. Это воеет Сонькина мать.

«Не скорби, матушка, — уговаривает Сонька. — И без того сердце надывается. Ну, не тужи!»

А мать помолчит да опять свое сквозь вьюгу:

«Ой, Сонюшка, дочушка, ой не я ль тебя лелеяла... Ой, да как же я тебя в рабы отдам лиходею?»

Затем снится ей доброе безбородое лицо со старомодными вислыми усами. Входит, топая, сбивает с себя снег, отирает обмерзший лоб. Спрашивает бодро:

«Что за шум, а драки нет? Дозвольте, господа крестьяне, проезжому у вас обогреться?» Потом спрашивает: по покойнику, что ли, здесь плач? Услышав ответ, молча сидел за свечой, которую поставил его слуга. Так же молча лег на постеленный ему на лавке тулуп.

Утром проснулись — проезжего нет, хотя пожитки его здесь, в том числе слуга-камердинер. Через какое-то время проезжий вернулся, опять топал, сбивал снег, однако не бодро, а зло, отчаянно.

«Ну и барин у вас! — говорит он матери. — Экий антихрист высшего ранга, какую сумму заломил! Однако не печальтесь, выкупил я вашу дочь».

Толща времени, как глыба стекла, — и все видишь, и рукою не достать!

И вот он теперь лежит под старым каторжным образком, и неверный свет лучинки делает живым, мягким его похуевшее лицо. А была она в его доме как птичка вольная, подруга его дочери. «Вот помру, — говаривал он, — все твое, устраивай себя, Сонюшка!»

И летели во сне птицы-огневицы, райскими голосами пели о жизни необыкновенной, и сквозь полет их дивный возникало и рассыпалось совсем другое лицо, смелое и тоже страдальческое, со струпьями в виде цифр на щеке...

— Мадам, мадам! — будили ее осторожно. — Госпожа Софья, проснитесь! Преставился Авдей Лукич.

Софья подняла голову. Ничего не изменилось внутри старой каторги. Так же сквозь весельные клюзы светило яркое солнце и в его лучах клубилась пыль. Так же насто-роженно глядели каторжные из-под тряпья. Так же уми-ротворенно лежал под иконой Авдей Лукич. Только трое стоявших вокруг него — Тринадцатый, Восьмерка и Про-выч — сняли с голов своих шапки.

В этот момент снаружи раздался мушкетный выстрел и гулко разнесся по воде. Откуда-то кричали:

— Эй, на каторге! Есть кто живой?

Каторжные вскочили. Некоторые бросились наверх и вернулись, крича: «Мы окружены!» Сидящие же в трюме подняли дикий вой.

Тринадцатый поднялся на палубу, перебросился несколькими словами с кричавшими там и вернулся:

— Это полицейская стража. Они требуют положить оружие. А у нас оружия только — вот! — Он подбросил в руке топор. Софье вспомнились ее безотказные пистоле-ты Буатье, но они остались в лодке, которую угнал кар-лик.

Бац! Бац! Бац! — прогремели еще три выстрела. Поле-тели щепки, пули врезались в дубовый бок баржи. Катего-рический голос потребовал всем сдаваться, а прежде всего освободить полицейских чинов, запертых в трюме.

— Братец! — сказал хмуро Тринадцатый. — Поди раз-вяжи их всех, живоглотов. Пусть идут.

Восьмерка спустился в трюм, развязал Полторы Хари и его приспешников, но сам тут же выскочил, отбиваясь от них.

— Дьяволы! — сказал Тринадцатый, сквозь весель-ную щель наблюдая за тем, что делалось снаружи.

Четыре сторожевых парусных катера окружили мяте-жную каторгу и держали ее под прицелом мушкетов. Один катер перебросил на борт каторги трап, и по нему перебежали Полторы Хари с полицейскими, за ними, со-гнувшись в три погибели, Цыцурин и Нетопырь.

Оказавшись в безопасности, Полторы Хари, с которо-

го васильковый мундир свисал ключьями, разразился бранью. Показывал кулачище, сулил батоги, рванье ноздрей и прочие наказания. Но другой голос (кричал с мостика моряк в сером кафтане, приставив ко рту ладони) сулил прощение тем, кто сдастся добровольно.

— Идите! — сказал каторжным Тринадцатый. — Ступайте, пока не поздно.

И каторжане поднялись, запахиваясь в зипуны, устремились на палубу и дальше на сторожевик, где плетью их тут же загоняли в трюм.

— Пойду и я, — спохватился артельщик, шаря в соломе свои пожитки. — Авось помилуют. А всего-то на бари на цепом замахнулся, за то и сажу.

— Прощай, Провыч, — расцеловался с ним Тринадцатый и оборотился к Восьмерке: — Ступай и ты, брат, ты молодой, тебе жить.

Они с Восьмеркой обнялись на прощанье.

Провыч, за ним Восьмерка выскочили на палубу. Что-то крикнул на палубе Цыщурин, раздались выстрелы, и Провыч, а затем и Восьмерка, упали замертво в воду.

— Эхма! — сказал Тринадцатый, отрываясь от веселой щели. — Молитесь богу, мадам, на каком языке вы ему молитесь?

Софье ничуть не было страшно. Наоборот, она бы сейчас спела одну из своих любимых песен. Да гитара осталась в Морской слободке, так же как осталась далеко за плечами вся ее вольготная жизнь. Да и как петь, когда при каждом вздохе грудь пронизывает острая боль, а во рту соленый привкус крови.

Голос снаружи требовал:

— Иноземка Софья, вдова Каstellлафранка, выходи! Светлейший приказал тебя к их милости доставить!

— Идите же! — сказал с отчаянием Тринадцатый и наклонился, чтобы взять ее на руки и поднять на палубу.

— Нет! — собрав силы, ответила Софья и снова присела рядом с Авдеем Лукичом.

А моряк на мостике катера кричал по-французски:

— Вы с ума сошли! Мадам, опомнитесь! — Он все более нервничал и не кричал уже, вопил надрывно: — Мадам! Вы мне не верите? Я гарантирую вам все!

Но черная каторга молчала, течение ее несло на Лахтинские мели. И тогда был отдан приказ убрать трап. На каждом из катеров откинулись заслонки пушечных люков, и стали видны угрюмые дула.

— Но у нас тоже есть оружие, палачи! — воскликнул Тринадцатый. Он сбросил армяк и высоко поднял топор. — Такое оружие, перед которым вся ваша империя — прах!

И он ударил топором ниже ватерлинии, крикнув:

— Это царице! — Молодецки перехватил рукоятку: — А это пирожнику! — и ударил вновь.

Бортовая доска треснула, но не подалась — крепок был ладожский дуб. Но он, играя мышцами, словно дровосек, бил и бил в одну точку, выкрикивая имена высших чинов империи. Софья ужасалась, глядя на лицо, которое было как у двуликого Януса — с одной стороны подобное лику героя, с другой — маске зверя.

Оглушительно ударила пушка, и выстрел заставил их вздрогнуть. Но стражники торопились, и ядро пролетело поверх палубы. Вдруг под топором Тринадцатого доски расселись. Еще удар — проломились, и вода плотным потоком хлынула внутрь.

— Смотрите, они погружаются! — доложили на мостике господину, одетому как матрос. — Что прикажете, ваше превосходительство?

— Ничего не прикажу, — скрестил он руки. — Прыгнуть и мне, что ли, за нею в этот омут? Морра фуэнтес!

Через полчаса на просторах залива было пустынно, всюду светило жаркое солнце. Только в глубине никак не могла успокоиться, кругами ходила хрустальная вода.

## 5

Принцесса Гендрикова подкатила к подъезду своего временного дворца и, шваркнув дверцею кареты, как фурия пронеслась через сени.

— Что принц? — спросила у дворецкого, поновому — гофмаршала.

— Почивать изволят, барыня, — ответил гофмаршал, нанятый из немцев, потому что был толст и важен, как купчина.

— «Почивать, почивать!»! На лбу-то у них зажило?

— Никак нет, барыня.

— «Балиня, балиня!» — передразнила Христина. — У, инородец, несносный! Хочешь титуловать, изволь: «Боярыня, матушка, Христина Самойловна, принцесса...» Да не ваша светлость, поднимай выше!



— Альтесс? — соображал гофмаршал. — Ваше высочество?

— Вот именно, догадливый ты мужик — артес. Однако были ли врачи?

— Были — господин обер-медикус Бидлоо и господин цирюльник фон Шпендль.

— Что они говорят?

— Мокроты надо собрать для анализа.

— Коновалы! — разразилась принцесса. — Лиходеи! Мокроты собрать! Ему же к аудиенции государыни, а у него и лобик не зажил!

И она помчалась в покои принца, а гофмаршал за ней, унимая одышку. Прислуга спряталась, не привыкнув еще к необузданному нраву бывшей корчемщицы.

Принц покоился под бархатным балдахином. Две комнатные девы, по-новому — камер-юнгферы, пытались добиться, чтобы он изрыгнул мокроты в серебряную лохань. Запах был такой, что принцесса сказала «Фи!» и распахнула фрамугу окна.

На благородном лбу принца проявлялись багровые полосы. Без объяснений было понятно, что кто-то, имеющий неробкие ногти, прошелся ими по светлому челу.

Христина потормошила своего отпрыска. Тот, приоткрыв заплывший глаз и узнав мамашу, выразился столь благозвучно, что камер-юнгферы разинули рты. Принцесса-мать махнула на все это и ушла.

— Что же делать? — досадовала она. — Нынче как раз в пору его государыне представить. Глядь, и генеральством его одарит!

Гофмаршал доложил, что в приемной дожидается господин Шумахер.

— Кто таков? Ежели поставщик мрамора — гони в шею. Ишь, какие цены заломил! Мне светлейший сулит с казенных карьеров бесплатно отпустить.

— Никак нет, альтесс. Господин Иван Данилович Шумахер есть куратор Кунсткамеры.

— Что же он, курей продает? Это как раз нам нужно.

— Никак нет, альтесс. Он — библиотекариус.

— А-а, поняла! Это что, врач?

Гофмаршал пожал плечами, потому что сам толком не разбирал — что библиотекариус, что куратор...

— Ну, все равно. Зови!

Шумахер, в своем неизменном парике гнедого цвета, расшаркался. Христина сделала реверанс, правда, чуть не

завалилась набок, но в общем удержалась. Сразу же спросила — по каким болезням? Шумахер не понял и на всякий случай стал говорить про древность кунсткамер особенно в монархиях европейских...

Христина повела его в опочивальню сына.

— Кто ж его так? — вырвалось у Шумахера.

— Девка одна, крепостная, Аленка, прачкина дочь. Я тут на вывод купила душ сто, желаю в Копорском уезде имение учредить... Девка оказалась грамотная, отец пономарь, что ли, был. Я даже хотела ее в городском доме оставить, старшой по девичьей. Так она, вместо благодарности, принцу моему весь лобик изрезала!

Шумахер поцокал языком.

— Я ту девку хотела вообще батогами забить. Уж за иноземцем посылала, который мастер по шпицрутенам. Вдруг государыня посылает, — отдай ты ей эту девку, подарить кому-то есть нужда. Ты знаешь, наверное, господин куринов, что государыня мне родная сестра? Ну, сестрице как откажешь? Всего пятьдесят лобанчиков с нее взяла, пятьсот, считай, целкашей — себе дороже.

Шумахер посоветовал намазать лобик его высочеству миндальным молочком, а парик найти который лохматее, чтобы букли на лоб свисали. Для бодрости же дать ему глоток доброго рому.

— Охти! — обрадовалась Христина. — Сразу видать образованного человека. Ух, батюшка, будь спокоен, я его на ноги поставлю!

Перейдя к своему делу, Шумахер в наивежливейших выражениях напомнил, что, покидая Кикины палаты, альтесс изволила поднять на лестнице нечто блестящее, некую вещицу, и унесла с собой, видимо желая иметь сувенир о российской науке...

— Это шишечку, что ли?

— Шишечку... — подтвердил Шумахер, млея от прилива энтузиазма.

— Эту самую? — Из гробоподобного ридикюля она вынула штучку, похожую на маленький золотистый ананас.

— Эту самую... — Руки у него тряслись, выпала треуголка, которую он держал под мышкой.

— Да уж не философский ли камень ты, сударь, ищешь? — подозрительно всматривалась Христина.

— М-да... Н-ну... С какой смотря стороны... — Сердце

Шумахера упало.— Философский камень,— наконец признался он.

— Двадцать тысяч рублей,— сказала Христина.— Причем иностранной монетой.

— Да вы что, альтесс!— чуть не заплакал Шумахер, но умолк, понимая, что споры здесь неуместны.

— А что?— рассуждала принцесса.— Вон Скавронские для Сапеги, жениха дочери, диамант купили, тоже двадцать тысяч отдали. А этот сам может золото промышлять.

— Позвольте, альтесс...— сказал в отчаянии Шумахер, но Христина не дала ему продолжать.

— А ведь он и молодость возвращает. Правда, я еще не знаю как. Я уж пыталась и отвар из шишки этой стряпать. И на ночь прибинтовывала ее к месту, где душа живет. Так что, господин куринов, деньги на стойку.

Поразмыслив да поостыв, Шумахер попросил гофмаршала, чтобы он из кураторской его кареты привел студента, который там дожидается.

Христине же стал втолковывать, что, поскольку камень сей потребен не ему лично, а де-сяне Академии санктпетербургской, решать должен весь капитул.

— Это он, что ли, капитул?— покосилась принцесса на входящего студента Миллера.

Миллер вынул из футляра принесенную с собою лупу и стал рассматривать философский камень, который принцесса с бережением держала в двух пальцах. Рассматривал, а сам по-латыни объявлял Шумахеру, что сие есть шишка, самая заурядная шишечка от карликовой сосны «пиния пигмоа»— она же в Кунсткамере в горшке произрастает. И была та шишка утрачена во время известной пертурбации, полагали, что ее вымели в мусор.

— Ну, залопотали, костоправы, живорезы!— Принцесса спрятала свое сокровище.— Как, делом,— рублей сто не дадите?

Шумахер проявил все свое дипломатическое искусство, чтобы раскланяться и уйти ни с чем.

## 6

В карете Шумахер стал изливать сарказм по поводу мнимого философского камня, будто именно студент Миллер был виновен в его появлении.

— Кроме того,— все более раздражался Шумахер,— я вновь должен выразить вам свое неудовольствие.

— В чем же? — Миллер кротко посверкивал очками в темном углу кареты.

— Вы не прекратили своих дурацких писаний. Вот это что такое?

— Ох! — жалобно воскликнул Миллер. — Это опять моя нотицбух! Я забыл ее вчера на академической кухне.

— Еще не профессор, а уж так рассеян,— ехиднейше заметил Шумахер и, раскрыв в миллеровской книжке заложенное место, стал читать: — «Московия, или Россия, была еще в таком невежестве, как почти все народы в первую эпоху их жизни. Это не значит, что в русских не было живости, предприимчивости, гения и сметливости. Но все это было у них заглушено. Крестьяне, угнетенные помещиками, довольствовались куском хлеба, который дает им земля... А ведь науки, как и искусства, суть дети свободы и кроткого правления...» Он хлопнул ладонью по книжке. — Что это, я вас спрашиваю?

— Это из письма Фонтенеля вечнодостоинному императору Петру от Парижской Академии. Я в архиве нашел, списал слово в слово.

— Какого это Фонтенеля? Который писал о возможности жизни на иных планетах?

— Да, экселенц.

— Боже! Теперь вы хотите поссорить меня с русской церковью.

Шумахер выглянул в окошко, потому что бег кареты замедлился. На Царицыном лугу было гулянье, торговля, толчея и давка невероятные. Ожидались и марсовы потехи, то есть военный парад.

Шумахер молча покивал ему головой, будто желая сказать, что песенка его спета. Вернул нотицбух и подвел итоги:

— Хватит с нас этого студенчества и вообще всякой вольготности. Государыня указать изволили — студентов более не нанимать, лекции прекратить. Что касается вас, герр Миллер, вы советов моих не исполняли. Взять вашего сожителя, койи есть корпорал Тузов. Вы мне о нем ничего не сообщали, а теперь он от должности своей отрешен.

— Как? — вскочил Миллер. — Как отрешен?

— Со стыдом отрешен. А вам советую с ним всяческие конфиденции заказать раз и навсегда. В академики

вам еще рано, да и ростом не вышли. Высочайше повелено перевести вас в профессоры.

На перекрестке Миллер вышел, а карета покатила дальше. Шумахер откинулся на подушки, устало смежил веки. Уж он ли, Иоганн Даниэль Шумахер, не печется о славе императорской Академии? Слава дорого дается — и кирпич тут тебе, и известь, и деньги для коллекций, и рабочие руки... А они, ученые эти, им бы всякие благоумудрствования пустые. То им камень философский подай, то кроткое правление... Как бы это — Академию да без них?

## 7

Барабанный бой нарастал, приближаясь от кромки Царицына луга, который на сей момент становился Марсовым полем. Слышен был ритмический посвист флейт и одномерный шаг баталионов. Народ бежал в совершенном экстазе, таща малолетних детей, теряя картузы, кошелки, сладости.

Государыня расположилась на украшенном гирляндами помосте, поодаль от слепых стен Готторпского глобуса, похожих на тюрьму. Вокруг блистал расшитыми кафтанами двор, дамы состязались в искусстве улыбок, взмахи роскошных вееров напоминали фантастические волны. Кавалеры близ императрицы были в париках, но без головных уборов, а иностранные посланники и резиденты в богатых шляпах с плюмажами.

Под оглушительный треск барабанов первым шел Преображенский полк. Впереди вышагивал, как деревянная кукла, усатый Бутурлин, выпучив преданные глаза.

— Правда ли, что Ванька до сих пор ледяной водой обливается и лошадей сам кует? — спросила царица у Меншикова, который единственный был допущен стоять с нею рядом — за стулом.

Светлейший вспомнил, как резво вскочил Бутурлин в седло после того неудавшегося ареста, и ухмыльнулся в ус.

— А ведь ему под семьдесят, должно быть! — сказала царица.

Барабаны громом отмеряли шаг, казалось, земля вздрагивает от ударяющих в нее сапог. Великан знаменщик нес огромное знамя с широким малиновым крестом. Покойный Петр любил показывать на нем дыры от пуль:

вот это Азов, это Полтава, а вот прореха от турецкого ядра, которое и знаменщика убило.

Шли ряды ветеранов с боевыми медалями. Сержанты и каптенармусы, как знак своего чина, держали на плече алебарды. Офицеры в трехцветных перевязях несли пики с бунчуками — дирижировать строем.

Народ, захваченный порывом, возбужденный от барабанов и резкого свиста флейт, кричал: «Виват!» Множество треуголок и шляп взлетало над головами.

И шагали, выставив грудь, молодцы, brave и усаые. Форма теперь им была изменена с оглядкой на прусскую, но, как и в петровское время, оставались кафтан зеленый, алые обшлага, белый галстук и перевязь. Шеренги молодецких ног в чулках и штиблетах с пряжками поднимались и опускались, будто единая нога, а головы с косичками и черными лентами одинаково смотрели туда, где в блеске солнца угадывалась императрица.

— Прикажи, Данилыч,—удовлетворенно сказала она,—чтоб им после парада выдали по чарке и по серебряному рублю. Рубли мы желаем раздать самолично.

Левенвольд, несмотря на запрет не отвлекать во время парада, приблизился. Доложил, что английский резидент, кавалер Рондо, просит немедленной аудиенции. На физиономии Левенвольда было написано — я не я и лошадь не моя.

— Немедленной?—переспросила царица и оглянулась на Меншикова, на напряженные лица своих генералов. Британский флот все еще маячил у берегов Эстляндии, что могло все это значить? Новоявленный генерал-адмирал российского флота вдруг почувствовала, что у нее свербит в носу, а сердце проваливается куда-то в живот.

Треск барабанов вновь достиг апогея, потому что пошел Семеновский полк под черно-синим знаменем, в синих мундирах с малиновыми отворотами. Солнце сквозь пыль сияло, словно раскаленное пушечное ядро.

— Господин резидент желает, чтобы встреча прошла наедине,—сообщил Левенвольд.

Императрица беспомощно взглянула на Меншикова, тот выпятил грудь, готовый отказать... Но, еще раз взглянув царице в глаза, он отошел к группе генералов, а взамен него за стулом императрицы возник резидент в немисливо кудрявом парике. Фельдмаршалы и генералы сумрачно смотрели, как сэр Рондо объяснял что-то ца-

рице, дополняя свой плохой русский язык движениями пальцев.

А тут пошла конница, подобранная по масти и стати великолепных коней. С пересвистом, с игрой на ложках пронеслись казаки, с улюлюканием, лежа в седле, промчались калмыки в звериных шапках. Народ удивлялся, а иностранцы не успевали поворачивать головы навстречу новым и новым рядам богатырей. Взвилась ракета, и ударил гром салюта.

Британский резидент, нарочито не глядя на парад, как будто это его ничуть не касается, отошел с поклонами от императрицы и сел в свой великолепный фаэтон. Описав круг, чтобы объехать Марсово поле, его экипаж поскакал вдоль Мойки к Полицейскому мосту.

Царица, заметно повеселев, подозвала своих министров.

— Английский сей кавалер заверил нас, что письмо, кое мы утвердили на Верховном тайном совете, передано адмиралу, командующему ихней эскадрой. Он же клятвенно заявил, что флотилия эта не против нас снаряжена и в ближайшие же дни повернет к берегам свейским.— Она хитро прищурилась и засмеялась.— Почуяли, видать, что врасплох нас не захватили...

Министры и генералы оживились, захохотали, стали подталкивать друг друга под локоть. Меншиков поспешил занять свое место за стульчиком государыни. А она погрозила ему пальцем.

— И про твои забавы, Данилыч, я от него кое-что узнала. Будь-ка у меня в покоях нынче после парада... И Девиера прихвати.

Меншиков нахмурился — это что-то новое. До сих пор светлейший сам объявлял, когда изволит прийти. И в компании с Девиером? Как ни перебирал он предположения, никак не мог понять, что вдруг случилось с этой вечно сонной портомоей.

А она, по окончании парада, села в открытую коляску и подъехала к выстроенным для раздачи рублей преобразенцам. Солдаты, сержанты, офицеры — а там они поголовно были шляхетских кровей — ели глазами возлюбленную монархиню и поминутно кричали «Виват!».

Полиция отодвинула народ на приличное расстояние, но все же за строем кое-где виднелись группки обывателей, они тоже были в состоянии экстаза.

Дойдя до последнего в шеренге богатыря, императри-

ца вдруг увидела сзади него маленькую девочку. Она топталась босиком по колючей траве и плакала, крепко зажмурился глаза.

— Кто такая?

Выскочил перепуганный вахмистр, доложил, что сирота, кормится при полковой кухне. Звать Неждаха, а христианского имени ее никто не знает. Непорядок, конечно, что возле строя стоит, — солдаты набаловали. Уж он гнал ее, гнал, оттого и ревет...

Императрица помолчала, затем выбрала толстый, расшитый бисером кошель светлейшего. Взяла оттуда горсть золотых поновее и вложила в заскорузлые ладошки сироты.

Императрица поднялась, отряхивая колени, весьма довольная собой.

## 8

Императрица вернулась во дворец утомленная, но довольная. Милости расточала щедрою рукой. Несколько раз повторила окружающим: вот теперь она чувствует, что вместо ерлашной Московии у нее теперь вполне благоприличное герцогство.

И придворные старались докладывать вести одна другой приятнее. Гончарные мастерские выдали поливную посудину с кобальтовым рисунком. И хотя она саксонскому порцеллану весьма еще уступает, все же приятно российский сей опыт видеть. Из Якутска прибыл гонец от воеводы, сообщил, что обретается там господин командор Витус Беринг со товарищи. И хотя, как отъехал оттуда гонец, прошло уж пять месяцев, надо полагать, что оный славный командор уже на Камчатке и строит суда. С Ладоги генерал Миних доносил об успешном построении судоходного канала и, ссылаясь на мор досаждающий, просил одного — рабочих и рабочих.

Вконец умиротворенная Екатерина Алексеевна, готовясь удалиться в личные покои, спросила дежурного камергера:

— Светлейший князь и господин Девиер там?

— Ждут-с. А кроме них, просит внеочередной беседы господин Нартов.

— Андрей Константинович? Что ему надо? Я же вчера разрешила машины к нему в дом перевезти. Пусть приходит завтра... Нет, завтра я занята. В среду!



— Они нижайше просят. Сказывают, дело неотложнейшей важности.

— Я же сказала! — царица раздражалась от того, что чувство внутреннего умиления быстро иссякало. — А ты, камергер, кому ты служишь, мне или Нартову?

В малой приемной светлейший сломал вычурную ручку от кресла, по которой он постукивал в совершенной ярости: эта коровница заставляет его — Меншикова! — ждать. Девиер, напротив, изображал ироническое равнодушие, а в углу еще ютился унылый Шумахер, которого вызвали неизвестно зачем.

Императрица села в свое любимое кресло, в котором подушки хранили отпечаток ее дородного тела. Левенвольд подsunул под ноги удобную табуреточку. «Еще бы тебе не царствовать!» — разъярялся Меншиков, узрев, что карлик Нулишка устраивается на полу возле табуреточки.

— Что смотрите? — сказала она придворным, которые глядели, как она ласкает Нулишку. — Он ведь мой крестник, а я его забыла. Ярыжница отдала его в Кунсткамеру, а там его Шумахер голодом морил!

Шумахер хлопнул себя по бокам, а горлом сделал движение, как бы заглатывал сливу. Царица повернулась к Девиеру.

— А ты его в клоповнике держал, на доносы подбивал, будто он тебе фискал нарочитый!

Девиер сделал полупоклон, словно хотел объяснить — полиция, матушка, на то она и полиция.

— Но теперь я сама позабочусь об его судьбе. Я перед ним виновата. Спрашиваю нонче: «Чего ты желаешь, Варсонофий, говори смело». А он: «Жениться хочу, благодетельница». Чего ухмыляетесь, идолы, он уже парень великовозрастный! Предлагаю ему — женись на Утешке, чудо карлица. Или куплю тебе арапку, привезли на Морской рынок, говорят, черная, шести вершков росту. Не хочет он монстров, желаю, говорит, жениться на обыденной бабе. И адрес притом указывает! Я тотчас послала по адресу Левенвольда, и он купил...

Придворные слушали, все еще стоя. Каждый думал: чем это все кончится?

— Однако я не для того вас пригласила, господа. Кстати, что ж вы стоите? Рейнгольд, подай министрам стульчики. Итак, дело в том, что кавалер Рондо, английский секретарь, имел нам сообщить, что иноземный граф Припрюнович... Как его, как его?

— Бруччи де Рафалович,— подсказал Левенвольд.

— Вот именно, слава тебе господи! Сей граф, он же академикус, будто бы арестован и препровожден на дыбу. Мы тут же подписали английскому тому секретарю заготовленный ордер о его немедленном освобождении...

Меншиков вскочил.

— Ваше величество! Он же шпион, его вина доказана. Он признался, что ссужал деньги офицерам, лишь бы не пришли к месту сбора...

— Признался! Да в ваших застенках и святой признается!

Шумахер залепетал про академические дипломы, про философский его камень...

— Дипломы! — набирал тон светлейший. — Ложь все его дипломы! Он изобличен в передаче совершенно секретных сведений. А философский тот камень выдуман им, чтобы сеять плевелы раздора.

Императрица усмехнулась с оттенком горечи.

— Кому-то очень не хотелось, чтобы камень тот всемогущий был преподнесен нам и даровал бы и счастье, и здоровье, и покой... Сядь, Данилыч, утихомирься. А ты, генерал-полицеймейстер, говори, твой черед.

— Согласно ордера вашего величества, граф Бруччи де Рафалович освобожден и едет к себе на родину в сопровождении личного медика вашего величества...

— Вот это дело. Ты умник, Антон.

Меншиков, понимая, что разговорам этим не будет конца, выступил решительно. Сегодня был обнаружен опаснейший мятеж. В попытке государственного переворота участвовали каторжники особой статьи из Рогервика...

Обычно сообщения такого рода действовали на Екатерину Алексеевну безошибочно. Она мертвенно бледнела, на глазах расплывалась, будто тесто: «Ах, Данилыч, ох, Данилыч, что же делать, Данилыч?»

Но на сей раз она, не расставаясь с улыбочкой, хитро прищурила глаза.

— Об том мятеже мы уже наслышаны, ваша великоknязеская светлость... И обо многом прочем: кто у кого в скрыне сидел, кто с Сонькою крутил амуры. А теперь вы все спелись против меня и разом утопили в Неве и Соньку, и философский мой камень... Слава богу, у меня есть еще верные мне люди!

Императрица со значением принялась гладить карли-

ка по лысоватой голове. А слезы уже всюду прыскали из ее глаз, она притопывала ножкой.

— А вы все хотите мне только зла... Да, да,— зла, зла, и зла!

Светлейший, покусывая ус, ждал, когда пройдет у монархини припадок независимости. И этот момент наступил. Она выслала всех, даже карлика, ему же велела остаться.

— Ох, Данилыч... я так несчастна, так несчастна! Отмени сегодня фейерверк и вечерний астамблей, нету у меня сил... Или пусть уж танцуют, но без меня.

## 9

— К вам хочет Нартов,— сказал Левенвольд. Он знал, что царица отказала уже камергеру, сам недолюбливал докучливого механика, но знал так же, что Нартов царских детей нянчил, а нравы при дворе переменчивы.

— О, господи!— простонала царица.— Не бить же мне его батогами, зови!

Левенвольд ввел Нартова, чопорно одетого и с кипой бумаг. После целования руки Нартов развернул бумагу и стал читать список учеников, принятых в гимназиум.

— Не юли, Константиныч,— остановила она.— Ради школяров ты не стал бы так пробиваться. Сказывай.

Нартов встал на колени и голосом, в котором слышался плач, просил освободить девицу Алену, дочь Грачеву, которая намеренно куплена во дворец.

— Ах, ту, прачкину дочь? И не проси, Константиныч, она обещана другому.

Нартов подполз на коленях, стал целовать край ее пеньюара. Он понимает, конечно, царское слово крепко, но ведь есть и царская милость!

— Ты пожилой человек!— увещевала его императрица.— А он же совсем юный, этот карлик. У тебя небось дома куча холопов, а у него никого, один-одинешенек!

— Да ведь она, мне сказывали, она там головою бьется об стены, криком кричит. Не любит же она его!

— То есть ты хочешь сказать, она тебя любит?— усмехнулась царица.— Ах, кто же из нас выходил замуж по любви?

Она заставила Нартова встать с колен, кликнула Левенвольда, велела прибавить свечей и принести ее личную шкатулку.

— Вот смотри,— показала она Нартову чертеж, который вынула из принесенной шкатулки,— архитекторы мне целый план сочинили. Свадьба карлика, каковой было не видно с 1709 года. Шествие короля самоедов со всешутейшею свитой. Вот тут будут собраны карлы и карлицы из всех домов столичного града. Фейерверк, сиречь потеха огненная, с изображением Купидона, сковывающего сердца, и надпись: «Аморис федере унум» (Любовь делает их едиными).

Это она произнесла наизусть, в один запал. Чувствовалось, что свадьба карлика заняла все ее воображение. Развернув другую бумажку, она по складам принялась читать стихи:

Загадка вся сия да ныне явная,  
Невеста славная к тебе днесь приведется,  
Два сердца, две души соединилися,  
Соединенным же песнь брачная поется.

Нартов вновь пал на колени, схватил ступню императрицы, пытаясь поцеловать, а та его отталкивала.

— В конце концов, я так хочу!— она захлопала в ладоши, вызывая фрейлин.— Свадьба будет завтра утром.

И, уже ведомая в опочивальню, повернулась к Нартову, который все еще стоял на коленях.

— А тебе скажу добром, Константиныч. Не суйся ты не в свои дела. Токарь ты и есть токарь, точи себе на здорье. А гимназиумы разные оставь Шумахеру с его немцами. Да и чего учить, чему учить? Я вон без ученья всю жизнь прожила, и слава богу!

Левенвольд подошел к ее постели, чтобы пожелать спокойной ночи, она хныкала: комарье разлеталось, мошкара, покою нету... Вдруг привсталала в подушках и сказала совершенно спокойным голосом:

— Вот что, Рейнгольд. Токарь-то этот бешеный, я его с каких пор знаю. Как бы он чудес нам не натворил. Ступай-ка ты в Смольный дворец, где карлова невеста содержится...

А Нартов, выйдя из дворца, сел на каменный фундамент, оставшийся после станков, и заплакал, не стыдясь.

Да и кого было стыдиться? Летний сад тянулся, безмолвный и пустой, белели только истуканы. Ассамблея нынче шла далеко, в Меншиковом саду на Васильевском острове. Оттуда по реке доносились музыка и гром пушечных салютов.

Подул свежий ветер, зашелестели дубки, и спустилась самая настоящая ночь. По улицам Санктпетербурга в точном соответствии с предписаниями генерал-полицеймейстера пошли фонарщики в остроконечных шляпах и с лестницами на плечах.

## 10

— И как же тогда империя будет управляться? — спросил Сербан Кантемир, опираясь на ствол мушкета.

В Смольном дворце было промозгло и пустынно. Каждое слово, произнесенное даже шепотом, отражалось под сводами будто удар в доску.

— Ш-ш! — оглянулся Антиох. — Умерь свой бас! А управляться будет, как в Англии, — соберутся родовитые и знатные и станут управлять.

— Хо-хо! Науправляют тебе такие, как принц Гендриков или хотя бы наш приятель Евмолип. Я ему нарочно карточного долга не простил, чтобы поубавилась его дворянская спесь.

— Владыко Феофан говорит... — начал Антиох, но так и не досказал, что говорит владыко Феофан. Из темноты лисьей походочкой появился обер-гофмейстер Левенвольд и стал скрипеть на Кантемиров, что пост им поручен наиважнейший, государыня изволила приказать на сию ночь поставить преображенцев... Понеже устав караульный...

Братья Кантемиры, не споря с ним, разошлись в разные концы залы и вытянулись на посту.

Это был так называемый Зал Флоры, там стояли четыре итальянские статуи: Весна, собирающая луговые цветы, Лето, с серпом и яблоком, Осень, нагруженная снопами, и Зима в виде поселянки, застигнутой сном.

Левенвольд, наворчавшись, вновь исчез в анфиладах, а братья вернулись к разговору.

— Тс-с! Слышишь, какое здесь эхо? — сказал Сербан.

С первого этажа доносилось, как Левенвольд распекал там караульных.

— А плевал я на твоего Красавчика! Подумаешь, пост государственной важности! Стережем невесту царицыного карлика!

— Тс-с! Ну, Сербан же! Левенвольд опять идет сюда.

И правда послышались вкрадчивые шажки обер-гофмейстера.

— А вы знаете, князь,— крутился он вокруг усатого Сербана.— Я ведь теперь тоже граф. Мне вручена императорская грамота.

— Поздравляю.

— Нет, нет, я серьезно. Вы думаете, я шучу?

— И я говорю серьезно — поздравляю.

— Как же теперь, например, вы станете нас титуловать? Ваше сиятельство или ваша светлость?

— Просто граф. Вы меня зовите просто князь, а я вас просто граф. Так заведено среди благородных персон.

— Ах, нет! Мне кажется, что вы все равно должны именовать меня — ваше сиятельство. Ведь у меня должность выше.

— Знаете, граф,— сказал Сербан, не скрывая раздражения,— вы сами нарушаете устав воинский. С часовым разговаривать не положено.

Левенвольд удалился, напевая по-немецки про рыбака и пастушку. Послышались мерные удары больших часов.

— Что ж теперь, новоиспеченный граф крадучись нас станет испытывать?— спросил Сербан, прислушиваясь.— Чьи-то шаги... Антиох, слышишь?

— Стой, кто идет?— закричали они, щелкая курками. Эхо прокатилось по темным залам и переходам и отдавалось внизу слабым вскриком.

Братья выскочили в соседний коридор и, увидев там двух человек, прижали их к стене дулами мушкетов.

— Ваша светлость, князь Сербан!— сказал один из них знакомым голосом.— Я влез на дерево и увидел вас тут...

— Максютя!— узнали его Кантемиры.— Ты разжалован? Почему на тебе партикулярное платье?

За спиной Максюты не переставал кланяться бодрый старичок с хохолком на макушке.

— Ваша светлость!— с отчаянием сказал Максютя.— Только на вас вся надежда... Вы ведь когда-то обещали мне помощь. Ваша светлость, здесь заперта одна девушка...

— Его невеста,— указал на Максютю старичок.

— Левенвольд идет!— братья Кантемиры бросились к своим постам. Максютя же и старик Ерофеич, быстро оценив обстановку, скрылись за массивными пьедесталами Зимы и Весны.

— Что случилось?— спросил Левенвольд, желая прой-

ти в дверь, которую Сербан загородил мушкетом.— Кто-то кричал?

— Пароль!— потребовал Сербан.— И отзыв!

— Майн готт! Вы с ума сошли, князь! Ведь это же я, обер-гофмейстер.

Но Сербан был неумолим— отныне он желает точно исполнять устав, которым ранее, увы, манкировал! Левенвольд понял: высокородные князя шутят, при дворе любили разыгрывать красавчика Левенвольда. И он удалился с независимым видом, мурлыкая про свою пастушку.

Четверо опять сошлись у фонаря в коридоре.

— Ах это та несчастная,— сказал Сербан,— которая весь день билась и кричала.

— Сейчас вроде бы уснула...— прислушивался Антиох. Все обдумывали положение.— Дверь, за которой находится она,— вот здесь. Да ключ-то у Левенвольда, в кармашке его кафтана!

Взломать? Но это, во-первых, шум, во-вторых, для часовых, то есть для братьев Кантемиров, неминуемый военный суд.

Ерофеич сказал, что они из сада предполагали по карнизам добраться до балкончика.

— Балкончик заперт изнутри,— ответил Сербан.— Вот ежели б она, ваша невеста, была заранее предупреждена...

Оставалось ждать, когда явится все милостивейший случай.

## 11

Послышалось чирканье фаянса по мрамору пола, натужное кряхтенье и плеск воды.

Сербан выглянул в соседний зал и увидел освещенную свечой дверь в дежурную комнатку для камергеров и фрейлин. Там плескался бессонный страж Левенвольд, а роскошный его кафтан висел в зале на одном из бронзовых стоячих канделябров.

Преображенцы и их ночные гости в волнении смотрели на эту сцену из дверей Зала Флоры.

— Вот у нас было в драгунском полку...— начал доблестный трепальщик пеньки.

— Ерофеич!— остановил его Максютя.— Да придумай же что-нибудь, друг ситный!

— Эх, где наша не пропадала! — Ерофеич стукнул бо-сою пяткой, словно застоявшийся конь. — Разве вам не известно, судари, что Сонька Золотая Ручка — это тоже я?

Он не прокрался, а спокойно прошел в соседний зал к висящему на канделябре кафтану. Пошарил в одном кармане, затем в другом, нашел большой резной ключ и с торжеством показал его Сербану.

Левенвольд в дежурной комнатке продолжал плескаться и напевать свою однообразную песенку.

— Кто-то внизу стоит у клумбы с виолами! — Антиох дернул за рукав Максюту. И показал за окно, где наступающий рассвет уже позволял различать фигуры.

— Это бывший студент Миллер. Видите, ваша светлость, увидев меня, он поднял руку. Это означает — все спокойно.

Тем временем Сербан и Ерофеич заботились о том, чтобы отомкнуть дверь без шума. Ключ все-таки лязгнул, но плеск воды и пенье Левенвольда не прекратились. Максюту надлежало войти первым. Все в нем было напряжено и готово к встрече с любыми неожиданностями.

Как только открылась дверь, Алена вскочила с диванчика, загораживаясь руками. Максюта кинулся зажать ей рот. Алена билась, больно ударя локтями, она была сильная и отчаянная.

— Это я, Алена! — шептал ей в самое ухо, под теплые волосы, Максим. — Не бойся, я пришел за тобою.

— Максим Петрович! — выдохнула она, поняв все сразу. — Сплю я, что ли? Вы не сомневайтесь во мне!

Она раскинула руки, как в песне поется, — словно крылья лебедушка. И обняла его, и заплакала, хоть мать, бывало, говорила: из этой Алены-гулены слезы колом не выбьешь.

— Вы с ума сошли! — подбежал Сербан. — Левенвольд уже руки вытирает!

Ерофеич щелкнул ключом, когда обер-гофмейстер, попрыскав себя лавандой, вышел из дежурной комнатки, аккуратно погасив свечу. Он направился к Залу Флоры, где в двери стоял Сербан, по-ефрейторски отставив мушкет.

— Все ли в порядке, князь?

— Сделайте милость, граф, — в тон ему ответил Сербан. — Не угодно ли осмотреть?

Левенвольд, не уставая мурлыкать свой мотивчик, вошел, подергал ручку двери, где раньше была Алена.

— Извольте отворить? — спросил Сербан.





— Да, ежели только и вы со мной туда войдете.

— Мне не положено по уставу,— с большим сожалением ответил Сербан.

— Один я туда не пойду,— заявил Левенвольд.

— И правильно сделаете, граф,— ответил Сербан и, понизив голос, сообщил: — Слышать, сия карлова невеста одному принцу весь сиятельный лик зело располосовала!

Левенвольд повернулся от двери, принялся зевать.

— А, куда она отсюда денется! Через каждые сорок шагов часовые... Поспать бы, да меня государыня лично присила. А ваша, князь, ляжка когда кончается?

— Сменимся, как только пушка пробьет рассвет. Еще полчаса, наверное. Нас заступят меншиковские ингерманландцы.

— Счастливы! — Левенвольд потягивался и зевал. — А мне тут еще трубить и трубить. Часов в семь явится свадебная прислуга — банщицы, завивальщицы, портнихи.

Левенвольд стоял спиной к статуе Зимы, покоившейся среди мраморных рогов изобилия. Из-за статуи показалась рука и положила ему в карман ключ. Он еле звякнул о лежащие там монеты. Левенвольд прислушался, но не нашел ничего подозрительного. Оба преображенца браво застыли на своих постах.

— Прощайте, князь,— сказал Левенвольд Сербану.

— Прощайте, граф. Счастливо вам отдежурить.

И Левенвольд двинулся по анфиладе. Обнаружив лакея, дремавшего на кушетке, принялся его распекать...

— Ну, сударь, ты и правда Сонька Золотая Ручка! — сказал Сербан Ерофеичу.

## 12

Они бежали к Неве по откосу, сквозь заросли бузины. Величественная заря заливала полнеба. Ерофеич поспевал, ежась от росы, и так они бежали — Максютя впереди, крепко ведя за руку Алену.

Остановились передохнуть, Ерофеич хрипел и откашливался. Сверху от далекого уже дворца слышался ефрейторский рожок в ритме Преображенского марша. Там шла смена караула.

— А Левенвольд? — вдруг спросил Максютя. — Что теперь будет с ним?

— А! — засмеялся Ерофеич и сплюнул в крапиву. —

Нашел, о ком печалиться. Почешет, кому надо, пятки, и делу конец. Давайте, чада, быстрей!

В зарослях ивняка замаскирована была лодка, а в ней сидела прачка, вдова Грачева, ни жива ни мертва. Завидев Алену, она выскочила, вцепилась в нее:

— Ой, болезная моя доченька!..

— Кончай голосить! — дернул ее Ерофеич. — Время, время!

— Да что ж ты, ирод, матери и повыть не даешь! — Вдова сунула дочери узелок с платьем, новенькие коты и лукошко с едой. Крестила то ее, то Максюту, рот себе платком закрывала из опасения снова завыть.

— Поцелуемся, брат, — сказал Ерофеич Максюте. — Может, когда и свидимся. Вот в одной лейбгвардейской роте поручик был... Ну, ладно, сейчас не к месту, бог даст, когда-нибудь расскажу — курioзный был случай... Ты же, Максим, товарищей ищи, товарищей, — один пропадешь! Живите, дети, счастливо, что бы ни было — совет вам и любовь!

Он обтер слезу и полез в кiset за понюшкой. Вдова встревожилась: раскузюкался, старая мельница, сам кричит — время, время! Уже совсем светло.

Максюта молча обнимал Алену, которая уткнулась ему в грудь, все еще не веря своему счастью.

Ерофеич напутствовал:

— Плывите по Фонтанке до Сенного рынка. В сторожке там смотритель, скажите только одно: помнишь ли однополчанина своего, Ерофеича?

— Ты что, дурень! — напустилась Грачиха. — У Аничкова моста на болоте паспорта проверяют. Вы, ребята, идите вверх, до Ижоры. Там такие дебри! И живут там вольные люди, никого не признают!

Сверху на откосе слышался какой-то шум — не то музыка, не то пение. Максюту прыгнул в лодку, принял Алену, разобрал весла.

В кустах послышался треск, все насторожились. Но это оказался бывший студент Миллер, мокрый от росы, а очки держал в руке, боялся уронить. Он сообщил: смена караула прошла без происшествий, а шум наверху — от множества идущих на свадьбу чинов. Надо плыть.

Миллер протянул Максюте цветок ромашки.

— Возьми на память, эйн гуте менш Макзюта, бодрый тшеловьек. Ничего нет у меня дорогого подарить.

Эта ромашка—это и есть эйн штейн дес вейсенс—философски камь-ень!

— Прощай, Федя, милый наш ромашка!— ответил Максюта, готовый оттолкнуться веслом.— Дай бог тебе у нас счастья!

— Мы его побережем!— заверил Ерофеич.— Человек он чужестранный, и родни у него никого нет.

Вдруг Максюта притянул лодку обратно и поманил Миллера.

— А как те?— он махнул в сторону Васильевского острова, новой Кунсткамеры.— Удалось ли им?

Но Миллер пожал плечами, он ничего не знал.

А наверху, по дороге на Смоляной буян, шли с развеселыми песнями плясуньи, и гусяры, и балалаечники. Несли блюда лубочные, уборы рогожные, клетки с диковинными птицами. Шла на цепочке голенастая птица строфокамил— подарок царицы новобрачным. С высоты своей голой шеи надменно взирала та птица на чудоюдо— Санктпетербург.

Шествовали попарно карлы и карлицы из всех знатнейших домов, разодетые в пух и прах, недовольные, что подняли в такую рань. Шли песельники в малиновых рубахах, свистали так, что в ушах ломило. Орали во всю мочь, надеясь на щедрое царицыно даяние: «Ай дуду, ай дуду, сидит ворон на дубу. Сидит ворон на дубу, дует в медную трубу!»

Федя следил за лодкой, пока она не исчезла за поворотом, в слепящем отблеске солнца. Тогда он присел на камень, опустил ладони в прохладную воду. Нева огромная, словно гора воды, под утренним ветерком катила барашки. И Федя Миллер сказал сам себе:

— Течет река времени, суперфлюсс, кто скажет, зачем она течет?

*Конец*

## СЛОВАРЬ

**Авессалом**—библейский персонаж, царевич, известный своими длинными, роскошными волосами.

**Австерия**—при Петре I название трактира (питейного заведения).

**Акафист**—вид церковного песнопения.

**Алтын**—медная или серебряная мелкая монета.

**Амур**, иначе Купидон,—в древнеримской мифологии крылатый божок любви.

**Анадьсь** (надьсь, намедни)—некоторое время тому назад.

**Аналой**—подставка для чтения книг; аналойчик—столик с наклонной крышкой.

**Англез**—бальный танец, модный в начале XVIII века.

**Антихрист**—в церковной мифологии противник Христа, иногда синоним дьявола.

**Антимония**—алхимическое название сурьмы; в переносном смысле—глупость, бред.

**Апокалипсис**—одна из книг Нового завета, религиозное сказание о так называемом конце света и Страшном суде.

**Апофеоз**—вершина славы; апофеозис—обожествление.

**Апрош**—военный термин, обозначающий приготовления к атаке; в переносном смысле—неприязненные отношения.

**Армяк**—род долгополого кафтана из грубой шерсти.

**Аспект**—точка зрения, перспектива; в астрологии—взаимное положение небесных тел, влияющее на судьбу людей.

**Аспидная доска**—старинное название грифельной доски для писания мелом.

**Аспид**—мифологическое чудовище, многоглавый змей.

**Ассамблея** (астамблей)—бал, увеселительный вечер, устраивавшийся в царствование Петра I.

**Астролябия**—угломерный прибор для измерения географической широты и долготы.

**Аудитор**—должность в старой русской армии.

**А фронт**—неожиданный случай, неприятное происшествие.

**Барская барыня**—хозяйка, ключница, наперсница в барском доме.

**Бахус (Вакх)**—бог вина и веселья в античной мифологии.

**Библиотекариус**—в царствование Екатерины I придворный чин.

**Божедомы**—люди, убиравшие и хоронившие трупы бедняков, неопознанных лиц.

**Блазновитый**—соблазнительный, смущающий.

**Бова-королевич**—персонаж русских сказок, излюбленный герой лубочных изданий.

**Богемия**—латинское название Чехии.

**Божок крылатый**—Купидон, Амур, бог любви.

**Борей**—в греческой мифологии бог северного ветра; в переносном смысле—порывистый холодный ветер.

**Бострога (бастрок)**—в начале XVIII века женская кофта немецкого покроя.

**Булава**—знак власти, жезл с шаром на конце.

**Бунчук**—род знамени, копьё с конским хвостом у наконечника.

**Бюргер (нем.)**—горожанин.

**Василиск**—мифологическое многоголовое чудовище.

«**Вас ист дас?**» (нем.)—«Что это такое?»

**Велблуд**—древнерусское произношение слова «верблюд».

**Вельзевул**—одно из имен дьявола.

**Венус (Венера)**—богиня любви и красоты в древнеримской мифологии.

**Вервие**—веревка; в обобщенном смысле—товары, изготавливаемые из пеньки.

**Вериги**—тяжелые, обычно железные, предметы, цепи, которые носили на голом теле юродивые.

**Вертеп**—пещера; в переносном смысле—разбойничий притон.

**Вертоград**—церковное выражение, обозначающее сад, виноградник.

**Вершок**—старинная русская мера длины, около 4,5 сантиметра.

**Виват**—по-латыни «Пусть живет!», «Да здравствует!».

**Визжаком замастырит**—на воровском жаргоне XVIII века «кнутом огреет».

**Виктория (лат.)**—победа.

**Виола**—фиалка.

**Волонтер**—доброволец.

**Волюм**—том, книга.

**Вольный дом**—увеселительное заведение, игорный дом, трак-

тир в европейском духе, насаждавшиеся при Петре I во вновь основанном Петербурге. Источники показывают, что почти все такие «вольные дома» принадлежали А. Д. Меншикову.

Вязь — один из почерков церковнославянского кириллического письма, особо замысловатый, декоративный.

Галлюс Ювенций — вымышленный, никогда не существовавший римский поэт.

Гардемарин — чин, установленный Петром I для выпускников Морской академии до получения ими офицерского звания.

Гайдук — слуга, лакей, телохранитель.

Герольдмейстерская контора — учреждение, ведавшее учетом и разработкой дворянских родословных.

Герр (*нем.*) — господин.

Гобелен — шпалера: ковер с вытканной на нем картиной.

Гог и Магог — в христианской мифологии два диких народа, нашествие которых должно предшествовать концу света.

Голштиния — область в Германии; в XVIII веке — самостоятельное государство.

Гомункулюс (гомункул) — человеческий зародыш, которого, по мнению средневековых алхимиков, можно было получать искусственно, в колбе.

Гороскоп — чертеж или расчет для предсказания судьбы человека по учению астрологов.

Господарь — один из титулов правителей Молдавии в XIV—XIX веках.

Градский батальон — специальная воинская часть для охраны городских зданий и улиц.

Гривенник — русская монета достоинством 10 копеек.

Грумант — древнерусское название архипелага Шпицберген.

Грыдырование — старинное произношение слова «гравирование».

Гульден — золотая монета в некоторых европейских странах.

Давид — библейский царь, который, по преданию, был чрезвычайно кроток и незлобив.

Двуперстница — то есть последовательница раскольников, старообрядцев, которые крестились двумя пальцами (перстами), в отличие от последователей официальной православной церкви, крестившихся тремя.

Деверь — брат мужа.

Де-сьянс (сьянс; *франц.*) — наука.

Диспозиция — письменный боевой приказ командира.

Длань — рука.

«Доннерветтер!» (*нем.*) — ругательство «Гром и молния!».

Драгуны — солдаты некоторых кавалерийских полков.

Дроги — длинная телега без кузова.

Друковать — печатать книги.

Дублон — старинная золотая монета.

Думочка — старинная вышитая подушка для украшения дивана или постели.

Дыба — орудие пытки в виде столбов с переладиной, к которой привязывался осужденный.

Единорог — сказочное животное, часто изображавшееся на пушках, отчего иной раз наиболее крупные пушки назывались единорогами.

Епанча — плащ без рукавов.

Ердань — правильное Иордань, прорубь, из которой брали воду для освещения и в которой купались «моржи».

Ефимки — иоакимсталеры, западноевропейская монета XVII—XVIII веков.

Жабо — выпускная манишка, кружевная или сборчатая.

Жерех — хищная рыба.

Загербя — поставив печать с гербом.

Засека, или Засечная черта, — система оборонительных сооружений на южной границе Русского государства в XVII веке для защиты от набегов крымских татар.

Зернь — здесь: азартная игра в карты.

Зефир (*греч. миф.*) — бог западного ветра; в переносном смысле — теплый ветер, приносящий дожди.

Зипун — род кафтана без воротника, с длинными рукавами и широкими полами.

Зодий — зодиак, круг из 12 созвездий, расположенных вдоль годового видимого пути Солнца.

Зять — муж дочери или сестры.

Избылый — человек, вышедший из тяглогового состояния, но официально продолжающий в нем числиться.

Иерихонские трубы — по библейскому преданию, трубы завоевателей, от которых рухнул город Иерихон в Палестине.

Инерманландия (Ингрия, Ижорская земля) — область по берегам Финского залива и Ладожского озера, где был основан Петербург.

Инок — монах; инокиня — монахиня.

Ио — мифический персонаж, девушка, превращенная богами в корову.



**Иосиф** (*библ.*)—отрок, которого, по преданию, родные братья тайком от родителей продали в рабство.

**Ирод** (*библ.*)—злодей.

**Иррациональное**—не постигаемое разумом, мистическое.

**Кабалистика**—религиозное учение, основанное на вере в то, что при помощи специальных молитв и заклинаний человек может вмешиваться в божественно-космические процессы.

**Кавалерия**—муаровая лента или другой орденский знак.

**Калики перехожие**—паломники, странники; в русских былинах—нищенствующие богатыри.

**Камер-фурьер**—придворный чиновник, которым велась запись дворцовых церемоний и быта царской семьи.

**Камилавка**—головной убор у попов и монахов.

**Камка, обьярь, алтабас**—древнерусские названия различных сортов шелковой ткани.

«Канды венды?»—«Свонды, свонды!»—на воровском жаргоне XVIII столетия: «Кого ведешь?»—«Своих, своих!»

**Канитель**—золотой или серебряный шнур, которым расшивали одежду, в особенности форменную.

**Канифас**—шелковая материя, ткань.

**Канцлер**—высший гражданский чин в царской России.

**Капелюш**—остроконечная шляпа.

**Капер**—разбойничье судно.

**Каптенармус**—лицо в воинской части, ведающее хранением и выдачей имущества, продовольствия.

**Карл I Стюарт** (в древнерусском произношении Карлус или Каролус)—английский король, казненный в 1649 году, в эпоху революции.

**Каролус Свейский**—шведский король Карл XII.

**Катавасия**—церковная служба, когда поют все сразу, наперебой; в переносном смысле—неразбериха.

**Квадрант**—угломерный инструмент для измерения высоты светила над горизонтом.

**Квинтель**—старинная мера веса, менее одного грамма.

**Квинт Курций**—древнеримский историк.

**Кика**—головной убор замужней женщины.

**Киноварь**—яркая красная краска.

**Кираса**—металлический нагрудник в латах.

**Кирка**—лютеранская церковь.

**Киот**—застекленный ящик для икон.

**Клавесин**—старинный струнный клавишный музыкальный инструмент.

**Клеврет**—приспешник, приверженец, сообщник.

**Клобук**—монашеский головной убор.

Клу ня — молотильный сарай, хранилище соломы.

Князь-к е с а р ь — боярин, замещавший царя во время его отъезда, начальник Преображенского приказа.

Ко ла — Кольский полуостров.

Кол ле ги и — название центральных правительственных учреждений в России в XVIII веке.

Ко ля д ки (колядование) — народный обряд пожеланий добра и благополучия.

Кон к лю з и я — сочетание, взаимное положение.

Кон кор дат — соглашение.

Кон ста п е л ь — воинский чин в артиллерии, соответствовавший прапорщику.

Кон тр дан с — старинный французский танец.

Кон фи ден т — доверенное лицо, человек, посвященный в что-нибудь тайны.

Кон фу з и я — происшествие, неприятный случай.

Кор де гар ди я — караульное помещение, казарма.

Кор по рал — старинное название воинского чина «капрал».

Кор по ран т — член ученого содружества, общества.

Ко ты — женские полусапожки; башмаки с высокими передами.

Ко шт — расходы на содержание.

Кра ш е н н ы й — сделанный из крашеного домотканого полотна.

Кр е с т е ц — перекресток.

Кру ер, фока, грота зиль, барборус, галс, фоор, groot, марзиль — термины морской оснастки на искаженном голландском языке.

Ку а ф ер — парикмахер.

Кум, кума — люди, крестившие совместно чье-нибудь ребенка.

Кун ст ка ме ра — собрание всякого рода редкостей и предметов науки.

Кун ту ш — старинный украинский или польский кафтан.

Кун шта, кун шт — в начале XVIII века так назывались листовые произведения печати (гравюры).

Куп е л ь — ванночка для омовений.

Ку ра тор — попечитель, опекун.

Ку р л я н д и я — область в западной части Латвии, в XVIII веке бывшая самостоятельным государством.

Ку ри оз но — любопытно, забавно.

Ку р та ж — прибыль, выгода.

Ла кри ца — растение, на корне которого приготавливаются лекарственные вещества.

Лан д кар та — географическая карта.

Ланиты (стар.-слав.) — щеки.

Лафертик — поднос.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — выдающийся немецкий философ, математик, физик.

Лества (лестовка) — четки, бусы, особым образом нанизанные на шнурок, чтобы по ним отмерять очередность молитв.

Лещетки — старинная русская игра, в которой играющие изображают птиц и охотников.

Лифляндия — старинное название области в Прибалтике.

Лопотина — имущество, одежда.

Лорд-регент — первый министр в Англии в царствование несовершеннолетнего короля.

Лот — старинная мера веса, около 12 граммов.

Лютерский — лютеранский, от имени Мартина Лютера, основателя немецкой протестантской церкви.

Магистр — ученая степень.

Магистрат — городское управление.

Мажордом — управитель, дворецкий.

Мангазея — русский город в XVII веке на севере Сибири, в низовьях Енисея.

«Майн либер готт!» (нем.) — «Боже мой!»

Мандарины — название высших чиновников в феодальном Китае.

Маппа — листовое печатное издание (гравюра, портрет, карта).

Марс — бог войны в древнеримской мифологии. Марс Российский — аллегорическое название русского войска в XVIII веке.

Мемория (промемория) — памятная записка.

Меркурий — бог торговли и ремесел в древнеримской мифологии.

Мерула — линейка; в переносном смысле — бразды правления.

Метафизика — идеалистическое религиозное философское учение.

Минерва — в древнеримской мифологии богиня мудрости, покровительница наук, искусств, ремесел.

Мирская изба — в Древней Руси служебное или общественное здание.

Митрополит — высший чин православной церкви, епископ, имевший право носить митру — род короны.

Монстр — чудовище, урод, в начале XVIII века редкое, необычайно животное или даже человек.

Мушкет — ручное огнестрельное оружие с фитильным замком.

Мыза — хутор; отдельно стоящая усадьба.

На яда — мифическое морское существо вроде русалки.  
Невтон (правильнее Ньютон Исаак; 1643—1727) — великий английский мыслитель, ученый.

Неисходимый — не кончающийся никогда, вечный.

Обер-гофмейстер — чин, ведавший придворным церемониалом.

Оброк — денежная плата взамен каких-либо крепостных повинностей.

Однава — однако, однажды.

Оккультные знания — те, которые опирались на возможность существования сверхъестественных, мистических сил.

Окольничий — второй после боярина придворный чин в Московской Руси.

Онде, иже — значки сокращения слов в церковнославянском кириллическом письме.

Орать — пахать.

Остзейское море — немецкое название Балтийского моря.

Острог — населенный пункт, обнесенный оградой из заостренных бревен.

Откупщик — лицо, приобретшее у государства исключительное право на продажу определенных видов товаров.

Офорт — род гравюры на металле.

Пал — самосожжение раскольников в XVIII веке.

Палисандровый — изготовленный из редкого тропического дерева.

Пальметта — одна из декоративных форм кроны дерева.

Паникадило — светильник или люстра.

Паперть — внешняя лестница; площадка у входа в церковь.

Парадиз — рай; так любил Петр I называть свою новую столицу (Северный Парадиз, Истинный Парадиз).

Партикулярный — штатский, не форменный.

Пастор — священник протестантской церкви.

Пастырь (буквально: пастух) — священнослужитель.

Паша — титул высших сановников в мусульманских странах.

Персона — лицо, особа; так же назывался иногда и портрет знатного человека.

Перспектива (*стар.*) — длинная прямая улица, проспект.

Петров день — церковный праздник св. Петра и Павла. Праздновался как день основания Петербурга (12 июля по новому стилю).

Петрополис (*греч.*) — Петербург.

**Пищаль** — старинное тяжелое ружье или даже небольшое орудие, заряжавшееся с дула.

**Планида** — планета; в переносном смысле — предсказание по звездам, судьба.

**Плезир** — удовольствие, развлечение.

**Плошка** — плоский сосуд с фитилем для освещения.

**Плюмаж** — украшение из перьев на головных уборах.

**Повойник** — простонародный женский головной убор.

**Повытчик** — чиновник в приказах Московской Руси.

**Подклеть** — нижний этаж деревянного дома.

**Подстихарь** — белый, часто кружевной передник.

**Покров** — церковный праздник в начале октября, когда игралось большинство свадеб, считавшийся поэтому особым праздником для девушек, желавших выйти замуж.

**Покромный** — находящийся под кровом, под крышей.

**Полатка** (от слов «полка, полати») — торговое помещение.

**Политес** — вежливость, правила хорошего тона.

**Полушка** — мелкая медная монета в четверть копейки.

**Померанец** — вечнозеленое дерево с ароматными плодами, похожими на апельсины.

**Померания** — историческая область в Германии (современная Польша).

**Понева** (панева) — женская шерстяная длинная рубаша или юбка, платье.

**Понеже** (*стар.*) — так как, поскольку.

**Пономарь** — церковный младший служитель, в обязанности которого входило запирать и охранять церковь, звонить в колокола и пр.

**Понтий Пилат** — римский наместник Иудеи, приговоривший к распятию Иисуса Христа.

**Порцеллан** — фарфор, фаянс.

**Посадский** — житель торгово-промышленной части города, посада.

**Посаженый** — посаженные отец и мать заменяли настоящих родителей в народном обряде свадьбы.

**Посконина** (посконь) — холст, вытканый из конопли.

**Поставец** — невысокий шкаф для посуды.

**Потентат** — монарх, власть имеющее лицо.

**Потылица** — затылок.

**Псалтырь** — собрание псалмов, часть Библии, богослужебная книга, по которой также обучали детей.

**Предестинация** — предопределение, судьба.

**Преображенский приказ** — учреждение, управлявшее гвардейскими полками, а в 1716 году ведавшее также охраной государственного порядка.

Притча — басня, аллегорический рассказ.  
Просфора — просвирка, освященный хлебец, употребляемый для церковной службы.

Протодиякон — старший по чину помощник священника.

Пуд — мера веса; около 16 килограммов.

Пфенниг — немецкая мелкая монета.

Рангоут — надпалубные сооружения, мачтовая оснастка корабля.

Ранжир — построение в шеренге по росту.

Раритет — редкость.

Расстрига — священнослужитель или монах, изгнанный из числа церковников.

Ратуша — центральное учреждение в Москве, управлявшее купцами и ремесленниками; до 1699 года называлось Бурмистерской палатой.

Рацея — нравоучение.

Ревель — название города Таллинна с 1219 по 1917 год.

Регалии — знаки монархической власти; в переносном смысле — ордена и орденские ленты.

Резидент — иностранный дипломатический представитель, постоянно находившийся в данной стране.

Реляция — донесение.

Ретирада — отступление.

Роброн (*франц.*) — платье на жестком каркасе из проволоки или китового уса.

Рогервик — название города Палдиски в 1723—1783 годах.

Родигельская суббота — день поминовения умерших родственников.

Роксоланы — скотоводческое племя, покоренное гуннами.

Рыдван — старинная карета.

Сажень — старинная мера длины, более двух метров.

Саксония — государство в средней части Германии.

Салинг — рама, состоящая из брусьев.

Самсон — богатырь, обладавший необыкновенной силой.

Сбитень — сладкий горячий напиток на меду с пряностями.

Сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга.

Свейский — шведский.

Своиченица — сестра жены.

Святки — в церковном календаре праздничная неделя в январе.

Семирамида — легендарная царица Ассирии и Вавилона; синоним величия и пышности какой-нибудь властительницы.

Сенат — высшее правительственное учреждение в императорской России.

Сент-Джеймский двор — иносказательное наименование английского двора по названию одного из королевских дворцов.

Сермяга — грубое домодельное сукно, в изделия которого обычно одевались крестьяне.

Силы — знаки ударения в церковнославянском кириллическом письме.

Сирин (*греч. миф.*) — сладкоголосая райская птица.

Сианс — по-французски «наука».

Скит — небольшой монастырь в глухой местности, обычно у раскольников.

Скрупель (правильнее: скрупул) — старинная мера аптекарского веса, чуть более одного грамма.

Скрыня — шкатулка, ящик.

Скуфейка (скуфья) — комнатная шапочка, ермолка; также головной убор духовенства.

Слега — жердь, решетина.

Сильфиды — мифические легкие существа, олицетворяющие стихию воздуха.

«Слово и дело» — система политического сыска в России в XVII—XVIII веках.

Сорбонна — одно из названий Парижского университета.

Сороки — крепость-замок в Молдавии.

Сочельник — в Древней Руси вечер накануне Рождества.

Строфокамил (*греч.*) — страус.

Субтильный — нежный, тонкий, хрупкий.

Суперфлюс (*нем.*) — река, быстрая вода.

Супостат — противник, недруг.

Сфинкс — мифологическое существо; иносказательно — загадка, загадочный человек.

Схимник — монах, наложивший на себя особо суровые обеты (правила монашеской жизни).

Сципий Африканский (правильнее: Сципион) — древнеримский полководец и оратор.

Табель о рангах — законодательный акт, изданный Петром I; определял порядок прохождения службы чиновниками.

Такелаж — снасти (тросы, канаты, блоки) для крепления парусов.

Тать — древнерусское название вора, уголовного преступника, в то время как слово «вор» обозначало преступника политического.

Тезоименитство — церковный праздник в честь святого, именем которого назван государь.

Титла — знаки сокращения слов в церковнославянском кириллическом письме.

Тиунская изба — в конце XVII — начале XVIII века учреждение,

ведавшее распределением мест (приходов) между священнослужителями и взиманием с них налога.

Траверс — направление, перпендикулярное движению какого-либо судна.

Трактамент — договор.

Трансмутация — алхимическое действие, превращение одного вещества в другое.

Трансцендентный — лежащий за пределами человеческого разума.

Трензеля — железные удила.

Триангуляция — система геодезических измерений для составления топографических карт.

Тридцать сребреников — евангельское выражение: цена предательства.

Три листика — азартная игра в карты.

Троица — по церковной мифологии, три Божества (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух святой) в одном лице; также церковный праздник.

Турбация — переворот, перемена.

Тюбинген — город в Германии, знаменитый университетом, открытым в 1477 году.

Тягло — подать, налог, взимавшийся с крестьян и ремесленников деньгами, продуктами, а также исполнением различных работ.

Убрус — женский головной убор, платок.

Урочище — приметное место (река, гора, овраг, роща и т. д.).

Фавор — благодарность, расположение.

Фаланга — ряд, шеренга.

Фантанж — французская модная прическа в XVII—XVIII веках.

Фатер (*нем.*) — отец.

Ферязь — старинная верхняя одежда богатых людей, род кафтана с высоким стоячим воротником.

Фижмы — юбки на каркасе из проволоки или китового уса (на языке XVIII века «китового зуба»).

Фи дон (*франц.*) — восклицание удивления или негодования.

Фискал — при Петре I чиновник, наблюдавший за законностью действий учреждений или лиц.

Фисташковый — желтовато-зеленоватый оттенок.

Флибустьер — морской разбойник XVII — начале XVIII века.

Флора — в римской мифологии богиня весеннего цветения.

Фонтенель Бернар Ле Бовье (1657—1757) — французский писатель, ученый-популяризатор.

Форейтор — ездовой, сидящий верхом на выносной лошади при упряжке цугом.



**Фортуна**—судьба, счастье; также мифологическая богиня судьбы.

**Фронтиспис**—картинка, портрет, иллюстрация перед титульным листом книги.

**Фузилер**—стрелок.

**Фуляровый**—сделанный из мягкой легкой шелковой ткани.

**Фурлейт**—солдат обозной команды.

**Фурманщик**—кучер, извозчик на фуре (крытой повозке).

**Хамовники**—ткачи, сукновалы, шерстобиты (люди, изготавливающие ткани и торгующие ими).

**Химера**—мифическое чудовище; в переносном смысле—обман, видение.

**Хомо сапиенс** (по-латыни «человек разумный») — научное название человека.

**Целовальник**—в Московской Руси лицо, состоявшее на государственной или общественной службе и приносившее присягу («целование креста»).

**Цезарь** (правильнее: цезарь)—в XVIII веке так называли римско-германского императора, столицей которого была Вена.

**Червчатый**—ярко-красного цвета.

**Чернец**—монах; черницы—монахи.

**Чичисбей** (*итал.*)—постоянный спутник богатой знатной замужней женщины, с которым она выходила на прогулку.

**Чубук**—полый деревянный стержень с трубкой для курения.

**Чудотворная**—икона (образ), обладающая будто бы сверхъестественной силой исцеления или другой помощи людям.

**Шандал**—подсвечник для нескольких свечей.

**Шарман** (*франц.*)—прелестно.

**Шафрановый**—желто-оранжевый цвет с коричневым оттенком.

**Швальня**—портняжная мастерская.

**Шестопер**—металлическая дубинка с шаром, утыканным гвоздями.

**Шинок**—кабак, трактир, пивная.

**Шкоцкая земля**—Шотландия.

**Шлафрок**—домашний халат.

**Шнява**—небольшой военный парусный корабль.

**Шпалерная мануфактура**—мастерская по изготовлению шпалер—особого вида ценной ковровой ткани в XVIII веке.

**Штандарт**—императорский флаг.

**Штихель**—резец для гравирования.

**Штофные** — сделанные из штофа — плотной шерстяной или шелковой ткани.

**Шурин** — брат жены.

**Шушун** — кофта, телогрея, верхнее женское одеяние.

**Экзальтация** — болезненная оживленность.

**Экзерциция** — упражнение.

**Эклипсис** — видимый путь движения солнца.

**Экселенц** (*нем.*) — ваше превосходительство.

**Эллинг** — место на берегу, где закладывается и строится корпус судна.

**Эльзевир** — стиль типографского шрифта в честь знаменитых голландских издателей Эльзевиров.

**Эманация** — излучение, запах, влияние.

**Эсквайр** — одно из низших дворянских званий в феодальной Англии.

**Эскапада** — один из выпадов фехтовальщика; в переносном смысле — дерзкое действие.

**Эстляндия** — историческое название Эстонии.

**Югра** — старинное название Северного Урала и берегов Карского моря.

**Яловая кожа** — сделанная из шкуры теленка.

**Ямская застава** — место, где перепрягались, менялись лошади в ямских повозках.

**Янус** — в древнеримской мифологии божество времени; изображалось с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны.

**Янычар** — в XVIII веке воин привилегированной гвардейской части в Турции; в переносном смысле — каратель, палач, грабитель.

**Ярыжка** — мелкий служитель, исполнитель поручений; в переносном смысле — полицейский.

**Ятаган** — кривая турецкая сабля.

## СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь и дела Василия Киприанова,  
царского библиотекариуса

*Исторический роман*

5

Санктпетербургские кунсткамеры,  
или Семь светлых ночей 1726 года

*Исторический роман*

223

*Александр ГОВОРОВ*

Собрание сочинений  
в четырех томах

**Том 2**

Редактор *С. Кондратов*

Художественный редактор *И. Сайко*

Технический редактор *Г. Смирнова*

Корректоры *И. Белова, Л. Чуланова*

Сдано в набор 28.01.93. Подписано в печать 21.07.93.

Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 26,04.

Уч.-изд. л. 28,25. Тираж 50 000 экз. Заказ 88.

Издательский центр «ТЕРРА».

109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

